

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

сн

199979

Бурная
востна



С·Н·СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

*Бурная
Весна*

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РОМАН

ВОСПОМИНАНИЯ



МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

1982

P 2
C 32

Составление, вступительная статья, примечания
В. КОЗЛОВА

70302—211 207—82 4702010200 P2
M 172(03)—82

© Составление, вступительная статья, примечания, оформление
издательства «Московский рабочий», 1982 г.

С. Н. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

Выдающийся мастер русской советской прозы писатель академик Сергей Николаевич Сергеев-Ценский прожил в литературе долгую и плодотворнейшую жизнь. Его первые произведения появились в печати в начале века, а умер он в 1958 году в разгар работы над продолжением своей многотомной эпопеи «Преображение России».

Время показало, что книги Сергеева-Ценского не стареют, они вечны, как вечно искусство, как вечна жизнь на земле. Его рассказы, повести, романы, эпопеи покоряют читателя тонким, сложным и совершенным мастерством, широтой и глубиной общечеловеческих проблем, открывают картины жизни и борьбы отцов, дедов и прадедов, их героизм и мужество в защите родной земли от иноземных захватчиков.

Автор трехтомной эпопеи «Севастопольская страда», цикла романов эпопеи «Преображение России» был страстным и убежденным поборником мира, он хорошо знал, что такое война, что война отнюдь не праздная прогулка со знаменами и барабанным боем, а тяжелый ратный труд в крови и жестоких страданиях многих тысяч людей, одетых в солдатские и матросские шинели. Вместе с тем писатель обличает организаторов и вдохновителей войны как самых страшных преступников против человечества.

На многих страницах своих книг Сергеев-Ценский показывает миролюбие русских людей, их гостеприимство, желание жить в дружбе со всеми народами земли. И только тогда, когда над страной нависала опасность, поднимался и стар и млад и шел клич от селения к селению: «Не посрамям земли русской!.. Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет!.. На том стояла и будет стоять земля русская!»

«Знаменитым словам этим,— говорил писатель, — свыше тысячи лет. И наши люди не осрамили ни русской земли, ни русского имени в жестоких битвах с иноземными захватчиками».

Сергеев-Ценский хорошо знал историю России, жизнь народа, его думы и чаяния, его язык и культуру. Помимо изучения исторических материалов и документов, он много путешествовал по родной стране для накопления новых фактов к будущим книгам. Впоследствии в «Дневнике поэта» он скажет о себе: «Я просто был Сергеев-Ценский, смотрел, слушал и писал».

Писатель не любил больших шумных городов. Поэтому и поселился в 1906 году в Крыму, в маленькой Алуште, где построил небольшой дом — свою писательскую мастерскую. В ней, в полном уединении и тишине, писал свои удивительные книги, оставаясь равнодушным к славе и почестям.

О писателе Сергееве-Ценском я впервые услышал от учителя рисования, большого любителя и тонкого знатока русской литературы.

Вспоминается довоенное время. Сельская средняя школа среди берез. Рядом небольшая речка. Нас, двоих лучших учеников, преподаватель рисования, старый художник, пригласил к себе, чтобы показать технику живописи масляными красками. Его небольшая квартира была увешана пейзажами, портретами, натюрмортами. Среди картин выделялся превосходно выполненный маслом портрет смуглого молодого человека с черными усами, буйной, в крупных завитках, шевелюрой и внимательным взглядом темных, выразительных глаз. Чем-то незаурядным, богатырским веяло от облика человека, изображенного на холсте.

— Кто это? — спросил я.

— Это большой художник слова Сергеев-Ценский, — ответил учитель и, видя мой недоуменный взгляд, пояснил: — Сергеев-Ценский пишет так, как никто до него и, пожалуй, после него не напишет. Я художник, мысля образами, а у Сергеева-Ценского что ни фраза, то образ или картина. Вот слушайте:

«Вокруг имения... на десятки верст кругом стояла эта странная, может даже и страшная, мягкая во всех своих изгибах, иссиня-темно-зеленая, густо пахнущая смолою, терпкая хвойная тишина». — одним вздохом прочитал он начало повести «Движения» и продолжал не без восторга: — Как точно передана тишина большого хвойного леса. Все в ней есть: и запах, и цвет, и пространство, и глубина. Я целый год писал этюды, пока не смог найти такой уголок, с которого и написал вот эту картину, назвав ее «Тишина».

Рядом было другое полотно. На море, освещенном ярким солнцем, уходила вдаль под парусами белые баркасы. Внизу была надпись: «Кораблики».

— И для этой работы, — рассказывал художник, — сюжетом

послужил рассказ Сергеева-Ценского «Неторопливое солнце». В лирическом отступлении есть такие слова:

«Есть какая-то на земле своя солнечная правда, человеку этого не дано знать. человек только чувствует это смутно. когда вдруг возьмет и поверит сказке о том, например, что никогда не разлюбит, никогда не состарится, никогда не умрет. Сядьте здесь, на большой высоте над морем, избочите голову, как это делают птицы, тогда все вам покажется новым; забудьте, что влево верст за сто такой-то город, вправо верст за сто — такой-то: пусть будет только светлое море перед вами и вы, и на море вон один, вон другой, вон третий, точно в другом мире — так далеко, как лебеди белые, белеют баркасы-парусники. Крикните им вдруг: «Эй, кораблики!» Громче кричите: «Эй, кораблики! Вы куда это плывете, кораблики?» Пусть они выплыли из какой-нибудь зачарованной страны, пусть плывут они в страны, совсем неслышанные, пусть паруса у них вечные, мачты вечные... Пусть не будет хотя бы для них одних так обидно мала земля... «Эй, кораблики!»

Вскоре мне попалась брошюрка с повестью «Медвежонок», которая очень понравилась. И с той поры я искал в библиотеках, в журналах все, что было подписано Сергеевым-Ценским, но, увы, ничего в те годы не находил. И только во время Великой Отечественной войны мне удалось прочитать «Севастопольскую страду», а несколько месяцев спустя в журнале «Новый мир» — «Брусилловский прорыв».

Эти книги притягивали к себе глубиной поставленных проблем, прекрасным русским языком, они учили жить и бороться, а главное — давали ответ на самый жгучий вопрос времени: сумеем ли мы сокрушить опаснейшего врага, который рвался к Москве, к Сталинграду. «Севастопольская страда» и особенно «Брусилловский прорыв» укрепили уверенность в нашей победе, звали на борьбу, на подвиг. Положение на фронте и обстановка, описанная в «Брусилловском прорыве», были сходны, да и враг тот же — германский милитаризм. Русские солдаты, руководимые талантливым полководцем Брусилловым, нанесли в 1916 году немцам на Юго-Западном фронте сильнейшее поражение, которое оказало влияние на последующий ход первой мировой войны.

В 1949 году, еще будучи военно-морским летчиком, и вместе с товарищем поехал в Алушту к Сергею Николаевичу Сергееву-Ценскому. Мы знали, что писатель не особенно приветлив с непрошеными гостями: он очень дорожил временем и не любил пустых разговоров. Но мы были военными моряками, а к ним

Сергей Николаевич питал особое уважение, и не было случая, как нам говорили, чтобы он их не принял.

В конце аллеи крутой спуск. Среди кипарисов плотно к горе прижался небольшой домик. С юга, во всю длину дома протянулась застекленная веранда с открытыми настежь окнами и дверью. А вот показался и сам хозяин. Он легко вышел на веранду: одет просто, выше среднего роста, стройный, подтянутый, напоминал скорее кадрового военного, чем сугубо штатского человека. Добрая, приветливая улыбка, внимательный и пронизывающий взгляд, точь-в-точь как на портрете, который я увидел в квартире учителя в юности. Только роскошные кудри и усы стали совершенно белыми — их не пощадило время. Загорелое, без морщин лицо, крепкое рукопожатие скрадывали возраст: казалось, что перед нами стоит не семидесятичетырехлетний старик, а человек лет пятидесяти пяти, от силы шестидесяти. «Такие люди живут не менее ста лет», — подумал я.

— Заходите, заходите, прошу садиться, — радушно приглашал нас хозяин, указывая рукой на плетеные стулья и кресла, расставленные вокруг большого стола на южной веранде.

Завязался непринужденный разговор. Меня поразила редкая для пожилого человека память Сергея Николаевича, а умение говорить образно, занимательно, правильным русским языком притягивало к нему слушателей.

Я рассказал Сергею Николаевичу, как во время войны у нас из рук в руки передавались «Севастопольская страда» и «Брусилловский прорыв» и как все ждали третьей книги о Брусилове. Он внимательно слушал, спрашивал, что именно правилось в книгах, а когда я спросил у Сергея Николаевича, не участвовал ли он в брусилловском наступлении шестнадцатого года, так как описать сражения Юго-Западного фронта с такими подробностями и глубоким знанием военного искусства мог только очевидец, Сергей Николаевич улыбнулся и ответил:

— В армии Брусилова я не был, а писал роман на основании большого количества исторических, мемуарных материалов о первой мировой войне, хорошо мною изученных, что позволило написать не только «Брусилловский прорыв», но и романы «Лютая зима», «Пушки выдвигают», «Пушки заговорили», «Зауряд-полк», вошедшие в эпопею «Преображение России». После окончания Глуховского учительского института, поступив на военную службу, я со всей серьезностью продолжал овладевать военными науками и успешно сдал экзамены на прапорщика запасе. Кроме того, в русско-японскую и первую мировую войны меня мобилизовали в

армию, но через год я был уволен по политическим мотивам. Свою службу в 1914 году я описал в романе «Зауряд-полк».

Что же касается романа «Брусиловский прорыв», то замысел его созрел в начале Великой Отечественной войны, когда под напором превосходящих сил врага Красная Армия вынуждена была временно отступить.

Важно было,— говорил Сергей Николаевич,— разоблачить миф о непобедимости немцев, напомнить об одном уроке, когда под ударом русских войск Юго-Западного фронта, под командованием генерала Брусилова, немцам пришлось, скажем прямо, драпать на запад. За время брусиловского наступления было взято в плен четыреста пятьдесят тысяч австрийских и немецких солдат и офицеров, а общие потери противника превысили миллион человек. Это был крупнейший успех русской армии за время первой мировой войны. В результате этой победы была спасена Италия, улучшилось положение Франции, так как немцы вынуждены были оттянуть от Вердена несколько дивизий. Если бы русская ставка и союзники правильно использовали результаты победы Брусилова, то Германия была бы разгромлена, а вместе с нею завершена и первая мировая война.

После первой встречи мне посчастливилось часто бывать у Сергея Николаевича, находиться в его доме во время отпуска, а в последний год жизни писателя провести несколько месяцев, работая у него. Я видел, как жил и работал писатель. В доме соблюдался строгий распорядок дня. В любое время года Сергей Николаевич поднимался очень рано. Физическая зарядка, обливание холодной водой — в молодости окатывал себя из ведра,— небольшая прогулка по усадьбе и за письменный стол. В восемь часов завтрак и снова за стол, за которым не разгибался работал по восемь — десять часов в день. В это время никто не должен был отвлекать его от мыслей, и в доме соблюдалась тишина. Иногда он поднимался и, шагая по длинной южной веранде или кабинету, обдумывал судьбы своих героев, чтобы окончательно поселить их на страницы своих книг. Писал он быстро. Меня поражало умение Сергея Николаевича сосредоточиваться, писать набело, был ли это рассказ, роман, деловое письмо, статья, стихи. На чистый лист бумаги или в толстую тетрадь ложились ровные строки без помарок, зачеркиваний, и так страница за страницей. Раз в неделю, обычно по воскресеньям, он позволял себе прогулку в горы или к морю, чтобы отдохнуть среди природы. Мне не раз приходилось сопровождать его в прогулках, во время кото

рых Сергей Николаевич рассказывал о своих встречах с Горьким, Репиным, Куприным, Чуковским, Буниным, Шмелевым, Андреевым, Суриковым и другими писателями, художниками, военными и политическими деятелями, делился своими планами и замыслами.

— Если буду здоров и будут печатать,— говорил Сергей Николаевич.— то доведу эпопею «Преображение России» до двадцати томов. Она будет состоять из семи циклов. Первый цикл будет иметь название «Перед грозой», второй — «Пушки заговорили», третий — «Война и народ», четвертый — «Долой царя», пятый — «Великий Октябрь», шестой — «Разруха» и седьмой — «Строить новую жизнь». Значит, мне нужно написать романы и повести: «Зрелая осень», «Долой царя», «Март в Крыму», «Приезд Ленина», «Великий Октябрь», «Октябрь в Москве», «Врангеля в море». Пересмотрю повести из гражданской войны, какие у меня имеются, кое-какие допишу. Затем увеличу «Севастопольскую страду» и, наконец, завершу эпопею «Долой войну». Тогда в трилогии «Россия и Запад» будет тридцать томов.

Какой творческий размах в восемьдесят лет!

В то время, когда Сергей Николаевич посвящал меня в свои замыслы о создании трилогии «Россия и Запад», я искренне верил, что он непременно осуществит их, тем более что «Севастопольская страда» была им написана за два с половиной года. Мне казалось тогда, что передо мной был несокрушимый гигант, полный творческих сил, энергии и работоспособности. Не зря же М. Шолохов назвал его могучим нестареющим талантом.

Когда Сергея Николаевича спросили, как мог он сохранить в восемьдесят лет и ум, и память, и завидную работоспособность, он ответил:

— Я весь свой век трудился, трудился так, что не замечал времени. У меня не было времени, чтобы состариться.

И тут же говорил о себе:

— Я люблю слово красочное, смелое. Люблю здоровых, смелых и сильных людей, потому что сам силен и здоров. Люблю красоту земли и радуюсь каждому листочку на ней.

Эту любовь к родному языку, к родной природе, к сильным и мужественным людям Сергей Ценский впитал в себя с детства.

Родился он в 1875 году в селе Преображенском (ныне Бабинно) Тамбовской губернии в семье учителя земской школы, рано приобщился к природе и чтению. В пять лет читал Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя, Жуковского... «Демон» и «Мцыри», «Медный всадник» и «Полтава», «Тарас Бульба» и «Вий», «Илиада» и «Одиссея», «Записки охотника» и «Му-

му». «Сказания князя Курбского» и басни Крылова — вот крут чтения маленького Сергеева-Ценского. Многое из прочитанного он знал наизусть. Впечатлительный мальчик на всю жизнь запомнил тамбовское село, где прошло его детство, рассказы отца о героях Севастопольской обороны 1854—1855 годов, участником которой он был.

«С семилетнего возраста я начал писать стихи... и увлекался рисованием», — говорит писатель в автобиографии. Увлечение рисованием было настолько сильным, что вызвало колебания, чему отдать предпочтение: литературе или живописи. «Но поскольку меня стали печатать, — говорил Сергеев-Ценский, — то я и остался в литературе, однако живопись научила меня не только смотреть, но и видеть». Рано потеряв родителей, Сергеев-Ценский с 16 лет начал жить самостоятельной жизнью. После окончания Глуховского учительского института на казенный копит несколько лет работал учителем.

Сергеев-Ценский, как и Горький, вошел в литературу в период подготовки первой русской революции, рассказами «Полубог» (1898), «Забыл» (1902), «Врет судьба» (1902). Рассказ «Тундра» (1903) принес ему большую известность в литературных и читательских кругах. Его стали приглашать в лучшие журналы и альманахи того времени.

Острый, наблюдательный глаз художника не мог не заметить, как нарастал гнев в народных глубинах против угнетателей. Герои произведений Ценского не мирятся с действительностью, с тусклой и нелюбимой жизнью, встают против существующего строя. И, несмотря на одиночество в борьбе, они борются, «выхода ищут», мечтают о свободе, о счастье и верят, что «придет время, и мечты будут делом... Весь полный настоящим, весь творец будущего, непокорный и всем владеющий, будет стоять человек на побежденной им земле» («Полубог»).

События революции 1905 года захватили и Сергеева-Ценского. Он создает произведения с ярко выраженной социальной направленностью и верой в необходимость политической борьбы для преобразования русской жизни.

В повести «Сад» выведен одиночка-буштарь молодой агроном Шевардин, страстно влюбленный в землю, «как полнозвучную красоту, как великую мощь... Великая дающая сила земли покрывает его в каждом зеленом листке, в каждой тонкой былинке. И, любя землю, он привык думать, что и земля любит его». Но с первых же шагов самостоятельной жизни он сталкивается лицом к лицу с вековой несправедливостью: огромной землей владел, неизвестно почему, один человек, не любивший земли и живущий где-то

вдали от России и приезжавший только затем, чтобы получить от управляющего доходы и послушать, как трубят рога охотников и заливаются лаем гончие в его лесах. А в нескольких деревнях, в огромнейших лесах графского майората, «в глубоких трещинах от тесноты задыхались люди». Кругом был «произвол, и то, чем и как держалась жизнь,— было рабство»,— говорит писатель.

Удрученный беспросветно нищей, страшной жизнью крестьян в деревнях, Шевардин задумывается над тем, как помочь крестьянам. И он приходит к мысли, что граф не просто человек, а «бремя для нескольких десятков тысяч людей», и Шевардин решает убить бездетного графа и приводит в исполнение свое решение. Однако этот бунт одиночки ни к какому облегчению крестьян не привел, да и не мог привести.

Если в повести «Сад» выведен бунтарь-одиночка, то в рассказе «Молчальники» (1905) действуют в едином строю рабочие и крестьяне. Революция разбудила молчальников, добровольно взявших на себя обет молчания, чтобы на время уйти от суровой действительности. А когда марш политической демонстрации был услышан за стенами монастыря, молчальники сломили обет молчания и вышли к народу. «Толпа была братская и единая,— говорит писатель,— лапотник слился с горожанином... Они шли на подвиг, на борьбу с огромной и темной силой».

За публикацию рассказов «Молчальники» и «Батенька» журнал «Вопросы жизни» был предупрежден властями, а когда появилась повесть «Сад», в которой царское правительство увидело «набат революции», журнал был закрыт.

В поэме «Лесная топь» дан символический образ безысходной тьмы и дикости старой русской деревенской жизни. Молодая крестьянка Антолина, героиня поэмы, не захотела мириться с топью, пыталась вырваться из ее властных и цепких объятий, но топь настигла и погубила ее.

«Лесная топь» — произведение большой художественной силы — явилась новым словом в русской художественной литературе. Описание топи, как отдельное стихотворение в прозе, печаталось в «Чтеце-декламаторе» и читалось с эстрады.

Наиболее ярко отражены события революции 1905 года в романе «Бабасев» (1906—1907). Роман при своем появлении вызвал бурные споры критиков и читателей. Для всех было ясно, что в нем выводится крайний индивидуалист, жестокий палач, человек без будущего, в котором, между прочим, был пронизательно угадан белогвардеец, человек хотя внешне и культурный, но с совершенно опустошенной душой, неотвратимо идущий к своей

гибели; и в то же время этот поручик Бабаев был изображен до такой степени живо и рельефно, так детально была разработана психология этого человека, что иные критики готовы были приписать автору черты его персонажа.

В романе превосходно даны массовые сцены рабочей демонстрации:

«Несли знамена... с надписями: «Свобода», «Слава труду», «Слава павшим борцам за свободу»... Это шла свобода. Свободе пели гимны. Свобода колыхала знамена и флаги... Кто-то чернобородый, приземистый, степенный чувствовал себя только что родившимся на свет, а за ним тоже светлый, старый, кричал: «Долой самодержавие!», и по сетчатому лицу текли слезы. Пели камни мостовой и стены. Пели красные флаги».

Тем не менее критики и читатели не обратили внимания на социальную направленность произведений Сергеева-Ценского. Необычность приемов писателя вызвала недоумение, не давала возможности составить цельного представления о нем. Создаваемые им произведения были совершенно не схожи, словно их создавали разные авторы. В то время как Куприн, или Арцыбашев, или Леонид Андреев и другие писатели, печатавшиеся в тех же журналах и альманахах, где и Ценский, выработали свой стиль, свои приемы письма, Ценский был, пожалуй, единственным, кто в каждом своем новом произведении выглядел по-настоящему новым.

Для творческой манеры Ценского, его стиля характерна предельная насыщенность каждой фразы, каждого описания яркими деталями, сравнениями, метафорами, эпитетами. В отдельных произведениях это чрезмерное наслоение и усложненность стиля приводили к тому, что некоторые страницы приходилось не читать, а разбирать («Береговое», отчасти «Бабаев»). Это дало повод буржуазным критикам писать злонамеренные и тенденциозные статьи. Декадентствующие критики Д. Философов, З. Гиппиус предсказали, что Ценский идет только к декадентству. Но Ценский и не думал уходить от реализма. Отвечая на злонамеренные обвинения, он писал критику Н. С. Ангарскому: «Я же лично от жизни никогда не уходил, даже более того: я всегда только и делал, что «исходил» от жизни. «Береговое», которого... не захотели даже прочитать, а уж начали и продолжают обругивать, — вышло из пейзажа: оно написано в Судаче под впечатлением судакских окрестностей».

«Береговое» явилось, пожалуй, завершением поиска новых форм. Последующие произведения показали, что Ценский следовал традициям русской классической литературы. Чрезмерная

орнаментальность письма сменяется четким и ясным рисунком, строгим стилем. Лиризм становится ведущим в произведениях писателя.

Вслед за поэмой «Печаль полей» Ценский создает такие шедевры, как «Движения» (1910), «Пристав Дерябин» (1911), «Медвежонок» (1912), «Улыбки» (1909), «Недра» (1913), «Неторопливое солнце» (1911) и др., вызвавшие восторженные отзывы прогрессивных писателей и критиков. Праздником в литературе назвал Горький появление повести «Пристав Дерябин», а К. И. Чуковский о повести «Движения» в газете «Речь» в 1910 году писал: «Даже изумляешься, откуда в наше заплеванное время этакая чистота и красота».

В цикле повестей десятых годов проявилась наиболее характерная черта Ценского-художника — умение создавать яркие характеры, портреты, пейзажи. Он выступил как писатель, глубоко понимающий и любящий природу, человека, жизнь.

В 1912 году А. М. Горький писал литератору Недолину:

«О Ценском судите правильно: это очень большой писатель; самое крупное, интересное и надежное лицо во всей современной литературе. Эскизы, которые он ныне пишет, — к большой картине, и дай бог, чтобы он взялся за нее! Я читаю его с огромным наслаждением, следя за всем, что он пишет».

«К большой картине», о которой говорит Горький, Ценский шел с первых шагов своей литературной деятельности. И только накануне революции он вплотную подошел к ней. Первый роман «Преображение», в котором писатель пытался показать преобразование в «узкоинтимном плане», начал печататься в конце 1913 и начале 1914 года. Начавшаяся мировая война прервала печатание, а совершившаяся революция дала ответ на главный вопрос эпопеи — каким путем будет преобразена русская жизнь. И Ценский «раздвинул былые рамки романа». Впоследствии он говорил:

«В основе эпопеи лежат события, являющиеся самыми выдающимися в истории человечества. Я имею в виду Великую Октябрьскую социалистическую революцию и деятельность партии большевиков. Взяв власть в свои руки, большевики решили преобразить психологию людей. Показ этой колоссальной работы и является главным в моем «Преображении России». Если учесть, что главный герой эпопеи — русская интеллигенция, представители которой по-разному отнеслись к революции, то станут ясны те большие трудности, которые стоят передо мной... Люди учатся, работают, воюют, любят, радуются, страдают, их надо провести через громадный период времени, показать широко и убедительно их психологическое перерождение».

Когда в 1923 году роман «Преображение» вышел отдельной книгой, Ценский посылает его Горькому, на что Алексей Максимович отозвался:

«Прочитал «Преображение», обрадован, взволнован,— очень хорошую книгу написали Вы... Читаешь, как будто музыку слушаешь, восхищаешься лирической, многокрасочной живописью Вашей... В этой книге неоконченной, требующей пяти книг продолжения, но как будто на дудочке сыгранной, Вы встали передо мной, читателем, большущим русским художником, властелином словесных тайн, пронизательным духовидцем и живописцем пейзажа... Пейзаж Ваш — великолепнейшая новость в русской литературе».

Получив рукопись второй части «Преображения» — роман «Обреченные на гибель», Горький писал Ценскому:

«Был день рождения моего, гости, цветы и все, что полагается, а я затворился у себя в комнате, с утра до вечера читал «Преображение» и чуть не ревел от радости, что Вы такой большой, насквозь русский, и от жалости к людям, коих Вы так чудесно изобразили».

В 1928 году А. М. Горький совершает поездку в Крым, чтобы повидаться с Сергеевым-Ценским. Об этой встрече и взаимоотношениях с Горьким Сергеев-Ценский написал воспоминания «Моя переписка и знакомство с А. М. Горьким», которые включены в нашу книгу.

Большую, сложную и интересную жизнь прожил Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Не легким был его творческий и жизненный путь. Современник А. П. Чехова и Л. Н. Толстого, друг А. М. Горького и Н. Е. Репина, он был одним из немногих русских писателей, кто вместе с Горьким прокладывал незримые мосты от русской классической литературы к литературе социалистического реализма.

В годы гражданской войны хозяйничавшие в Крыму анархисты и бежавшие из центра России белогвардейцы не раз пытались расправиться с писателем Ценским, и только скитание в горах и счастливая случайность спасли его от физического уничтожения. Когда под ударами Красной Армии врангелевцы устремились к Севастополю, уходившие вместе с ними перепуганные писатели и профессора настойчиво убеждали Ценского покинуть «большевистскую Россию», но Сергей Николаевич решительно отверг все их предложения.

Однажды во время прогулки вдоль ялтинской дороги Ценский вспомнил такой эпизод.

В двадцатом году, рассказывая Сергей Николаевич, во

время бегства врангелевцев вот на этом месте вдруг слышу: «Сергей Николаевич!.. Сергей Николаевич! Разве вы не уезжаете? — Я поднял голову и увидел среди чемоданов на телеге семью знакомого мне профессора. — Разумеется, в Англию, разве вы не получили приглашения Британской Академии наук? Я вот ни от кого ничего не получил, а еду!» — «Никуда я не поеду, — говорю. — Я остаюсь с Россией». — «Что вы, что вы, Сергей Николаевич. России больше нет! Немедленно собирайтесь!» — кричит профессор. «Как нет, — отвечаю, — старой России, конечно, нет, но будет новая, и все, конечно, образуется. Я никого не убивал, не грабил, против большевиков не воевал, и бояться мне некого». — «Сергей Николаевич, пожалеете, ох как пожалеете». — и профессор нетерпеливо тронул кучера, и подводы тронулись в сторону Ялты.

— Я должен был пережить все то, что пережил народ. Каким же я был бы русским, а тем более русским писателем и патриотом, если бы убежал из России, — сказал в заключение Сергей Николаевич.

В 1921 году в разграбленном и разоренном войной Крыму начался голод. Как и в годы «царства» Врангеля, Ценский жил «коровьим хозяйством» и физическим трудом, «питался, — как сообщал он Горькому, — больше теплом железной печки, чем хлебом, которого не было». Всего за четыре пуда муки он пытался продать свой дом со всеми «угодьями», но и эта цена оказалась «рваческой», и никто не купил его писательской мастерской.

Сергей Николаевич с юмором вспоминал, как ему приходилось в те годы менять молоко на хлеб в другие продукты — писательское перо тогда не кормило — и как ему кричали:

— Эй, молошник, молошник, неси сюда молоко!..

В последние годы жизни С. Н. Сергеев-Ценский возобновил работу над эпопеей «Преображение России». Подготовил к печати три первых цикла и для четвертого начал писать роман «Весна в Крыму» и повесть «Свидание», которые остались незавершенными.

1 декабря 1958 года Сергей Николаевич говорил автору этих строк:

«Мне надо всего два года жизни, и я закончу «Преображение России». Множ все подготовлено, изучено, определены объемы каждого романа, каждой повести... Осталось только сесть за письменный стол и писать, писать... И прожил долгую жизнь».

Увидел все, что можно было увидеть, включая три революции и две мировых войны, сделал все, что мог сделать. Жаль одного — не завершил эпопею «Преображение России».

Я люблю Россию, русский народ, для него трудился, ему отдаю весь свой труд, всю свою жизнь... Я счастлив тем, что был русским писателем».

Через три дня его не стало.

Осиротел дом на Орлиной горе в Алуште. Умолк голос певца преображенной России. Ныне в его доме музей. Идут и идут посетители, чтобы увидеть, как жил и работал большой русский писатель.

Есть в рассказе Сергеева-Ценского «Аракуш» такие слова:

«Соловей, «словами поющий», двенадцать слов своих выговаривающий четко и голосисто, в своем каком-то порядке и с огромнейшей к ним любовью, на тысячи лет заморозил человека...

Верю... что в глухих, неприступных для человека местах, украшенный синими и красными лентами на груди, хоронится, скрывается подлинная птичья красота и слава, ровно вдвое лучший певец, чем самый лучший из соловьев, и имя ему — аракуш... Только эта мечта зовет меня и тянет, чтобы в моей комнатенке... не какой-то соловей... а настоящий аракуш... Вот, слышите, поет?... Побиты все соловьиные рекорды...

...Греми, аракуш!.. Слушай, столясь под окошком... Затаи дыхание, запруди улицу, останови езду, чтобы ничего не мешало слушать...»

Так и Сергеев-Ценский, как и его аракуш, завораживает читателя своими мудрыми книгами, своей беспредельной любовью к России, к советскому народу.

Повести и рассказы

САД

I

В последнем классе земледельческого училища Алексей Шевардин проделывал гимнастику с пудовыми гириями, ходил упругой походкой с легким развальцем и, хлопывая себя по объемистой груди, самодовольно говорил: «Широ-о-кая кость!»

Целыми днями он возился в саду, в поле, в оранжерее, к урокам готовился ночью, спал без одеяла и аккуратно купался до первого льда.

Дед Никита, помогавший летом ученикам пускать плуги, жнейки, молотилки, а в остальное время состоявший в училище истопником, искренне любовался Шевардиным.

— Добытчик!.. Хлебороб! Истинное слово, хлебороб, — говорил проникновенно дед, корявый и темный снизу, светлый сверху, глядя на упрямую, круглую, как точеный шар, гладко стриженную голову Шевардина. — Богатеем будешь, правду тебе истинную говорю... Настоящий мериканец!.. Знал я одного такого, — Идмуд Мартыныч звали, — вот деляга был, и-и-и, куды!..

— Зачем мне Америка, дед? — перебивал его Шевардин, по привычке вздергивая крупным, попорченным оспою носом. — Тут у нас своя земля, своих людей ждет.

— Тесно у нас-то, внучек, вот что... Которые настоящие люди, все уходят счастья искать.

Глаза у деда были совсем ясные, детские, и, глядя в эти глаза, сквозь которые двумя острыми воронками прошла, не замутивши их, целая жизнь, Шевардин говорил громко и уверенно:

— Тесно бывает только узеньким, дед, а широкому везде широко... Жизнь — резинровая, всякому по мерке.

— Быть-быть, — сочувственно кивал головою дед. — Ты грамотный, тебе видней.

Шевардин был бобыль и учился на казенный счет. Далеко, в Новгород-Северске, у него была тетка, прачка, посылавшая ему по рублю к Рождеству и на Пасху. На эти рубли Шевардин покупал себе простого табака и спичек; других расходов у него не было.

Когда Шевардин одним из лучших окончил училище, начальство выдало ему пятьдесят рублей в пособие до прискания места; но он не искал места.

Вблизи одной небольшой станции на юге, у причта села Татьянавки, снял он фруктовый сад за сорок рублей в лето; мастный батюшка выговорил себе три пуда антоновки и сенокос, а он поставил в условие — двадцать рублей уплатить вперед, а двадцать после.

В саду был старый, бурый от непогоды, шалаш. Шевардин в первый же день поправил его, покрыл заново соломой, поставил в нем топчан, собственноручно сбитый из досок, а около выкопал в земле печку.

В тот же день на селе у кузнеца он взял напрокат переделанное из бердапки ружье, на неуклюжем широком прикладе которого была выжжена кривыми каракулями замысловатая надпись: «Се гут, се бон, се балабонюка, се Лондон, се кузнец Иван Коваль».

А когда он купил в лавочке ковригу хлеба, мешок картофеля и два обливных горшка, бабы, следя за его легкой походкой с развальцем, уже знали, кто он и зачем пришел.

— У поїв в аренту за сорок карбованців сад зняв... По хвамилии, кажуть, Шковородин, — из кацапів.

II

Сад, снятый Шевардиным, углом примыкал к селу, углом к реке.

Обнесен он был ветхим плетнем, который Шевардин в первый же день начал поправлять и выравнивать.

Груши в саду были старые, дуплистые, зато хороших сортов, и полносочные были яблони, а посредине, вдоль узкой дорожки, стеной стоял темный вишневик.

Между деревьями в густой траве жегтел донник, розвел клевер, яркими кровавыми каплями сверкал дикий мак; с перовных щербатых рублевых плетней по все стороны кудрявыми струями ~~сверкала~~ в ~~облаках~~ воздухе, точно кипела вода, густо ~~сверкала~~ ~~в~~ ~~облаках~~ ~~воздухе~~.

И село и сад лежали в низине над рекою. Выше села по меловой горе взбирался крупный сосновый лес, по другому берегу стелилось чернолесье, и через реку видны были старые князья-дубы, купающиеся в воде корнями.

Верстах в пяти вниз по реке лежал монастырь, и в море леса чуть заметно белый, он казался кучей яичной скорлупы, прибитой к берегу водою.

Лес тянулся до самого горизонта. На меловых горах он был зеленее и реже, в лощинах темнее и гуще, точно подымались и падали гигантские валы, и вдалеке, где проступали узкие робкие поля, разбивался желтеющими барашками.

И в сравнении с этим лесным простором сжатая в серый комочек Татьянавка казалась беспомощной, маленькой, жалкой и лишней, точно костер из сухой перегнившей соломы, пропитанной миазмами, который кто-то собрал в одно место и приготовился поджечь, чтобы очистить воздух. Но в Татьянавке было 227 дворов и 430 душ мужского пола.

Когда часам к одиннадцати вечера Шевардин улегся в шалаше на куче свежесорванной травы, над ним пронзительно тошко и хищно запели комары, в саду, не смолкая, стрекотали кузнечики, а из леса через реку доносился раскатистый торжествующий хохот филина. От этого хохота становилось жутко, и лайли на селе разбуженные им собаки.

В незатворенные двери шалаша черными шепчущими тенями толпились деревья. Ночь была месячная, и освещенное, паутино-легкое небо радостно уходило куда-то от черных, мягких силуэтов, пригвожденных к земле. И хотя у Шевардина мутило в голове от усталости и пьяного запаха травы, уснул он поздно.

III

Утром к нему пришел татьяновский священник о. Мефодий.

В рыжем подряснике и рыжей шляпе, грузный и черный, о. Мефодий принадлежал к разряду людей, говорящих громким, тяжелым, как свинец, басом. Почему-то такие люди склонны много пить водки, много говорить, оглушительно смеяться и хлонать собеседника по колену.

— Доброго здравия, Робинзон Крузе! — крикнул он издали, проступая сквозь чащу вишняка и раздвигая ветки бородавчатой самодельной палкой.

Шевардин подпирал в это время толстым колом завалившийся в сад кусок плетня, и плетень дрожал под его руками, и недовольно шипел, отрываясь, подымаемый с земли вместе с плетнем цепкий хмель.

О. Мефодий уселся на траве, завернув угол подрясника, закурил папиросу и с лениво-веселой улыбкой следил за ловкими движениями Шевардина.

— Ну, вы оригинал, я вам скажу, — не удержался он наконец и захохотал, точно ударил в турецкий барабан. — Как хотите, сердчайте или не сердчайте, а оригинал!

— В чем оригинальность? — недовольно буркнул Шевардин. — В том, что я сад снял?

— Мало того, что сад снял... Этого, душа моя, мало. Дело в том, что вы хозяин природный, можно сказать — по призванию... Ишь, как ворочает!..

Он помолчал немного и оживленно добавил:

— Знаете что? Великолепный факт, мы вас женим.

— Ладно, рано еще, — отозвался Шевардин.

— Чего рано? Девятнадцать лет есть, и роскошно женим. Вот Петровки пройдут, и до Успенья, этак нежно, возьмем и женим... Что вы, батенька! Да вас попадье показать, она за вас зубами ухватится. Таковую вам невесту найдем — роскошь!..

— Чей это лес, батюшка? — перебил Шевардин, кивнув головою в сторону реки.

— За речкой? — Батюшка замолчал, глубоко затаившись и выдохнул: — Графский.

— Весь графский? — обернулся Шевардин.

— За речкой? Сколько глазом видите — и туда, и сюда, и вот сюда, этак нежно, взгляните, — о. Мефодий широко развел рукою, — все графское... По сую сторону только монастырского лесу порядочный клочок, а то и это тоже графское.

— Сколько же тут десятин?

Шевардин бросил плетень и выжидающе смотрел на него серыми встревоженными глазами.

О. Мефодий густо засмеялся.

— Эх вы, Робинзон! Кто же тут на десятины считает? Лесу конца-краю нет, на сорок верст тянется, восемнад-

цать сел в нем стоят, а вы, этак нежно,— десятины! Тоже хватил мухой по обуху!

Шевардин, еще когда шел со станции в Татьянаовку, знал, что тут есть имение одного графа, но размеры этого имения представлял смутно. Теперь же оно сразу выросло перед ним в огромную гору, раздавившую в мелкий прах восемнадцать мелких Татьянаовок. Это впечатление чего-то огромного, слепо навалившегося и тяжелого прошло и по его телу, и он инстинктивно передернул плечами, чтобы его сбросить.

А о. Мефодий сидел перед ним широколицый, грузный, улыбающийся, и в промежутках между затяжками говорил:

— Прадед графа, француз, при дворе Екатерины брадобреем был, хорошо брил и дамам шиньоны делал, за что и возвели его в титул, а имение это за женой получил — у Потемкина, говорят, любовницей была, — дело, конечно, темное и, так сказать, покрытое мраком истории... Теперь имение, конечно, в залоге и за крупную сумму заложено — восемьдесят тысяч ежегодно одних процентов платят, — шутка, а? Великолепный факт, а?

Задорно и прямо пахло кашкой, молодыми яблоками; что-то бесформенное, но свежее, зеленое, смеющееся все время стояло перед глазами, ежесекундно меняясь в очертаниях, и от этого зеленого тянуло спокойной и ласковой силой, но Шевардин чувствовал, как с каждым словом сидящего против него грузного попа в него тупо входит обίδα.

— Самого-то графа мы редко видим, — продолжал о. Мефодий, — за двенадцать лет я его, кажется, только три раза видал, — без него машинка идет. Осенью, пожалуй, поохотиться приедет: только за этим и приезжает — охотиться. Шлейф за ним тянется агромаднейший: актриски, певички, эти самые еще шлясавицы... как они?.. балерины, что ли, ну да... И откуда он их набирает!.. И не молодой ведь, не думайте, — лет сорок с хвостиком есть, а не унылся... Дела! Много этот пол денег глотает, — пожалуй, имения бы не хватило, только что майорат имение-то, продавать нельзя...

— Хорошо, а управляет им кто? — перебил Шевардин.

— Управляет? — о. Мефодий весело взглянул на Шевардина, затянулся и не спеша ответил: — Тут целая комедия в одном действии! Управляет кочегар из немцев-ко-

лонистов, по фамилии Аурае, а попросту по-русски мы его зовем Саврас, саврас он и есть настоящий. В министры попал почему? Понравился графу, что метко стреляет, бьет без промаху, — ну и убил бобра. Бесконтрольно, можно сказать, всем царством владеет, — за шесть лет трехэтажные дома в Одессе нажил, шутка? А?.. Рукой его не достанешь. Что хочет, то и делает. Мужики у него — пикнуть не смей. Ездит на тройках с форейторами, за версту слышно... Черкесов-объездчиков завел — целый Кавказ. Чуть что — они, этак нежно, кишжал в спинку — и готово.

— Позвольте, батюшка, а полиция?

— Полиция? — о. Мефодий хмыкнул. — Полиция вся на графских лошадках ездит. Да и дела тут полиции чуть. Конечно, застали в лесу с поличным, нападение, самозащита, — знаете, как это делается? Одним словом, лексикон известный... Нет, вы скажите, как Аурае царствует? Все законы и божеские и человеческие попирает — цел и невредим... Вы думаете, на него мужики облавы не делали? Был такой грех, вышли из терпения, — ничего, ускользнул живехонек, а сам еще из этого бунт сделал. Мужиков же и секли... С черкесами тоже сражение было. Вот будете идти к Неижмакову, это на том берегу село, — по дороге на просеке там кресты будут, деревянные кресты и камни. Там, знаете, Мамаево сражение было. Над православными, конечно, кресты, а камни над черкесами. Из-за баб дело вышло, — черкесы баб обидели, ну народ и осерчал... Восемь крестов там стоит, а камней или пять или шесть, не помню; лет пять назад дело было.

Упорно смотрящий на рыжую шляпу грузного пона и на его медленно движущиеся губы, Шевардин чувствовал, что входящая в него обида тоже грузная, медленная и рыжая, как желчь. Она густо переливалась по его мышцам и напрягала их, как камни.

— Будете идти, так по этой стороне, — махнул вправо о. Мефодий, — там каменоломня будет: около нее графская царяня, в оной царяне двести штук одних борзых содержится; молочной овсянкой кормят, и коровы для них особые есть. Считайте, самое бедное, по пятачку в день на собаку, — десять рублей в день, триста в месяц, итого три тысячи шестьсот рублей одного собачьего содержания, четырех причтов доход, — шутка, а? — О. Мефодий ударил Шевардина по колену. — Как приедет сюда граф со шлей-

фом, по целому быку в день съедают... Вон дворец-то графский, видите, на горе белеется? Можно сказать, замок, гнездо орлиное!

Всмотревшись, Шевардин увидел в лесу белый, с башнями по бокам, двухэтажный дом. К нему вела извилистая, серая среди темных сосен дорога.

— Послушайте, батюшка, что он из себя представляет, этот граф? — медленно спросил Шевардин.

— Как «что представляет»? Графа, — лукаво улыбнулся поп.

— То есть служит где-нибудь или так?

— Насчет службы не знаю, навряд ли, чтобы служил, за границей он больше витает... А может, какую-нибудь должность и имеет для видимости, не знаю, об этом не слышал. Чего не знаю, того не скажу... А вот, если хотите, для иллюстрации, как говорится, был у нас недавно такой случай, прямо комедия в одном действии...

И длинно, с большими отклонениями, смехом и хлопанием по колену Шевардина о. Мефодий начал рассказывать, как графская экономия обманула крестьян из Неижмакова: обменяла песчаную косу на заливной луг с озером, обещая вместо придачи вечный попас в лесу и вечный хворост для топки; обещание было дано на словах, а об обмене земли составили акт и запили его водкой.

На другой же год застроили лужок дачами, а в попасе и хворосте отказали.

Уже три года судятся неижмаковцы, судятся упорно, с причитаниями и ссылками на страшный суд и совесть, а экономия над ними смеется.

По мере того как говорил о. Мефодий, все больше темнело лицо Шевардина, и, безволосое, широкоскулое, оно было напряжено в каждой видимой точке, а о. Мефодий весело пыхал папирской, надувая щеки.

Ночью Шевардин видел страшный сон. Будто сидел он над обрывом на реке возле сада. Сияла луна, и лес на берегу был черный и далекий, а вода серебрилась гладкими широкими полосами, изъеденными отражениями. И было страшно тихо и на земле и в воде, когда раздались вдруг короткие, частые всплески, точно кто-то бил вальком по воде, и вслед за этим по середине реки, высоко приподняв изжелта-зеленую воду, показалась тупая, огромная рыбья голова, в полреки шириною, посмотрела в обе стороны на лес белесыми бычьими глазами и тяжело ухнула снова в воду.

И в берега от заходившей буграми воды ударились ревущие мутные волны, а по воде закружились подмытые ими с берега старые чаны, гнилые, зеленые от моха,— один, два, три... восемнадцать. Потом потонули чаны, на реке стало тихо, и Шевардин проснулся.

В голове его что-то больно стучало, звенели комары... Воздух был сырой от ночного тумана; из-за реки презрительно и злобно хохотал филин, и выли на селе собаки.

IV

Нужно было обобрать гусениц с деревьев: серыми шабрами паутины окутали они китайку, анис, скороспелку; нужно было отпилить сухие сучья, мешавшие хозяйскому глазу Шевардина, нужно было подвязать слабые и низкие ветви, чтобы охранить их от полома во время июльских ветров.

Все это хотелось сделать скорее, и Шевардин решил нанять на селе поденщика.

Когда он рано утром пошел по улице, навстречу ему гнали волов в поле, и из-под них взвивалась тонкая желтая пыль.

С реки дул свежий ветер, и от этого ветра воли точно пробуждались на ходу. Все серые и рослые, как один, они останавливались, встряхивали длиннорогими головами и внимательно смотрели на шагавшего между ними Шевардина.

Где-то вдали подымался высокий журавль колодца; от реки по улице с двумя ведрами на коромысле шла некрасивая, долгоносая молодуха в мокрых чеботах, запачканных речным илом.

В стороне бросилось в глаза большое дворовое место, засеянное рожью. Рожь стояла, чуть-чуть сгибаясь, тонкая и желтая, а колосья ее странно двигались и были коричнево-черны от обсеявшего их сплошь жука кузьки. Вид был такой, как будто этих жуков именно и желали видеть, и являлся игривый вопрос: не сеяли ли жуков вместо ржи?

Старик с бабой, ухватившись за длинную веревку, шли вдоль полей и хлопали по колосьям, и там, где они шли, выпрямлялись, жалобно качаясь, помпезные, изжеванные былинки, а позади их с земли снова подымались жуки и, недонольно жужжа, занимали прежние места.

Шевардин вспомнил, что дня три назад о. Мефодий за двадцать пять рублей служил молебен для избавления от гнуса.

Целый день ходили по полям, пели и кропили их святой водою.

Вечером пили водку, плясали и дрались. Жук остался.

У одной низенькой калитки стоял парень, босой, без картуза, с черными волосами в скобку.

— А что, хлопец, — подошел к нему Шевардин, — не пойдешь ко мне в сад на поденку?

Парень смотрел добродушными узкими глазами и чесал спину.

— А шо там робить? — спросил он после долгого молчания и отбросил кивком волосы со лба.

— Да что будет нужно, то и будешь работать... Работа легкая, — ответил Шевардин, сверху вниз глядя на парня.

— А шо вы дасте? — недоверчиво спросил парень.

— Тридцать копеек дам.

— И то гроши, — презрительно качнул головою парень и снова потянулся чесать спину, лениво глядя вдоль улицы.

— Сколько ж ты хочешь?

— Сорок копеек дасте? — хитро прищурился парень.

— Да, дам, пожалуй, и сорок, — чуть улыбнулся Шевардин, — только выходи сейчас, с пилой, если есть, и лестницу захвати.

Парень оглядел ботинки Шевардина, черные брюки, куртку с ясными пуговицами и зеленым кантом и отрицательно качнул головой.

— Ну? — спросил Шевардин.

— Ні, не хóчу, — хмыкнул парень и, медленно повернувшись, пошел во двор.

Волы точно плыли по глубокой, желтой пыли улицы небольшими кучками по два, по три.

Они смотрели большими, ясными глазами из-под белых ресниц, и было видно, что понимали что-то простое и близкое.

Глубоко вросши в землю и полузакрывшись обвисшими серыми крышами, в два ряда стояли избы, точно большие черепахи, раздавленные сказочным конским копытом.

Трубы на избах были широкие, четырехгранные, из

плетня, обмазанного глиной, и Шевардин подумал, что вот именно в такие трубы могли влетать и вылетать оборотни, ведьмы, огненные змеи.

И река, дымившаяся внизу, и седой бесконечный лес по сторонам, и лохматые псы, хрипло лающие из-за скрипучих ворот, — все показалось очень знакомым из старых страшных сказок. Точно давным-давно, в незапамятное время, застыла тут жизнь и превратилась в камень, и нельзя было оглядеть широкой сети этих камней, замелькавших перед глазами.

С одного двора рябая девка в красном платочке выгнала пару волов вдогонку стаду.

Шевардин подошел к ней.

— Слышишь, девка! В сад ко мне на поденку пойдешь?

— У сад? У попивский? — спросила девка.

— Ну, да, в поповский.

— Чого ж не пейты, можно пейты. А ще кого берете?

— Да больше мне не нужно, одной довольно.

— Эге... так мими нельзя, — заулыбалась девка, отходя в сторону.

— Почему нельзя? — не понял Шевардин.

— Та так... Може, вы и ничего, так люди осудят, проходу не дадуть.

По рябому круглому лицу девки ползала не то виноватая, не то стыдливая улыбка, желваками выступая то около губ, то в углах глаз, а серые волосы мотали перед ней длинными, грязными хвостами.

В конце села указали Шевардину пришлого садовника Игната, жившего здесь на квартире у бобылки старухи.

Старуха была согнута, как конская челюсть, с черными руками, с детскими глазами на рубцеватом выжитом лице, с седенькими косичками, выбившимися сзади из-под новыника.

Было что-то с младенчества странно знакомое в том, как она двигала руками, когда ходила, как шумургали по глиняному полу босые, костлявые, опаленные солнцем ноги, в том, что и как она говорила, в том, как ретиво она возилась у печки.

И веяло от нее все той же старой, забытой сказкой: избушкой в лесу, ступой, костяной ногой, заколдованным зельем.

Садовник еще спал в горнице, и старуха пошла его будить, а Шевардин стоял в низкой избе, вдыхал густой, зловонный воздух и читал на стене около образов длинный лист: «Сказание о том, коим святым каковые благодати во исцеление и помощи от бога даны и кому надлежит молиться:

О исцелении зубные болезни — священномученику Антонию.

О исцелении от трясотицы — преподобному Мирону.

О избавлении от винного запоя — мученику Вонифатию.

О обретении украденных вещей и бежавших слуг — св. великомученику Феодору Тирону...»

Славянские буквы, строгие, сухие, как схимницы, степенно шли одна за другой и сливались в непогрешимые слова:

«О избавлении от блудные страсти — преподобному Мартиниану.

О исцелении от грыжной болезни — великомученику Артемию.

Аще возненавидит муж жену свою — святым мученикам Гурию, Самону и Авиву...»

Очень много для такой убогой и тесной избы было разных икон в углу, икон все старых, темных и мрачных, и какие-то маленькие белые и синие пузырьки укромно выглядывали из-за них, покрытые пылью.

И все кругом было древнее-древнее, чуть не вечное, начиная с трухлых бревенчатых стен и по всем направлениям треснувшей и дымящей печи и кончая лавками, тряпками, кочергами. Точно все тут было святыней, точно всю жизнь тут заботились только о том, чтобы оставленное далекими предками сберечь отдаленным потомкам.

А за узеньким окошком на пыльном дворе бродили куры, и куры бродили так же, как тогда, когда на их ножках вертелись задом и передом таинственные избушки.

Старуха вошла сердитая, с безнадежными жестами крючковатых рук, и много ядовитого добродушия было в ее скрипучем голосе, когда, приседая перед печкой, она прошептала:

— Нема чого й ждаты!.. Вин у нас такой невдачный, такой невдачный... Вин позавчора був пьян, учора був пьян, а сегодня з похмилля... Живе, — грошей не платить...

А бодай тобі добра не було, да бодай в тебе рыло одноло, що ты такий ледачий!..

Когда Шевардин выходил, то в низкой двери звонко стукнулся головой о косяк.

Уже не желая искать поденщика, он шел по улице обратно в сад, и шаги его были широкие и злые.

Навстречу ему ползли низенькие хатки с низенькими оконцами, низенькие крылечки и плетни; пахло неосевшей тонкой пылью и навозом; мерещилось то сказочное царство, которое усыпил какой-то юморист-волшебник неизвестно когда, неизвестно зачем.

V

Из угла своего сада, примыкавшего к реке, Шевардин любил наблюдать широкую воду и отражение в ней облаков и леса.

Опрокинутый в воде лес казался мягче, таинственнее, нежнее; облака быстро-быстро уходили куда-то в глубину, точно толпа испуганных видений, закутанных в широкие белые покрывала.

Так как они исчезали в лесу, то казалось, что лес тихо и уверенно глотал их одно за другим, а когда по воде шла легкая зыбь, казалось, что он самодовольно смеялся.

Улицы села днем были пыльны, жарки и пусты, и пульс татьяновской жизни бился на реке, возле низкого грязного берега и отмели, покрытой зеленой тиной.

Часов в одиннадцать утра к воде на тырло пригоняли скот, и, смотря на ленивые движения волов, Шевардин думал: неужели вся жизнь тут осуждена идти неминуемо воловьим шагом и что иною эту жизнь нельзя представить?

Волы стояли по колена в воде; в стороне от них, под друмя старыми ветлами, сбившись в кучу и спрятав головы, неподвижно и беспомощно гуртились овцы.

Толпа белобрдых мальчуганов купалась на отмели впереди волов; подходили к реке бабы с ведрами и брали воду, шумно отгоняя животных; тут же на большой голой коряге колотили вальками белье.

У берега дальше чернели узенькие челноки рыболовов, и похожие на прозрачные тени великанов, размахивающих руками, развешаны были сушиться на тонких шестах вентеря.

Иногда по реке плыли плоты строевого леса; это монахи строили церковь в селе Пришибе, верстах в пяти от Татьяновки.

Плоты двигались медленно, чуть заметно, идя на буксире у большой монастырской лодки.

В лодке гребли двое мужиков в белых рубахах, а на бревнах сидел крепкий на вид рыжий монах и пел жирным землистым голосом духовные песни. «Ты бо еси, неискусомужняя дево, имела еси во утробе над всеми бо-о-о-га», — выкручивал он из себя негибкие, корявые, как дубовые корни, звуки. Но гребцам было трудно продвигать вперед тяжелый лес с тяжелым монахом, и от озлобления они ругали монаха и просили его замолчать.

На той стороне, на лесной поляне, арендованной у графа зажиточным мужиком Ильею Дудкой, разбита была бахча, и оттуда часто было слышно, как Дудка бьет свою жену.

Жена его бегала с распущенными волосами по берегу, а за ней то с веревкой, то с палкой гонялся Дудка.

Избитая им на берегу, она бросалась в воду и, забравшись по грудь, выла оттуда высоким плачущим голосом: «Ой, ненька моя, вип мене втопить! Ой, лишечко, втопить!..» А он ругался и грозил ей кулаками.

В стороне от сада, влево, чернелся перевоз, и ходила от берега на берег, из Татьяновки в Неижмаково, старая лодка.

Лодка была одна на два берега, и целый день то с той, то с другой стороны неслись и будили реку зычные ленивые крики:

— Эге-гей! А подайте лодку!.. Подай ло-о-дку!..

Иногда кричали долго — час, два.

По утрам на отмелях бегали и свистали поджарые кулички; по вечерам с лесных озер тянулись большие стаи диких уток.

Охота в графских лесах воспрещалась, поэтому дичи водилось много, а около псарни был большой парк, где бродили олени, дикие козы, фазаны, часть которых ежегодно убивалась на больших графских охотах.

Иногда по вечерам слышно было, как выли и лаяли разноголосым концертом двести борзых на графской псарне. Им отвечали воем и лаем татьяновские собаки, этих последних глухо поддерживали собаки из Неижмакова.

Переключка затягивалась далеко за полночь, и тогда

Шевардину казалось, что люди здесь, сбившись в низкие, темные избы, живут и мучаются только затем, чтобы можно было на свободе оглушительно выть по ночам двумстам борзым на графской псарне.

VI

В версте от Татьяновки, в лесу на просеке, притаился Баринов хутор, небольшой хутор в пятнадцать — двадцать дворов, заселенный потомками немногочисленных крепостных первого графа, привезенных им в огромное имение невесты с севера, из столицы. Они жили здесь особняком, их называли «кацапами» и смеялись над тем, как они одеваются и ходят и говорят в нос.

Через Баринов хутор Шевардин проходил как-то утром.

Утро было серенькое, подслеповатое, как близорукие глаза.

На небе все стояли какие-то задумчивые дымчатые облака, чуть заметно развивались, свивались и медленно двигались к горизонту, точно старинные свитки, которые внимательно читал кто-то великий и невидный.

Дорога шла мимо огородов татьяновцев, потом лесом.

На огородах высокими рядами цвели подсолнухи. Яркие желтые головы их, поднимаясь от земли, искали на небе солнца, но оно пряталось от них за свитками облаков, точно отдыхало на них, большое, и досадливо щурилось вниз.

На лесной опушке белыми пятнами вкрапился в темную зелень молодые тополи, и издали было видно, как безостановочно дрожали их чуткие листья.

Но лес вдоль дороги молчал.

В глубокой бездне его ветвей было много замкнутой тайны, уходящей вдаль.

Там, где сходились синие тени, внизу у корней, казалось, крадучись, шли куда-то тонкие стволы, шли тихо, прячась один за другого, и пропадали в глубине.

Узкая ровная дорога вошла в лес острой стрелой и делала в нем гнойную рану; этой раной казался Баринов хутор на поляне.

Дымили избы; нахло навозом. Грязная баба загоняла во двор с улицы грязного поросенка, и бегала за ним, и швыряла в него комьями земли и палками. Поросенок

визжал, и визжала баба, а с обеих сторон улицы смотрели на них серые, низкие рубленые избы, похожие на почерневшие от дождей гнилые копны.

Со стороны гумен доносилась песня, пели девки хором, пели теми страшными голосами, в которых есть отслоившаяся боль, и вой ветра в трубе, и режущий скрип ножа по стеклу. И слова песни были какие-то страшные, назойливые и густые:

Дунька капусту поела,
Танька рассол попила,
А Ленка в аптеку побегла,
Отраву себе приняла.

Точно зеленовато-темные серые пятна по белой стене, расплзались эти слова в крикливой оболочке напева по тихому воздуху и бороздили его, крупно мелькая перед глазами.

А какой-то худой мужик, босой, в расстегнутой рубахе, с тонкой, длинной палкой в руке шагал, длинноволосый, в конце улицы, и за ним бежали маленькие ребята, надоедливые, как мошकारа, и, подпрыгивая, звонко кричали:

— Родя, а Родя! На́ копеечку!..

Родя оборачивался и махал на них палкой. Ребята шумно рассыпались, потом собирались снова, как ласточки за кобчиком, и снова кричали:

— Родя, Родя, на́ копеечку!

Когда Шевардин поравнялся с ними, Родя подбежал к нему, улыбающийся и блаженный, и суетливо заговорил:

— Ивану Петрову в Студенок сбежал, копейку дал — раз, кривому Финогену лошадей в ночное отвел, копейку дал — два... Это сколько будет?

— Две будет, — вложил в его ожидающие глаза Шевардин.

— Две будет?.. Да Семижениха теперь в Киев к угодничкам посылает за мужа помолиться, тридцать копеек дает, — это сколько будет?

От хутора до Киева было больше тысячи верст. Тело Родя было длинное и слабое, как речная трава. Жадной толпой стояли ребятинки. С гумен неслась прежняя страшная песня:

Дунька капусту поела,
Танька рассол попила...

И разлегшийся во все стороны под близоруким небом молчал лес, как преступно молчит чужой при виде чужого горя.

VII

Был конец июля. Вечерело.

Батрак и кухарка о. Мефодия скосили и убрали траву в копны, и в саду Шевардина стало просторней и светлее.

Бледно-зеленые пахучие копны домовито и серьезно глядели из-за черных дуплистых стволов, а из-за копен видны были охмеленные плетни, пухлая от пыли дорога, светлая полоса реки и темный фон леса.

Поспевали вишни. Из бурых кожистых листьев они высыпали по утрам любопытными толпами, все новые, ярко-рубиновые, мягкие на вид, и тонкие ветки низко гнулись под их тяжестью.

Пахло яблоками. Незаметно наливались они, круглые и сочные, на корявых, с виду сухих ветках, а около них по-прежнему густо и тепло гудели пчелы.

И в тон пчелиному гудению около шалаша Шевардина гудел простуженный хриплый голос:

— Ну, не убьем ни качки, так что мы... Ведь, само собой, не ради интереса... Может, горлинок где захватим, — и то хлеб...

Это писарь, Яков Трофимыч, приглашал Шевардина на охоту.

И по его унылой фигуре с обвисшими, точно намоченными, рыжими усами, и по штиблетам на ногах, и по тому, как прилажена была за его спиной старенькая одностволка, видно было, что он действительно не охотник.

Около него терся исхудалый лягаш, ловил на его брюках мух, ляская зубами, и шумно чесался за ухом задней ногой.

Шевардину было скучно. Утром он получил письмо от одного своего товарища, Терновского, пристроившегося на плантациях большого сахарного завода.

Терновский писал, что у них на заводе бывают вечера, жаркие споры, есть библиотека; что он занимает хорошее место и ждет прибавки жалованья; что у него есть уже невеста, чудная, как все невесты, и свадьба назначена в октябре.

От нахлынувшего на него чужого счастья ему самому захотелось движения, шума, больше всего — движения, чтобы утопить в нем поднявшуюся силу. И он пошел.

Они шли чахлыми крестьянскими полями, по межам, пропитанным тяжелым запахом пыльной полыни и ледя.

Рожь уже убрали, и на том месте, где она была, жесткой щетиной торчала стерня. По ней вдали черными точками бродили грачи и галки. Плоско было, сонно и глухо. Казалось, что что-то повисло между землей и небом, от чего тяжело было дышать.

Шевардин уже присмотрелся к писарю, к его высокой сутулой фигуре, к надвинутой на глаза серой фуражке, к потертому пиджаку и длинным рукам; и не коробил уже его хрипловатый голос, которым Яков Трофимович жаловался на судьбу:

— Четверо детишек подрастает, надо их учить, а где учить — вопрос... У нас в Татьяновке никакого училища нет, не заслужили, а в Неижмакове, конечно, монастырская школа... Не одобряют их, монахов, говорят, больно бьют, и наука там больше такая, говорят, церковная: больше-все ирмосы поют, псалтырь читают...

— А земство? — хмуро перебил Шевардин.

— Земство у нас есть, как же... Есть, есть, — заторопился писарь. — Не занимаются они как-то этим... Живем, никого не видим, никакого начальства... Только когда становой осенью приедет подати собирать... Земский начальник у нас Кипайтуло, Дмитрий Егорыч, молодой человек, но строгий ужас какой... из военных.

От того, что у писаря был такой глухой и ровный голос, простые слова его казались Шевардину замысловатыми и вязкими.

Рыжий лягаш, взмахивая длинными ушами, как крыльями, неловкими скачками носился по стерне и спугивал грачей и галок.

Над горизонтом проползала туча, и оттого даль казалась темной, близкой, фиолетовой, и, освещенные солнцем, четко рисовались на ней одинокие, блестящие, желтые колосья.

— Вон косячки какие, — остановился на узкой полоске писарь. — Считается это пятнадцать сажень, полдесятины, значит, надел... Ну, какой это надел? С чего тут взяться?

Узкие полоски разбегались вдаль, пересекались и спутывались, точно закружившаяся на одном месте куча чумазых белоголовых ребят, маленьких и плаксивых.

— Темень,— продолжал писарь,— темень несусветная... Вот послезавтра Пантелеймона память, двадцать седьмого числа, и обязательно у кого-нибудь пожар случится, без этого уж нельзя... Строго празднуют, работы никто никакой: «А то він підпалє!..» И выдумают, что Пантелеймон их подпалит!.. Ну, конечно, находятся такие, что по злобе кто на кого, или еще там что, и пользуются случаем — поджигают... Посты у нас строго блюдут. У нас в пост бабы грудным ребятам молока не дают: «Хай привыка...» Соску из разной чепухи сделают и суют...

В стороне от них с кочковатой межи поднялся ястреб и полетел, большой и спокойный, над самыми полями.

Писарь неловко вскинул ружье и выстрелил. Ястреб шарахнулся вбок и взмыл кверху.

— Должно, ранил,— присмотрелся из-под руки писарь.— Ружьишко у меня дрянное, легкоранка, и попадешь — не убьешь... А птица к бою крепкая, в нее весь заряд всади, тогда так... А видимость есть, что ранил...

Ястреб уже поднялся так высоко, что казался только черной изгибистой полоской, а писарь все смотрел вверх, и прыгал и встревоженно лаял далеко на стерне его лягаш, потерявший из виду добычу.

Потом пошли по узкой лощине, заросшей мелкими кустами и отведенной под попас. По ней прыгало несколько тощих лошадей со спутанными ногами.

Солнце садилось, и на траву легли оранжево-розовые тона. Видно было, как огни холодели, синели, седели... Потом погасло все, что еще блестело, и потух крест, горевший на высокой монастырской колокольне.

Тихо стало, и среди тишины и пустоты загудел вдруг глухой шепот писаря:

— А скажите, пожалуйста, может, вы слышали,— говорили у нас так, про себя, будто одно высокопоставленное лицо... только вы уж, пожалуйста, этого никому не передавайте, это мы про себя, так... да... будто высокопоставленное лицо сказала, что народ у нас как в загоне живет, что он и пьет и на преступление идет единственно от темноты, что ему если бы образование настоящее, не узнать бы его, только что не дают... Высокопоставленное лицо будто говорило...

Кругом было чистое поле, тихое и сонное, а глухой шепот писаря звучал испуганно и точно откуда-то снизу, из земли; и столько задавленности и страха было в его мигающих глазках и сутулой тонкой фигуре, что Шевардин захохотал.

Он сел на кочку, опустив ружье между коленами, и смех его был нервный и злобный и пугал Якова Трофимыча.

— Что вы? — тихо и встревоженно спрашивал Яков Трофимыч.

А Шевардин хохотал и обидно ругался сквозь смех.

Домой они шли молча.

То, что называется сумерками, более легкое, чем воздух, реяло в воздухе неслышно, сплошно и густо, и предметы под ним становились мягкими и широкими, как крылья ночных птиц,

На стерне осела роса. Меланхолически кричали перепела вдаль. С реки чуть заметно пахло цветнем и тиной...

Когда часам к десяти Шевардин пришел в свой сад, он нашел там полный погром.

Около одной скороспелки валялись колья из плетня, обитые яблоки, листья; вишенник был наскоро обобран, и ветки поломаны; в дальних углах слышны были поспешно убегающие шуршащие шаги и сухой треск плетня на перелазях.

VIII

На Паптелеймона в ночь в Татьяновке был пожар и сгорело пять дворов.

Был на пожаре и Шевардин и слышал, как глухим ревом ревели бабы, и видел, как лениво тушили мужики.

На Преображенье в монастыре из года в год велась ярмарка, и он поехал туда с возом грушовки и бели.

В саду оставил рабочего о. Мефодия, и о. Мефодий взял за это двугривенный.

Хороша была дорога в монастырь, сначала над рекою, потом выше, сосновым лесом. Воздух в лесу был застоявшийся, сухой и густо смолистый, точно накадил кто-то. Скрипел воз. Маленькая, но серьезная лошаденка деловито везла в гору, выпячивая из кожи каждый мускул, в такт шагу мотая головой и фыркая.

Шевардин шел сзади хозяином и, постукивая палкой по встречающимся огромным соснам, искал над собой их верхушки и оценивал их глазами.

Он знал уже, что это был графский лес и что его ежегодно все больше и больше сводили, чтобы расплачиваться за жизнь графа за границей. Огромные деревья смотрели на него, как приговоренные к смерти.

С горы в просвет дороги видна была светлая, изгибистая полоса реки, озера, деревни и лес до горизонта.

Солнце садилось сзади за горой, и даль поспешно заволакивалась туманом густо-фиолетовых тонов, и огромная, но бесплотная, она казалась совсем другим миром, точно земля тихо улыбнулась на этом месте и ушла вниз, а в воздухе еще млела ее улыбка.

Монастырь просвечивал сквозь розовые стволы белыми стенами своих гостиниц и главами церквей, и видно было уже, что гнездо, свитое монахами на меловом скате среди леса, — прочное гнездо.

Начался монастырский лес — показались межевые столбы, иконки на поворотах, плетни, заборы.

Крутым спуском, еле сдерживая лошадь, пришлось сползать вниз перед толстой каменной оградой. Навстречу ехал с пустой телегой на дебелой вороной лошади монах и кричал:

— Держи права!.. Тебе говорят, права держи!

А поравнявшись, он любезно раскланялся и спросил:

— Яблочки к нам везете? По запаху-то слышно... Откуда изволите?

Шевардин стоял со своим возом за рекою, пересхав для этого мост, запруженный народом.

Много было народу и много возов. В балаганах уже бойко торговали краснорядцы, выкрикивали, спорили и ругались.

Гудели колокола. С высоты мелового откоса и колокольни шумливые, круглые звуки сочно и красочно вливались в воздух и один за другим, точно невидные большие птицы, проносились вдаль и тонули там в фиолетовых тонах заката.

На последнем над горою небе, между тонкими, четкими соснами, высился строгий силуэт монастырской часовни.

Ниже под ним белела старая меловая церковь, и от

нее вниз вела длинная, раскидистая лестница, а дальше, вправо, в лесу чуть виднелся скит.

В реке отражался весь монастырь с огромными домами гостиниц и церквями. Река было спокойна, и спокойны и ясны были отражения, и дышало от них миром и тайною, и вспоминался заколдованный город Китеж, погребенный под водой в те времена, когда неизбежно верили в святость попов, колоколов и церковных оград.

А вокруг огромными серыми гудящими толпами ползал народ, и глаза его были широки и голодны, и покорял его строгий вид белых громад, построенных не им, но на его поте.

Вместе с толпой к монастырю через мост шли и ехали на тележках нищие.

Шевардин никогда не думал, чтобы так много и таких разнообразных нищих могло скопиться на одном месте. Но видно было, что к ярмарке многие из них сошлись издалека, и одетые в лохмотья, с выставленными напоказ култышками рук и ног, старые, слепые, ползучие, как гусеницы, воплощенным косноязычным воплем они двигались в толпе — половина толпы.

И нищие давали нищим.

Корявые, засушенные работой бабы развязывали узелки платков и вынимали оттуда грязную медь.

И все вместе рядом, темные и убогие, шли они, как к последнему оцлоту, к высоким и богатым каменным домам и к горделиво поднявшимся в небо церковным главам.

И опять Шевардину показалось, что это он видел когда-то очень давно, или слышал, или все это старая сказка старой няньки, такой же убогой, такой же нищей, такой же слепой.

Воз его с отпряженной лошадью и поднятыми оглоблями стоял в стороне под старыми вязами, но и здесь его нашли монахи и взяли за место.

А следом за ними подошел здоровенный зверипого вида бородатый малый, с огромными загорелыми руками, похожими на два висичих самовара, и попросил на хлеб.

— Тебе на хлеб? — озадачился Шевардин. — Да ты быка ручищами убить можешь!

— Жену убил, точно... — мрачно подтвердил бородач. — Быков не пробовал, а жену убил... Теперь по церковному покаинию хожу.

— За что убил? — глухо спросил Шевардин.

— На месте преступления с любовником застал. И ее убил, и любовника убил... Обоих убил! — ровно и четко, точно прочитал молитву, отрубил бородач.

Глаза у него были маленькие, неподвижные и правдивые, как у зверя. И Шевардин почувствовал, что такой мог убить, и дал, чтобы не видеть огромных рук, и босых ног, и звериного взгляда.

Ночь была месячная и теплая; кое-где на берегу пели, и молчал монастырь.

Шевардин лежал на своем возу, упершись глазами в звезды, и чувствовал, как тесно на земле от скопившейся около нищей толпы и как тесно на небе от скопившихся звезд; и теснил его душу недоуменный тупой вопрос: кто это, огромный и могучий, так устроил жизнь, что отвел человеку слишком мало «можно» и слишком много «нельзя», и почему человек этому поверил и возвел это в культ, как святыню?

Утром, на рассвете, колокола зазвонили к заутрене, и зашевелилась толпа.

Над рекой еще ползал синеватый туман, и казалось, что вода дымится и закипает снизу.

Ярмарочная площадь заперела будками, палатками, базарагами и возами, а монастырь за рекою, закутанный около земли в туман и потому казавшийся в воздухе, звонил о бесплотном боге.

Шевардин стоял около своего воза и ждал покупателей.

Они подходили и проходили мимо, все с такими захудалыми лицами, некрасивые, приземистые, как корявые пеньки. Когда они покупали, то долго и неступленно торговались, божились, отходили, подходили снова и снова божились.

Буравили толпу разносчики, и звонкие голоса их высоко, точно испуганные, взвивались из общего гула.

Подъезжали на извозчиках богомольцы из города, все больше сытые купцы и женщины в старомодных шляпках, запыленные и усталые от дальней дороги. Дребезжали бубенчики на сухопарых лошадях, и стучали по мосту копыта.

Толпа раздавалась перед экипажами и вслед им пускала тонкие шпильки:

— Что значит богатым везде лафа: и к богу-то в гости в фаэтонах едут.

Как зыбь на воде, из уст в уста разносилась весть, что ночью увели лошадей у двух неизмаковцев. Кто увел, как всегда, было неизвестно; намекали на приезжих, с которыми неизмаковцы вчера побратались, пили водку и пели.

Чем позднее становилось, тем больше было пьяных и около возов и балаганов, и около монастырских гостиниц; они бродили, буйные и крикливые, и земля смеялась над ними и спихивала их то вправо, то влево. И чисто и широко было вверху, в небе, а толпа, сбившись клином на тесной площади перед монастырем, была узка и грязна, и было что-то жалкое и жуткое в том, как она веселилась.

А за монастырской стеной молились о благоденствии и процветании святых божиих церквей и соединении всех.

Но слова молитв были только колебанием воздуха.

Домой Шевардин ехал тою же дорогой, через монастырский и потом графский лес, но огромные сосны и широкий размах дали внизу уже смотрели на него, как что-то чужое и враждебное, как что-то такое, что упало сверху на жизнь заколдованным кругом и мешало жить.

Смолистый воздух, нагретый и пахучий, был тот же роздуж, что и вчера, но в нем было душно.

И маленькая саврасая кляча так же старательно выпячивала из-под изъеденной оводами шкуры свои дряблые мышцы и острые кости, а Шевардину хотелось схватить толстый кол и бить и бить ее до изнеможения и потери сознания, как живое воплощение всех маленьких «можно» и бесконечного «нельзя».

IX

Была молчаливая ночь и светлая, точно глядящая отовсюду.

Шевардину не хотелось спать.

Он вышел из сада, обогнул угол села и пошел вдоль берега.

Берег был обрывистый, сплошь покрытый серебристым лопушником, мокрым от росы. Под ногами Шевардина лопушник ломался и шуршал, хрупкий и сухой, как камень зимою. Снизу в стены берега узкими и частыми заливами вползла река и цепко держалась там, черная и

жуткая вблизи, ярко блестящая от месяца, веселая — на середине.

Ночь выпила из земли и унесла в небо кричащие дневные краски, и оттого земля стала легкой и серой, и даль земли нельзя было отделить от дали неба.

Около лесной опушки, там, где днем были видны развешанные на колья вентеря, похожие на великанов, чернели на воде два узких челнока, на берегу две рыбацьи фигуры.

Шевардин знал их обоих; один — Семен Драный, другой — Онисим Батрак, из Баринова хутора: случилось покупать у них рыбу.

Они ехали вместе, как два речных волка, и при месячном свете они были похожи один на другого, с обвисшими, точно прихлопнутыми сверху, старыми картузами, с венками волос из-под них, долгобородые, как рыбаки из Галилеи.

Шевардин остановился и наклонился вниз.

— Никак ловить едете? — спросил он вполголоса и услышал, что для этой ночи сказано было слишком громко: ночь встревоженно подхватила его слова и разнесла их далеко над водой.

Старики обернулись.

— Это кто?.. Садовник, кажись? — присмотрелся к нему Онисим.

— Во-во... Он самый, — отозвался Шевардин.

Река пахнула на него едким запахом тины, застоявшимся в заливе и поднятым челноками.

— Мы — почные птицы, каждую ночь ездим, нам не в диковинку, — прожужжал снизу старый голос Драного. — А ты чего ходишь?

— Так... Не спится, — бросил вниз Шевардин.

— Не спится, не ложится, и сон не берет?..

— Плохо твое дело... Девку тебе надо, — решил вопрос Онисим.

Корявые руки их, не спеша, сматывали вентеря и складывали их горкой на носу челноков, и видно было, как свесились в воду с бортов белесые сухие сети с кольцами из бересты.

— Без девок-то обойдемся, — отшутился Шевардин.

— Монашком, значит, живешь?! Ишь ты... — Онисим засмеялся. — А поне и монахи пошли такие — пальца им в рот не клади... В Неижмаконе вон целая улица отстрои-

лась, — всё монаховы женки живут... Так и улицу зовут — Монахова, право... А ты — без девок! Без них, видно, и в святые не попадешь...

Смотали последний вентерь.

Онисим потрогал рукой свой челнок и сдвинул его с мелководья. Семен вылил ковшом воду из своего и тоже двинул.

Запах тины плеснул в берег густой и плотной волной и прошел вдаль, тяжелый и острый.

— А что, старики, меня с собой не захватите? — спустился Шевардин вниз, к челнокам.

От веселой реки и лучей месяца и сквозной дали не хотелось идти в темный шалаш.

— Куда захватить-то? Кабы лодки... — глухо прошеле-стел Семен Драный.

— В челноке не разгуляешься... Тут большая сторожка нужна вдвоем ездить: чуть что — и плыви! — отозвался веселым баском Онисим и хитро добавил: — А табаком угостишь?.. Угостишь, тогда посажу.

— Сколько угодно, — обрадовался Шевардин, доставая табак из кармана.

— У него-то, у Онисима, можно, челнок хозяйский, вместительный, ну, у меня, прямо сказать, душегубка, у меня никаким манером вдвоем нельзя... И течет, — видишь, воду выливал...

Семен взял в руки весло и, высоко подымая ноги, вошел в свою посудину.

— То-то и оно-то, что ты — Драный! Кабы ты настоящий мужик был, а то драный, какой в тебе толк? — весело шутил Онисим, на свету скручивая из бумаги сигарку.

— Тебя не драли, вот ты и не Драный, а тебя бы схватили, ты был бы Драный... Такой случай... — безобидно отозвался Семен.

— Это хоть, положим, верно... Что верно, то верно, такой случай, — согласился Онисим.

И они поплыли вместе.

Там, где блестящими, коваными из света пятнами упали в воду лучи месяца, плавными толчками двигались вперед легкие и черные, острые челноки.

Лес по бокам реки молчал, река тоже молчала, говорили только носы челноков с водою, тихо, невнятно и влажно, и вполголоса, но громко для такой прозрачной ночи говорил Онисим Шевардину:

— Рыба, она ведь тоже не зря по всей реке ходит: она свое место знает, — прямо слободами живет, как люди... Правда истинная, свое место завсегда знает. Мы уж сколько лет рыбачим: здесь сула такая, например, а здесь — другая, на спине полоса темнее. Здесь вот, в этом месте, где дубки — коряги на дне, — здесь сазан; такой тебе сазан несметный, не выловишь! И здоровый, стерва! На крючок попадет, если инструмент плохой, слабый значит, все чисто порвет и уйдет... Прямо как боров! За дубками — там вырезуб по верху ходит. Этот ни за что на удочку не попадет, ходит и ходит, мелочью, сенавками питается... Тоже не кое-как, свое место тоже знает... А если чабака хочешь пымать, этому принаду нужно... Хоть чабаку, хоть сазану, обязательно принаду, без этого не пойдет. Он в глуби, посередке ходит... Вот ежели пустить гарца два жита пареного, так от середки да к берегу полосой, с вечера принадить, а утром прийти — отбою не будет! Все крючки и лески порвет! Все чисто порвет, приходи, кума, радоваться...

Вода журчала под челноками, и светлые пятна дробились сзади их в длинные искристые цепи.

В свете месяца молчаливо ехавший стороной Драный, серебристый по краям рубахи и картуза, казался таинственным и многодумным и был похож на большую осторожную птицу, готовую ежеминутно вырвать в воду.

Впереди, издалека видная, светлолистая ветла окунулась с берега в воду, точно принала пить, да так и застыла.

— Вои это место видишь? — кивнул на нее Онисим. — Это место — сомовое, тут омота скрозь, тут сом... Не так давно с кобылу сомов вытаскивали, но пуду зебры одни... Теперь уж таких нет, ну, тоже здоровые попадаются.

— А за что Семена секли? — вдруг громко перебил Шевардин, и свои же собственные слова вдруг показались ему лишними и жесткими для такой тишины и такой бесплотной дали.

— Семена-то? — Онисим обернулся к Семену и крикнул: — Семен! За что тебя драли, спрашивает?

— Ладно, за что... — буркнул сзади Семен.

И все замолчали.

Над водой неровно трепетали, гоняясь за лодкой, то появляясь, то исчезая, маленькие летучие мыши.

Черный лес слева казался только траурной рамкой для залитого лунным светом белого леса справа.

Где-то впереди, должно быть в мелком заливе, слышно было, щекотали в тине носами и тихо крикали дикие утки.

— Драли его за то: не бунтуй,— заговорил, закуривая новую сигарку, Онисим.— Бунтовщик он у нас оказался, пошел черкесов бить... за то его и драли... Тут такое дело было, куды! И черкесы наших побили, и наши черкесов побили, а драли только наших,— каких сослали, какие в острогу сидели. Генерал Грабин приезжал, значит, чтобы усмирять это дело... Приехал он, конечно, с удочками, складные такие, с колючками, в ящике их привез... Охотник до этого был, а у нас река, она известная, рыбная... Нужно только места показать, а к кому оборотиться? Ну, становой меня же знает, постоянно рыбу ему вожу, сейчас ко мне... Так я, значит, и остался здоров и невредим.

— То-то и дело... Просто это случай такой,— ввернул Семен.

— Не иначе как случай! До меня уж урядник добирался, да шиша взял. Генерал это мне: «Ну, говорит, рыбак, будет у тебя улов, будет тебе обнов». — «Ладно, говорю, постараемся». Вынесли это для нас ковры на берег, удочки мне дали... Лески богатые были: двадцать пять аршин леска одна. Посмотрел я на грузила, — эх, грузила не по-моему, — дай-ка перевяжу. Перевязал... Глядь, на середине шереспер бултыхнулся... А, думаю, ладно! Насадил и на то самое место как жарю! Как струна леска легла. Генерал так даже присел с удивлением: «Ну, говорит, рыбак! Сроду такого не видал, — как струна леска легла! Когда-то, говорит, рыба будет». — «А рыбу, говорю, ваше превосходительство, тянуть надо». Сразу это взялось и удилице гнет! Ухватились они вместе, генерал с дочерью, тянут-пыхтят, уморились, насилу к берегу подвели: двенадцать фунтов вытянули. Куда его такого девать? В кулек не лезет; в ковер завернули, солдаты понесли, как упокойника... Генерал мне бумажку свернул, — на! Думал я — рубль, а десять рублей оказалось... Так я на этом бунту еще и десятку заработал... Дела!

— А будь бы иначе, его бы драли, — онять вставил Семен.

— Это что и говорить! — живо подхватил Онисим. — Потому — урядник на меня зол, а зол, что ему в рыбе не

уважаю... Он бы меня не то что драть,— и сейчас бы я в Сибири сидел: сказал бы, зачинщик — и крышка. Нешто нам поверят? Ему поверят, потому что — власть, а мы что?.. Опять же и то сказать: в рыбе уважить! Мы-то за нее нешто денег не плотим? Полтора ста рублей мы за реку графу плотим, а за озеро особенно. Как тут уважить? Еле-еле свои деньги выгонишь. А мокнем-то? А ночей-то не спим? Посчитай-ка по совести...

От реки вверх подымались свежие, чуть видные полосы тумана.

Легкие весла челноков враз опускались в воду, и с каждым взмахом их челноки бросали за собою две сажени реки.

— Да вы далеко едете? — спросил Шевардин.

— Ага! Напросился, теперь посиди,— засмеялся Онисим.

— Верст за шесть поедем, за Пришиб. Теперь-то скоро,— прогудел сбоку Семен.

— Рыбы, ее и здесь много, да не возьмешь пипочем,— оглянувшись кругом Онисим.— Дубье внизу лежит, такое дубье на дне, прямо столетнее... Сколько сетей об него изорвали,— не возьмешь, как в крепости. Удочками здесь ловить, это так, удочками сколько хочешь... Ну, конечно, не прежние года, это и говорить нечего. Что старики нам говорили, да что теперь стало,— и звания того нет.

Онисим говорил, и хлопали по воде весла.

Прозрачный и легкий, полный лунных лучей воздух, округленный тишиною, проходил через все тело Шевардина и делал его таким же прозрачным, таким же легким, таким же тихим, но сбоку его, как черная, осторожная ночная птица, плыл на узком челноке Семен Драный, и в тишине чудился его замогильный голос, съедающий тишину, и черным пятном на прозрачный воздух ложилась его согнутая спина и съедала прозрачность.

— Как уезжал генерал,— говорил Онисим,— обещал петербургский подарок прислать. Я уж знаю, что это — петербургский подарок: это сто рублей у них называется. Конечно, богатому человеку, что ему сто рублей? Он и тыщу даст за удовольствие. Вот думаю, поправлюсь; избу покрою, землю сыму,— все честь честью. Месяц жду — нет... Два — нет... Почитай, полгода прошло,— призывает меня становой пристав. «На, говорит, получай, двадцать рублей тебе генерал прислал». Восемьдесят, значит, за-

жилил. Что ж, наше дело телячье,— пожевал да и в хлев, спорить не станешь... Начальство, его и воля... Восемьдесят рубликов, значит, на его пай пришлось: потрудился, конечно, мужику двадцать передамши... все-таки забота.

Огромная ночь кругом была светла и беззвучна, и Шевардин чувствовал, как в нее, большую, маленькими ядовитыми каплями падали слова мужика.

И капли эти мutilи светлую ночь и наполняли ее сверху донизу назойливым рожотом.

А за челноками струились яркие пятна света на черной волне, такие яркие, такие едкие, точно река насмешливо мигала глазами.

Х

С вечера падал редкий, но крупный дождь, к ночи он перестал, только небо сплошь обложилось тучами и захлопнуло землю, как крышка гроб.

Слабо качались верхушки яблонь, потом затихли, и черная ночь стала немой.

В шалаше было душно, и Шевардин не спал. Забившись от дождя в шалаш, комары хитро пели над самым ухом, тонкие и острые в широкой темноте, как блестящие иглы. Пахло лежалыми яблоками и черным хлебом.

Шевардин не спал, но то, что наполняло его днем, плыло теперь перед ним, растягиваясь и сплетаясь в бесформенные пестрые полотна.

Он с детства привыкший к земле, боготворил землю. Великая дающая сила земли покоряла его в каждом зеленом листе, в каждой тонкой былинке. Он по целым часам мог наблюдать, как завивались около сучьев гибкие усики хмеля, точно осмысленно тянулись к ним издали, снизу, и как, укрепившись на одном сучке, тонкая, зеленая веточка шла выше и усики ее искали новый сучок.

Он понимал и мягкий зеленый мох, робко гнездящийся на старых стволах, там, где навивы коры глубоки, как людские морщины.

И черная, свежеспаханная земля не была для него беззвучной: она была как бледное лицо, полное притаившейся скрытой работы и вот-вот готовое блеснуть яркою мыслью в наряде красивых слов.

И, любя землю, он привык думать, что земля любит его.

Но то, что он видел здесь, было для него новым и обидным: огромная земля кругом смотрела на него враждебно и тупо, как тяжелая каменная голова с надменной складкой бровей. Земля эта была высокая, чужая и пустая, а в провалах ее, где-то в глубоких и узких трещинах, кишмя кишели слепые люди, хотели подняться, подставляя друг другу плечи, но обрывались и падали, и были темны и нищи.

Огромной и пустой землей владел, неизвестно почему, один человек, такой же, как те люди внизу, но не любивший земли и живущий где-то вдаль. И там, где он не знал, что делать с огромной землею, в глубоких трещинах от тесноты задыхались люди.

А в это время тот, кто владел огромной землею, окутывал тела дорогих продажных женщин мачтовыми соснами своего майората и приезжал сюда только послушать, как трубят охотничьи рога в его лесах.

Над ухом Шевардина неотступно и громко, как в охотничьи рога, трубили комары, точно хотели напеть: так и будет, и будет, и будет.

В волны идущей снизу сырой плесени вливался запах гнилых яблок и черного хлеба. Черная ночь за дверью была немой.

Шевардин не представлял себе графа как человека: он был для него безличной тяжестью, давившей плечи, как пенужный, но тяжелый мешок, который хочется сбросить наземь, чтобы свободно вздохнуть. Он был для него тяжестью, давившей звуки, дождем, смывавшим краски, стеною, заслонившей даль.

Шевардин вспомнил небо, каким оно было перед вечером, насыщенное синим до черноты, с седыми кудрями вверху. Седые кудри были седые брови над хмурым, огромным, пугающим глазом, — и веселые краски поспешно сбежали с земли, и побледили и стихли звуки, и заплакала даль.

Таким был граф.

И весь он был маленький и далекий, весь он был надоедливо пенужный, как гуденье комаров, весь он был незаметный, как точка на белой стене, и всем кругом он мешал жить.

Шевардин любил землю, как полнозвучную красоту, как великую мощь, как воплощенную сказку; любил землю днем, любил ночью; любил ее в ризе солнечных лучей и

под фатой дождя; любил ее с раннего детства, когда проводил в лесу под Новгород-Северском лето за летом.

То, что он ясно помнил из детства, было сплошное море цветущей черемухи, белой, точно морская пена, пахучей и полной сверху донизу свистов и раскатов: это соловьи пели под ее сводами.

Обвивая сетями белые кусты, он сам загонял на заре и ловил серых большеглазых певунов и помнил, какие трепещущие были у них сердца, когда он вынимал их из сети.

Но он не мог тогда отделить соловьев от черемухи: это не они пели в лесу, это лес был живой и пел. Здесь же, за рекою, огромный сорокаверстный лес был нем, точно заколдованный, — чужой лес, лес одного человека и слишком большой для одного.

На горе, вправо от сада, за каменной стеной легла экономия графа, а от нее во все стороны, как паутинные нити, бежали через лес проволоки телефона, и ездили черкесы-объездчики по узким лесным дорогам, зоркие и хищные, как пауки, выслеживающие добычу.

И то, как издавна сложилась здесь жизнь, — был произвол; и то, чем и как держалась здесь жизнь, — было рабство.

Шевардин чувствовал что-то знакомое, по мере того как думал: к его широким мышцам подплывало что-то горячее и густое, как желчь, и они набухали и искали дела.

Но когда перед ним, рожденные почью, замелькали новые, яркие тепы, в немой темноте вдруг раздался сухой треск, короткий и слабый.

После него опять долгая, точно испугавшаяся тишина, и новый, осторожный треск ближе.

Шевардин поднялся.

«Вор!» — мелькнула догадка.

Он остановился напряженный, хотел было взять ружье, но взял толстую палку и, когда тихо отворял двери шалаша, услышал, как в дальнем углу сада кто-то осторожно тряс яблоню: шумели листья, и яблоки гулко падали на землю, как резиновые мячи.

Шевардин взгляделся в черную ночь и ничего не увидел: только вверх на мглистом небе реяли кроны деревьев.

Ощупью, путаясь в ветвях, он прокрался до ближайше-

го вишенника, обогнул его, наткнулся на дуплистую грушу и пополз по земле в сторону звуков. Земля была влажная, липкая и пахла травой.

Яблоки все падали часто и шумно, ближе и ближе. Кто-то стрясал их по-хозяйски со всех сторон дерева, и слышно было, как они хрустели на земле под чьими-то ногами.

За шумом тот, кто хозяйничал в саду, не слышал, как подполз Шевардин, и, когда чиркнула и зажглась за его спиной спичка, он обернулся и застыл на месте, испуганно мигая глазами.

Он был молодой мужик, остролицый, низенький, с кустистой бородкой, с мешком в левой руке. Несколько мгновений он стоял ошеломленный, потом светлым пятном в темноте кинулся к плетню, натываясь на ветки.

Не отдавая себе отчета, зачем это пужно, Шевардин бросился за ним.

Он настиг его около самого плетня, и они боролись там, тяжело дышащие и безмолвные, как два зверя.

Шевардин чувствовал, как потом и грязью пахло от мужика и какие узкие, жесткие были у него руки, точно куски деревянных брусьев, сбитые на локтях, и слышал, как стучали у него зубы и хрипела грудь.

И когда Шевардин свалил его, более сильный, он услышал глухой голос, идущий снизу:

— Пусти!

Так много было в этом голосе глубокого провала, что он мгновенно разжал пальцы, впившиеся в костлявые плечи, и встал над ним, высокий и ожидающий.

Вор тоже встал.

Глаза Шевардина освоились с темнотой и теперь почти ясно различали белеющую перед ним рубаху мужика и ловили в воздухе его дыхание, тяжелое и густое.

— Здоровый какой! — с одышкой заговорил мужик. — А говорили — из господ... Из господ, а здоровый... Ешь, дожно, вдосталь?

Нескладные слова, глухие и скрипучие, ударились в Шевардина и упали наземь; а вдогонку за ними поползли другие слова, такие же ненужные:

— Теперь, значит, на съезжку меня поведешь?.. Сделай милость, ведя на съезжку... Все одно мне, — веди на съезжку... Хоть веди, хоть не веди, все одно...

— Да ты что, пьян, что ли? — крикнул на него Шевардин.

— Пьянай?.. — Мужик помолчал, точно выдавливал откуда-то из себя горечь, и в словах его почудился тупой смех.— Только того и пьянай — жена помирает... Только и пьянства — двое суток помирает, а значит, того... и не могут... Ни помереть, ни жисти нет... кричит!

— Больна, что ль? — тихо спросил Шевардин.

— Мочь надорвала! — с силой ответил мужик.— Значит, тяжело подняла по хозяйству, ну, надорвала... Сама, понимаешь, тяжелая была,— руки мужика метнулись около живота,— а тут ешшо чижельство подняла — и враз... Как легла, так и лежит... Пластом... Душа с телом расставается.

— Черт куцый! — закричал Шевардин.— Тут акушерку искать нужно, а он в сад лезет... В сад-то зачем лез?

— Это самое... ты постой,— вдруг ухватил его за руку мужик.— Что на меня кричать? И так я убитай... Кушерки-то, ее у нас нету... Значит, бабка есть, а кушерки нету... Бабка, это, наша, значит, Севастьяниха, возьми ей чего-то и дай... Ну, хуже ей стало, жене-то: кровью зачало рвать... Кричмя кричит, живот во какой, а пользы нет... Кушерка, она есть, только в Студенке она, на заводе, такая, значит, казенная, от земства, а то тут, в Неижмакове, господа на свежий воздух приезжают, ешшо кушерка есть, немка она, значит, вольная... К той я ездил — в Студенок, вчера ешшо ездил, ну, говорят, занятая, а сюда пошел до немки, эта не хочет. К ней, конечно, с деньгами надо, а денег-то, их нету...

— А яблоки тут при чем? — не понял Шевардин.

— Это самое... — заспешил мужик,— продал бы я их, яблоки-то, да кушерку бы привез.

— Дуб еловый! Да ты бы занял у кого-нибудь рубль, только и всего,— не выдержал Шевардин.

— Просил я... не даст никто... И хозяйство-то у меня плохое, и опять же баба, она... родит, грят, не тоскуй... баба, грят, такое дело... родит, боле ничего... значит, время подошло. А время-то, оно не подошло, а это, значит, от чижельства.

— Ты откуда сам? — спросил Шевардин.

— Я-то? Я с Баринава... Чичибубин Леонтий... Так кличут по-деревенски Чичибубин, а фамилия Марков... Крайняя изба наша... Как из лесу выйтить, так счас изба... так, немудрая изба... Бобыли мы.

Шевардин не видел его глаз, но представлял их ясно: серые, испуганные, далеко ушедшие в глазницы, как затравленные звери в глубину нор; и представлял он, какие копошились за ними мысли, тяжелые и острые, как камни, которые никак нельзя было вложить в бездушную ткань слов: они прорывались и падали, и не выходили из головы, а оставались все там, за узкими стенками черепа, и резали и давили мозг.

И это представление его испугало.

— Так вот что, — заговорил он, волнуясь. — Дам я тебе рубль, беги за этой немкой в Неижмаково и скажи, что не может она не ехать, когда человек умирает... Так и скажи. Должна она приехать, когда иначе человек умрет, понял... На рубль.

Чичибубин сначала не понял, но потом, когда серебряная монета, белевшая в темноте, коснулась его пальцев, он как-то вскинулся неловко и жалко упал в ноги.

Было темно и жутко кругом.

Черное небо стиснуло в соинных объятиях черную землю и застыло, а там, где оно припало к земле, было холодно и мокро от его непересохших недавних слез.

На коленях, тыкаясь сухими губами в широкую руку Шевардина, ползал перед ним Чичибубин и что-то хотел сказать, но выходило мычание.

Шевардин выдернул руку и отшатнулся. Страшно было, что так дешево стояла человеческая жизнь в таком огромном богатом мире, что ночь кругом была так черна, а людское горе так бело и ярко, что в этом мычании внизу было так много задавленных звуков, тяжелых, как земля.

Через минуту черная ночь растворила в себе бежавшего из села Чичибубина, но звуки его шмурыгающих шагов долго еще бороздили тишину, пока не обесцветились пространством и потонули в нем.

Шевардин собрал сбитые яблоки в брошенный мужиком мешок и отнес в шалаш. Яблоки оказались шафраном, еще зеленым и кислым, и вряд ли кто купил бы их у Чичибубина хоть за полтинник.

Представилось, как бежит теперь он один в темноте с крепко зажатым в руке рублем, спотыкается, перескакивает через ухабы, остановится отдохнуть немного и опять побежит. Впереди его, в Неижмакове, — акушерка-немка, позади, в Баринове, при смерти жена, и между эти

ми двумя полюсами бьется его небойкая мысль, то обгоняет его, то отстает, то бежит с ним рядом. Где-то далеко за границей — граф, где-то еще дальше, высоко над звездами бог, в которого твердо верит Чичибубин как в высшую справедливость. Но от божьих звезд спрятана земля под крышею туч, и в темноте не видно справедливости, не видно несправедливости, не видно даже земли, как не видно неба, — видны только собственные шаги, короткие, спотыкающиеся и частые, и виден клочок дороги под этими шагами.

«А что, если никакой жены нет и все это только придумано? И Чичибубина никакого нет, а есть какой-нибудь Печкин, и все это только для того, чтобы разжалобить?» — подумал вдруг Шевардин.

Эта случайная мысль больно хлестнула мозг, но когда Шевардин схоронил ее в себе, на смену явилась новая, такая же острая: «А что, если с рублем в руке Чичибубин теперь вприпрыжку бежит домой и давится в темноте от смеха?»

И эта мысль быстро застыдилась своего ядовитого облика и пропала. Но за ними, как жабы из мокрой канавы, выползали откуда-то со дна души все новые и новые, такие же нелепые и обидные мысли. И, кружась в голове, они разгоняли там сон и, выливаясь наружу, разгоняли темноту ночи.

Шевардин лег было в шалаше, но не мог заснуть. Опять запахло плесенью и черным хлебом, опять загудели комары, казавшиеся большими и звонкими от тишины ночи.

Шевардин встал, запер шалаш, пробрался между знакомыми деревьями сада, перелез через плетень и утонул в темноте так же, как Чичибубин, только тот шел в Ненижмаково, этот — в Барново.

Дорогу он помнил: обогнуть на отлете стоящую кузницу, миновать огороды татьяновцев и потом все время лесом, полторы-две версты до поляны.

Кузница маячила сивава, как большой черный гроб, шаги были громки, точно ковали вперсебой два молота, и с огородов похорошно пахло спелой коноплею.

Когда Шевардин шел обратно, нанесенная туманом темнота уже сползала с земли, обнажая ближние деревья

леса, и небо начинало белеть сквозь черные сучья, и тихо заговорили листья.

А в мозгу Шевардина, точно выжженная, прочно сидела изба Чичибубина, узкая изба с кривою печью, с лавками вдоль стен, с зеленой лампадкой перед горою темных образов.

Изба была крайняя, без двора, с незапертой дверью, и когда Шевардин входил в нее, там на одной лавке справа спала старуха, а прямо, на другой лавке, головой к образам, жена Чичибубина, с белыми поднятыми ногами, сведенными в коленях, и с обнаженным высоким животом.

Когда Шевардин вошел, только собака где-то за окном залилась лаем, но в избе не шелохнулась старуха; а у больной крупно дрожала нижняя челюсть завалившегося лица, и слышно было мычание и стук зубов.

Глаза ее были закрыты, прядь желтых волос припала ко лбу, руки были сжаты на груди, ниже сердца, и все тело дергалось в судорогах так сильно, что скрипела лавка...

Великое таинство смерти совершилось при Шевардине. Испуганными глазами он видел, как начало, икая, вытягиваться тело; сначала ноги разжались и легли ровно, одна около другой, так что живот стал еще белее, круглее и выше, потом отошли полукругом с груди и упали руки; в голове еще теплилась жизнь и борьба, — она слабо дергалась, как голова зарезанной птицы, — недолго, и застыла, прижавшись подбородком к шее.

Шевардин положил ей на лоб свою руку, — лоб был холодный и легкий на ощупь.

То, что было живым и думавшим человеком, стало трупом.

Зеленым, насмешливым глазом мигала у образов лампадка, и спала старуха, тихо и задумчиво свистя во сне...

На бледном небе рассвета лес казался одним тысячеруким, и что-то глядело сквозь него мутно, спросонья, точно старалось осмыслить жизнь и не могло.

Шаги Шевардина были тверды и звучны, как камни.

Он шел по майорату и знал это, и знал, что майорат задавил Чичибубина и раздавил вот теперь его жену.

И из-под кусков разорванных, болящих, летучих мыслей выдвигалась в нем одна круглая и цельная мысль: «Если граф, холостой и бездетный, умрет, то майората не будет».

Бывают в середине августа такие солнечные дни, когда блеску слишком много в воздухе и когда земля точно осыпана осколками битого стекла, и блестят листья и стволы деревьев, блестит трава, отсвечивает дорога.

Земля вблизи становится шире и ярче, а даль задумчивей и бледнее.

В такие дни хочется смотреть и слушать и хочется думать о чем-нибудь далеком и сказочном, как хрустальные дворцы.

В саду Шевардина в один из таких дней все было похоже на ярко освещенную церковь, и светлые, желтые ветки яблонь были как свечи.

Откуда-то из лесу налетели в сад молодые синицы, желтогрудые, синекрылые, с черными головками. Они бойко шныряли в переплете ветвей, и целый день с утра слышно было их звонкое «пинь-пинь-пинь» и стук носов о крепкую кору.

Начинали падать листья, начинали украдкой, по одному, точно блюли очередь.

В ясном небе бесплотно отражалась набело вымытая солнцем юная и безгрешная земля, и небо отражалось в земле, как в выпуклом зеркале.

Неясными звуками был полон воздух: это звенели кузнечики где-то около на подсыхающих, тонких, как струны, травах, и что-то еще далеко было слышно, чего нельзя было понять, но без чего было бы скучно.

В этот день мимо сада провезли на скрипучей тележке татьяновца Ивана Ткача, убитого в Студенке, на лесопилке графа.

Ткач лежал на ярко-желтой соломе темным пятном, а около него шагали его брат Михайло и студенецкий мужик, нанятый перевезти тело.

Убило его взрывом котла в машине, и этот взрыв для него, пильщика, был громом с ясного неба, разможившим ему череп.

В селе не знали о смерти Ткача.

На реке, под садом, его жена с женой Михайла мочили лен. Снопья льна были навалены на берегу, светлые и рыхлые, и обе бабы, высоко подоткнув юбки, носили их в реку, вымазывали в грязь, чтобы не унесло течением, и звонко смеялись.

В реку гляделся, лениво щурясь, спокойный лес, и вместе с бабами смеялся берег, заросший белым лопушником, смеялся игриво, заразительно, как бойкий белобрысый мальчуган с торчащими во все стороны вихрами.

Его точно держал кто-то снизу, а он все хотел подняться и посмотреть вдаль, но не мог и, смеясь, боролся с кем-то узкими, как руки, песчаными косами, и волнистый, точно задыхающийся от смеха и борьбы, вырывался и катился дальше, пока не пропадал за поворотом.

Когда показался на дороге медленный воз, он тоже смеялся: вспыхивающие улыбки ползали по рубашам шагавших мужиков, по желтой соломе, чалой гриве лошади и блестевшим ободьям.

Но на возу на соломе лежал плач.

Он был только не виден издали, а сила его, сжатого на узкой телеге, была так же велика, как сила смеха, разлитого кругом.

И когда он подъехал ближе, потускнел берег и глубже в воду ушло отражение леса.

Шевардин слышал, как заплакали, взвизгнув, женщины, сперва жена Ивана Ткача, потом другая. Это были страшные и резкие звуки, высокие и колючие, как кусты безлистного боярышника на лесной опушке.

Вдова вцепилась руками в тело Ивана и застыла на нем, безостановочно воя, и короткая клетчатая юбка мелко вздрагивала над ее ногами, покрытыми грязью.

И, потупившись, стояли около мужики, и, задумчиво опустив мягкую голову, шевелила ушами лошадь.

Плач так же многолик, как и смех.

С тихих улиц и издалека с берега, спеша, сходились татьяновцы, подходя, крестились, соболезнующе качали головами, и новые бабы начинали вторить старым.

Когда подошел к возу Шевардин, он увидел, как жена Ткача, безглазая от слез и красная, точно слезы сожгли всю кожу на ее лице, тыкалась в толпу грязными руками и причитала:

— Симнадцать кониек зосталось, миленькие!.. Пятеро диток малых... симнадцать кониек... Маты моя ридна!..

От грязных рук на красном лице ее легли грязные полосы; слезы смывали их в мелкие ручьи, и от этого крик ее казался еще более ползучим и земным.

Все стоящие кругом знали, что у нее пятеро детей и что в домашнем обиходе ее никак не может быть больше

семнадцати копеек, но оттого, что она сейчас перед телом мужа вспомнила это, пятеро детей завертелись выпукло перед глазами, пятеро чумазых маленьких ребят, поднявших возню из-за семнадцати копеек, и это было похоже на суеверное заклинание, от которого ползут мурашки.

А с телеги искривленным окровавленным лицом и пробитым черепом ядовито подмигивал в небо труп Ивана Ткача.

Неспокойный он был и после смерти, и сжатые ноздри его узкого носа, казалось, подозрительно приплюсывались к воздуху, оттопыренное вспухшее правое ухо ловило звуки, а глаза встревоженно смотрели сквозь опущенные веки, не грозит ли им что-нибудь спереди, сверху, с боков.

Молодой рыжий Михайло говорил в стороне апостольски старому деду:

— Должны яке-небудь пособия дать... семейству, стало быть... яке-небудь...

А дед отрицательно мотая головой и тягуче доказывал, что пособия граф не даст:

— Як десять, чи двенадцать год тому задавило Трохима Бузыря, та Грицка Крейду, тих, шо графский камень били, дали шо-небудь? Эге!.. А як графски собаки Панасову дивчину заили, дали шо-небудь? То ж то и е...

У старика был застывший, обращенный внутрь взгляд, но по желтизне его бороды от сухих губ вниз ползла ядовитая усмешка, такая же, как на мертвом лице Ивана, и один лежащий, другой готовый лечь, они были — одно.

Хиурый студенецкий мужик дернул лошадь. Вадрогнуло на телеге тело Ткача, блеснули, покотившись, ободья колес, телега заскрипела.

Кучка людей около воза двинулась за ним, как одно большое тело.

Подходили новые люди, и толпа росла, и все та же вдовья жалоба пестро, крикливо колыхалась над нею, как флаг при ветре:

— Семнадцать копеек осталось, ридные мои-и!! Пятеро диток малых!.. Ненька моя мила, шо ж я, сиротына, маю з ними робиты!..

Сад на горе молчал, и далекий и чуткий молчал за ним неподвижный, белый берег.

Недели через полторы разнесся слух, что приедет граф на охоту.

Кругом все ожило и зашпешило.

Шевардин не один раз видел, как по дороге мимо сада на тройке с колокольчиками мчался куда-то Аурас, жиденький немец с острой лисьей мордочкой и длинным носом.

Около него неизменно галопировали два черкеса в высоких шапках и красных чекменях: один старый, чернобородый, другой молодой, верткий.

И встречавшиеся им мужики низко снимали шапки и, окутанные облаком пыли, молчаливо смотрели им вслед.

С берега реки было видно, как у белого дома на горе шевелились люди; говорили, что там мыли окна, выносили проветривать мебель, белили галерею.

О. Мефодий откуда-то узнал, что граф хочет жениться на еврейке и с нею вместе приедет, как с невестой. Возбужденный этим слухом, он явился в сад к Шевардину сияющий, как только что сошедший с иконы.

— Великолепный факт! — хитро щурясь, говорил он. — Ведь это значит, что нужно ее к православию приводить, ибо на еврейках по закону жениться нельзя. Теперь, этак нежно, раскинем мозгом: приглашать для наставления этой самой еврейки кого-нибудь со стороны неловко — разболтает; из монастыря архимандрита взять — тоже огласка, да и зачем такую персону, ведь это — форма одна, — разве для них важно. Выходит, что такой пон, как я, например, самое благое дело... Могилы!.. И запугать можно, и наградить можно... А вы как бы думали? Могилы! И стоило бы дешево... А? Если бы, например, десятинок пять — десять леску. Сосновенького...

— Губа не дура, — заметил Шевардин.

— И очень просто... Что ему пять — десять десятин. Это с сорока-то верст лесу! Все равно, что для нас с вами полтинник... А пять — десять десятин — это того, с какой стороны на это ни посмотри... Великолепный факт, а?

Почему-то дальше пяти — десяти десятин фантазия нона не шла, но за эти пять — десять он держался крепко и даже назначил им приблизительное место — рядом с монастырской землей.

И, говоря об этом, он все смеялся, и курил, и хлопал

Шевардина по колену, и слова его казались Шевардину противными и рыжими, как его подрясник.

Он знал, что о. Мефодий только что перед этим написал своим прихожанам жалобу на Аураса. Немец отвел одному из конторщиков место для постройки дома как раз около татьяновского кладбища, а для надворных построек приказал занять часть кладбища. Рабочие заняли. Пришли в субботу бабы на могилы, а могил никаких нет,— есть ямы, навален лес, и ветхая ограда кладбища отодвинута внутрь сажен на десять.

Бабы подняли вой, но мужики не бунтовали, помня черкесов и солдат, а собрались к о. Мефодию писать прошение и целый день галдели и писали.

Это случилось недавно, после ярмарки, но о. Мефодий теперь уже молчал о прошении, и оно лежало у него в шкатулке, до выяснения вопроса о графской невесте.

Яблоки поспевали. За грушовкой и белью сняли анис, казачку, малиновку, царский налив. Погода стояла теплая, сухая, тихая, и пряный аромат так и реял в воздухе.

Помогать Шевардину пришел и писарь Яков Трофимыч с тремя малышами, которых негде было учить. Малыши в розовых рубашках сначала дичились, держались кучкой и смотрели исподлобья, но потом бойко шныряли в кустах, звонко кричали и перебрасывались гнилушками.

А в это время сам Яков Трофимыч глухо и тихо, точно заговорщик, гудел около Шевардина:

— Вот приедет, постреляет и уедет... только и всего... И зачем же, скажите пожалуйста,— между нами,— ему такая масса земли дадена, а другие около него в загоне живут?

Шевардину казалось, что это назойливо жужжит около большая серая муха, и он отмахивался от писаря рукой.

Яблок собрали много. Ими завален был шалаш, и большая, желто-розовая куча, свежая и лоснящаяся на солнце, тяжело лежала на сене около самого входа.

Толстая баба, матушка о. Мефодия, приходила покупать эту кучу, долго рылась в ней, пробовала вкус, ломала яблоки жесткими руками, чтобы узнать, годятся ли в мочку, давала за пять пудов два рубля и, когда Шевардин засмеялся только в ответ, обиженная ушла.

Яков Трофимыч подмигивал ей вслед и, отвернувшись и спрятавшись за куст, беззвучно хихикал.

Приехал граф 30 августа днем.

Так как со станции до белого дома на горе дорога шла мимо села, то о. Мефодий встречал его, — чего не бывало в прошлые годы, — в толпе празднично одетых татьянцев и с крестом в руках.

День был облачный, даль серая.

Накануне прошел дождь, и потому дорога была твердая и влажная, и четко было видно, как приближались звонкие кони.

Впереди мчались черкесы — шесть человек, треугольником, как летят журавли. Красивы были они, все в новых ярких епанчах, крыльями вившихся сзади, в высоких папахах, загорелые, хищные, чуть пригнувшиеся к лукам седел на сухих дыбившихся лошадях.

За ними в легком плетеном тюльбери, запряженном парой, ехали Аурас и становой пристав. Аурас что-то говорил приставу, чего не было слышно за звоном колокольчиков и бубенцов, и размахивал тощими руками. Усатый круглый пристав, соглашаясь, покачивал головой.

За тюльбери выплывало ландо с четверкой лошадей. Лошади все, как одна, редкой караковой масти, пристяжные с крутым отгибом голов, с плавным переводом ног. Кучер широкий и рыжий, в желтом атласе на груди безрукавки, с павлиньими перьями на голове. В ландо сидел граф — толстый, с отвисшими щеками, с ленивым взглядом из-под серой пуховой шляпы. Около него невеста — смуглая, большеглазая, похожая на итальянских певиц.

Мелькнули, и уже сзади, цовые экипажи: лошадиные морды, огненные птицы на дамских шляпках, кучера, звонкие бубенцы, лоснящиеся крылья колясок, колеса, слитые в сплошные круги.

О. Мефодий широко благословлял едущих сверкавшим крестом; обнаженные головы толпы около него молчаливо кланялись в пояс.

Промчались, — и в воздухе остался запах женских духов и конского пота, а головы татьянцев все были притянуты туда, где в повороте дороги один за другим тонули и скрывались экипажи.

Шевардин стоял тут же около самой дороги, глубоко заложив руки в карман форменной тужурки. Из-под копыт и колес в его сторону летели влажные комья грязи.

а в широкие извивы мозга глубоко вонзились четырехугольные щеки графа, сощуренные глаза, мягкая шляпа, завязанные узлами хвосты лошадей, подушки из голубого бархата, белый платочек в чьей-то белой руке...

— Черпенькую-то, евреечку, видели? — спросил о. Мефодий, когда шли они вместе к саду, один красный и радостный, другой сжавшийся и бледный. — Подцепил ведь, а? Понимает толк по этой части.

Глаза у попа были влажные, наваксенные, и зубы скалились, точно жевал он сырое мясо.

— Это итальянка, а не еврейка, — бросил в ответ Шевардин.

— Толкуйте мне — итальянка! — шутливо отбросил поп.

Уверенный тон о. Мефодия понемногу взвинчивал Шевардина, и хотелось его разозлить и выбить из седла иллюзий.

— Не видать вам, отче, ваших нелепых десятиц, как своих ушей. Итальянцы — католики и к православию не приводятся, — медленно, точно баржу потянул, начал он.

— Ладно, ладно... Толкуйте мне, — легонько толкнул его в бок о. Мефодий.

— Итальянок я, отче, видел на сцене, в опере, — придумал Шевардин. — Эта — точнейшая копия, и прическа такая же, и глаза тарелкой, — все на своем месте. А кто вам писал насчет еврейки — плохо слышал, а если сам сообразил, — голова у него очень уж туга.

— Да ведь брюнетка! — встревожился поп.

— То-то я и говорю, что голова туга: кроме еврейки, туда ни одна брюнетка не входит. Раз брюнетка, значит, и готово... Вы-то сами разве блондин? Целиком из Ефиопии.

— Я — особое дело, я лицо духовное, — немного обиделся поп.

— Ну, так вот-с. И введет он ее в русские дебри без всякого срама и с какой угодно оглаской, и не только вы ему, а и великолепнейший архимандрит ваш ему не нужен... Так-то, отче!

— Ври, ври... Мели, Емеля... — слабо защищался поп.

— Думаете вы, о чем они говорят теперь... — продолжал Шевардин. — Она ему певучим контральто: «Какой смешной поп с крестом на дорогу вышел и мужиков еще

с собой привел!» А он ей: «Милая моя! Это что! То ли еще быть может. Стоит только намек сделать — не то что Христа, — далеко Христос, — отца родного продаст за десятину, а приготовь ему осинку с веревкой в лесу — небось не повесится по-иудину: осину срубит, обтешет и продаст за трешницу, а веревку домой принесет, дворнягу привяжет... Например, кладбище тут есть... Хочешь, мы его распашем и спаржи посадим. Только приказать — готово».

О. Мефодий остановился и недоумело посмотрел на Шевардина.

— Это вы что... Это ты как, в шутку или всерьез? — пробормотал он.

Глаза у него стали круглые и встревоженные, и смешливые морщинки под ними растянулись, как перчатки на пальцах.

— Я насчет шуток плох, отче, — остановился и Шевардин. — Да шутить тут и нечего. Больно уж вы привыкли на кривых ездить: чуть правду скажешь, — сейчас и шутка.

— Так это ты мне? Мне, духовному лицу, слова такие... — задохнулся о. Мефодий.

— Тебе, тебе, отче, — вскинул Шевардин на пона свой крупный подбородок. — Тебе, тебе!

— Ага! Так... Так ты вот какой!.. Ага, ладно!

О. Мефодий хрипел, и глаза у него были неподвижные и красные.

— И агакать тут нечего, отче... Свиною куликом не назовешь, — такое дело.

— Свиною-с!

О. Мефодий оглянулся кругом, точно лица помощи, и увидел шагах в двадцати от себя писаря Якова Трофимыча.

С маленьким свишкой на руках тот тихошел сзади, выставив в их сторону ухо.

— Слышишь! Яков Трофимов! Будь свидетель!.. Будь свидетель, как разбойник священника ругает! — закричал ему о. Мефодий.

Но писарь, согнувшись и семеня ногами, быстро-быстро двинулся вправо, потом кустами, гумнами, и исчез. И было слышно, как на руках его, должно быть испуганный бегством отца, кричал ребенок.

— Понче же у пристава будешь, слышишь? — проши-

пел поп и пошел от Шевардина влево, а пройдя шагов пять, обернулся и крикнул: — Слышишь?

— А платить тебе двадцать рублей кто будет? Неужто расстанешься? — насмешливо крикнул ему вдогонку Шевардин.

Поп не ответил, но по тому, как он шел, размахивая широкими рукавами подрясника, видно было, что из седла иллюзий он выбит, и видно было, как что-то упрямое и злое вползло под его высокую шляпу и пыжилось, и ерошилось там, и кололо мозг.

А Шевардину стало весело, и широко шагало.

XIV

До поздней ночи он сидел и писал письмо Терновскому, писал карандашом, на простом листке бумаги, перед свечкой, около которой вились и падали с обожженными крыльями мелкие ночные бабочки.

«Мне опротивели,— писал Шевардин,— и сад, и Татьяновки на том берегу и на этом, и сорок верст графского майората, в котором дохнут от голода мужики, и то, что тут все молчит: и лес, и река, и люди. И это меня душит, и хочется мне рывкнуть во весь голос с какой-нибудь высокой точки, пу хоть с монастырской часовни на горе: «Да сколько же еще вы будете молчать? Вы — колокол миллионнопудовый! Каким рычагом можно раскатать и хватить в борта вашим языком так, чтобы дрогнул около воздух?..» И воздух здесь какой-то сонный: за все время, пока я здесь, не было ни порядочного ветра, ни грозы... Молчит. Молчат дни, молчат ночи. Точно змеи зимой, оцепенели и молчат в голове мысли. И почему это все на меня так сильно действует? Или развинтились нервы? Может быть, и не нервы, а просто силу свою хочется приложить к чему-то большому, к какой-то огромной динамо-машине так, чтобы далеко кругом завертелись колеса и пошел трезвон. Молчит проклятый воздух, и я никак не могу понять, почему молчу я, если молчит воздух.

Если что случится со мной и ты услышишь — не удивляйся; знай только, что мне опротивело до предела. Должен быть такой предел, дальше которого нельзя терпеть, иначе сам себе опротивеешь.

И знай, что здесь чудесный воздух, и на реку вечером

наглядеться нельзя, и земля здесь — ложись и целуй, только земля эта — майорат, река — майорат, воздух — майорат. Это проклятое слово сквозит здесь на каждом шагу, на каждом шагу перед тобой столб с надписью: «Езда воспрещается», «Ходьба воспрещается», «Стрельба воспрещается».

Майорат давит со всех сторон. Он, как огромное чудовище, съевшее все, что вдали, все, что вблизи, и от него тесно плечам, как в клетке. Он стал для меня живым, этот майорат... Скажи мне, что я не сошел с ума, или я сам себе не поверю.

По ночам я перестал почти спать. По ночам виднее небо и не видно земли, и майората не видно. Тогда я представляю, какая красивая и полная смысла жизнь могла бы быть здесь, около меня, если бы не было майората.

Теперь, когда я пишу, именно такая ночь: того, что на земле, не видно, и можно по-своему переставлять предметы и по-своему населять даль. И я переставляю и населяю. Около меня пахнут яблони, и я вспоминаю, что в Татьяновке нет ни одного деревца в то время, когда вокруг богатейшая почва для сада. Вся земля вокруг могла бы быть одним роскошным садом, могла бы, но этого нет. Нет школ, нет больниц, нет красоты, — одно сплошное «нет», вся жизнь одно живое отрицание, воплощенное в кусок черного хлеба, из которого можно ковать ядра для пушек.

Представляешь ли ты картину жизни, когда человек живет так, что хуже нельзя придумать? Люди могли бы быть действительно царями земли, а здесь они узки, как иголки, выжатые под прессом майората и тесно воткнутые в жалкие клочки земли, когда вокруг огромный простор — чужой, преступно чужой, потому что на нем один и совершенно лишний для жизни человек.

Трудящийся достоин пропитания; не знаю, кем это сказано и когда, но сказано именно то, что нужно. Мне хочется, чтобы трудящийся был достоин, и мне кажется, что я это сделаю.

Сегодня днем приехал сюда граф на охоту...»

Шевардин остановился, прочитал, что написал, и медленно разорвал весь лист сверху до низу. Потом вытащил из шалаша ружье, начал патрон крушой заячьей дробью и зарядил.

Ружье отсырело около курка и покрылось точкой

ржавчиной. Шевардин вытер его паклей и снова отнес в шалаш.

Около свечки внизу падала гряда сереньких, как су- мерки, легких и мягких, как паутина, ночных мотыльков, и Шевардин долго сидел над ними в изучающей позе. Мотыльки все были вредные для растений и слабые и мелкие, еле заметные, но жаль их было, и больно было смотреть, как они ползали недоумевающие, растерянные, ошеломленные светом, не умеющие шевелить остатками своих тонких крыльев, не в силах подняться и лететь туда, где в черном просторе пахли яблони.

И, чтобы не видеть, как они летят на огонь и падают, обжигаясь, Шевардин потушил свечку.

XV

С тяжелых осокорей падали легкие листья. Попав на свободу, они долго вились и плавали в воздухе, потом теплыми яркими пятнами бессильно ложились на землю.

Воздух стал прозрачный и звонкий, и сквозь все небо любопытно смотрели куны сосен на самом горизонте. То, что было далеко, стало близким, и робко зазвучало то, что молчало.

Шевардин, начиная с утра, целый день ходил по дорогам около монастыря и графского дома. За плечами его висело ружье с замысловатой надписью на ложе: «Се гут, се бон, се балабонюка, се Лондбн, се кузнец Иван Коваль». В своей куртке с зелеными кантами он был похож на лесника, высматривающего порубки.

Сад он бросил на произвол татьяновцев, впрочем, последний сбор был уже продан по мелочам, а оставались не снятыми только крепкие сорта — антоповка, титовка, шафран, и то всего несколько яблонь.

Походка его была та же легкая походка с развальцем, и неоформившиеся плечи стали еще шире за лето и расширили по швам тесную куртку, но угловатое лицо было бледно.

Шевардин решил застрелить графа в первый же момент, как его увидит.

Ему представлялась старуха прачка, тетка из Новгород-Северска, вечно мокрая, усталая, аккуратно трогательная со своими рублями на Пасху и Рождество; представ-

лялось ее сморщенное лицо и потрескавшиеся от воды руки и то, как она заохает и заголосит, когда услышит, что он убил человека.

И в то же время было неоспоримо, это ей не от кого услышать, что между ним и ею нет никаких звеньев, и он один.

Он прошел спокойным деловым шагом сначала к графскому дому, потом к монастырю, потом перешел через мост и обогнул Неижмаково.

К полудню он был на мельнице Буднякава. Мельница стояла в лесу на глубоком и чистом заливе. Из темной воды около плотины торчали черные, кривые зубья старых свай, и какие-то древние коряги протянули над самой водой узловатые лапы.

Видно было, какая бездонная и холодная была вода, и неподвижная и густая внизу, как слизь. В стороне стучала мельница, но тут, в омуте, было тихо.

Шевардин представил, что можно броситься и утонуть в этой воде и лежать там внизу, в холодной слизи, между черными сваями и лапами коряг. Представил и отвернулся. Вырос перед ним безликий страх и заглянул в душу белыми глазами, такими белыми, тусклыми, как у мертвеца.

С плотины видно было, как колеса мельницы, огромные, медлительные и слепые, в мелкие брызги дробили рыдающую и бьющуюся внизу воду, и она быстро-быстро, — не успевали следить глаза, — падала с черных, скользких от моха решеток в виде мелкой, искристой, сверкающей, плачущей сети.

На мельнице над ковшами белым туманом стояла мучная пыль, и все мужики, возившиеся там, и пузатая баба в красном платке, и синеглазый мальчонка в широких пестрядиных портах были сплошь седые от этой пыли.

А на плотине в стороне стоял воз с повурой гнедой клячей, которая усиленно думала о чем-то своем, лошадином, думала упорно и бесконечно, не замечая ни черных свай справа, ни ревуших огромных колес слева, ни посящейся везде мучной пыли.

Шевардин смотрел и чувствовал, что кругом разлито что-то жестокое, по всем направлениям вошедшее в жизнь, как тонкие стекла, и один конец такого стекла вошелся в мозг гнедой клячи, другой острый конец тако-

го же стекла торчит в его мозгу, и перед этой жестокостью они — одно.

Вспоминались огромные, как два самовара, коричневые руки того, который убил жену с любовником, и правдивый взгляд его маленьких глаз. В нем тоже стояла эта жестокость, резала пополам его душу, поэтому он убил.

Откуда-то из глубины, навстречу тому миру, который был перед ним, разворачивался, как свиток, мир другой, его собственный, в котором земля была старая, измятая, застывшая, полумертвая, ждавшая толчка извне, чтобы ожить.

Эта земля — были люди кругом: синеглазый мальчонка, пузатая баба, бородатые мужики, седые от мучной пыли, и та страшная толпа на монастырской площади.

Толчок для той земли, что была в нем, был еще мертв в его руках, но должен был ожить, чтобы оживить землю.

Шевардин еще накануне узнал, что граф каждый день выезжает кататься со своей невестой и сам правит лошадей. И ему все чудилось, что вот он едет по дороге.

Красивой рысью бежит караковая лошадь с подвязанным хвостом, и мягко подпрыгивают колеса. Крылья коляски блестят, и блестит чеканная сбруя. От мягких толчков дороги у графа, как студень, дрожат жирные щеки, а в ее большие жадные глаза медленно вливается сорок верст майората.

А майората тогда уже не будет, так как граф холост.

С мельницы заметили Шевардина, и медленной косолапой походкой ног в широких белых сапогах к нему пошел мельник Будняков. Вид у него был степенный и мохнатый, как у жука, упавшего на спину в пыль и после долгих усилий поднявшегося снова на ноги.

— Поохотиться, мабудь, прійшли? — Он приподнял немного козырек белого картуза и снова шлепнул его на брови.

— Да, да... вот именно, поохотиться, — не спеша ответил Шевардин, затягиваясь папиросой.

Гнедая кляча в стороне чуть шевельнула повисшими ушами, точно прислушиваясь, потом опять задумалась о чем-то своем, лошадином.

Так-с! — протянул мельник и лениво сдвинул картуз совсем на глаза. — Тільки шо охотиться здесь нема дозволення... значит, воспрещено, — добавил он, мигая из-под козырька обмученными ресницами.

— Я знаю, что у вас все воспрещено, — криво усмехнулся Шевардин. — На ногах-то ходить вам еще не воспрещают? Может, на головах приказано?

Вид у мельника, приземистого и плотного, был по-прежнему основательный и невозмутимый.

— Ни, насчет сего не было приказа, — качнул он головой. — Ходимо, як треба... А вы видкиля сами?

— Татьяновский, — смеясь глазами, ответил Шевардин.

Он смотрел на мельника и думал, что тот говорит с ним теперь спокойно, как с равным, даже как с высшим, а завтра, быть может, будет смотреть на него, как на преступника, с недостигаемой высоты правого человека.

Подъехал на паре волов еще длинный воз с зерном, и мельник повернулся к возу и пошел от Шевардина тою же обидной медленной походкой, какой шел к нему от мельницы, и было в нем много спокойной земли и того глубокого омута, из которого подымались черные зубы свай.

Шевардин пошел вдоль берега по узенькой, лукаво прячущейся дорожке, между кустами все еще зеленой лозы.

И снова, как тогда, в первый день, почувствовал, что на его плечи навалилась огромная тяжесть и, придавив его к земле, сползла вниз.

Представлялся зал суда. Масса народу. Говорит защита, говорит прокурор...

Его осудят, он знал, но на том же языке говорят сосны сибирской тайги, на каком они говорят здесь, в лесу графа.

Тропинка вывела на дорогу в Татьяновку из Пришиба, дорогу, черную от глубокого лесного чернозема и мерцающую в гладко накатанных колесах.

По бокам ее стояли матерые дубы и осокори, и с их тяжелых, широких сучьев падали вниз легкие листья. И в том, как падали листья, была тайна, и чудился страх с белыми глазами.

А сквозь прозрачный и звонкий воздух, любознательно вытянув тонкие шеи, смотрели далекие сосны с горизонта; и где-то хрипел, пролетая, вальдшнеп, где-то далеко, но было слышно.

И в тонкий запах вяжущих листьев врываются густые смолистые волны: это дышал на меловых холмах сосновый лес.

XVI

Он встретил графа вечером, когда на дорогу от лесной стены сзади упала сплошная тень, а в лесной стене спереди зазолотели верхушки и синей паутиной обвились стволы.

Он сидел над дорогой в широких кустах липняка и думал уже, что сегодня граф не поедет или поехал в другую сторону. Но издали донесся топот верховых — несколько пар копыт били по твердой земле с перебойми рысью, и слышен был за ними мягкий катящийся шум.

Шевардин вздрогнул. То, что было далеким, вдруг стало близким, что было в бесплотных мыслях внутри, готовилось найти себе место вне.

И почему-то опять на миг вспомнились тетка из Новгород-Северска и Никита с ясными глазами, сквозь которые прошла целая жизнь.

Снятое с плеч ружье дрожало в руках. Из-за густого липняка Шевардина не было видно, но он видел.

На повороте взметнулись между безлистыми сучьями две черные черкесские шапки, под ними малиновые чекмени и остроухие лошадиные морды. И оглушительно, как ночной гром, около самых ушей Шевардина стал падать их мерный топот.

Издали наборные белые бляхи уздечек, поясов и рукавчиков кинжалов кололи глаза.

Это были те же самые двое: один старый, чернобородый, другой молодой, верткий. Хищно склонившись над седлами, рысью они промчались мимо в десяти шагах и уже зарыбились слева по дороге, а из мгlistых сучьев справа, на смену им, тупым пятном закачалась красивая пригнутая голова караковой лошади... ближе... ближе...

Шевардин чувствовал, как что-то широкое и мягкое с каждым толчком сердца подымалось к его голове, раздвигало стенки черепа и быстро ухало книзу. И два желтеньких листка перед ним вздрагивали на желтых черешках, и тонкие черешки казались широкими, как ставни, и мешали смотреть.

Граф был в темно-синей венгерке, в конфедератке, делавшей его похожим на жокея, и в серых перчатках. Он правил, натянув вожжи. Она рядом с ним в широкополой низкой шляпе, пышноволосая и смуглая, улыбалась и щурилась от быстрого бега.

Легкая коляска была узка, и сидели они тесно, точно сливались.

Оставалось несколько шагов...

Шевардин отчетливо самому себе сказал: «Конец!», продвинул вперед ружье и взял мушку.

Тут же мелькнуло в нем кроткое: «Пусть живет!». но припомнились слова писаря об ястребе: «Птица к бою крепкая, в нее весь заряд всади, тогда так...»

Качнулась над острием мушки отвисшая, как у старого дога, левая щека графа, и незаметно для самого себя, точно боясь потерять что-то, Шевардин поспешно нажал курок...

Оглушенный выстрелом и отброшенный назад отдачей, Шевардин не сразу пришел в себя, а когда пришел, то увидел, как взбесившаяся испуганная лошадь мчала коляску; из коляски полувыпало и тащилось головой вниз по земле толстое тело графа; светлая кофточка его невесты была окровавлена сзади, и шляпа сбита, и, подняв руки, она закричала так же страшно, как страшно трепалась по земле, подпрыгивая на кочках, обнаженная голова графа. Черкесы мчались с боков, стараясь поймать упавшие вожжи и остановить лошадь.

Несколько секунд они были видны так все, потом пропали за поворотом, и слышны были только бешеный топот и страшные крики.

Тогда Шевардин поднялся и, бросив в кустах патронташ и ружье, побежал вдоль леса в Татьяновку.

Так же стояли на его пути столетние осокори и суховерхние дубы и роняли листья.

Заряд заячьей дроби почти целиком вошел в голову графа и ранил в лицо его невесту.

Когда на следующий день сознавшегося Шевардина вели через Татьяновку в город, в тюрьму, на него вышло смотреть все село.

Сеял медкий дождь, и земля размокла и осклизла, как сырая кожа.

В сетке дождя беспросветно-плакучими казались избы с обветшавшими тяжелыми очеретяными крышами; но лица толпы были оживлены.

Длинный и тонкий Иван Коваль громко жаловался о Мефодию, что пропало теперь вплоть до суда его ружье, а о Мефодий с силой перебивал:

Что твоё ружье! Тут двадцать рублей за разбойни-

ком пропало, и то молчи... Да и что двадцать рублей. У меня, может, через него целое состояние пропало, а не двадцать рублей.

Со стороны огородов бежала, накрываясь платком от дождя и подбирая юбки, та самая девка, которая боялась идти к Шевардину на поденку. На бегу она останавливалась и звонко кричала кому-то сзади:

— Фроська-а! Та иды-бо швыдче! Ведуть того, шо грахва убыв!

А в одном тусклом окне за кисейной занавеской Шевардин узнал чуть видное полузакрытое лицо писаря, но, когда он взгляделся в него, оно пропало, как ползучий призрак.

От дождя горизонт сделался смутен и узок; реяли плоские крыши, чернели трубы, дымились деревья; желтели кругом человечьи лица.

Шевардин двигался по скользкой дороге, опустошенный и спокойный; загадкой казалось ему, что было впереди, сказкой, что было сзади, сном, что было около.

1904 г.

УЛЫБКИ

Стихотворение в прозе

Из Карабаха в Партенит едем мы на палубе яхты «Титания»: я, Тимофей — маляр, две барышни-москвички, карим-студент, двое мелких купцов откуда-то из средних губерний, перс с чадрами и несколько человек рабочих и татар.

Ясное небо, солнце, сентябрь, и от берегов к морю сильно тянет приторным осенним медом. Все есть в этом меду: виноградники, грушевые сады, кипарисы... И совершенно голые сизые и красные скалы на берегу тоже как будто пахнут каленным камнем.

С моря, откуда-то из сини и шири, всплывает свой запах — соленый и крепкий, а яхта дышит свежей обветренной смолой и терпкой пенькою мокрых канатов.

В потоках солнца и запахов круглятся лица: сливочно-белые, мягкие, чуть вснушчатые, но еще не успевающие

загореть у девиц-московок; прожженные до костей, просушенные, как вобла, дубленые, складчатые — у татар; вздутые, пылающе-красные, с облупившейся на носу кожей — у купцов; оливковое гладкое, широкоскулое — у студента-караима; кофейное, с синим лоском от небольшой смоляной бороды и пота — у перса; и разнокалиберные, волосатые, оплывшие, разных цветов и оттенков — у кучки русских рабочих, свалившихся ближе к носу яхты со своими неизбежными туго набитыми, перевязанными красным кушаком, грязными холщовыми мешками.

Ошеломляюще много солнца кругом. Над палубой распустили тент — не помогает. Солнце вонзилось в тело тысячью клиньев, растопырило его, рассквозило — и теперь в нем теплота и лень: ни о чем не хочется думать.

Тимофей, рядом со мною, весь переливисто сияет. Ярко золотится на нем широкий соломенный бриль, парусиновый рабочий пиджак, белая жилетка и брюки — все заляпано цветными полосами и пятнами, как палитра; сорокалетние щеки его горьмя горят, подоженные снизу длинными рыжими усами; весь он точно наскоро сколочен из каких-то нестерпимо ярких обрывков и обломков, и смотреть на него больно глазам.

Тимофей — охотник. В сентябре начинается птичий перелет через море. Теперь тянут перепела, и вот именно о них говорит мне он и по-детски, как осколками стекла, блестит серыми глазами.

Неспонятно мне, как через такое огромное море перелетают неслепые кургузые перепелки, которые и на земле-то далеко не летят, а Тимофей это знает.

— Дергачи их ведут, — объясняет мне Тимофей.

— Как дергачи?

— Так, очень просто, — снисходительно улыбается Тимофей. — Сейчас, значит, в России на полях они все... Дергачи — а то «коростели» их еще зовут — как вечер, заря отошла, поднимаются это и начнут разлетываться, вот так, кругами, подымается один и кричит... Не то чтобы по-своему, по-дергачиному, — прямо как дрофция кричит... Подумаешь, какая такая огромная птица кричит, а это дергач. И вот, значит, к этому месту, какие дальние летом, какие ближние к ютом по земле, смалют перепела эти тыщи!.. Подойди к этому месту сразу фуууу... так и брызнут. Ну, так чтобы очень уж далеко, нет; отбегут и садут голову в кочку и шабаш, сиряталей,

не найдешь: страсть птица смешная!.. А потом, значит, в ночь — в лет. Вожаки эти, дергачи, передом, перепела следом и смáлят. Жирные, отъедаются, с шумом с большим летят... И ведь вот дергач, сказать, — какой летун? Ни пера, ни крыла, только ноги да шея, — стонешь его с места, как пьяный туда-сюда шатает, а вот ему дай разлететься только: размялся, разлетелся — по-ле-тел! И уж тут тебе летит — прямо пуля!.. Вожаки, они это, как козлы в стаде. Застопорил если — стоп, вся стая села; в море упал — вся стая туда к черту, в море... Был у нас такой случай. Летели ночью, а их тут с гор как дунуло ветром да дождь, холод, — да ведь тут их бездна легла; на базаре, на пристани это да по берегу — большие тыщи их тогда прямо руками набрали. Уж полиция вступилась: не смей трогать. Так они на базаре-то — вот смех был! — разбежались везде, прямо как мыши, так и зашуршели везде... Добегит до стенки, голову в ямку спрячет, сидит — не жукнет... Птица ведь дикая, а поди ты, сидит, как цыпленок: прямо смотреть жалость брала...

Тимофей говорит, все время улыбаясь и всячески действуя руками. У него большой кадык под давно не бритым подбородком и голос рокочупий, мягкий. Я не знаю, чему так улыбается он, но эта улыбка — ласковая сетка разных мелких морщинок — как-то притягивает, втягивает, всасывает меня во что-то радостное, в детство.

Я давно уже знаю Тимофея. У меня на даче он красил новые полы, и когда полы покоробились и встали буграми в пазах, он ощупывал их руками и говорил удивленно:

— Ишь ты как!

— Прошпаклевал плохо, — замечал я.

— Не-ет! Нет, это не от шпаклевки зависимость, — качал головою Тимофей, и хорошим таким, замечательно душевным голосом разгадывал загадку. — Это просто сфуговать надо было, а мы не догадались.

И когда на окрашенном им же балконе в то же лето потрескалась и облупилась белая краска и я сказал ему укоризненно: «Мелом красил?» — он улыбнулся длинно, так же как улыбался вот теперь, и ответил:

— Не-ет! Еще какие замечательные белила были!.. Нет... Это от солнца.

Я смотрю на Тимофеевы глаза, усы и щеки, на колючий широкий подбородок, на вишневатый морщинистый лоб, вижу, как все это движется, живет, складывается не-

ликом в каждое его слово, и как-то становится все страшно внимательным в моей душе, точно я никогда не видал, как смеются и говорят люди; и слова его для меня не слова: я их осязаю. вижу, и, боясь, как бы не порвалось их цветное кружево, я говорю о перепелках:

— Ловят их небось на перелете?

— У-у, а как же! — живо подхватывает Тимофей. — И ловят и бьют — всячески. Много истребляют... Истребление большое... Ружьями по кустам (только иди днем, в каждом кусту перепел, а нет — два), пугнул, стрельнул — и готово... А татары, те их палками прямо бьют — чаталы, палки такие из карагача режут. ветки у него это... ветвлевые такое частое, — обрежут ветки так на четверть — палка не палка — кавадратная совсем, как бросит перепелу в лет, лучше ружья убивает... Чуть-чуть ее стоит только самую малость задеть сучком, так и падет: жирная, подлая... А вот турки в своей земле, те прямо сети на них ставят, как на рыбу, к телеграфной проволоке привяжут, как летят они, так прямо в сеть головой и есть. Утром идет с мешком, никакой себе спешки не знает, столько их наберет, большие тыщи!.. Только они их там не то что в еду, на сало топят: сало вытопят, а мясо бросят — вот черти! А из них ведь, если пилав с помидорами сварить, отдавать забудешь, как звали... А вот здешние турки на них с ястребами ходят — так небольшие ястребки вроде кобчика, выучат их (а выучат как? — не кормят), на руках носят и ходят по кустам с палкой. Ширнет туда-сюда — перепел: он ястреба пырь — тот за ним, догнал, сшиб, тут же и драть начнет: долб-долб, а на груди колокольчик. Турка к нему — а он так на гайтане, на шнурке на таком, с ним и летает. Подойдет, за гайтан цап — есть, голубчик. Перепелку отберет, в мешок, а сам дальше, опять по кустам ширять. А ястребки эти завязтые такие, — на кого хочешь кинутся, не то на перепелку: гуси летят — на гусей, дрофы — на дроф; смотреть — смех берет. Ведь сам-то прыщ, вот так — крылья косяком, серенький, ну, кобылка у него, значит, здоровая, — кобылкой и бьет... Гуси-то где летят?.. А он еще выше их подымается да как свистнет оттуда, — как буря прямо. Гуси — кто куда: гогот, кто в эту сторону, кто в другую, другой назад, а на него, из гусей, из одного таких десять ястребов выйдет... И вот раз видал, как он их это, как ударил сверху, — кто куда, а один прямо турманом вниз! Огодоушила он гусей,

сила у того еще есть, а только понятия никакого нет: куда ему лететь, что ему делать, — прямо рассудка нет: кружится и падает, кружится и падает... Надо мной как раз и падал. Вот, думаю, ловко: домой с гусем приду. И уж так его видно стало, ястребка-то: сидит на груди, прижался и долбит, как дятел какой: долб — долб — долб... Я это руки вверх: т-ты, черт! — как крикну, — ястреб сорвался, вбок, а гусь это (море сейчас тут было, — по берегу я шел), гусь в море как зашумит... Ну, очухался там, поплыл... Ястребок вертелся-вертелся, — по-одался!.. Куда этот гусь делся, — так и не досмотрел я... Ну и жалко ж было: прямо вот-вот в руках был... Чуть бы чуть еще, — и был... А то еще раз видал, как в дрофу ударил: так от нее перья и посыпались. Ну, дрофу он, конечно, только сшибить наземь может, потом уж когда-когда драть начнет: работы ему с дрофой тьма!.. Сверчок ведь, чистый сверчок, а поди ты, кобылка у него какая!.. — и, говоря это, Тимофей обводит меня и сидящих напротив барышень своим сияющим взглядом.

У «Титании» мягкий и плавный ход, и море на редкость спокойное, гладкое море, и на горизонте собираются легкие, как пух, облака-барашки, и солнце льется вокруг, растворенное в морском пару, — но всего этого нет, потому что есть другое: улыбаются Тимофею барышнимосковки.

Они сидят в тени под тентом, и улыбки у них — это только округлые, млеющие, лиловые пятна около светлых глаз, у крыльев носа, в слегка приподнятых углах рта и в длинных ямочках щек. На обеих белые войлочные лопухи, приткнутые шпильками, у обеих голые шеи и кофточки-матроски, но они едва ли сестры.

— А дрофа большая? — несмело спрашивает одна. — Сколько фунтов?

— Дрофа-то? До полнуды бывает, поспешно отвечает Тимофей и тут же вспоминает что-то: — С пятнадцатого июля на нее охота... Дрофа — она здесь зиму продолжает, только в стаях она зимой, в гуртах... Дрофу, ее бити надо в жару... Так, если градусов двадцать — двадцать пять — ни за что не подпустит, а вот тридцать два так тридцать три, а сорок еще того лучше, вот когда она сидит, как гусыня, крылья распушены, и, значит, дремит. Свободно тогда на выстрел подползай — на семьдесят шагов подпустит... А стрелет — вот еще из ихней породы,

вот чутка птица, уж и чутка!.. Поведет глазком,— ать!— за-чесал по стерне!.. Трудно его убить, стрепета...

Мы идем близко от берега, и над нами вьются и кричат какие-то очень цветистые, желтокрылые, синеголовые птицы. Летают они косяком; отбросятся в сторону и потом сразу вот уж опять здесь — повиснут в воздухе и кричат.

— Какие это? — наперебой спрашивают барышни.

— Это — пчелоеды,— отвечает Тимофей улыбаясь,— щуры-пчелоеды, пчелками питаются... Ден пять у нас тут потолкуются и в лет... Как перепел летит, так и щур,— в одно время... И ведь сюда назад как летят, тоже к одному времени подгоняют,— вот чудно!.. Сколько птиц летит,— у всякой свое время... На баркасе выедешь в перелет, вот весною, когда рыбу ловить далеко уходишь,— верст за десять стаи-то летят... Так, верите, несчастные такие, умеренные бывают, за баркас цапаются лапками, за борта-то... Возьмешь рукой, положишь — лежит, как неживая, и глазки закатит. Не то на живот,— прямо на бок ляжет и двопит. Привезешь их на берег — вот рады, вот защебеляют — чи-чи-чи-чи... Ах ты, господи! И как это малая такая тварь, а все она знает, куда ей лететь — все делает, как лучше не надо,— вот ведь! Значит, так уж дано им, чего и человек не поймет...

Тянутся в сторону Тимофея кунцы. Они едят виноград, хрустя косточками, ничего не выплевывая и добросовестно все глотая, едят прямо с кисти, захватывая губами сразу по нескольку ягод, и на лицах у них блаженная усталость от сытости. У обоих фигуры широкие, сырые. В картузах, в плотных суконных тужурках и в сапогах под лак. Приехали, должно быть, скушать фрукты.

— Ивана Сквородку, кровельщика, знаете? — спрашивает меня Тимофей.

— Рыжий, что ли?.. Знаю,— вспоминаю я.

— Вот, вот, рыжий... Нет у нас больше такого охотника, как Иван Сквородка! Вот уж ходок! Безо всякой собаки, без ничего, вышел это с вечера, задрал голову, как гусар, по-дал-ся! Зайцев, например, если... и как он их найдет и где найдет, не двух, так одного он уж обязательно тащит... Нюхом одним жив... И где они лежат знает, и все, весь обиход ихний... удивление! Середь дня и жару, тогда заяц сонный,— он их чуть-чуть руками, безо всякого ружья берет... Заяц — он спать адоронный; напасется за ночь и спит...

— Руками прямо? — переспрашивает один из купцов, участливо улыбаясь одними глазами.

— Прямо руками... Ну, палкой по голове для оглушения вдарит, потом заберет...

— А вы и рыбу ловите? — спрашивает другой, снимая зачем-то картуз с лысины...

— Как же! У нас сеть с зятем есть, крючья... Сейчас вот скумбрия пошла, султанка, — когда время есть, выедешь... Весной — белуга, а то камбала... Лобанов не ели? Вот рыба вкусна!.. Лобанов острогой ночью по камням бить, — вот охота веселая... Мы ведь для этого лодку-плоскодонку справили, — обращается ко мне Тимофей. — Назвали мы эту лодку «Гагара». Такая сердцеедка подлая: плывет, нос задрала — и ника-ких! Чуть веслом в какую сторону толкнешь, — по-вер-нулась вся сразу — точь-в-точь гагара: куда голова смотрит, там она и вся. В тихую погоду, да если ночь темная — удовольствие!.. Лосось вот тоже или ерш морской... Крабов одних настволить сколько можно... Красная рыба, конечно, не попадет, а вот мелочь эта...

— Красная рыба — она живущая, — неожиданно вставляет один из купцов. — Какие случаи бывают: стерлядь, например. Прирежут ее, конечно, как поймают, — шевелится; домой привезут за сколько там верст, — шевелится... Да ведь что! — на кусочки изрежут, так кусочки-то эти и те — можете представить — шевелятся!..

— Ну да — живущая, — поддерживает другой. — Осетер вот тоже... Зимнее время его поймают, оглушают по голове, — на мороз... называется он тогда пылкого морозу — кость! На токарный станок кладут... И сколько время в таком он виде лежит — и в лавках лежит и в вагонах едет, — зиму цельную... Товар! Все равно как брус дубовый!.. А в горячую воду его ежели, — что вы думаете? — ведь оживает, говорят: на немного хоть, на сколько-то минут, а оживает... Насколько это верно, не могу вам сказать в точности...

Начинает улыбаться студент-караим. Он улыбается не сразу, а толчками: выпустит на скуластое лицо кончик таящейся в нем улыбки и тут же спрячет, потом посмотрит на Тимофея, на купцов — и выпустит какую-то точную часть: четверть, треть, половину; но вот уже неизбежно, змейкой, ползет она из него вся, сколько есть в нем, во всю ширину лица — и скулы вливаются в поднятые

щеки, и совсем узенькими щелками смотрят косо лежащие глаза.

Он пробует тихо голос, как пробуют бритву перед бритьем, и вдруг неожиданно рокочет молодым баском:

— А я-я-я влюблен в одни глаза!..

И так все время потом, пока мы едем, он улыбается, молчит, открыто и молодо смотрит на море, на высокие мачты яхты, на нас с Тимофеем, на барышень и татар, да вдруг как хватит сразу:

— А я-я-я... влюблен в одни глаза!..

И чувствуется, что это не просто мотив звучит в нем, — что он действительно влюблен в какие-то глаза, и только их видит сейчас и о них поет, а до всех нас нет ему никакого дела.

Барышни толкают друг друга, мягко жмутся друг к другу и тихонько фыркают в платки, а потом долго делают вид, что утирают пот.

Перс с чадрами наблюдает их, мечтательно вглядываясь в их лица, потом нечаянно вспоминает, что он — с чадрами, схватывает свою корзину, улыбается, широко раздвинув в стороны обе половины лоснящегося лица, опцеривая белые, лопаточками, зубы, и говорит протяжно:

— О-о бон марше! О-о бон марше, мадам! Л-лечебные, первый сорт!

Он ставит перед ними корзину и ловко выхватывает оттуда чадры: желтые, голубые, лиловые.

— Не нужно нам, — заицищаются барышни, — лечебные!.. У вас тут все лечебное.

— Лечебные, первый сорт, — не смущается перс и все развивает свертки, и чадры летят на барышень разноцветным потоком, легкие, как воздух.

Барышни ничего не покупают, и он видит, что они не купят, но ему нравится стоять перед ними на корточках, смотреть снизу вверх в их улыбающиеся лица, подбрасывать перед ними чадры... Он уже говорит что-то о деньгах и душе:

— Мена рази денга дорог?.. Це-це... мена душа дорог!..

Говорит о родине:

Кушукт есть, хыланок есть, а-апельсини есть, лимон есть, виноград есть, ячмень есть, рис есть... Перса все есть!

Говорит об арабах:

— Араб лошади любит... Жырибец не любит, кобыл любит... Шесть тыщ туман¹ кобыл пылотить, це-це...

На нем кавказская черкеска, чувяки; высокую смушковую шапку он сдвинул с мокрого лба на бритый затылок и все широко улыбается и говорит.

И у рабочих на носу палубы заяснело что-то. Не знаю, пошло ли это перекатною волной от Тимофея, или это прямо вылилось из солнца и запаха моря... Прежде там ели с хлебом мелкие, как яблоки, дыни, и какой-то пожилой, дюжий, с красным шрамом от переносья через всю левую щеку, пытал другого, чернявого, похожего на цыгана:

— Тебя как звать-то?

— Алексей звать, — отвечал чернявый.

— Какой Алексей-то? Алексея много: Алексей человек божий, с гор потоки, а то Алексей митрополит, а то есть еще разные... Алексей, один он, что ли?.. В чье имя крещен? Когда память?

— Алексей, и все.

— Говорю, Алексей-то какой?

— Какой, какой... Чего пристал?.. Я этих делов не знаю.

— Ангела своего не знаешь?

— Мало бы что.

— Совсем ты, должно, не Алексей.

— А то кто же?

— Может — Иван... А может — Митрий... А может — татарин какой...

Теперь Алексей рассказывает что-то, и до меня доносится:

— Какой веревлюд: однокочий есть, а то, например, двухкочий... Однокочий у нас в степу полтора ста рублей стоит, двухкочий — так, например, сто двадцать, сто с четвертиной... Однокочий, он терпеливее: что на еду, что на работу, — на все способней; двухкочий пожиже...

Густо разлеглись на своих мешках, повернули к солнцу лица и слушают.

Кувыркаются морские свиньи у самых бортов: потом видно, как они по три — по четыре в ряд, ныряя винтом,

¹ Т у м а н — иранская монета.

мчатся наперегонки с яхтой. Отстают, обгоняют. В кучке рабочих крики и хохот:

— Глянь! Глянь-кась! Вот черти гладкие,— глянь!.. Го-го-го!..

Надоело свиньям: отбросились в сторону и там играют всей стаей, притворно гоняясь одна за другой: подскочат, согнувшись в дугу, должно быть посмотрят на яхту, подмигнут лукавым глазом и шлепнут в воду.

Гудок. «Титания» — такая большая, белая, плавная, а гудок у нее пронзительный, визгливый. Барышни затыкают уши и хохочут.

— Точно павлина кричит,— ухмыляется им Тимофей.— А то вот бакланы, как в стаи собьются, по утрам точь-в точь так же кричат...

Замелькали синими пятнами матросы.

Грек-билетер, маленький, суетливый, бегаёт, отбирая билеты. Ждет лодка с двумя гребцами.

Какое море здесь!.. На берегу крутые, красные, потрескавшиеся пластами скалы; море изорвало их отражение в мелкие треугольные клочья. Каждая волна взяла себе клочок, окаймля его голубым, лиловым, чуть-чуть желтым переливом и качает игриво, любовно, ласково.

Чистенький, сухой небольшой пляж раскинулся между скал, как забытая купальщиками простыня. Дачи мреют сквозь гущину кипарисов. Дороги почему-то розовые и бегут между пожелтевшими виноградниками куда-то очень далеко, высоко, круто — туда, где все краски гладко слизаны и полиняли нежно.

Стадо прозрачных, как студень, медуз отдалось теплу и висит лениво между яхтой и лодкой. Осторожно гребет голорукий турок в яркой феске, а другой — высокий, горбоносый, — стоя, откинул голову с блестящими зубами и белками глаз, впился в матроса с «концом», сучит в воздухе крупными кистями рук и ждет каната. И как раз над его головой вползла в радужное небо по-домашнему влохмаченная буковым лесом синия круглая голова Чечель-горы.

Сходящий здесь вместе со мною Тимофей направляет руку куда-то в темный ее овраг и говорит мне таинственно:

Кунье место.

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ

Поэма

И здесь, где плескалось море внизу, а вверху сзади стояли горы, где кипарисы купались в голубом зное и розовые тропинки вились по сожженным соломенно-желтым скатам, — и здесь, как везде, каменщики пили больше, чем плотники, кузнецы больше, чем каменщики, слесаря больше, чем кузнецы, больше же всех пили печники и штукатуры.

Бог знает, может быть, в извести и глине, в белой и желтой земле, заложено какое-нибудь неизвестное пьяное бродило и от одного вида их неудержимо тянет простого, близкого земле человека к вину — только найти трезвого печника было невозможно.

Шесть раз ходил в городок с дачи Пикулина дворник Назар — нужно было поправить плитку на кухне, — печники пили. И когда попался наконец рано утром хромой Федор, неизвестно где и как прошедший ночь, но теперь почти свежий и способный к работе, Назар неотступно стоял перед ним, пока не убедил пойти на дачу.

— Да ведь в гору! — думал увильнуть Федор.

— Ну что ж? Далеко?.. Ах ты ж, господи!.. Я, когда работал, обыденкой за десять верст ходил.

— Нога у меня!.. Видишь, нога хромая.

— Ну что ж, нога! Я раз ногу-то в кровь растер, а за сколько верст ходил! Не пойдешь — не поешь!.. Вон сторожка в лесу, видишь? Семнадцать верст ходу, а по черной работе и там бывал.

— Бывал-бывал... Везде он бывал... А я и в Ерусалиме бывал, лун земли видал и прикладывался.

Федор — бородатый, рыжий, нос огромный, вверху косяной, внизу сизый; глаза — серые щелки; картуз внахлобучку, без полей, задряпанный, вытертый; волосы старые, дячковские; фартук — из грязи, сала, холстины, глины, извести и смолы; штаны — сорока цветов. Говорит басом: шея с огромным кадыком, — должно быть, смолоду хорошо цел и теперь пост, когда сильно пьян. Голову любит подбрасывать бодро и когда говорит, то сразу всем телом: и глазами, и шеей, и длинным носом, и бородою, и даже хромой ногой. А Назар — молодой еще, по какой-то весь сваявшийся, залежалый, как сухой веник: хочет

ся поддержать его в кипятке, распарить. Скулы у него торчат, усы белесые, еле видные, бороды нет — не растет; бровями все время озабоченно думает.

Городок весь каменный и черепичный, — совсем маленький: одна церковь, две мечети. На раскаленной набережной, забранной от моря бетонной стеной, сгрудились мелкие лавчонки.

— Хочешь воды зельтельской? — спрашивает сурово Федор Назара. — Ежели хочешь, на, пей. — И сам цедит в стакан из сифона и бросает на прилавок две копейки. Старый лавочник Мустафа сидит, смотрит, курит трубку; зачем подыматься ему, когда и без него все найдут! Самое трудное у него — отрезать халвы сколько надо; но многие и это делают хорошо.

Медленно проходит мимо страшно тучная дама, вся в белом и под белым зонтиком с кружевом. От зонтика на серой мостовой синеватая тень с маленьким золотым зайчиком в середине: должно быть, зонтик дырявый. Остановился чей-то сильный рыжий сеттер над самой бетонной стеной, четко врезался в синеву моря и задумчиво смотрит, а в море белые чайки, точно их припаяло к воде, качаются вместе с рябью, а дальше — идут не идут возле самого горизонта два, три, четыре баркаса-парусника и совсем выпадает — еле держит глаз — пароход.

На перевал к даче идти тяжело. Тропинка взбирается на него хитрыми изворотами по сыпучему шиферу, и снизу вид у нее, как у балованной гончей на охоте.

— Как это, — не понимаю я этих людей! — ворчит Федор. — Что теперь, зима? Непременно тебе плитку? На дворе готовить не можешь? Эх, народ нежный!

И несколько раз садится он отдохнуть и потирает с большой любовью отвердевшее колено.

— Ведь это я ее как? — говорит Назару. — Я ее простым манером сломал: с лестницы спускался — вот от базара сейчас к речке лестница вниз — был немного тово, а дожжик шел, и ступеньки... они, стало быть, камень, склизкие, — упал, и, значит, самый хрящик в коленке хрясь — пополам!.. Сказал доктор в нашей больнице — серебряными нитками сшивать. Ну, таким манером тут они только не могут, а надо в настоящую ехать, в губернскую, там зашьют. Там бы зашили, а? Там бы это — пус стик! А только туда ехать — мелочи нет.

Пьянство нашего брата губит. Это все равно — чистый яд.

— Говорю тебе: лестница каменная, склизкая и дождик шел... Пьянство! Что ж я до этого так никогда и не пил? Обдумай умом.

На перевале, откуда до дачи Пикулина двести — триста шагов, Назар вспоминает вдруг, что ведет Федора так, как поймал на улице, — с голыми руками. Хорошо, конечно, и так, но лучше бы с печным снарядом.

Назар сердчает.

— У тебя голова есть?.. Есть или нет ее вовсе, головы?

— Есть. У меня все есть, я вот только на ногу спорчен. а то я, брат, еще иному старику та-ак могу показать...

— А понятия в тебе нет, в голове!.. Что ж ты пошел, а струменту не взял?

— А у нас какой струмент? Молоток, гельм да сокол — п весь струмент. Милой! Долго его взять, скажи, ежель очень умный? Сходить только надо, — ну, конечно, мне от моей хромоты...

— Сходить! Ты когда пришел, — сиди. Он, струмент, у тебя где? На квартире?

— Зачем? На квартире — там ничего нет. Где работал, стало быть, там. Вот у Николая Иваныча беседки белил...

— Ты уж сиди, ты скажи только где, — схожу сам. Эх, народ!

— Куда ж ты сходишь, когда его найти надо, что к чему? Он ведь у меня не в одном месте, струмент.

— Шут хромой! У Николая Иваныча — сказал?

— Там я действительно беседки белил — там, значит, кисть с ведеркой, гельма нет. А гельм, это лопаточка наша называемая, гельм с соколом — почитай что он у Курт-Али в саду. Сокол, он, положим, без надобности, только полутерок взять да вот еще грохот, глину сеять.

Значит, его у Курт-Али взять?

— У Курт-Али зачем? Там грохота нет. Грохот, он... кажись, я его у докторши оставил... Вот у этой, как ее, черт?.. Зубная она, в очках ходит... Вот она еще около этого... грек такой черный, печку я там поправлял. Да сбоку на базаре, как сизка от аптеки иттить... третья лавка... Третья или она — четвертая...

— Что это ты совсем вроде полоумного стал, как бочка сухая, а?

— Совсем как бочка. Верно.

— Весь рассыпался, клепок не соберешь... Голова-то у тебя есть?

Когда уходит Назар в городок за печным инструментом, Федор выразительно подмигивает ему и щелкает себя пальцем пониже скулы.

Спереди горы лиловые, сзади, за перевалом, зеленые, — буковый лес. В этом лесу видны просеки, отдельные буки, дымок костра, — так это все близко, мягко и кудряво, а горы спереди сами как длинный дым, уходящий в море клубами. Внизу городок. Отсюда, сверху, Федор отличает ясно: рыбацкий ресторан Николая Иваныча около моста, ветлы над речкой, каменные ряды на базаре, и сад Курт-Али, и купальни. Городок густо облепил бугор, и на самой вышке бугра встала старинная генуэзская башня, серая, круглая, с обвалившимся краем. Все это, если сощурить глаза, похоже отсюда на большой пестрый волчок, с очень удобной ручкой. А дальше от города по речной долине легли темные виноградники и сады, расчерченные дорогами, плетнями, высокими тополями с сухими верхушками, иссия-черными столетними кипарисами, сараями.

От подъема в гору Федор устал. Картуза он не снимает — так привык к нему, точно это волосы, и спит в картузе, — но хорошо, что потное под мокрой рубашкой, ноющее тело щекочет низкой ветер.

Вот мелькнул синей рубахой на изгибе тропинки внизу Назар, а скоро опять мелькает: входит в улицу, явно спеша. «Колготной!» — говорит о нем вслух Федор, крутя головою, и губы вытягивает трубой. Сбоку дача Пикулина: видно около кухни длинную бабу с ребенком на руках, и туда не хочет идти Федор. Кругом дачи — чужая земля, но ней бродят тонкомордые коровы; трава давно высохла, — обгрызают кусты, влажно сонят, тяжело дышат большими животами. Появляется вдруг осторожный, как мышонок, белый маленький мальчишка, смотрит из-за куста синим глазом, потом вдруг молча со всех ног отбега прочь; с ним корноухий серый щенок: остановился, тывкнул, покатился пухлым шариком, паткнулся на кочку, перекинулся на спинку, остановился, тывкнул, покатился опять.

На самой ближней из лиловых гор, если присмотреться пристальней, можно различить красноватые огромные

щербатые скалы с синими тенями; внизу под ними каменный обвал, когда-то засыпавший татарскую деревню. Теперь эта деревня правее, ближе к морю, а ниже ее вся гора разрисована, точно нарочно, шершаво обведенными пятнами; больше желто-белесых — это спелая пшеница; скоро начнут ее жать. А еще правее, еще ближе к морю, в сине-розовом мреют белые точки: это тоже деревня — Кур-Узёп. Но от солнца сплошного все струится и движется и тает. Посвистывают иванчики на кустах, а слева слышно, как стучат тяжелые арбы на белом шоссе.

И можно сидеть здесь долго, очень долго и ни о чем не думать: можно просто смотреть, слушать, курить крепкую махорку, кашлять, и опять слушать, и опять смотреть.

Когда приносит наконец сердитый Назар гелъм, и грохот, и кисть с белым ведерком, солнце стоит уже высоко: десятый час.

Такое славное море, голубое, с нежными жилками. Горы веселые. Дует несильный упругий ветер с гор: хорошо, не жарко.

Зиновья, лобастая, длинная, желтая синеглазая баба, Назарова жена, качает на руках сынишку Ванятку и вспоминает вдруг:

— Зайчонок вчера вот это место сидел — серенькой, цыбулястый, до чего чудной!.. Я это из дверей вышла, он как уши торчмя, как стрякнет! В балку кубарем... и-и чудной!

И тут же кстати вспоминает еще о деревенском зайчонке, прежнем, своем, орловском:

— Я раз овес вязала, зайчонка нашла, моло-оденький, прямо мягкий, как мыша! Вот, право, ей-богу, испугалась как! Так и закатала его в сноп, а он спал, должно не слышал. Связали мы ему, бабы, ноги задние горохом, плетью, чтоб не убеет, а он ишь убеет: перегрыз зубами завязку эту нашу да убеет. Вот тоже чудной какой был, ногастый да серый!..

Говорит радостно, спеша, точно давно ждала этого случая, и Федор отлично понимает, как ей надо ответить:

— Вот и видно сразу, что бабы: нашли чем зайца связать — заячьим кушаньем... Народ вострый!

В стороне от дачи за колючей проволокой ограды на

общественной земле, где растет мелкий карагач, ежегодно объедаемый скотом, два турка в ярких фесках распялили силок и ловят на жука-скрипача сорокопута. Бог знает, зачем им сорокопут. От невысоких мимоз около дачи легли талые перистые кружевные тени. Мимозы цветут теперь розовым пухом и сладко пахнут. Сухой Назар окапывает их киркой и штыковой лопатой, хекает и сопит. Может быть, нужно окапывать их, может быть, нет, но скуластое белобрысое лицо его в крупном поту. Сквозь жадные до простора длинные ветки мимоз море кажется невиданно голубым. Благолешие и радость. Что это топчет ожесточенно ногой и лопатой Назар?

— Страсть не люблю их, вредных: широконожка! — говорит он Федору. А Федор тут же — протирает сыроватую глину через грохот.

— За что ты ее? Не нравится тебе костюм ихний?

— Страсть не люблю!

— Гм... Так она, кажется, ничего себе... И ножки желтые.

— Вредная! Глянь-ка, вертится, как змей! А? Значит, у ней какая-нибудь гадость на уме, а то зачем ей, как змею?.. Ишь, дополам посек, а она все свою злость точит... во-от!

И потом опять копает Назар, хекает и сопит. Кажется, что ему просто хочется выкопать еще широконожку и раздавить, а мимозы окапывать не нужно. И когда пропотеет все лицо его насквозь, он, наклоняясь, вытирает его рукавом синей рубахи в сгибе левого локтя, где она чище, и потом копает опять.

Заиграда шарманка внизу у моря, где дачи гуще. Эти дачи внизу выбиваются наружу из тугой смоляной зелени то куском белой стены с двумя-тремя окнами и балконом, то красным, то серым пятном крыши, и вместе с запахом нижней зелени, расплавляясь в солнечном воздухе, дощывают сюда звуки шарманки. Здесь они не режут уха, здесь они согласованы с небом, морем, цикадами. Но Зинovie хочется, чтобы трещало, звенело, рыдало около нее. У нее такие стремящиеся вниз текущие, жадные глаза, когда поспешно идет она к проволоке своей ограды с пушистым, как утенок. Ваняткой на руках.

Ах, до крайности хорошо как играет!.. Кабы не Ванятка да не обед готовить, побежали б я куда сломи голову!

И еще делает два-три порывистых шага; различает еще и гулкий бубен.

— А в бубен как!.. Ишь!.. Ишь ты!.. Ишь!..

Может быть, хочется ей повертеться под музыку, пощелкать пальцами, похлопать в ладоши, положить кому-то новому голову на плечо, — мечтательна молодая женская душа. Стоит Зиновья, худая, длинная, восхищенная, смотрит назад, на сухого Назара, смотрит вперед, на нижние дачи, где шарманка, прижимает крепко Ванятку — и на глазах у нее почему-то слезы.

И когда откуда-то из божьего мира вокруг прибегает шестилетний Фанаска, старший Назаров сын, за куском черного хлеба, чтобы опять поспешно уйти и раствориться в божьем мире, — Назар встречает его:

— Ты что же это, бегоулец, все бы тебе шататься беспутя? Нет дома посидеть?.. А за уши хочешь?

«Бегоулец» — белоголовый, волосы на затылке торчком, от солнца выпцвели, нос облупился, глаза, как у матери, голубые, глядят исподлобья.

— Муравья видишь? Он тебе со всего берет взятку: хоть ему цветок, хоть труп палый... Вот у него учись, у муравья.

Фанаска слушает и молчит. На муравьев он смотрит, и даже один залез на его босую и крепкую, красную, как сосновый сучок, ногу: Фанаска стряхнул его другой ногой, почесался, оглянулся, тоскливо погрыз кулак, — видно, что ему очень скучно.

— Ты как это трудиться не хочешь? — не отстает Назар. — Ты у меня трудись смотри, а то на декох посажу.

С весны начал было Назар учить Фанаску буквам, но Фанаска все удивлялся, почему «а», почему «бе»... «Бе, — повторял он вслед за отцом, — гы-гы... бе!» Потом азбука приводила его в непобедимый ужас, и только брался за нее Назар, Фанаска стремительно бросался вон из кухни, забивался в гущину виноградника, пропадал. Пришлось отложить до зимы, но пока должен он был полоть траву цанкой, ходить за водой в бассейн, обирать гусениц с маленьких яблонь-карликов и многое еще. А кругом в божьем мире было столько удивительных вещей. Захотел идти направо — ступай направо, захотел идти налево — иди налево; везде хлопчут жуки, рыщут ищерицы, подлетывают с треском кузнечики с красными крыльями; Фанаска ловит их, держит за голову, говорит нараснев:

Кузнец-кузнец, дай деготьку,
А то гол'ву оторву!

И кузнец боится и дает. Или снимет зеленого червяка с листа и внушает:

Червяк-червяк, дай п'утипу,
Червяк-червяк, дай п'утипу...

И червяк дает паутину. Так все кругом понимает Фанаску и живет с ним в ладу.

На одном кусту боярышника — каждый день приходит смотреть Фанаска — «зябриково» гнездо: четыре зеленых яичка; а то есть такая балка, в ней «дохлая барашковая голова с рогами»... Иногда он говорит об этом шепотом матери, чтоб и она знала.

От кухни недалеко разбросался мелкий дубнячок. Корни у него тысячелетние, и все время, год за годом, упорно выбегает из них толпа сочных веток с крупными листьями, твердыми и блестящими, точно из лакированной зеленой кожи.

Назар смотрит упорно на этот дубнячок и говорит строго Фанаске:

— Сейчас принеси топор поди: повырубать надо. И всегда, кроме этого, от этих кустов — вша.

Новые дома среди старых мшистых деревьев или среди серых потрескавшихся скал — до чего они нестерпимы для глаз, и как хороши в такой обстановке дома, над которыми не спеша поработало солнце: стерло доск штукатурки, отодрало масляную краску с дерева балконов, с железа водосточных труб, приобщило к природному, своему, обняло по-родному, усыновило.

Дача Пикулина новая — только весной закончили, — так и блестит вся свежими красками. Дачников здесь нет: далеко от города, высоко, трудно подниматься. Хозяйина тоже нет пока, — придет осенью; один Назар.

Но солнце, вечный хозяин земли, знает на земле каждую пядь; и осенью придется Назару объяснить Пикулину, отчего это по крыше поперек прошли частые белые полосы.

— Это от застоя, выше превосходительство, — скажет Назар, подобострастно шевеля бровями, — застой росы такой: ночью краску внаест, а днем еще хуже: жара. Кроме этого, соль морская.

— Со-оль?

— Так точно, соль вредная. Уж крышу здесь не мину-ючи через год опять красить.

И Пикулин, старик исправник, коллежский советник, горбоносый, с висячими красными бритыми щеками, покачает головою и скажет сочно:

— Р-рас-ход!

Разметал Федор весь плохо слепленный дымоход плиты, наворочал на полу груды закопченных кирпичей, пропитал всю кухню гарью и сажей, набил себе в бороду черных хлопьев, накурил крепчайшей махоркой, возился над глиной, весь дымный, занял собою всю кухню, выгнал Зиновью с Ваняткой на солнышке к порогу...

Горел возле самого порога маленький, шипучий, мокрый на вид огонек; кипятилась вода в котелке; ползал пушистый Ванятка; чистила Зиновья мелкую камсу, слушала Федора.

А Федор говорит все время, не уставая, обо всем, о чем угодно. Увидит Пукета, Фанаскина щенка из татарских овчарок, у которого Назар для злости обрезал уши, говорит о собаках:

— Уж ежель держать собаку, так держать собаку, чтоб была она собакой, а не так... Чтоб она днем — на цепи, ночью — чтоб она спущена и к дому своему чтоб, а ни-ни, ни боже мой никого, чтоб духу-звания близко не допускать... У нас, когда я был еще маленький, две собаки на дворе были: одна... да нет, обе они здоровущие. — вот такие телята. Ну, одна только глупая, вот как человек глупый все мелет, все мелет, и эта своим чередом: все лает, все лает, — и внимания на нее никто не обращает, все бесперечь брешет... А другой зато был — он молчок, о-он лежит себе, брат, посмотрит глазом, одним ухом прослушает, онять будто его в сон клонит; а ворота у нас далеко от дома, шагов двести, а то и больше; хрясть там кто-нибудь ночью — он рот разинет: ай!! — ну, тут уж вставай, раз его голос услышали, живым духом вставай, иди: он по-пустому молоть не будет.

Увидит ли, села на окно синица и тут же с испуганным свистом давай стрелка, заговорит о синице, мимоходом передразнив татар:

— Э-э-а, знаком, большой птица, нехороший, оно

вор, называемый синиц, — говядину клевал, порвал, — э-э, вор!..» И не думай, что шутки. У меня дядя по свиной части, свиной скупали на туши. И вот ведь туши свиные, скажем, — у нас их как освежают, опалят, оскоблят, — в холке разрез такой разрезают — сколь жирна, показать, стало быть, какой толщины сало, — и в клеть на крюк... И вот ты от соседа не стереги, от соседской собаки не стереги, а за синицей смотри да смотри. Она, синица, невеликая вещь, а на холку сядет, как начнет раскомаривать, — как крыса оборвет!.. Большую шкуру делает. Продавать потом тушу повези — страм! Всякому в глаза кидается: каким манером это могло? Или это зверь, или это пес?.. А этому зверю всей долины — без четверти вершок... «Такой большой птица — вор!..»

И тут же вспоминает кстати Федор:

— Я ведь и сам резник был, да еще какой я резник был знаменитый — по восемнадцать овец в день разделявал!.. Была у меня такая сила, что в селе нашем — не шутки селом нашим: две церкви, — ну, известно уж, у нас кулачки — на какую я стену встал, та и гонит... У меня рука очень жесткая, — попробуй, возьми своей рукой... Мне, ежели скотина девять-десять пудов, — никаких мне помощников не надо: за рога, на колени, р-раз ее в горловой позвонок, и без последствий... Свиная ежели пудов четырех, тоже я все один.

Увидит мелкую рыбешку камсу в руках у Зиновьи, говорит о рыбе:

— Какая здесь на рыбу дороговизна: лобан свежий татарчата носят — вынь-положь восемь гривен за штуку, а в этой штуке весу — только коту накормить... В Петровском, на Кавказе, я на службе служил — вот где рыба ниномем: сорок копеек пуд — сазан, щука, какую хочешь!.. Куда вместо мяса нам это заменяло, да без мослов, почитай, выходит вес чистый. Так у нас за Великий пост экономии столько загнали, — цельную Пасху пьанством занимались.

На море видно, как турки — большая артель, человек тридцать — близко от берега, укрепив в воде столбы, растянули прямоугольником огромную красную сеть на кефаль; на столбах устроили сторожевые вышки, сидят на них по двое, по трое — следят за ставнями. На берегу у них дюжина лодок, косые палатки, какой то скарб... А ближе к городу — цветные кабинки на синеватом пляже, и ку-

пальчики, и столько лениво лежащих на песке, и кто-то катается на двух яликах вперегонку — все прозрачное, легкое, голубое... Но каждый день это, к этому привыкла Зиновья, а Федор говорит о своем:

— Я Моршанского уезду... Город Моршанский знаешь? Не знаешь, а у нас там собор знаменитый. Собор у нас там — вы-со-та!.. Его ведь выше Ивана Великого купцы наши умудрили возвесть; туды-сюды — хватъ, запрещение: выше Ивана Великого не смей!.. Так его и сгадили весь план: купол обкорнали весь, и венциальные окна — ни к чему по четыре с половиной аршина, а их по двенадцати надо было аршинов: четыре сажня, ты то пойми!.. У нас дьякон там был, Краснопевцев, — как хватит «Многая лета», так и стекла вон. Ну, конечно, во всю силу голоса ему воспрещали... Из себя страсть какой видный, грива — во-о!.. И, бывалыча, всегда он пьян: купечество — всякому лестно, как такого дьякона не угостить?.. Побыл у нас год, а его к архиерею, побыл у архиерея год, а его в Святейший синод требуют... Теперь небось такой шишкой стал, — сзаду богу намолитшься.

Рассказал о дьяконе, — пошли монахи, потом какой-то помещик Можаров, потом казачьи лошади...

И к тому времени, как подошел потный Назар к кухне, Федор сидел уже на пороге, рядом с Зиновьей, Ваняткой и огоньком, и говорил мирно о кладах:

— Чабан один барашку пас... На дудочке себе играет на кургане, — это под самой Керчью, Золотая гора называется; сидит, — и сидеть ему очень удобно на плите на такой — каменная плита, гладкая; сидит раз, а тут, значит, дождем ее подмыло, не очень уж она плотно к земле принавши; бу-ултых он с ней в яму, — скрозь земь провалился, пропал. Ищут-поищут хозяйвы чабана — барашка есть, а чабан пропал. Что за оказия, чабана нет? Барашка — вся чисто целая, а его и духу-звания нет. Вот другого наняли. А барашка, — где ее стан, она привычная, прет средь дня на Золотую гору, одна к одной головами, в круг, как ей обыкновение... Только этот новый подходит — голос человечесий. Откуда это из ямы голос человечесий подается? «Ты кто там?» — «Чабан». — «Как туда попал?» — «То-се». Бежит новый к своим хозяевам грекам: вон где он проявился, — сквозь землю провалился, шабан! Те, греки, — народ хитрый — веревки, лопаты, да туда. Оказалась пещера, в пещере — два гроба, а пол-

ле — колодец, цибарка на цепи, а дальше, спустя место, ворота... Со скольких это годов — никто не знает. Ну, конечно, кувшины такие старинные, золото, серебро. Вот какие, значит, вещи подходящие — это они, греки, себе обшарили все: пожалуйте теперь желающая полиция клад опечатывать... А сами в Керчи домов себе понакупили двухэтажных.

— Да, говорится — двухэтажный, а заместо того — бумажный, — вставляет Назар.

— Ты вот говоришь, а теперь по Митридат-горе ребята татарские ходят, землю мелкую собирают, просеивают: монетки паходят золотые. А то есть такие турки, — чем занимаются, никому это неизвестно, а небось богато живут: со щупами ходят. Как день, они щупы в руки — палки такие острые — и идут, по горе ходят, так, будто прогулка это у них, а сами хитро землю щупают: может, где подастся поглубже. Подалась — вот и готово дело: заметку поставят, ночью кирки на плечи, гайда на это место... Мало находят, что ли? А не хочешь, — тетка у моей жены в Керчи погреб себе копала, две генуецких вазы нашла: одна ваза золотая — полнехонька с золотом, другая серебряная — с серебром полна. Не скажу, что она раньше того бедная была: по двадцати тысячев на трех сыновей положила, а как эти вазы еще — так она на дочь — со-рок тысячев!.. Жена моя службу у ней имела, горничной, а когда вместо кухарки. Она ей: «Вот дом приставский (взял под залог три тысячи, а отдавать — наворовать не поснел), вот этот дом, а при доме сад (хороший, четь десятины!) — вам с мужем, корову куплю вам, — живите». А она, стерва... в нашем быту гнутья надо, а у ней с теткой недостаток разговору вышел, из-за бабьих пустяков не помирились, — она от тетки по щеке получила, да сдачи ей. Та ее, конечно, за хвост на улицу... Вот почему у нас бедность.

— Да у тебя и жены-то нет, хромой, что врешь все?

— Как нет? Здесь нет — в Керчи есть. С другим печником живет, — вот уж, почитай, лет пятнадцать она с ним... Я в это дело не вникаю: хочет он с нею жить, значит, мог он с ней ладу добиться, — ну и живи.

И подмигивает Федор одним глазом.

— Ты что это мне все про кладь? сурово спрашивает Назар.

— Что?.. Думаешь — не бывает?.. Э-э, брат!

— Ты за кладом хочешь? Поспешай-поспешай, а то другой кто найдет... Поспешай.

Удивляется Федор:

— От моей хромоты мне теперь на Палац-гору? Эх ты, умен!.. Мое теперь дело пустынное, ровное... Раньше таким бы манером...

— Клад — вот он клад! — с азартом стучит себя пальцем по лбу Назар.— Ежели у кого шарик работает!.. Две руки тебе даны, вот это тебе кла-ад!.. Ты только на людей не тянись, не нагоняй лени — вот тебе клад!.. Ах-ах, народ!

Федор смотрит на него, не понимая, отчего он так осерчал. Когда люди серчают возле него, ему тоскливо, и кажется, что он голоден, и хочется выпить водки.

— Поднеси-ка мне рюмочку,— подмигивая, примирительно тихо говорит он Назару.— И ежели две, то еще того лучше... И, может, есть у тебя огурец малосольный закусить.

Стоят они друг против друга, один молодой, сухоскулый, весь подобранный, легкий, другой — носатый, колченогий, сильно оборванный долгими рядами лет: запах от него грязный и пьяный, руки у него дрожат; кладет кирпич «на кантик» — ложится «на плац».

Но Зиновья смотрит на Федора любовно, достает ему водку, рюмку, морщинистый огурец. Простые русские бабы любят угощать и потчевать, и в то время как Назар отвернулся, глядит в окно на море, барабанит пальцами в подоконник, Зиновья, синеглазая, улыбается Федору, грешному, пьяному. Простые русские бабы почему-то матерински любят неправильных мужиков.

Есть какая-то на земле своя солнечная правда, человеку этого не дано знать, человек только чувствует это смутно, когда вдруг возьмет да поверит сказке о том, например, что никогда не разлюбит, никогда не состарится, никогда не умрет. Сядьте здесь, на большой высоте над морем, избочите голову, как это делают птицы, тогда все вам покажется новым; забудьте, что влево верст за сто такой-то город, вправо верст за сто — такой-то; пусть будет только светлое яркое море перед вами и вы, и нй море вот один, вот другой, вот третий, точно в другом мире —

так далеко, как лебеди белые, белеют баркасы-парусники. Крикните им вдруг: «Эй, кораблики!» Громче кричите: «Эй, кораблики! Вы куда это плывете, кораблики?» Пусть они выплыли из какой-нибудь зачарованной страны, пусть плывут они в страны, совсем неслыханные, пусть паруса у них вечные, мачты вечные, матросы вечные... Пусть не будет хотя бы для них одних так обидно мала земля... «Эй, кораблики!»

Для сна после обеда Федор не выбирал места: он лег позади кухни в тени так, как был, прямо на землю, только лицо обернул фартуком, чтобы не кусала муха.

И сразу мягка, и тепла, и родна ему стала земля.

А Назар внизу около дачи. Здесь все требует его глаза: и молодые павлонии, у которых от горной сухой земли и солнца каждый день колпачками беспомощно обвисают широкие клейкие листья: нужно их напоить, как усталых рабочих коняг; и виноград, у которого сочные доходные чубуки выгнало длиннее чем в сажень: нужно сделать ему широким пожом вторую чеканку; кисти в наливе: нужно осыпать их вторично серой. И нужно выбелить густо известью толь на крыше беседки в нижнем саду и залепить трещины в цементных ступеньках лестницы, чтобы не расселись совсем.

— Положили прямо на глину бетон, ах, гады! — ковыряя ногтем трещину, говорил Зиновье Назар. — А для бетону глина — да это же чистый яд!

И Фанаску тут же держит Назар: то пошлет его за мочалой, то за секатором, и, когда отрезает длинную ветку персика, начинающую подсыхать, Фанаска спрашивает удивленно: «На кой?» — и осторожно подымает ветку.

Эти часы — третий, четвертый, пятый — душны даже здесь в саду, на перевале. Густо пахнет вялым виноградным листом, около земли припеченным, желтым; земля горячая, не устоишь босиком; цикады трещат лениво; высоко, где, кажется, еще жарче, вьются орлы; на поздние черешни садятся с довольными криками стаи молодых болыперотых скворцов, и Зиновья бросает в них веделко, по-бабьи, комьями земли и кричит: «Кни, окающая сила!» Скворца улетают с ягодами в клювах, а потом хитро

подбираются вновь. Длинный толстый желтобрюх давно уже лежал на куче прошлогодних сухих чубуков и сладко грелся, но, услышав близко Назара, зашуршал и пропал в дубняке. Земля — и тут же над землею солнце: так оно низко и велико. Только успел Назар пройтись известью по черной смолистой толевой крыше, и уж она побелела, повеселело в саду и кругом: белое издалека видно; в белом человека больше всего.

Утром солнце шире, к вечеру — уже. Брызнувшее по всему небу с утра — к вечеру стекается оно в одно русло, и вот ее уж почти определенно видно, солнечную реку: это бывает здесь в шестом часу, когда жестко звенят подоловому ведра у большого бассейна. Колодца здесь нет, вода дождевая, с крыши. Назар, разнося ее по деревьям, по неровной покато́й кочковато вскопанной почве, упруго и устало ставит ноги. Много посадок около дачи, и вьются по резному балкону настурция и вьюнок: это час их рабочего водопоя; пахнет сырою землей и цветами.

Раза два хотел послать Назар Зиновью или Фанаску на кухню посмотреть, как работает печник, и все находилось для них другое дело.

Но когда приходится пройти с ведрами мимо кухни — полить помидоры на грядках, Назар видит Федора: спит Федор.

Спросонья Федор ничего не может понять: где это он, как попал сюда, почему кричит на него этот скуластый малый?.. А спросонья он даже и на Федора не совсем похож: картуз в обтяжку тот же, и длинный, сизый нос тот же, и та же борода — путанный лес, но как будто ему лет на десять больше: что-то отняла у него на время земля.

— Ты ж явился сюда зачем? — возмущенно кричит Назар. — Спать? Ты спать? — и ныряет тонкою шеей, и нижеет его злыми глазами, и водит перед его носом жилистой, узловатой, в подсученном рукаве рукой.

Федор смотрит долго на него, на белую стену кухни, на молодой миנדальник, возле которого он спал, на желтое солнце, которое клонит к закату, зевает глубоко и мирно, скребет под картузом и тычется в карман за кистетом.

— Да-а... Это я поспал... Таким манером, — и ведь эту ночь доводна кружил... — И улыбается, подмигивая красным глазом.

— Ты мне что это: кружил?! Это — не касается! Как ты мне сказал, сегодня кончишь, а вместо того только все развертел? Когда ж ты ее сегодня кончишь?

Федор свернул сигарку, откусил лишнее зубами, зачерпнул табаку из кисета, и много старой медленной мудрости его в том, что говорит он Назару:

— Сегодня ее кончить или же завтра ее кончить — одна ведь ей цена: плита. Придет время — и кончу.

— Ты что же это за босяк за такой? — наседает Назар.— Как сам на себя не надеешься, ты бы мне сказал: разбуди... Босяк!..

А Федор удивляется, еще не совсем очнувшись:

— Ну и колготной ты мужик!.. Смотрю-смотрю на тебя — страсть колготной!.. Ежели б я поденный, тогда ты полное право имеешь, конечно, надо мной свой сурьез показать, ну, однако, я сдельно взялся! Хочу — работаю, хочу я — сплю: как мне хочется... Почему ж это ты такой колготной?

— Ты к делу приставлен — значит, нужно тебе свое дело исполнять! — кричит Назар.— Полну кухню камению навалил и думать забыл? Пролетарист!

— Гм... Стало быть, после всего этого должен я увойти,— говорит Федор.

Когда он начинает сердчать, то употребляет иногда слова исковерканные, местные, считая, должно быть, что сказать этак полезнее, чем просто. Он подымается, и это долго и трудно: он подбирает под себя здоровую правую ногу, рядом с ней прочно упирает правую руку, а левую относит подалее вперед, наклоняется в пояснице, чуть не касаясь земли бородой, чтобы упереться здоровым коленом, и когда встает наконец на обе ноги, то дрожит, весь красный, и трудно дышит.

— Ты сейчас же у меня иди и кончай! — кричит Назар.

— Нет, я увойду,— говорит Федор.

Фанаска прибегает снизу и широко смотрит, и корнюхий Пукет, ничего не желая понимать, игриво старается укусить его за пятку. Подымается сюда и тонкая Зиновья, голова к голове с пухлым, белым Ваняткой, и от больших на худом лице синих глаз ее все кругло голубеет в глазах Федора, и непременно уж хочется быть удалым и щедрым.

— Увойду! — повторяет он. — Как ты тут так надо мной озоруюешь, — эге-ге, брат! — поищи других.

Он подбрасывает голову, одергивает фартук, выправляет рубаху и, волоча прямую ногу, бодро выходит на дорожку, посыпанную морским гравием.

— Как же ты это делать смеешь? — озадачен Назар.

— Так и смею.

— Ну, ты ж с меня денег своих...

— А подавись деньгами! — лихо вставляет Федор.

Если бы Зиновья подошла к нему ближе, что-нибудь сказала Назару, что-нибудь сказала ему, может быть, он и остался бы и сложил бы боров, но Зиновья недоуменно глядит и молчит.

И идет Федор к пикулинской калитке — пьяный и старый, сутулый и хромой, грешный и гордый.

Точно ломаются где-то страшно далеко тонкие-топкие тонкие льдинки: это солнце заходит за горы.

Солнце здесь подымается из-за моря и потому очень рано — ничто ему не мешает, а заходит за Ближние зеленые высокие горы, и еще нет и шести часов, а уж подходит солнечная река к буковой плотине. Горы оцетинились этими редкими буками, как кабаньи спины, и теперь каждый сук отчетливо черен, точно почернел от святого страха, переплескивает через плотину солнце, кажется, медленно гнет буки, тончит сучья, глотает листья, — свергается куда-то вниз, не видно куда.

А по скатам, в неглубоких балках уже начинают мягко стелиться остроконечные, чуть розоватые, как розовая пыль, тени. Потом они расползутся по круглым дубовым кустам вблизи, по серым круглым, как притаившиеся ежи, шапкам перекати-поля, по растрепанным колючим молочаям. Тени эти сквозные, в них все задумается, станет свежее дышать.

Черные дрозды начали уж беспокойно искать веток сухих и высоких, откуда бы им все было видно. Это их час. Как только солнце переплескивает за горы, они кричат что-то, ужасно волнуясь, что именно — неизвестно. Они косноязычно-оторванно чекают, изумленно-высоко всплескивают горлом, начинают и не знают конца, кончат и забывают начало, и подпрыгивают выше, и вздергивают хвостами. Но, может быть, это были бы красивой-

ише песни солнцу, если бы не мешало волнение. Потом, когда исчезнет последний луч и только странной формы облака подымутся над горами, огненные и золотые, дрозды станут грустнее, тише; а когда и облака погаснут — замолчат дрозды.

Начинают расходиться с перевала коровы, воровато обгрызая на ходу кусты. Теперь Федор видит, что они — стадо, что есть у них пастух, выдубленный солнцем татарчонок, и что это он гонит их в город, по дворам. Крепко пахнет от них вечерним парным молоком и хлебом.

Вспугнутая стадом, пролетает низко над землею из куста в куст головастая, косокрылая, слепая птица: это сплюшка. Стемнеет — и начнет она ввертывать в ночь, как тугой буравчик, нестерпимо жалостное: сплю-ю... плю-ю... тлю-ю...

Городок — в огне. Теперь это совсем волчок, размалеванный так по-детски крикливо, что глаза колет; пять минут погорит — погаснет.

По морю стрельнула вдоль дальнего берега золотистая стрелка — вот-вот позолотеет сразу все море. Тогда оно станет трогательно-вдумчивым, усталым, оседет ниже. А потом и небо на горизонте станет тяжелее его: пепельное и лиловое, а море выкатится из этого неба, как огромнейший круглый глаз, широко изумленный. Потом успокоится глаз, и придут часы долгой прохлады, тонкой темноты, воспоминаний, недомолвок, грусти и странных мечтаний, и сказок, и радостной, прочной, как земля, убежденности в том, что из-за моря подымется в свое время такое же спокойное солнце и настанет завтра.

Федор идет вниз с перевала, осторожно выставляя хромую ногу, идет долго, иногда сердито бормочет и трясет бородой. И когда проходит уже половину спуска, вспоминает, что оставил у Назара грохот, ведро и кисть, а гельм захватил только потому, что печально сунул его за фартук, когда ложился спать. Если бы оставил где-нибудь в городе — к этому он привык, но идти сюда — далеко и трудно. Он ругается крепко-крепко, сонит, плюет наземь, потом машет рукой и медленно движется дальше: кому нужно будет — тот сходит.

НЕДРА

Поэма

I

Шел ей девяносто шестой год, — пожалуй, даже и нельзя уже было сказать «шел»: бабушка все время сидела в кресле-качалке, больше дремала, чем смотрела и слушала, и едва ли сознавала ясно, что идет время. Череп облысел — прикрывала его черным чепцом; бессчетно много было морщинок коричневых на ее лице — все еще большим, с орлиным носом, — и держалась еще дряблая дородность в теле.

В середине апреля часто стала впадать бабушка в долгие забытья; думали, что от пьяного весеннего воздуха, но знакомый доктор предположил близость смерти. Тогда в комнату бабушки стали чаще заглядывать днем, а ночью поочередно дежурили ее внучки и правнучки, чтобы в момент смерти быть около незапамятно старой, ворчливой, любимой, когда-то победно красивой, прожившей длинную жизнь.

Была своеобразная таинственность и жуткость в том, как стерегли смерть. В доме следили приход ее пять человек: старый чиновник губернского правления, Никандр Порфирыч, женатый на дочери умирающей, Ольге Ивановне, их сын, пострадавший за убеждения, женившийся в Сибири и теперь приехавший с женой в родной город искать какого-нибудь места, и баба-законница кухарка Лукерья.

Потом приезжали посменно две внучки, обе замужние, жившие в том же городе, полнокровные, очень деятельные, сентиментальные, и три правнучки, двоюродные сестры: Лиза, просватанная за инженера Строгова, Даша — невеста поручика Головачева и Варенька, самая младшая, лет шестнадцать.

Тянулось это около двух недель, — все кто-то откладывал нежеланное, ножданное, и уж началось какое-то соревнование в том, кому предназначено увидеть последние минуты бабушкиной жизни, и было только любопытство игроцкое, как в карточной игре, а боязни никакой не осталось.

Старик Никандр Порфирьич — чиновник — был человек скромный: придя со службы, спал, а потом сидел у себя в кабинетике и допоздна рисовал акварелью морские виды (хотя в натуре моря никогда не видал): синюю воду — белые корабли, или зеленую воду — белые облака, или голубую воду — белых чаек; только три краски у него и было: белила, гуммигут и берлинская лазурь. Любил дали, а берегов не любил, почему и не держал для них красок.

Бывший ссыльный, сын его, такой же скромный, как и отец, занимался математикой, просто так, как любитель: пользы от этих занятий извлечь не мог. Оба они, забившись в кабинетик, старались не мешать друг другу: мало говорили, даже мало покашливали и совсем не курили, ни тот, ни другой. А в остальном доме — и в столовой, и в гостиной, и в спальне, и в комнате бабушки — везде было шумно, болтливо, хлопотливо: там жили.

Приезжая, ужинали, болтали о чем-то своем, неистощимо женском, потом, когда в доме укладывались спать, шли на дежурство в комнату бабушки. В комнате стояла для дежурной свежепостланная кровать, на которой спать воспрещалось, по можно было лежать и читать при свече книгу. Книгу выбрали толстую — роман с нескончаемой любовью, — и редко кто знал, как называется роман, и никого, по обыкновению, не занимало, кто автор, и то, что прочитывалось за ночь, через день забывалось бесследно, и загнутые уголки страниц вечно путали, путали и крестики среди текста, которые делали шпилькой, — но свеча и толстый роман — это уж так повелось.

Когда дежурила старшая внучка умиравшей, Серафима Павловна, она просила еще чайник холодного чаю и вазочку клубничного варенья; помещивала тихо звякавшей ложечкой и пила. Очень это любила: холодный чай, клубничное варенье и как ложечка звякает, — без этого не могла.

Прасковья же Павловна любила фисташки: нагрызала их за ночь огромную кучу. Кроме того, в свое дежурство мыла здесь волосы дождевой водой: для этого всегда хранилась у Ольги Ивановны дождевая вода в кадучке, и был какой-то свой мыльный состав, в который она верила и секрет которого обещалась передать Прасковье Павловне перед своей смертью.

Лиза, дочь Серафимы Павловны, приходила с какой-ни-

будь работой: вышивала подушку, вязала ридикюль, местила платки — готовила приданое к очень скорой свадьбе, а сестра ее Даша писала длинные-длинные письма своему поручику, который был теперь в командировке в соседнем городе, обучал не то ополченцев, не то запасных, и аккуратно ей отвечал, хотя и не столь длинно (ведь он был занят службой), но нежно; и два-три последние его письма Даша всегда носила с собою, чтобы украдкой перечесть и продумать.

Обе были высокие, полногрудые, на обеих хорошо сидели всякие платья, даже и не модные, и обеим завидовала вслух Варенька-коротышка:

— Какие у вас фигуры шикарные!

— А ты тоже подтянешься, — говорила Лиза, — тебе ведь еще года три расти.

— Да-а... подтянусь на вершочек на какой-нибудь... У нас есть ученица в седьмом классе, Завьялова, еще меньше меня, толстая, краснощекая, ее «самоварчиком» зовут... Не хочу быть «самоварчиком».

— У тебя глазены красивые, и цвет лица идеальный, и вся ты милая-милая! — говорила нежная от писем Даша.

— Милая?.. Правда, милая?.. Дай я тебя, Дашуня, поцелую за это.

У Вареньки матери не было — года три назад померла; отец ее, тоже уездный чиновник, как и муж Ольги Ивановны, от тоски по покойнице иногда попивал.

Домик у него был старенький и сильно заложен, без всякой надежды на выкуп; половина его сдавалась жильцам, а в трех комнатках жили сами; на дворе собака Тузик, а в амбаре вместе с курами кролики.

Тузика Варенька купила сама на базаре в прошлом году, в октябре: захотелось завести комнатную собачку, а на базаре случайно попался приезжий мужик с продажными щелками.

— Ах какие смешные! — вскрикнула Варенька, увидев щенят в дерюге. — Комнатные?

— Самые комнатные, — сказал приезжий мужик.

— Какой породы?

— Породы — бог их знает: господские.

— Вырастут — маленькие будут?

— Самые маленькие, — сказал мужик.

Тут увидела Варенька огромного лохматого пса, при-

вязанного к задку мужицкой телеги, такого же черного, как щенки.

— Это их... «мама»?! — вскрикнула Варенька.

— Какая ж «мама», барышня? Извольте посмотреть — кобелек! — и мужик поднял псу заднюю ногу.

Варенька не смутилась; о том, что кобелек может быть их «папа», не спросила; отобрала лучшего щенка и принесла. Комнатный щенок за зиму вырос так, что и на дворе ему тесно было, а кухарка жаловалась, что много ест.

Двух кроликов Тузик тоже съел по незнанию, что есть их нельзя; осталось восемь. Когда Варенька ставила на окно свой хрипучий дешевый граммофон, кролики выползали из амбара, один за другим — прыг-прыг — подбирались к окошку, становились на задние лапы, озирались один на другого, развешивали уши и слушали.

Варенька всплескивала руками и хохотала и звала неистово кухарку Степаниду посмотреть.

У Вареньки была уже крестница, двухлетняя теперь девочка Люба, дочка квартирантов, с мягонькими белыми волосиками, с синими глазками, — и она с ней возилась все свободное от гимназии время.

Любила кормить ее конфетами, прищипливать ей бантики розовые и синие, вертеть ее, как куколку, и припевать:

Делай ручкой хлоп-хлоп-хлоп,

Делай ножкой топ-топ-топ.

И туда и сюда повернемся без труда!

Без ума от радости, когда крестница в первый раз назвала ее по имени; правда, назвала не Варей, а Калей, но так вышло еще забавнее и милее: Каля... Любила спрашивать ее при других:

— Как меня зовут, Любочка? Я — кто?

— Каля.

Потом хохот до слез и звонкие поцелуи.

А теперь, недавно, девочка ходила в саду по крупному рыхлому гравию, которым насыпали дорожки, и сказала:

— Я... хожу... по сухарей.

И так это понравилось Вареньке, что несколько дней она только и повторяла это Любочкино: «Я хожу по сухарей», вспомнит — и прынет счастливо.

Но и о себе она думала упорно: надвигается настоя-

шая взрослая жизнь: что в ней, в этой жизни? Готова ли она к ней?

И однажды, неуклонно каллиграфически, по всем правилам своего учителя чистописания, написала она письмо в Лондон к какому-то известному из газетных реклам графологу «с покорнейшей просьбой» определить по ее черку, какой у нее характер.

На ответ приложила две марки, но ответа почему-то не получила, и насчет своего характера была в затруднении: каков он?

II

Удивительный выдался вечер, когда Вареньке пришел черед вторично дежурить.

Первый раз она храбро выдержала целую ночь, и утром, когда тихо посвистывала носом сонная бабушка, вся такая желтая-желтая, как шафран, а Лукерья уже завозилась на кухне, Варенька потянулась сладко, сделала крестик в романе, приоткрыла ставень, отворила форточку, глотнула росистого солнца, пахучего, клейкого сада, всего-всего утренне-радостно-апрельского, сколько могла вобрать, а потом неумойкой оделась, побежала спать домой («домой» же — это недалеко было, через улицу), и когда проснулась к обеду, как-то даже и рассказать нечего было: читала, на бабушку иногда смотрела, бабушка посвистывала легонько, — а страшного ничего.

Теперь же, когда шла она опять вечером, попался на улице семиклассник Костя Орешкин — нескладень и неряха. Когда были еще маленькие, пригостишки, звал ее «ослицей ширабахской» (и откуда взял такое?), а теперь вздумал ухаживать, и так это у него смешно выходит, и такой стал глупый; и голос ломается надвое: то дискант, то бас.

Спросил (басом):

— Куда это, Варенька?

— А тебе зачем?.. К бабушке.

— Ну что ж... (дискантом) я подожду.

— Ого! Подожди-ка!.. Все жданки поешь. Утром выйду.

— Ну-у? Ночевать будешь у бабушки?

Рассказала, что с бабушкой и как дежурят, — в пяти словах...

— И вот бабушка... и вот мы все: Ольга Ивановна, теть Серафима Павловна, теть Прасковья Павловна, и Даша, и Лиза, и я... и вот целую-целую ночь... и роман... И вот... Покойной ночи, а я уж пойду, ведь меня ждут.

А когда прощались, все никак не хотел он выпустить ее руку, и рука стала потная, так что она даже осерчала и выругала его ослом ширабахским, а он промолчал смиренно, как будто так и надо.

Очень нравилось Вареньке у Ольги Ивановны. Войдешь — обдаст геранью; это ведь только от герани в комнатах так тепло, и уютно, и оранжереечно.

Говорила Ольге Ивановне:

— Уверяют, что самый это размещанский цветок — герань! Какие глупости!.. Ну и пусть размещанский, пусть! А мне вот нравится, и все тут! И когда я выйду замуж...

Она хотела добавить, что тогда заведет себе обстановку совсем как у Ольги Ивановны: и такие же шкафы с резьбой: на посудном — птицы, носами вниз, лапки связаны; на гардеробном — розы гирляндами и ленты бантиками; а на книжном — просто так, строго: колонны по бокам, с прямыми выемками и с коронками, как на судейских фуражках (книжному шкафу, конечно, ни птицы, ни розы не идут); и такую же заведет большую бронзовую лампу над столом, на которой два медведя лезли на дерево к пчелиному улью — умильные-умильные мишки, привычные-привычные, лезут и лезут уже сколько лет; и такие же занавески на окнах, и драпир над дверьми, и пол чтоб всегда был так же чисто-чисто выметен-вымыт; и на столе в гостиной чтобы всегда две большие вазы: с фруктами — одна, с орехами — другая...

Многое еще хотела добавить, но добавляла не то, что хотела, а другое:

— Вот только что я совсем-совсем не хочу замуж!.. Зачем?

А Ольга Ивановна, у которой и теперь даже, в шестьдесят лет, волосы были густые и черные, а лицо свежее, добротное, хлопала ее по плечу шути (такая была ухватка) и подхватывала смеясь:

— Дурочка-дурочка! И что перепелок ловит?! Как это замуж не хотеть?

У нее все были какие-то смешные присловья, каждый раз новые.

Самовар, начищенный Лукерьей как-то так искусно, что весь покрылся яркими кружочками, всю трубил и парил на столе, точно хотел сорваться и проскакать лихо; швейная машинка трещала; половину комнаты заняло облако серого с голубым отливом легкого шевиота, такого ослепительного, что Варенька даже ахнула. В этом облаке за машинкой сидела Нина Андреевна, сибирская, с бигуди в волосах, и делала строчку, а Ольга Ивановна промывала изюм и сушеные сливы для завтрашнего компота. Все было радостно Вареньке: материю щупала, смотрела на свет и нюхала, примеряла, завернувшись в нее перед зеркалом, и говорила: «Вот прелесть!» Из-под руки у Ольги Ивановны стащила размокшую черносливину, шаловливо прыгала с нею во рту и приговаривала: «Ух, вкусно!»

На стене висел на розовых ленточках новый для Вареньки какой-то портфель для бумаг, по зеленому кастору вышитый крупной сиренью и левкоями.

— Какой милый! — восхитилась Варенька. — Это откуда?

— Хвасталась Лиза, что сама вышивала, — объяснила Ольга Ивановна, — а в лотерею билет на мое счастье взяла. Скрыть хотела, да совесть зазрила — принесла.

В клетке над дверью дремал на жердочке дубонос, мокроперый, бесхвостый, нахохленный. Он один только не нравился Вареньке.

— Некрасивый, — сказала о нем Варенька, поджав губы.

А Ольга Ивановна подхватила:

— И-и, некрасивый! Чем носовитей, тем и красовитей. Хотела его на Благовещенье — птичий праздник — на волю выпустить, да поскупилась... Да куда ему тут и лететь-то? Еще кто сожрет.

III

Когда Варенька осталась на дежурстве и чинно взяла роман, она долго, сосредоточенно щелкала листами, чтобы найти свою заметку. Нашла, а читать было лень — бросила. Смотрела на свечку, щурила глаза от желтых лучей. думала: вот после Пасхи пойдут экзамены... Заядлая троечница, по убеждению... Ничего, все равно дадут кончить:

ни в одном классе не сидела... Потом — восьмой, серое платье... А потом что? Курсы?.. И Лиза не была на курсах, и Даша не была... и какой толк от этих курсов? Так только — мода...

Комната бабушки была небольшая, в одно окно. Обои старенькие, желтые, с синими цветочками; лавандой пахло.

Присмотрелась Варенька к бабушке, спокойно сидящей, — показалось, что бабушка на нее тоже смотрит...

— Вы не спите, бабушка?

Как-то неловко стало; а в доме тихо.

— Вам что-нибудь подать, бабушка?

Встала и подошла со свечой.

Бабушка действительно смотрела на нее, только спокойно; ласково уж разучилась смотреть — смотрела или спокойно, или обиженно; если спокойно, значит, ничего не надо.

Одевали ее чистенько, только во все черное, как моташенку. Еще зимой бабушка чуть не каждый день ходила в церковь, и теперь, когда приносили ей просвирку от ранней, была явно рада, целовала ее и клала на столик. Много их скопилось возле нее на столике, точно и не бабушка сидит, а просвирня.

От свечки бабушка щурилась, и глаза стали узенькие, и в них по золотой точке.

— Ва-ренька... — слабо сказала бабушка вдруг. — Ва-ренька... — и шевельнула рукой.

Варенька обомлела, на пол поставила свечку, стала на колени возле качалки; уж неделю никому ничего не говорила бабушка, только или простонет, или кивнет головой, а теперь назвала ее ясно: Варенька.

Подождала, не скажет ли еще чего-нибудь; смотрела на бабушку восторженно и робко, как на икону. Ничего больше не сказала, только поманила пальцем и веками глаз, и когда Варенька положила голову ей на колено, погладила ее неожиданно крепко, точно сукно оттирала, и глядела спокойно, но как будто по-прежнему ласково...

Потом скоро сползла рука, глаза закрылись, — забываясь бабушка, тихо засвистела носиком.

Варенька встала с колен осторожно, чтобы не будить, взяла свечу, села на свою кровать к роману тоже осторожно, чтобы не скрипнуть, а самой так почему-то хоро-

шо было оттого, что позвала и погладила ее бабушка, да же хоть бы и рассказать сейчас кому-нибудь, если бы был кто. Начала читать — не поняла ничего; перевернула листик назад, чтобы вспомнить, — и там не поняла.

Так минут десять прошло; читать не хотелось, все мечталось о чем-то и с бабушкой в качалке хорошо так было.

...Стук в окошко — слабенький, так что не повернула даже головы Варя, только прислушалась. Потом опять, немного сильнее... Окошко было низкое и прямо в сад, и когда Варенька, замерев, поднялась к нему со свечкой, она уж догадалась, что это не зов из другого мира, а Костя Орешкин. Его и видно стало, когда отворила ставень: нескладный, шея длинная, ворот блузы расстегнут, лицо робкое.

— Ты что это? — спросила Варенька в стекло очень тихо.

А Костя Орешкин улыбался застенчиво.

Когда улыбался он так, Вареньке всегда хотелось на него прикрикнуть шутя: уж очень детская была улыбка. Но теперь она только погрозила пальцем, косясь на бабушку, и прошептала:

— Какой глупый!.. Когда бабушка спит... Бабушка! — сказала громко. — А, бабушка! — еще громче.

Бабушка свистела носиком.

Тогда Варенька приоткрыла окно.

— Ты зачем это пришел?

— Может, мы... погуляем?

— Ты с ума сошел! Когда я дежурю...

Костя подвинулся к самому окну, такой же робкий.

— Мы бы немножко... по саду.

— Ты как сюда попал? Калитка разве не заперта?

— Нет, я через ограду... Там ведь дырка в ограде — планка одна вынута.

— Вот глупый!

— Очень уж ночь хорошая! — вздохнул робкий Костя.

А ночь была такая, что только подышать ею минуту, и вот уж усидеть нельзя.

В саду было несколько групп-скороспелок; теперь (весна была ранняя) как раз они зацвели и ночью пахли куда крепче, чем днем. Потом соловьи... не в этом — тут их пугали кошки, — в соседнем саду, капитана Морозова, — у него насчет кошек было строже.

Груши и соловьи были только заметнее, а о всех других запахах и других звуках, так перемешанных, таких особенно теплых, апрельских, таких уездно-городских, подумать словами как-то даже и невозможно было. Усидеть на месте нельзя, а почему — бог знает. Почему иногда человеку каждый корявый сучок — родной брат, каждая козявка — сестра, и к парной земле хочется припасть губами?

С вечера прошел маленький дождик, и теперь еще пахучей стало, чем раньше. Даже и та трава, которой еще не было, которая завтра еще пробьется на свет, и та уж пахла.

От луны сад внизу расписало тенью, и от свечки в окне, за Костей, в куст барбариса полезла тень.

— На минутку можно бы... — сказала Варенька.

— Ну да, а то на сколько же? — просиял Костя.

— Как же?.. В окно?.. Нет — застучу.

— Я помогу, ничего, — и протянул руки.

— На, платок мой теплый возьми.

— Да ведь и так тепло.

— Ну все-таки, — и, поставив ногу на подоконник, еще раз оглянулась на бабушку.

Из сада, насколько могла, притянула внутренний ставень и закрыла окно, чтобы на свет не залезло что-нибудь такое, чего не нужно. И когда очутилась в саду рядом с Костей, — «Вот спасибо тебе!» — сказал Костя.

IV

Из-под теплого платка, накинутого на голову, снизу вверх на длинного Костю птичкой смотрела Варенька: а что он сделает? а что он скажет? а как поглядит?.. Теперь, ночью, все это было так таинственно: и то, что тополи над головой шуршат, как жуки, и то, что груши пахнут крепче, и то, что тени от сучьев так же черны, как сучья, и то, что дышать так легко и сладко, и то, что бабушка зачем-то благословила ее (иначе она никак не хотела называть того, как ее вспомнила бабушка), и то, что Костя какой-то новый, и с ним хорошо.

— Видишь ли, Костя, — сказала она подумав, — я вот только за бабушку боюсь, а то бы мы с тобой и по улицам погуляли.

— За бабушку что же бояться? — сказал Костя радостно. — У нее ведь болезни никакой нет: у нее *magismus senilis*.

— Что, что?

— Старческая дряхлость, а не болезнь... Долго она еще тянуть может.

— Что ты! Доктор сказал... а иначе — зачем же нам и дежурить?

— Так у вас времени больно много.

— Какой ты грубый, Костя! Я не пойду с тобой.

— Ну что ты... ну прости... Доктора, ведь они мало о человеке знают... Только то, что он должен когда-нибудь помереть... Это я так... Ну, пойдём.

— А где же тут планка вынута?

— Она вот здесь; она не вынута — ее отодвинуть можно.

— Это ты ее и сломал, здесь все планки были целые.

— Что ты, Варенька! Совсем не я.

— Ты, ты, ты, — уж не притворяйся, я ведь все равно никому не скажу.

И когда Костя помогает ей пробраться сквозь ограду на улицу, Варенька чувствует, как бережно прикасаются к ней его большие руки; ей весело; ей хочется засмеяться звонко; но смеяться звонко нельзя: ночь, и она доверчиво и благодарно прижимается к Косте плечом.

На улице еще светлее. Безобидные собаки где-то лают, мелкие; сказать лишь: «Шарик, Шарик! Ты что с ума сходишь? Ах, Шарик, Шарик!» — вот уж и завилал хвостом. Вдоль улицы — белые акации одна в одну, как пышные букеты. Прямо под луну попала «Белошвейная специальность белья и метки», — так и сияют буквы, а ближе — кусочек ржавой черной жести над калиткой; лет десять назад на нем была надпись: «Константинопольский сапожный мастир — Асанов»; теперь облупилось, осталось одно ушко сапога.

Лет десять назад тут на углу была рубленая низенькая кривая хата, мимо которой боялась ходить Варенька, а теперь поставили дом приличный — белый, в полтора этажа, и на улицу палисадник.

— Я так не люблю, так не люблю, что я брюнетка! — почему-то говорит Варенька вздохнув. — Когда я была совсем маленькая, ложусь, бывало, спать, молюсь: «Господи, ты ведь все можешь... Ну что тебе стоит? Сделай, чтоб я

была блондинкой, чтоб у меня пышные белокурые волосы и чтоб вились... Боженька, сделай!» Очень я усердно молилась, ты не думай... Вставала утром, бегом к зеркалу: нет, такая же!.. Ревела я тогда, как телушка.

— Зачем тебе блондинкой?

— А затем... что ты ничего не понимаешь в этих вещах.

— Нет, понимаю.

— А два года назад... ну да, в третьем годе... поехала я к подруге Кашинцевой на дачу в Святогорский монастырь, на каникулах... Вот где хорошо было! Сколько на лодке катались, грибы в лесу собирали!.. Ну хорошо. И там ведь много дачников, красный ряд есть. Купила я себе материи на кофточку, и вот как-то меньше, чем надо; всего-то и меньше на пол-аршинчика, а кофточки не сошьешь. Покупала вечером, лавки закрылись... Ну ладно, думаю: завтра докуплю... А ночью вдруг пожар, ты представь, — красные лавки горят! Бежим смотреть, а я только об одном: пусть себе горят, если так им захотелось, только бы моя не сгорела: нигде больше такой материи не было — ну нигде. Вот я молилась!.. И ты вообрази: она-то, моя-то самая лавка, именно и загорелась! Вся сгорела, дотла... Пропала моя кофточка! И говорили, что лавочник сам поджег, знаешь, чтобы страховку получить.

Идут мимо паровой мельницы Балабана, где теперь слабо освещены запыленные окна, гудит паровичок, работает ночная смена. Костя невольно суживает шаги длинных ног, чтобы не опережать Вареньку, и оттого походка его становится петвердой, а Варенька вся так люба земле: шаги ее незаметно упруги, плавны, точно она не сама идет, а несет ее улица. Иногда она останавливается, оглядывает все кругом, шумно вдыхает воздух вздернутым подвижным носиком и, по-мальчишески встряхивая головой, говорит: «Ух, здорово!»

Точно есть какая-то тайная согласованность неба, земли и всего, что есть на земле, и она ее чувствует.

У Кости не умирает бабушка, но он стыдлив: представляется древняя в черном, одинокая, брошенная, и ее ему почему-то жаль. Когда крался он по саду к единственному окошку, сквозь ставни которого пробивался свет, такой удачей казалось, что вот появится Варенька в окне, если он постучит тихо. Теперь она идет с ним рядом далеко в ночь, и к этому он никак не может привыкнуть, до

того это странно хорошо. Потому-то, когда говорит он, у него обрывается не совсем послушный голос, и он больше следит за ее словами, чем говорит сам, но отвечать старается по-большому. А Варенька говорит, как идет: так же бойко, упруго и без усилий. Просто это ее природные дары: ходить, говорить, смеяться звонко, хлопать в ладоши, вскрикивать, изумляться.

— У нас скоро свадьба, то есть Лиза, сестра, выходит замуж. И так неудобно эта свадьба,— как раз когда экзамены: десятого мая. А ты танцуешь, Костя? — внезапно спрашивает Варенька.

— Ну вот еще глупости! — конфузится Костя.

— Я бы на твоём месте, Костя, все-таки училась бы танцам. Как же так? Ты ведь не в лесу жить собираешься? Молодой человек должен...

— Это шаблон,— слабо возмущается Костя.— Шаблоннейший шаблон!

— Что ж! Не так страшно... И земля кружится по шаблону.

И тут же, кстати, вспоминает Варенька о французе:

— Какой наш француз смешной!.. Спросили мы его: «Мосье Сизо, правда ли, говорят, что земля — шар?» А он встал в позу и отвечает: «*Cette question est très difficile*». Понимаешь? — Это очень трудный вопрос. Уж мы хотели! У меня, говорит, жена из Африки, но она не черная, нет, *elle n'est pas noire!*

— Но... достаточно все-таки черна,— вставляет Костя.

— Ну конечно!.. Взял еще моду почему-то брать за подбородок пальцем. «*Mademoiselle*, а скажите!..» — и за подбородок... Я на него так посмотрела недавно, когда он ко мне подошел, что он... сразу ручки в карманчик и даже на носочки поднялся... Ей-богу, хотела подсечину дать!

— Что да-ать?

— Подсечину.

— Пощечину,— мягко поправляет Костя.

— Ну, все равно... А ты знаешь стихи:

Regardez, ma chère ¹ сестрица,
Quel joli ² идет garçon!..³

¹ Посмотрите, милая (франц.).

² Какой красивый (франц.).

³ Молодой человек (франц.).

Но увы, — il faut¹ молиться.
Нам пора à la maison².

— Знаешь?

— Нет, не знаю. Хорошие стихи.

Костя смеется добродушно. Ведь Варенька это нарочно, и она миленькая — ей все простительно.

Между звезд, теплых и ласковых, два облачка, и у них иззелена-светлые края. Черепичные крыши небольших домов кажутся теперь такими легкими, почти невесомыми; кое-где не спят еще, и так созвучно светит издали каждое желтое окошко. Тротуаров тут нет — песочек; шаги тихи, собаки лают вяло; садами пахнет...

И пока идут они между двумя рядами молчаливых домишек, так много есть о чем говорить Вареньке. Говорит, между прочим, и о портнихе Мавре Брюшковой, которая всем рекомендует, что она — Тася Потемкина: «Потемкина! Тася Потемкина!» — и руку сует... Как начала ее тетя Параша жучить: «Почему же у вас на вывеске М. Брюшкова?» — «Это, говорит, моя компаньонка». — «Значит, она хозяйка, а вы — мастерица?» — «Нет, что вы!.. Я — хозяйка!» — «А почему же вашей Брюшковой никто в глаза не видал?» — «Ах, Прасковья Павловна! Я уж вам скажу, только вы никому-никому, бога ради!.. Это моя фамилия — Брюшкова, но, согласитесь сами, кому же лестно такую фамилию носить? А Потемкина — так красиво: Тася Потемкина!.. Это я из романа взяла... Только, бога ради, уж вы, Прасковья Павловна, никому, пожалуйста, никому!»

Говорит о военном докторе Кречмане:

— Знаешь ведь, такой смешной, в черных очках ходит... Когда на Соборной площади кашляет — кха! кха! — на Почтовой улице слышно. Покушать по магазинам идет, напихнут ему счета, он их, как солдат, в фуражку прячет. А встретился с дамой знакомой, фуражечку на отлет — галав-кавалер, — полетели записочки во все стороны! А Кречман за ними бегом, палькой их ловит, очки падают, из обоих карманов платки торчат, — господи, косоножка! В гости к нам иногда заходит — вот смешной бывает какой, особенно когда подопьет!

¹ Надо (франц.).

² Домой (франц.).

...А Иван Андрияныч, инженер, вот за которого Лиза выходит, он не особенный из себя — так, лупоглазенький, — смотрит на меня, щеку кривит. «Вы что это щеку кривите? Думаете, хорошо?.. Кто, говорю, так делает? Никто так не делает!» — «А это, говорит, у меня просто зуб болит... Ой, как болит!» — «Да вы бы его вырвали!» — «Ох, не могу!» — «Почему не можете?» — «Как раз это тот самый зуб, какой я против вас имею!» Всегда что-нибудь сморозит вообще...

Говорит Варенька, точно все спешит рассказать, — и о классной даме Павлунчике, которая «отличилась недавно», и о «началке Евдохе», и о том, каков за последнее время стал ихний батюшка, «рёге Антонин».

Костя слушает, и ему так нравится ее голос, теперь, ночью, пониженный, и от этого какой-то волнующе-красивый. и нравится, что у нее так много веселого обо всех.

Отец Кости — человек мрачный. Он — по хлебной части. Чай пьет вирикуску. Дома — скупо, тесно, грязно, но Костя никому из чужих не жалуется на это: он стыдлив.

Около большого сада купца Стрекачова останавливаются послушать соловья, который лучше морозовского: звончее, колен больше, и они чище.

— Должно быть, старый, — замечает Костя.

— Нет, он просто талантливый, — говорит Варенька.

Луна над этим садом как-то особенно хрустальна и велика на просторе, и глаза Вареньки загадочно блистают. Кажется Косте, что нет и не может быть ничего прекраснее их, и горячим лицом он тянется к ним и касается их невольно. Серчает Варенька.

— Без глупостей! — говорит она резко. — И я этого так не люблю, так не люблю!

Она стоит некоторое время надувшись и потом, четко ставя ноги, идет назад.

— Куда ты? Варя!

— Я — домой... И не смей провожать — я одна.

— Зачем ты так? — волнуясь, стремительно догоняет ее Костя. — Варенька!.. — Догнал; идут рядом.

— Я с тобой просто гулять вышла, просто так, ну... а ты...

— Я больше не буду этого, прости... Я печально... не серчай...

Несколько времени молча идут назад, но от этой ночи назад идти нельзя — только вперед можно.

— Хочешь, еще погуляем немного, только без глупостей,— говорит наконец Варенька.

И, повернувшись, они идут снова в ночь, и замечает о себе Варенька, подобрев:

— Я капризуля страшная, ты не думай... я и ногами топтать могу, и кричать могу,— ты меня еще не знаешь как следует...

Вышли на улицу, кое-где освещенную, несмотря на ночь; главная, Дворянская — магазины.

Вот гастрономический Стрекачова, большой, с зеркальными окнами; внутри горит лампа-молния и гореть будет до часу ночи: при магазине клуб. В окнах так много консервных жестянок разных цветов, ветчина, фрукты, вина, и огромный пухлый кот — желтый, с белыми полосками поперек, сидит на прилавке и кукуется.

Вскрикивает Варенька:

— Ах, котище какой! Вот прелесть!.. Страх как люблю!.. — Ей хочется добавить: непременно заведу такого, но она добавляет: — Это он от мышей.

— А сам небось втихомолочку пользуется,— говорит Костя смеясь.

— Если бы пользовался, его бы не оставили, что ты!

— Да ведь щекочет в носу... ветчина, например.

— Ну что ж... щекочет: он — ученый.

— До трех часов потерпит, пожалуй, а уж потом...

— Почему это до трех именно?

— Не знаю уж... так мне кажется.

— Это ты по себе судишь?

— Я — куда там! Я бы и часу не утерпел, ха-ха!

— Эх, ты!.. Да не хохочи по-лешему!.. А вот яфские апельсины, вкусные-вкусные... Ну, пойдем посмотрим, какие теперь перчатки модные.

В галантерейном освещена витрина — только не уличным фонарем, а луною. Длинные перчатки развешаны крест-накрест.

— Вот какая теперь мода: белые, лайковые, пуговицы черные, большие...

— Всегда они такие были!

— Нет, не всегда! Что ты? Много ты знаешь!.. А вот корсеты — посмотрим пойдем.

— Ну зачем еще корсеты, дрянь!

— И вовсе не дрянь... Какой ты, Костя, грубый! Тебя

просят, — ты должен идти... Вот видишь, голубой с сеткой на всю фигуру? Это — парижский.

— Пойдем к реке, — предлагает Костя, — там теперь замечательно.

— А бабушка? — вспоминает Варенька. — И то уж как далеко ушли!

— Ничего, я думаю.

— Может быть, и ничего... Я бы почувствовала. Я тогда почувствую... Ведь у меня рефлексy очень сильные...

— Рефлексy, — мягко поправляет Костя.

— Ну, все равно... И вот эти мои ре...рефлексy...

— Рефлексy.

— Что это ты ко мне все придираешься, Костя?.. Думаешь, это очень хорошо?

— Ну, я не буду... Ты на меня не серчай...

Какой-то одинокий пьяный, в нахлобученной фуражке, весь намеленный, должно быть рабочий с мельницы, полз навстречу, покаянно бурча:

— Как поро-сенок... Пятьдесят два года мне, а я... как поросенок...

Поравнявшись, сделал крутой зигзаг и чуть не придавил Вареньку. Костя ловко поставил руку ребром между ней и пьяным и пояснил взрослым басом:

— Деривация влево, почтенный!

А Варенька, прижавшись к нему, сказала:

— О господи! Вот еще!.. — И подумала тут же: «Через год Костя — студент... Студенту уж и жениться можно?.. — И потом еще подумала: — Он ведь и не бедный, из купцов... Его, если подстричь, одеть прилично и чтоб он не сутулился так, — он будет даже красивый...»

V

Полукругом мягким и лунным, чуть задымленным от ночного пара, река подходила к берегу с двумя мостками для баб-полоскалок, а за рекой — дубовая Хлебицина роща, где дубы огромные, старинные, где росли ландыши, где устраивались маевки. Над рекой повсюду теперь горластый, влажный, упругий рокот лягушек — к дождю или к ведру, к чему они там задают свои балы и концерты? Сзади — за спиной линия невзрачных домишек, и от них жилой, печной запах; несколько крашенных лодок в

воде у причалов, две-три скамейки на берегу, и надо всем вверху очень далекое свежее небо в мелких звездах, и так ясно, что перед этим небом все дела человеческие, великие и малые, равны. Но это только с первого взгляда так: во все нужно взглядеться пристально, послушать, подышать светлой речкой, идущей издалека, различить несколько слабых сырых огоньков вдали, вспомнить детство.

Для этого нужно сесть на одну из истерзанных перочинными ножичками и исписанных карандашами стареньких скамеек, сесть плотней и сидеть долго и молча: смотреть, слушать и думать; не говорить, потому что слова отпугивают то, что приходит.

Тогда будет исподволь просачиваться внутрь какая-то одна для всего в мире... как назвать это? — душа ли, тайна ли, мысль, или вечность, или как еще, — все равно, как ни назови, все будет не то, потому что нет слова для этого... и все зазвучит согласно, и к одной какой-то общей точке схода, от всего кругом пройдут через тебя горизонталы.

Небо ниже спустится, и ближе звезды, и лягушки в реке не будут горланить, — вот странность! — то есть они будут, но их будет слышно, насколько нужно, и сырые огоньки вдали подсохнут, и отражение от лодок, и причалов, и бабьих мостков — все это будет ничуть не тише лягушек, и глухих речных бучил, и Шариков у запертых калиток. И яснее все станет в тишине: чему же и с чем же спорить?..

Эти пристальные к жизни тихие минуты, если сбьлись они, их нужно беречь, как святыню, — они редки. Они приходят из педр жизни и все преображают, неизвестно как: и темную дубовую Хлебинину рощу, и жуткость реки, на дне которой с той стороны переплелись корни, и выпьи крики, которые в другое время пугают.

И чужое тепло рядом незаметно так и просто становится твоим теплом, и даже странно как-то думать о нем, что оно — чужое.

— Это напротив, кажется, утоиул ваш гимназист Казанский в прошлом году? — спрашивает Варенька тихо.

— Да, напротив... Плавал плохо, судорогой руку свело... — так же тихо отвечает Костя.

Его большая рука лежит на Варенькином плече. Варенька прикорнула к нему головой в своем теплом платке; и от этого платка чуть тревожно, хорошо пахнет.

— А ты умеешь плавать?

— Еще бы, я-то!

— Я тоже умею. Я далеко плаваю.

И потом опять долго сидят и молчат.

Когда детское не ушло еще из души, таким все кажется глазастым и большим, и захолустно-тихоуездного нет, потому что по своей орбите какой-то движется в душе весь целиком нерасчлененный мир. Куда он? — Бог его знает. И пока неважно это — куда. Из земли не выпадешь, и из души не выпадет земля; пока недалеко ушло детское, вся душа еще земляная — снежная, дождевая, цветочная, обнадуженная солнечной лаской самое меньшее на сто лет.

Перед звездами все человечьи дела равны, но ведь и все звездные дела равны перед землей, что бы про них ни выдумывали звездочеты. Вот упала звезда, оставив после себя на одну секунду, на одно только мгновение зеленый пушистый хвост...

Чуть подымает голову Варенька:

— Ты слышал, говорят, Хлебину рошу покупали какие-то, и там будто хотели устроить... завод, что ли?..

— Маслобойку... Это для виду только, а потом перепродать.

— Ну да... А Хлебнин не продал. Молодец. А то бы нам летом и ездить некуда.

— Зачем же ему продавать? Он и так богат. А со временем тем более: может быть, железная дорога к нам пройдет — цены вырастут.

— И куда же, ты подумай, моя крестница Любочка за ландышами пошла бы, как мы ходили?.. Правда?

— Правда, — смеется Костя...

— Она ведь у меня удивительная!.. Я ее спросила в прошлом году, чуть она говорить начала: «Кого ты, Любочка, больше любишь: меня или свою маму?» Она говорит: «А!» — «Кого, Любочка?» — «А!» — «Меня или маму?» — «А-а». (Чуть не плачет, бедная.) — «А... диняково, что ли?» — «Да», — говорит.

— Ах, хорошо! — смеется Костя.

Летучие мыши иногда налетают, пропархивают мимо и как будто попискивают на лету. С той стороны, кроме соловьев и лягушек, слышится иногда треск, точно небольшая трещотка то в одном месте, то в другом.

— А ты знаешь, Костя, кто это трещит?

- А это птица такая... называется она...
- Хорошо, не надо... Я тоже знаю: козодой! А что?
- Козодой.

Варенька прижимается к Косте крепче, точно козодой своим треском что-то такое, какую-то тонкую ниточку разорвал между ними. Потом еще какую-то ниточку разрывает налетевший на Костю жук; потом еще одну — плеск весла около далеко где-то поставленных ятерей.

Двигалась ночь в своей последнеапрельской работе близко и густо; ясно было, как хлопотала неутомонно и на реке, и в Хлебининной роще, и сзади, в домишках, и там, на лугах, где огоньки, — а они двое сидели и слушали, как двигалась ночь, и когда говорили, то все о чем-нибудь маленьком, полудетском, согласном с этой близкой землей, все дела которой равны перед звездным судом.

Какой-то запоздалый извозчик протарахтел и разбудил собак недалеко от них в недавно замощенном переулке. Костя погладил тихо Варино плечо:

— Как-то бабушка твоя теперь, Варя?

— Я только-только вспомнила про бабушку, а ты сказал! — подняла удивленно голову Варенька. — Почему ты это угадал так?.. Знаешь что, мы все-таки пойдем уж — будет, правда? — И, точно до конца продумав все, она добавила просто: — Ты, Костя, хороший. Дай я поцелую тебя крепко-крепко.

VI

Только когда забрезжило мутное молоко на востоке, и почернели влажные сучья акаций, и два соловья перебойщики — один в саду капитана Морозова, другой в стрекачовском саду — стали слышнее, и уж свежо стало, так что прозябла Варенька, она простилась с Костей Орешкиным около сломанной планки бабушкиной ограды. По саду пробежала бегом (а Костя не уходил, смотрел), на бегу думала: «А вдруг что-нибудь с бабушкой случилось, а меня не было!..» Подбежала к желтенькой рыхлой полоске своего окна, отодвинула ставень, пригляделась: сидела по-прежнему бабушка в качалке, спала, а свеча отгорела уж наполовину; в комнате было тихо, желто, лавандой пахло, а на ее кровати спал корешком кверху толстый роман.

Влезла Варенька так ловко и бесшумно, как самый

опытный вор. Постояла около бабушки, постояла около зеркала у комода — пригладила волосы, постояла еще у окна и потом плотно прикрыла его и заперла па задвижку ставень, и стало так, как будто все время сидела здесь, и представилось вдруг, что войдет Ольга Ивановна, шумыгая туфлями, в ковровом пестром платке поверх рубахи и спросит: «Ты никуда не уходила, Варя?» А она вздернет плечами обиженно: «Как же я могла бы уйти, раз я дежурю?»

Поправила свечку, прилегла на подушку, пахнувшую со вчерашнего любимыми Дашиными духами *Soeug de Jeannette*, взяла было книгу, но такими бледными, жалкими, тошными показались мелко упечатанные страницы, захватанные в нижних уголках, а ночь, за окном не оставшаяся, а вошедшая сюда с нею, была так полным переполнена, так тяжело ложилась на веки, что куда же было бороться с нею?.. И Варенька заснула крепчайшим весенним сном.

Баба-законница, Лукерья, успела уже сбегать к столяру Маурину, которому Ольга Ивановна загодя заказала приличный гроб, и теперь степенно, между делом, голосила для порядка над положенной на столе бабушкой; Никандр Порфирьич, как всегда в будние дни, ушел скромненько на службу; Иван Никандрович, теребя бородку, ходил по узенькой аллее в саду и думал о солнце, цветах, жизни, смерти, о жужелицах и величинах бесконечно малых; Нина Андреевна давно, украдкой, приготовила уж свою материю и машинку и ждала только удобного времени, чтобы приступить к стукотливой строчке, и вообще шел уже деловой девятый час, когда Ольга Ивановна, тряся за плечо, будила Вареньку.

— А?.. Я сейчас... Я еще немножко... — бормотала Варенька, не открывая глаз.

— Зева ты, зева, соня ты, соня!.. Вставай — бабушка умерла.

И тут же вскочила Варенька. И так стало страшно вдруг, что бабушка умерла: ведь только что была живая; не страшно, а именно странно: когда же?.. И может быть, бабушка не умерла бы так скоро, если бы она, Варенька, не заснула? И может быть, и она не заснула бы, если бы не ушла гулять?.. Стала вдруг совсем маленькой грешной девочкой, ухватилась за платье Ольги Ивановны и заплакала навзрыд.

А Ольга Ивановна утешала:

— Ну что ты, дурочка, что?.. Смерть пришла, и все... Поди умойся... Потом за монашками сходишь, чтобы почитать пришли. Я уж договорилась с ними третьего дня, они знают.

И ушла хлопотать по хозяйству, сильно стуча башмаками. Она, как жандарм, ходила: раз-два, раз-два; на верхней губе усики и на нижней, в бородавке пять волосков, и голос низкий.

От укоряющего солнца некуда было девать глаз: на графине с водою солнце, на медном подсвечнике солнце, колючим золотом пронизана была занавеска, яркий-ярчайший зяблик гремел за окном; но глаза искали бабушку; и когда увидала черное уж не в привычной качалке, а на столе — вздрогнула и вскрикнула.

Через час Варенька шла в Вознесенский монастырь по тем же улицам, по каким ходила с Костей, но теперь это были всегдашние улицы: все дневное — всегдашнее.

У матери-казначей, белой-рассыпчатой, только что пришедшей от поздней обедни, выпила чашку чаю с медом. Двух монахинь обещала казначея прислать после вечерни, пожалела бабушку-молельницу, пожалела и Ольгу Ивановну: хлопоты.

В обед сошлись у Ольги Ивановны: Серафима Павловна, и Прасковья Павловна, и Даша, пахнувшая духами «Coeur de Jeannette», и Лиза с дюжиной платков в ридикюле. И при виде бабушки становились у всех мокрые глаза, а при виде Вареньки, убитой горем, высыхали.

Выговаривали ей шутливо:

— Ах, сплюшка, сплюшка!.. Ишь, не нам, а тебе это выпало, а ты не устерегла.

И у всех тесны были обнимающие изгибы мягких рук и влажны губы.

Но Варенька никому не сказала, что случилось ночью, как назвала ее бабушка, как благословила, и когда она, не сознавая еще ясно, поняла, на что благословила, — бабушка умерла, уснула тихо навеки, точно исполнила последнее, что хотелось исполнить, и дальше уже незачем ей было дремать в кресле-качалке — жить. От этого-то теперь на столе у нее такой спокойный вид отдыхающей по праву: дождалась, когда последнюю правнучку, самую младшую, озарила весенняя любовь... дождалась и умерла.

И когда вечером, придя домой, Варенька подумала обо всем, что было в этот день, она вспомнила ярко только Костю, как он постучался в ставень,— точно из другого мира зов,— и какое у него было тогда робкое лицо; вспомнила и то (это после), как он поцеловал ее застенчиво около сада Стрекачова, а когда она осерчала притворно, сказал тихо: «Я больше не буду этого... Я — нечаянно... не сердчай!..»

Вырвав из тетради четвертушку графленой бумаги, Варенька вывела на ней мелким, но старательным красивым почерком: «Милый — милый — милый, родной мой Костя!..»

Это было первое ее письмо, в которое хотелось ей вместить так много: и смерть бабушки, и то, что она благословила, и все прошлое свое до этой ночи, и свои чувства. Но бумага была мала, и писалось все только это: «Милый — милый — милый, родной мой Костя!..»

И, исписав так всю четвертушку, Варенька заплакала от тихой радости, что может сказать это так значительно и просто теперь и что будет говорить это часто-часто, долго-долго — целую жизнь: «Милый — милый — милый, родной мой Костя!..»

1912 г.

АРАКУШ

Рассказ

Мне было тогда девять лет, когда я величайшую страсть возымел к голубям и певчим птицам и познакомился ради этого с Авдеичем, голубятником и птицеловом.

Очень отчетливо я его помню: коротенький старик, щеки розовые, как яички на Пасху, бородка белая, прямая, в обвис, глаза очень внимательные, иззелена-светлые (у пекинских рыжих уток бывают такие), в движениях был довольно проворен, но на слова скуп, и если шутил даже, то совершенно спокойно, без тени улыбки.

Бывало, вызывают его:

— Авдеич!.. А, Авдеич!

Из окна на улицу два слова:

— Иду, бегу!

Подождут и снова:

— Авдеич!.. Ты что же там?

— Скачу, лечу!

Еще подождут и уж недовольно:

— Да докуда же ждать-то?.. Авдеич!

— Прыгаю!

И сквозь очень щедро от пола до потолка развешанные всюду клетки пробирается наконец к окну Авдеич.

— Насчет чего?

— Голубя нашего пе ты загнал?

Авдеич жил «на Пушкарях», то есть в слободе Пушкарской — часть нашего города наиболее первобытная, — и здесь много было весьма яростных голубятников.

— Голубя?

— Ну да, голубя, а то кого же!

— Какого голубя?

— Обыкновенно какого... Какие бывают-то? Турмана красного.

— Вчерашний день?

— Ну да, вчерашний, а то когда же?..

Пекинскоутиными глазами своими внимательно рассматривает Авдеич стоящего у окна — сапожника ли Хряпина, большого пьяницу, слесаря ли Носенкова, длинного малого с запачканным носом и в фартуке чрезвычайно грязном, или еще кого из тоскующих по красном турмане, и говорит спокойно:

— Рунь.

Это у Авденча была цена непреклонная; ее знали и без рубля в кармане к нему не шли.

Любопытно было, что пушкарки и стрельцы, жители другой нашей слободы — Стрелецкой, — народ в общем буйный и пьяный, любители кулачных боев и вообще всяких побойц, держались каких-то своих неписаных законов насчет голубей.

По вечерам, с тряпичами на шестах, они только тем и занимались в летнее время, что выпускали и гоняли голубей, воинственно свистя на своих крышах.

Голубиные стаи над стрельцами и пушкарями (потомками всамделишных пушкарей и стрельцов времен царя Алексея) завивались еле глазу видно — там, в вышине, парили, и кунались, и ныряли, кувыркались и комьями,

как ястреба, падали вниз; и были среди них свои, всем известные, короли высоты полета, и короли парения, и короли спуска.

Помимо того, особенно восхищали нас и особенно всеми ценились винтовые, те, которые набирали высоту страшную и оттуда вниз шли винтом — по спирали, равномерно кувyrкаясь и заставляя ахать и вскрикивать всех этих милых людей с шестами.

Но в вечера голубиные не только были умиление и восторг, соревнование и задор, — тут была еще и охота, почти война.

Голубиные войска вверху, в небе, и их командиры внизу, на крышах, и целью всех очень сложных маневров их и отчаянного свиста в два пальца и махания тряпкой являлось то, чтобы в наступающей темноте на твою крышу вместе с твоей стаей сел отбитый чужак.

Эта военная добыча считалась вполне законной, брать ее силой не полагалось; хороший тон голубятников презирал в таких случаях даже и ругань; признавалось только одно: если принесли за голубя выкуп, то задерживать его было уж нелзя.

У кого мог я, девятилетний, покупать голубей? Все у тех же, конечно, пушкарей и стрельцов; и когда я пытался тоже воинственно размахивать шестом на своей крыше и свистать в два пальца, мои голуби исправно летели на свои старые голубятни.

С голубями у меня не вышло, зато тем сильнее пристрастился я к синицам, щеглам, перепелкам, которых кто же мог у меня отбить?

Прошло много лет с того времени... Кажется, четверть века уж я не видал березок, осинок, елок. Теперь они представляются мне в каком-то неразборчивом тумане, как на картинах Клода Моне.

Тогда ходил я с Авдейчем осенью именно в эти березки, осинки, елки с западками и лучками ловить глушек, гаек, лозиновок.

Время смыло, конечно, все яркие краски с тех переживаний, но какое все-таки невинтно-радостно-звонящее осталось в памяти!.. Не передашь, ни за что не передашь!..

Сухими и теплыми еще осенними утрами, когда воздух гуще и земля строже и виднее чернобыл на межах, когда ближе к опушке придвигались черноголовые монашенки-

гайки и глушки с сизыми щечками, но тоже в черных шлычках, и синицы-лазоревки, очень длиннохвостые, белые с лазурью, пушистые, торжественно наряженные, как на свадьбу или на бал,— так было неслыханно радостно проснуться в воскресенье на самой заре, чуть щели покажутся в ставнях, кое-как одеться, захватить то, что приготовлено еще с вечера, выскользнуть из дому так, чтобы и не разбудить никого, и потом, по сонной еще улице, бежать к Авдеичу, постучать в его окошко с надворья и услышать отчетистое:

— Че-час!

А не больше чем через час мы с ним в лесу.

Души детей, как и души художников,— очарованные души; но когда я в лесу осеннем, в желтизне, в запахах листьев спелых, в прощальной грусти светлой не мог удержаться от крика, чтобы вызвать эхо, Авдеич глядел на меня глазами строгого пекинского селезня:

— Ты ж это что, а?.. В класс пришел?

И я смирялся.

Авдеич никогда не мигал веками... Рассмешить его ничем было нельзя, рассердить пельзя, удивить нельзя и напугать нельзя: окаменелость на шмыгающих ногах и с односторонним разговором.

Водки он не пил.

Потому, что против моего увлечения птицами и Авдеичем ничего не имел мой отец, я думаю, что и отец его знал, хоть у нас в доме я никогда не видал Авдеича.

Авдеич был свой: пушкарский-то пушкарский, но в то же время лесной, значит, ничей; я, девятилетний, был тоже свой: домашний-то домашний, но в то же время слишком влюбленный в небо, и в поле, и в лес,— значит, тоже ничей. Это меня с ним сближало — малого со старым.

Я ревностно старался всячески помогать ему на охоте, а пока мы шли в лес, рассказывал ему о диковинных древесных зверях, о путешествиях по пустыням, о всем, что я вычитывал из своих детских книг.

Он слушал, но едва ли мне верил.

Помню, спросил он меня однажды:

— А как имя было тому зверю, который Ноя ослушался и в ковчег к нему не пошел?

Ничего не слышал я о таком звере.

— То-то и есть... Не знаешь... С большими рогами

был зверь и долго мог плавать... Однако по последствию времени и тот выбился из сил... Почему такое?... Птицы ему на рога садились... Он их стряхнет, они опять... Вот почему... А птиц летало тогда несосветимо... С тем и приужден он был потопнуть бесчестно за гордость свою.

Позже встречал я много охотников из простонародья, и странное дело: их тоже не слишком занимали рассказы из длинной записанной истории людей на земле, но коснись потопа — очень они оживлялись, точно вчера это было!.. И, кроме Авдеича, попадались мне большие знатоки этого события, но Авдеич был по времени первый.

Картуз он носил очень поношенный и с красными кантами.

Я думал, что он прежде служил где-нибудь и это ему полагалось — картуз с красным кантом, как у многих чиновников... Но вот как-то на базаре увидел я его в птичьем ряду в картузе поновее и с синим кантом, как у брандмейстера... Из этого я вывел, что просто форменные картузы Авдеичу нравились, и, может быть, где-нибудь в сундуке на особо парадный случай, завернутая от моли в газету, хранилась у него фуражка с зеленым кантом и почти новая.

Помню, о гадюках я его как-то спросил, — не может ли попасться нам в лесу. Но он ответил пренебрежительно:

— Попадетса ежели, наша будет... Ее только за холку хватай и в раззявый рот ей харкни, будет совсем шелковая!.. Страсть человеческих слюней боится.

Но если не по гадюкам, то по части птиц певчих был Авдеич немалый знаток.

Это он научил меня смотреть пойманному щеглу в хвост и считать перья: если четырнадцатиперый хвост — щегол-березник, дорогой щегол, не меньше как полтишник, а если двенадцатиперый — щегол репейный, цена ему в базарный день пятак, и возиться с ним не стоит.

И для чижей была у него своя примета, но я уж забыл ее, и для синиц тоже. Синиц он ценил только большеголовых, у которых полоса черная шла от шейки через всю желтую грудку, была нерваная, яркая и широкая... А когда с весенних проталин приносил десятки жаворонков, хохлатых и бесхохлых, он очень серьезно разглядывал их каждого порознь, ерошил перья, распускал крылья, примерял на ногте хохолки и шпоры и рассказывал в семейные клеточки — степняков к степнякам, лесняков к леснякам, полевых юл к юлам.

Жаворонки у него как-то очень быстро ручнели и перенимали голоса других птиц.

Часто, когда я бывал у него и кругом трещали в тридцати — сорока клетках птицы, он останавливал вдруг мое внимание:

— Слышишь, как вваливает?

— Зяблик?

— От третьего слышу, что зяблик... А это и вовсе юла.

Сколько редкостных певунов у него было... Просто даже так: нередкостных у него и не было — не держал с самого начала. Двенадцатиперых щеглов выпускал, не донося до дому (но никогда там, где они попадались: расскажет другим, перебьет охоту — в это он верил нерушимо).

Птичья ли осторожность, все ли вообще птичьи повадки привили ему уверенность в птичьем уме, но даже глупых чечеток, стаями попадавших к нему в понцы зимою, он отнюдь не обвинял в глупости.

— Попрыгай-ка по холоду, поди!.. Известно, что в петлю их гонит — нужда гонит.

И когда приходили к Авдечу покупать птиц, достоинства их оказывались прямо бессчетны.

В нашем городе в те годы, о которых я вспоминаю, было что-то вроде поветрия любви к птичьему щебету, и Авдечу не приходилось даже стоять на базаре: его знали и к нему шли сами на дом. И только на Благовещенье он выносил на базар большие клетки, полные пятачковых пернатых.

Покупатели птиц тогда — мягкотелые и мягкосердые женщины в теплых платках — выпускали их на волю, чуть послушав, как трепетно бились их маленькие сердечки, смотрели любовно, сквозь слезы, как они улетали, и крестились усердно им вслед.

Ходил Авдеч без лишнего: все на нем было пригнано впору и к месту, как на хорошем солдате.

За спиной мешок с западком и клеткой, за поясом сбоку два мешочка: один для себя с черным хлебом, другой — для птиц на подкорм, и в нем свои отделения: конопляное семя, муравьиные яйца, даже живые жуки; а на ремешке через плечо — дучок и понцы так, что приходились они с левого боку. Палку он брал только на всякий случай.

Лес к нашему городу придвигался близко именно со

стороны слобод — Стрелецкой и Пушкарской. Тут еще уцелели заросшие травой старые крепостные валы и рвы, а за ними, невдалеке — лес, но молодой, городской лес, не казенный; казенный же, строевой, с глухарями, медведями, волчьими стаями, начинался верстах в пяти.

Нужно было видеть и слышать, как Авдеич подманивал птиц... Куда серьезнее, чем всегда, становился тогда этот старичок в форменной фуражке, и оказывалось там, в лесу, что он мог тоненьким пиньканьем вводить в заблуждение далеко звенящих свиристелей, зорянок, реполовов... Он и цыфиркал по-синичьи, и чокрыжил по-соловьинному, и без перепелиной дудки мог как-то языком в переднее небо бить, как перепел-самец...

Спросил я его однажды:

— А какая птица лучше всех поет?

И в первый раз Авдеич несколько лукаво прищурился:

— Есть такая.

Я задал вопрос не праздный: тогда не было еще граммофонов, и в трактиры ходили на выбор послушать во время обеда то жаворонка, то соловья, то кенаря, то ученого дрозда, как в церкви ходили на дисканта-исполатчика, или на тенора-солиста, или пропойцу-октаву, который месяц пел, а два месяца лечился от белой горячки.

— Какая же?.. Ну, какая?

Мне просто хотелось знать, кого из своих певунов с большим удовольствием слушает сам Авдеич.

— Думаешь, соловей?

— Не-у-же-ли дрозд? — удивился я.

— Кто же тебе говорит о дрозде?.. О дрозде не толк...

— Славка?

— Славка, она спротив кенаря не может...

— Какая же?

— Есть такая...

Оглядел меня всего Авдеич, подумал, должно быть, стою ли я, чтобы мне ответить, и сказал все-таки торжественно и четко:

— Аракуш.

— Какой аракуш?..

— Такой самый и есть... У соловья — да и то не с первой ветки, а у самого знаменитого — всего их двенадцать колен, а у аракуша — все двадцать четыре. Понял?.. Это на сколько больше?

Если хотел удивить меня тогда Авдеич, то он достиг цели: очень я был ошеломлен.

Я никогда не слышал о такой птице, но я верил Авдеичу: если он говорил, что есть, значит, есть... аракуш.

— Где он живет?.. В Америке?.. В Индии?.. Аракуш...

— Зачем в Индии? В Индии только индейки... У нас попадается...

— У нас?.. А у тебя почему же нет?..

— Поди-ка поймай, один такой...

— Почему не поймать?..

Авдеич посмотрел многозначительно и даже понизил голос:

— Скрывается... До чего скрытная птица... Только в делях таких живет — не долезть... Очень человека не любит...

— А узнать его как?.. Какой он, аракуш?.. А?

Оживился Авдеич:

— Кра-со-та! Куда спротив его соловей?.. Серяк... Вся грудь, как у генерала хорошего, в лентах: лента красная, лента синяя, лента муар... Желтобровая птица... А хвост... хвост, почитай что весь бурдовый...

Покачал головою и добавил, как начал:

— Кра-со-та!

Первый раз видел я Авдеича возбужденным.

— Отличби-разукрашен... Куда ж соловью... А ростом не больше... И хвостом дергает, как соловей... И чокрыжит точка в точку, как он.

Дома не у кого было мне спросить.

Мать знала по части птиц лесных столько же, сколько знают все матери, а отец у меня был человек суровый и слишком городской.

Я и не спрашивал... Я только запомнил кренко: аракуш... Двадцать четыре колена... Грудь разукрашена...

Странное дело, узнав о такой необычайной птице, я разлюбил всех своих лозинков, ремезов, кузнечиков, глушек и гаек.

Их трескотня болтливая даже раздражать меня стала.

Я начал смотреть на них с презрением девятилетнего человека, проигранного мечтой.

Но утрам я, правда, насыпал им в кормушки: кому конопляного семени, кому муравьиных яиц, наливал воды в их баночки, но пропало очарование, пропала серьезность.

— Свистуны,— говорил я, кивая головою с большим сожалением, когда они в своих клетках прыгали, чирикали, трещали носами по прутьям.

Аракуш занял все мои мысли.

Я даже помню, слезы показались у меня на глазах, когда я пелю Авдеичу:

— Как же ты не сказал мне этого раньше?

У меня не было сверстников, или мне было с ними скучно,— вернее последнее.

Так как мы жили совсем на окраине города, то я привык бродить один по осенним огородам, по каким-то ямам, оставшимся от бывшего давно кирпичного завода (в этих ямах росли изумительные незабудки и анемоны лиловые, которые Авдеич называл сон-травой), по болотцам в низине, в которых, кроме лягушек, коноских пиявок и жуков-плавунцов, водилось очень много весьма занимательных тварей.

И однажды в июле я набрел на пышный бурьян, для меня тогда показавшийся целым лесом.

За год перед тем была тут бахча, но теперь на взрыленном черноземе (и лето тогда было дождливое) такой поднялся густой татарник, матово-зеленый, лохматый, с розовыми шапками цветов повсюду, непролазно-колючий, ростом больше чем в сажень.— тот же лес, полный тайн и возможностей, которые только снятся.

И вот в этом бурьяне, на самой его опушке, я увидел аракуша.

Сомнений тут никаких и быть не могло: меня тогда точно в сердце кольнуло — он.

Я тихо и медленно обходил колючую стену татарника и вдруг услышал встревоженное, соловьиное: «Чок-кпр... чок-кпр...» Вскинул глаза — ярко-синее, ярко-красное, ослепительное, страшное, желанное, и всего один момент, и потом мелькнула коричнево-серая спинка и в гущине исчезла.

Я даже присел и закрыл глаза...

Было или не было?.. Может быть, показалось?

Однако через минуту где-то в глубине низом идущее «чок-кпр... чок-кпр...».

Как я ни смотрел, как я, царапая руки, ни заглядывал насколько мог глубоко в его царство — он не показался мне больше во весь этот день!..

А на другой день, еле дождавшись рассвета, я вышел

из дому, вооружась, как Авдеич: с западком в мешке, с муравьиными яйцами для прикорма с лучком и с железной лопаткой, чтобы расчистить в бурьяне ток.

Я сделал все там, в царстве аракуша, очень обдуманно.

Узкий и запутанный проделал вход в середину, чтобы только пролезть, чтобы никто мне не помешал, если будет проходить мимо; небольшой ток расположил я так, чтобы лучок мог закрыться, на какой-нибудь вершок не доставая до свисающих розовых шишек татарника; из обитых веток и стволов, очень толстых и крепких (я перочинным ножом едва их срезал), я сделал себе прикрытие — шалашик...

В этом шалашике, скорчившись, стараясь не повернуться, я его ждал.

Какая дремучая чаща был этот бурьян!.. Сколько здесь было необычайного!..

Но меня занимал только он, мой аракуш... Несколько раз мне удавалось на него взглянуть — только взглянуть: он мелькал, как молния... Раза два он садился на ветку татарника пад током, но, донельзя осторожный, вздернув хвостиком, нырял в гущину.

Я ждал самоотверженно несколько часов — только глаза в щель шалашика да правая рука на бечевку лучка.

Жарко было; от татарника шел дурманящий запах; пчелы гудели сплошь. Кузнечики (серенькие птички) стучали кругом вперебой, как молоточками, а иногда садились на мой ток клевать муравьиные яйца. Я их спугивал, чуть шевеля бечевкой, и все досадовал на себя, что насыпал только две пригоршни яиц: если бы больше, кузнечик, может быть, приманил бы и аракуша... Бойкие, вертлявые, куцые ореховки тоже прыгали на току, но приходилось стогнать и их: поклюют все яйца, и на что же тогда пойдет аракуш?

Между тем он, аракуш, представлялся мне здесь же, совсем близко: невидимый для меня, он сидит и наблюдает за моим током и лучком желтобровыми, большими, как и у соловья, гордыми глазами... Пусть думает, что вся эта новость в его царстве только полезна для него, а не опасна: поклюет он свое лакомство и слетит, как кузнечик, поклюет и слетит, как ореховка...

У меня уже задеревенело все тело и в глазах пошли круги от напряжения, когда он, мой аракуш, наконец сел

на ток... Осторожный, он вспорхнул было тут же, по через минуту сел снова и начал жадно клевать...

И я накрыл его...

Я и теперь отчетливо помню ту мою радость, в которую даже не верилось в первый момент, от которой захватило дыхание, но передать ее не могу — не вмещается в слова.

Помню, как я бежал к лучку, под которым присел ошеломленный красавец. Конечно, я смотрел только на лучок, а не себе под ноги, — я за что-то зацепился, упал с размаху, сильно зашиб колено, по тут же вскочил и, добежав, накрыл его, вспорхнувшего под сеткой, своей фуражкой, а из-под фуражки просунул к нему руку.

У него колотилось сердце, как у меня...

Минуты две я приходил в себя, пересиливая радость...

Его нужно было посадить в западок, но западок стоял в моем шалашике. и я боялся: не донесу, выпущу из дрожащих рук.

Наконец сказал вслух:

— Принесу западок сюда... Выну — и в западок.

Помню, за западком шел я боком, «примыкал», все время косясь на лучок и свою фуражку, а с западком опять бросился прыжками к лучку.

Но, когда я вынимала аракуша из-под сетки и сажал в западок, я сделал это с великолепной выдержкой, не хуже Авдеича, и, заперев вертушку западка, я не забыл замотать ее суровой ниткой, чтобы не открыл как-нибудь дверцу аракуш, когда начнет биться.

А он начал биться сразу всей грудью.

До чего ж он был тогда горд, этот маленький король певцов...

Только что пойманые синицы бьются отчаянно: они мечутся, кричат, шипят, пробуют выломать синицы, клювом долбят дерево клетки изо всех сил и разбивают иногда головку до крови, но все это как-то по-женски, скорее театрально, чем глубоко возмущаясь, и привыкают быстро. Сильно бьются жаворонки и юлы: эти растопыривают крылья, все стараясь взлететь кверху, и ударяются о крышу клетки. Для них у птицеловов и свои клетки с холщовым верхом. Соловьи бьются, как маятники, равномерно: прыг-стук, прыг-стук, влево — раз-два, вправо — раз-два... Для соловьев «заноچнякут» клетку со всех сторон чем-нибудь черным...

По-разному бьются разные птицы...

Но я никогда не видел, чтобы хоть одна билась так страшно, так беспощадно к себе, как бился аракуш. Он бился весь остаток дня и всю ночь, опрокидывая банку с водой, расшвыривая муравьиные яйца в кормушке.

Отец хотел выпустить его на волю, и утром я понес западок со своей добычей к Авдеичу.

Я застал старика дома; он чистил клетки.

Западок с аракушем был у меня обернут старой моей рубашкой, и я поставил его незаметно около самых дверей.

— Авдеич,— сказал я оживленно, но не восторженно,— хочешь поймать аракуша?

— Всякий хочет,— отозвался Авдеич.

— Нет, ты скажи как следует — хочешь?

— Всякий хочет,— повторил Авдеич, подсыпая чижам семени.

— Ну хорошо... Пусть всякий еще только хочет, а я уже поймал,— не мог выдержать я длинных объяснений.

Авдеич поглядел на меня очень внимательно.

Мне ли не хотелось его удивить? Но он не удивился и теперь; он только сказал:

— Мелень зря!

Тогда я схватил западок свой и сдвинул с него рубашку:

— Вот он!.. Гляди!

Аракуш забился остервенело.

Я заметил, что у него уже сбиты перья на темени и голова в крови, но мельком это заметил. Я весь влился в белые глаза Авдеича: обрадуется? удивится?

И сказал Авдеич презрительно:

— А-ра-куш тоже... Ка-кой же это аракуш?

— Не аракуш?.. А кто же?.. Кто же?.. — вошел я в азарт.

— Совсем даже и звания нет!

— А кто же?.. Говори, кто же?

— Называется — пестрый волчок.

— Вол-чок?.. Что ты?.. Волчок... Не знаю я волчков!..

Я действительно от того же Авдеича отлично знал этих осенних птичек с красными грудками и хвостиками, вечно дрожащими.

— И видать, что не знаешь!.. Думаешь, простой волчок?.. Не простой, а тебе говорят — пестрый волчок.

— Как так волчок?.. Лента синяя, лента красная — смотри! — кричал я, чуть не плача.— Ведь ты же сам говорил!

— Разве они у него так? У него, аракуша, они и вовсе не туда смотрят... Дастся он тебе, аракуш. А это — волчок пестрый... Птица зрящая... Ни петь не будет, ни жить не будет... Пропадет... Хочешь, оставь здесь, чтоб домой не таскать, я выпущу...

Каким это показалось мне тогда горем... Не аракуш, совсем не аракуш, король певунов, а всего только волчок пестрый какой-то...

Я даже не оставался после этого долго у Авдеича, только рассказал ему, где именно поймал, в каком бурьяне, завернул западок опять как следует рубашкой и понес домой.

Обедать мне не хотелось. Я упорно сидел и слушал, как бьется моя птичка: может быть, слабее?

У меня все-таки была маленькая надежда, что она при-выкнет.

Но в этом Авдеич оказался прав: на другое утро аракуш мой лежал в уголку мертвый.

Я вынул его тихо, полюбовался еще раз его генеральской грудкой, поерошил осторожно на ней тонкие, как пух цветка мимозы, перышки и закопал под липой в саду.

Два дня потом я не ходил к Авдеичу и вообще никуда из дому. Но захотелось все-таки на третий день опять проведать таинственный лес татарников: может быть, хоть услышу издали, как поет, может быть, хоть увижу другого, живого и гордого красавца с расписной грудкой...

Я пошел теперь без лучка, без западка, — и что же?.. На своем току, осторожно к нему пробившись, я увидел знакомый мне лучок Авдеича, а сам он сидел, прикишки, в моем шалашике и махал на меня рукою: он ловил пестрых волчков.

Нет никаких пестрых волчков, и нет никаких двадцати четырех колен у скромной милой птички «варакушки».

Но, может быть, и не обманывал меня старый Авдеич?

Множество лет прошло с тех пор, и я думаю теперь, что он искренне в это верил.

Я ушел тогда, возмущенный моим стариком, я не понял тогда, зачем ему нужно было обманывать меня с тем же спокойствием, с каким говорил он мне до того свою правду.

И только теперь, когда целая вечность прошла, вижу, что он оберегал даже от меня, девятилетнего, свою мечту.

Должна была родиться мечта даже у Авдеича. Невыносимо без мечты... Тускло, тоскливо, очень душно...

Соловей, «словами поющий», двенадцать слов своих выговаривающий четко и голосисто, в своем каком-то порядке и с огромнейшей к ним любовью, на тысячи лет заморозил человека... Общепризнанный друг влюбленных и поэтов... Кто из поэтов не воспевал соловья? Не было такого поэта...

Но Авдеич, седенький Авдеич, любивший фуражки с кантами, он возроптал... Он восстал!.. Он сказал себе самому: «Я тоже поэт, и я тоже — влюбленный... И я не хочу, чтобы соловей был пределом птичьей певучести!.. Верю и исповедую, что в глухих, неприступных для человека местах, украшенный синими и красными лентами на груди, хоронится, скрывается подлинная птичья красота и слава, ровно вдвое лучший певец, чем самый лучший из соловьев, и имя ему — аракуш... Только тем и живу я, только тем и горд я, что о нем знаю... Только эта мечта зовет меня и тянет, чтобы в моей комнатенке тесной, мною пойманный и обрученный, запел не какой-то соловей, и не «пестрый волчок», и не «варакушка», а настоящий аракуш... Вот, слышите, поет?.. Вот, слышите, тринадцатое колено... И дальше и дальше... Побиты все соловьиные рекорды... Пятнадцать колен... Двадцать колен... Считайте лучше... Двадцать два... двадцать три... Двадцать че-ты-ре...»

Вынесены подальше на двор все остальные птичьи клетки со всеми этими жалкими дроздами, канарейками, соловьями... Гремь, аракуш!.. Слушай, столпясь под окошком, пушкари и стрельцы... Затая дыханье, запруди улицу, останови езд, чтобы ничто не мешало слушать...

Вы слышите теперь?.. Вот кто такой аракуш... А кто нашел его, настоящего? Кто поймал?.. — Авдеич... пятьдесят лет искал, а все-таки нашел... Вот вам и Авдеич...

Эй, старина... А-у-у-у!

Ты жив, конечно, и теперь еще, ты вообще бессмертен... Ты и сейчас, конечно, все ловишь своего «аракуша», как я своего... Скучно было бы нам с тобою жить без «аракуша»... Какое — скучно... Сказал я тоже... Невыносимо нам было бы — хоть сейчас в гроб...

Авдеи-и-и!.. А-у-у-у!

— Руку, товарищ!

СТАРЫЙ ВРАЧ

Рассказ

I

Когда 22 июня врач-хирург, которому было уже под семьдесят, пришел неторопливо, как обычно, в свою больницу, к нему обратились там:

— Иван Петрович! Вы слышали? Война!

Он не слышал про это: у него в квартире не было радио.

С кем война, ему даже и догадаться сразу было трудно, пришлось спросить.

У него начались перебои сердца, и он налил себе воды из графина.

Потом пришла его жена, тоже врач, только терапевт, тоже старый уже человек, с сильной проседью в редких темных волосах. Она взволнованно поглядела на него сквозь очки и сказала:

— Знаешь, что я слышала на улице, Иван Петрович?

— Знаю, Надежда Гавриловна, — ответил он.

В этом обращении их не было никакой торжественности, продиктованной необычайной минутой, — они просто давно уже привыкли так, по имени-отчеству, называть друг друга.

— Я думаю, что это очень, очень скверно! — сказала она, глядя на него пытливо сквозь очки.

Он кивнул головой и отозвался как эхо:

— Скверно!

Потом все пошло совершенно непостижимо для них, пошло изумительно быстро, как никогда и не думалось им.

Город, в котором они жили, был за несколько сот километров от западной границы, но каждый день они убеждались, глядя на карту, как заметно сокращается расстояние между их городом и фронтом.

Если они будут так идти дальше, Иван Петрович, то... — сказала и не договорила как-то она.

Он же пригладил, стараясь делать это совершенно спокойно, свои серебряные, с зачесом справа налево, профессорские длинные волосы и ответил уверенно:

Остановит, Надежда Гавриловна, остановит.

Но так как город стоял при море, то с первых же дней войны в нем стали ожидать вражеские десантные отряды. Поэтому на самом берегу начали поспешно воздвигать проволочные заграждения, вбивая виноградные колья в сыпучий голубой гравий на пляже.

Когда делали это, был полный штиль, — море лежало, как зеркало, — но дня через два после этого задул норд-ост, начался шторм, волны яростно хлестали в берег, проволочные заграждения в первый же час сорвало прибоем, и кружево колючей проволоки вместе с новенькими веселыми кольями заплясало на гребнях горбатых валов. Потом, когда наигралось ими море, они валялись на берегу, эти проволока и колья, колючими, как ежи, грудями. Купальщички оттаскивали их подальше, чтобы они не мешали раздеваться и входить в море. Потом стали забивать колья за пляжем, куда не дохлестывал прибой.

Все начали рыть щели около своих домов, чтобы укрыться от осколков бомб. Фашистских бомбардировщиков ждали тоже со стороны моря.

Иван Петрович не только нимбом белых волос, но и всей осанкой и манерой глядеть на людей и говорить с ними походил на старого профессора. Живя давно уже в этом городе, где в окрестностях были виноградники и винные подвалы и всюду по ларькам продавалось вино, он не пристрастился к вину, хотя такое пристрастие почему-то часто встречается у хирургов.

— У тебя, Иван Петрович, никогда не бывает головных болей, и ты не теряешь памяти; вообще у тебя нет внешних симптомов склероза мозга, — как-то сказала ему жена.

На это Иван Петрович отозвался так:

— Кстати, склероз мозга... Я сегодня говорил с нашим зубным техником Прилуцким, думает ли он уезжать и куда именно, ввиду того что враги-то приближаются... И представь, что он мне ответил: «Никуда не поеду!» — «А если, говорю, все-таки дойдут до нас фашисты?» — «Вот так сюрририз, говорит, фашисты! Что же, я не знаю, кто они такие? Небось и у них есть зубы... Не все ли равно, в чьи зубы смотреть?» — «Неужели, говорю, останетесь?» — «Непременно, говорит, останусь! Мне очень даже интересно будет посмотреть на немцев!» Как ты думаешь, Надежда Гавриловна, это, пожалуй, у него склероз мозга, а?

— Нет, Иван Петрович,— решительно ответила она,— это у него просто подлость, а не склероз!

II

Чем отчетливее чувствует человек, что он уходит из жизни, тем милее становится для него все кругом. Жизнь каждый день подносит ему тогда в давно известном неизведанно новое. Человек глядит на повседневно-привычное, а это привычное так неожиданно вдруг сверкнет, что глазам становится больно от счастья.

Это бывает в здоровой старости. Это бывало и с Иваном Петровичем, так как он был в общем здоровый старик.

Когда Надежде Гавриловне хотелось убедиться, не сильно ли дряхлеют его сердечные мышцы, и она прикладывала к его груди стетоскоп и внимательно слушала, то говорила потом:

— Ничего, сердце по паспорту... Даже, пожалуй, несколько моложе.

В таких и подобных случаях заботы о нем, как и о других тоже, Иван Петрович и в жене, с которой прожил тридцать шесть лет, видел новое, его умиляющее. Он даже удивлялся, как могло случиться, что он не вполне разглядел это раньше.

Дом, в котором они жили,— и очень долго жили, около двадцати лет,— стоял на горке, к нему нужно было подниматься по каменной лестнице, идущей от улицы, но оба они пока еще не видели в этом неудобства.

— Зато у нас тут, на вышке, воздух — первого получения, как а-на-нас! — говорил часто Иван Петрович.

Это значило, что через их вышку летом тянули то с моря к горам, то с гор к морю бризы — легкие береговые ветры; поэтому воздух тут был гораздо свежее, чем на улицах внизу.

Ивану Петровичу казалось даже, что и чайные розы, которые он сам прививал к кустам шиповника около дома, удались ему совершенно исключительно. Он любил «оперировать» их, то есть подрезать весной и осенью, придавая кустам желаемую форму. Они были ремонтантные и цвели вплоть до января.

Как-то пришлось ему оперировать и бродячую соби-

ку — овчарку, попавшую под автомобиль. Собаку только помяло и проволочило по улице, отчего в спину ей вонзился разный уличный сор. Овчарка эта поправилась и осталась у него. Звали ее Ральфом, ласкательно — Ральфишкой, сокращенно — Фишкой и Фишей. Через год Надежда Гавриловна принесла в корзине щенка, сына Фиши, круглого, как мяч, и до такой степени пушистого, что его тут же называли Пушком, ласкательно — Пушей. Так они и жили при доме вместе — Фиша и Пуша, чистокровная овчарка и помесь, — жили дружно на редкость.

Иногда говорил о Фише Иван Петрович:

— Посмотри-ка, Надежда Гавриловна, что у него за глаза. Совсем человеческие. Даже смотреть в них неловко как-то...

— Умница! — подхватывала Надежда Гавриловна. — И чутье какое! Пробовала прятать от него вот этот камешек в десять мест — везде находит!.. Пуша, конечно, не такой умный, зато он такой симпатяга, что просто прелесть!

Пуша Ивану Петровичу тоже нравился очень, но он делал вид, что раз навсегда поражен его необычайно кудлатой бурой шерстью, и иногда говорил ему, стараясь смотреть при этом строго:

— Нет, брат, ты еще докажи мне, что ты — собака, вот что-с! А то я, брат, хоть зоологию и неплохо знаю, однако не понимаю, что ты за зверь такой!

Лежа около ног Ивана Петровича, Пуша глядел вопрошительно в его глаза и урчал виновато.

III

Горы, кудрявые, как овчина: море ослепляюще голубое, хотя и потерявшее свою безмятежность; веселые по утрам черепичные бледно-красные крыши домов; ленкоранские акации, которые здесь звали мимозами и которые нынче рдели розовыми шапками цветов теперь, в разгар лета; извилистый, мягкий на глаз, пляж и многое множество другого, привычного — ведь все это и без того уже отдалялось, уходило от старого Ивана Петровича, однако уходило исподволь, улыбочиво, как уходит любящая мать из детской, когда засыпают вечером дети, набегавшись днем.

Теперь же все убегало стремительно, все мрачнело, все чужало, и эта новизна во всем была неприятной, тревожащей, как блеск очень близко мелькнувшей молнии, из которой вот-вот, сию секунду, тарарахнет в уши такой оглушительный гром, что поневоле присядешь.

Молния выстрелов и гром канонады приближались неуклонно: линия фронта продвигалась к тихому городу на берегу моря. Песок и гравий с пляжа все время насыпали в мешки для защиты от бомб и увозили на зеленых грузовиках. Роты истребительного отряда маршировали на площади и проходили по улицам. Стекла окон, заклеенные было в начале войны бумажными полосками, теперь стали усердно заклеивать полосками тряпок, но опытные люди говорили, что это не спасет, что при первой же бомбардировке стекла вылетят.

Как только смеркалось и наступала темнота, так эта темнота и царила до рассвета. В темноте слышнее почему-то становился обыкновенный слабый прибой вдоль берега, и неотвратимей казалось то последнее, что приближалось с запада, как поток.

Когда начали сбор средств в фонд обороны страны, Иван Петрович горячо выступал на митинге, вспоминая при этом Минина и нижегородцев, и сдал старинные золотые часы, серебряные ложки, все облигации займов и пачку денег. Потом он с Надеждой Гавриловной собрал все медное, что нашлось в его квартире, — самовар, таз для варенья, колокольчик, стунку с нестиком, — и тоже отнес на приемочный пункт.

Каждое утро он справлялся у соседей, где был репродуктор, что передавалось с фронта, и смотрел на карту. Каждый день он читал в газетах о том, как фашисты расстреливали, вешали, пытали, заживо засыпали землей в воронках от снарядов, заживо сжигали в домах и сараях советских людей.

— Что это, а?.. Что это такое, я спрашиваю? — обращался Иван Петрович к жене. — Целое поколение атавистов там, в Германия, или сумасшествие их заправило? Война это? Нет, это не война!.. Войны были, и мы тоже войны имели несчастье видеть, но изобрести такую войну могли только сумасшедшие или гориллы!.. Вероятнее, первое! Если от сумасшедших не защищаться, они, конечно, истребят всех. Они ведь открыто говорят, что им нужна территория только, а не население наше. Вот как они думают..

и делают! Но погодите, голубчики! Цыплят по осени считают!.. Вы уже и так застряли у нас сверх вашего срока, что-то вы дальше запоете.

IV

Между тем подходила осень. Здесь она, впрочем, отличалась от лета только слишком изобилием плодов,— этот год выдался необыкновенно урожайным.

Памятливые садоводы, полеводы, огородники говорили, что и тот год, когда началась первая мировая война, был тоже из ряда вон урожайным, и даже пытались сделать из этого какие-то мистические выводы. Не знали, куда девать помидоры, арбузы, дыни... Перестали гонять ворон с ранних груш в садах, так как не видели возможности ни сохранить, ни продать эти груши.

Прежде, когда поспевал виноград, по виноградникам ходили люди с трещотками — пугали дроздов, очень вредных для хозяйства птиц, хотя и хороших певцов ранней весной. Теперь дрозды, черные и серые, безнадежно портили и истребляли поспевающие тяжелые кисти.

В винных подвалах, где выдерживалось вино в тысячах огромных бочек, не знали, что делать с этим вином, а уже подходило время давить новый мускат, аликант, дон Педро, мурвед, саперави. На всякий случай возле бочек клали тяжелые кирки, чтобы успеть вовремя выбить донья и выпустить наземь вино.

Появлялись близко от берега большие стада мелкой кефали-чуларки, а следом за ними стада морских хищников — дельфинов, но охотники на дельфинов не выходили уже в море, они были призваны в армию.

Однажды встретился Ивану Петровичу на улице пекий Вальд, лет на десять моложе его, но уже пенсионер. Он весь был какой-то развинченный и всегда нетрезвый. Высокий, бородатый, очень скромно одетый, резких обо всем мнений, ходил он с длинной палкой неторопливо благодаря грыже, но глядел на всех весьма высокомерно.

Он называл себя художником и пробовал доказать это, беря заказы на портреты вождей, но портретов этих у него не принимали. Известно было о нем, что он был одно время нотариусом в Махач-Кала, попал под суд и отсидел полтора года. Говорили также, что он во время граждан-

ской войны был поставщиком белых, а его брат казнен еще царским правительством как шпион.

В больницу на прием он приходил часто как одержимый страстью находить у себя многие болезни; поэтому Иван Петрович знал даже, что зовут его Федором Васильевичем.

При этой встрече с ним в конце сентября он так и назвал его, но Вальд прищурился вдруг насмешливо, подбросил бороду и выпятил нижнюю губу.

— С вашего позволения, немножко не так: не Федор Васильевич, а Теодор Вильгельмович! — сказал он очень отчетливо и громко и даже поглядел победоносно вправо и влево: слышит ли его кто-нибудь еще, кроме этого докторишки.

И хотя не было сказано слова «докторишка», Иван Петрович всем своим сжавшимся нутром почувствовал, что так именно и подумал о нем этот новоявленный Теодор, который долгое время был Федором.

Голова Вальда под старой соломенной шляпой дрожала, как у привычного пьяницы, но глядел он презрительно, уничтожающе.

Это оскорбило Ивана Петровича. Это заставило его сказать в недоумении:

— Как же это так случилось, что вас отсюда не выслали, хотел бы я знать?

— Выслать?.. Меня?..

Вальд вдруг хрипло захихикал, кашлянул, харкнул на землю и добавил крикливо:

— Я сам кого угодно вышлю отсюда, а не меня вышлют!

Иван Петрович повернулся, ошеломленный, и пошел дальше, повторяя про себя: «Сумасшедший или только подлец?.. Сумасшедший или горилла?.. Или и то и другое вместе?»

А Теодор Вальд, очень отчетливый на фоне голубого моря в своей потрепанной желтой широкополой шляпе и грязно-белой рубашке навывпуск, стоял, обеими руками взявшись за длинный посох, и торжествующе глядел ему вслед, задран бороду.

На город были сброшены первые бомбы с фашистских самолетов, хотя здесь не было никаких заводов. Самолеты эти появились не с моря, откуда ожидались они в начале войны, а с суши. Линия фронта проходила теперь не так уж далеко: по улицам города то и дело катились с грохотом тяжелые военные машины, заставляя дрожать не только стекла, но даже и стены домов.

Как раз в эти дни разыгрался исподволь огромной силы прибой. Пристань тут была старая. Толстые рельсы, на которых она держалась, давно уже проржавели снизу, истончились, но это не было заметно. Прибой, бросавший уже не песок, не гравий, а целые камни на набережную, раскачал пристань так, что она рухнула. Рухнули вместе с ней и надежды многих, что вот пристанет пароход и увезет их куда-нибудь к берегам Кавказа. Грохотало море, грохотала земля...

Теперь из города уходили пешком, если не было на чем уехать. Шли прямо берегом на восток, унося с собой, сколько хватало сил нести, самое нужное из домашнего скарба. Спешили, плакали, тащили детей за руки, несли детей, гнали перед собой коров или пытались впрягать их, испуганных, в самодельные неловкие тележки...

Если бы море вылилось из берегов и хлынуло в эту долину, полную виноградников и садов, от него бежали бы так же поспешно, но не так далеко, — только в горы. Теперь не знали, куда именно бегут, где можно будет остановиться.

Фиша и Пуша при разрывах фугасок, надавших хотя и далеко от их горки, поспешно прятались, как и люди, но не в щель, вырытую во дворе, кое-чем прикрытую сверху и грязную после дождя, а под крыльцо дома, где и залегали потом на всю ночь. Их никто не учил этому, это они придумали сами.

В больницу, что ни день, прибывали новые больные, все хирургические. Уже некуда было и класть их, а не принимать было нельзя. Пришлось выписать почти всех, кто лежал здесь раньше, а иные, кто мог ходить, ушли сами.

Ушли и врачи. Не то чтобы все сразу: один за другим уезжали они. Наконец во всей больнице остались только Иван Петрович, Надежда Гавриловна да три-четыре пожи-

лые сиделки, а тяжело раненных при взрывах бомб, при обвалах домов, при пожарах скопилось несколько десятков человек.

Они стонали, они смотрели воспаленными умоляющими глазами... Им трудно было помочь, но их нельзя было оставить без помощи,— от них невозможно было уйти.

До прибытия этих раненых Надежда Гавриловна пыталась как-то укладывать кое-что, необходимое в дальнюю дорогу, в два старых чемодана, но чем туже она набивала эти чемоданы, тем больше оказывалось совершенно необходимых вещей, для которых нужны были еще чемоданы, или корзины, или узлы. Когда люди сидят на одном месте десятки лет, они обрастают вещами.

Но, помогая мужу делать операции и перевязывать раненых, Надежда Гавриловна забыла о своих планах поездки куда-то, не вполне ясно, куда именно. Люди страдали, людям надо было всеми мерами сохранить жизнь. Это было на первом плане, приближавшиеся враги — на втором.

И когда через город на восток потянулись, отступая, войска,— это было вечером,— а по радио передали всем жителям города, которые еще его не покинули, что утром город будет оставлен и занят немцами, Иван Петрович и Надежда Гавриловна, бывшие в это время в больнице, в ней и остались на ночь.

Они не ложились спать, хотя и устали за день. Они не могли бы заснуть и на минуту: слишком резко ломалась жизнь. В то же время их охватило спокойствие за себя, точно смертный приговор в окончательной форме был им прочитан и никаких изменений его ожидать было нельзя.

Только раз спросила Надежда Гавриловна:

— Что-то будет с нами, Иван Петрович?

Иван Петрович отозвался на это, вздохнув и разведя руками:

— Ну что же, и то сказать: пожили на свете... дай бог и другим пожить столько!

Помолчав, она спросила еще:

— А если будут мучить нас перед смертью, а?

— Мучить?... Не знаю, право, не знаю, зачем же им нас мучить? — подумав, ответил Иван Петрович. — Наконец павши, может быть, не сегодня-завтра вернутся сюда.

Очень начальственно вошли в больницу гитлеровские офицеры; это прежде всего остро бросилось в глаза. Никто за последние двадцать с лишком лет не входил сюда так начальственно, как эти высокие длинноногие люди с чужим обличьем.

За переводчика у них оказался Теодор Вальд, державшийся нестерпимо важно, так как был назначен помощником бургомистра. Он переменял свою потрепанную соломенную шляпу на черную фетровую, а грязно-белую навывпуск рубаху — на серый в клеточку пиджак.

И офицеры — их было трое — еще только оглядывали палату, в которую вошли, а он, Вальд, уже процедил сквозь зубы Ивану Петровичу, кивая на раненых, лежавших на койках:

— Приказываю вам вышвырнуть отсюда воп эту сволочь! Тут будут помещаться немецкие солдаты.

— Куда же я могу деть людей, не могущих встать с постели? — больше удивился, чем возмутился Иван Петрович.

— Э, это меня не касается, куда именно! — надменно ответил Вальд. — Я вам приказываю, и весь разговор... Можете их отравить, нам калек не надо.

Иван Петрович переглянулся с Надеждой Гавриловой. На ее бледном от волнения лице особенно резкими казались черные ободочки очков.

Старший из офицеров захотел посмотреть операционную комнату. Здесь он спросил, в каком состоянии хирургические инструменты, и даже приказал отпереть шкаф, чтобы их посмотреть.

В окнах больше было выбитых стекол, чем целых, но окна были зашпты марлевыми сетками от мух, которых теперь, осенью, появилось особенно много. На это тоже обратил внимание старший из офицеров, перед которым угодливо изгибался Вальд.

Когда он приказал Вальду позаботиться о том, чтобы завтра же были вставлены все стекла, Иван Петрович понял, что решение обратить больницу в военный госпиталь бесповоротно.

Офицеры пробыли недолго, и Вальд, уходя вместе с ними, повторил свой приказ очистить палаты. Старый врач с женой и сиделки весь остаток дня провели в том, чтобы

как-нибудь устроить раненых. Одних забрали домой их семейные, других — соседи, но несколько человек, притом особенно тяжелых, совершенно некуда было девать и нечем кормить, если бы даже перенести их в дровяной сарай, как думал Иван Петрович, и они пока оставались на своих койках.

К вечеру пришел Вальд с двумя стекольщиками, которые притащили два плотно набитых ящика стекол, вынутых откуда-то из окон жилых домов. Иван Петрович думал, что один на один с ним, без немецких офицеров, Вальд будет сговорчивее и ответит где-нибудь место для этих оставшихся. Но Вальд сказал высокомерно:

— Не только они нам не нужны, но и вы тоже! Убирайтесь отсюда вон сию минуту!

Иван Петрович взглянул в последний раз на раненых, покачал головой и вышел из палаты.

Домой к себе шел он, держа под руку Надежду Гавриловну, которая очень ослабела, жаловалась на сердце и с трудом поднялась по каменной лестнице на свою горку.

Фиша и Пуша, не видавшие их больше суток, с такой бурной радостью кинулись им навстречу, что едва не сбили с ног. Поднимаясь на задние лапы, визжа, они все пытались лизать их горячими языками, потом безумно кружились около них, притворно кусали один другого и снова подымались на задние лапы и терлись головами о плечи Надежды Гавриловны, а та плакала, глядя на их неразумную радость.

VII

Эту ночь, хотя и у себя дома, старый врач и его жена провели не во сне, а в тяжелом кошмаре: поздно вечером к ним пришла одна из сиделок и рассказала, что оставшихся в больнице раненых фашисты «пошвыряли, как бревнышки», на грузовики и увезли куда-то за город «на свалки».

— Подлецы!.. Гориллы!.. — в ужасе отзывалась на это Надежда Гавриловна.

— Больше нечего было от них и ждать, — сказал Иван Петрович.

С виду он казался спокойным, но тут же, как ушла сиделка, он начал перебирать лекарства в своей домаш-

ней аптечке. От волнения ли, или от того, что в руках его был плохо горевший свечной огарок, он долго не мог найти, что ему хотелось, и бормотал: «Гм... Странно!.. Куда же он мог деваться?» Наконец нашел и оставил один пузырек отдельно, потом, помедлив, сунул его в боковой карман.

Утром к Ивану Петровичу пришел немецкий ефрейтор, которого привел уже не Вальд, а зубной техник Прилуцкий, чернявый, верткий человек с постоянной ненатуральной улыбкой на тощем лице.

— Ну вот, Иван Петрович, умно сделали, что остались,— очень оживленно начал он с порога.— Будем теперь с вами немецкий хлеб есть! Попросят вас в больницу на работу... Я — зубы, вы — остальное... Я тоже приглашен, тоже!

— На работу?.. На какую работу?..— не понял Иван Петрович.

— Ах, боже мой! На свою, разумеется, на хирургическую, не полы же мыть!

— А я слышал, что оттуда уже вывезли раненых...— начал было Иван Петрович, но Прилуцкий перебил его оживленно:

— Напротив, привезли: нескольких офицеров, десятка три солдат... Вообще я вам скажу, у них все делается как по щучьему веленью... Идемте же!

— Хорошо, мы с Надеждой Гавриловной сейчас придем,— твердо сказал Иван Петрович.— Вы идите туда, а мы — следом.

— Я обещал привести вас!

— Я только выпью стакан чаю, и мы пойдем.

— «Обещал привести»! Странно! — возмущенно сказала Надежда Гавриловна.— Если мы захотим пойти, то и пойдем сами, а если не захотим, то как же именно вы нас приведете? На веревке, что ли?

— Даю вам слово, что мы придем сейчас же,— очень серьезно, глядя на Прилуцкого, подтвердил Иван Петрович.

И Прилуцкий ушел с ефрейтором, ничего не понимавшим по-русски, стоявшим спокойно, даже несколько сонно, то и дело прикрывая мутные глаза белесыми ресницами.

— Я не понимаю! — сказала Надежда Гавриловна.— Тебя вчера этот мерзавец Вальд буквально выгнал из

больницы, а ты Прилуцкому, тоже мерзавцу, даешь слово опять туда идти. Неужели ты и в самом деле думаешь у них...

— Что Вальд! — перебил Иван Петрович. — Он только показывал, что он теперь у власти. А хирург всякой армии бывает нужен. В хирургах во время войны всегда недостаток.

Жена смотрела на мужа в недоумении.

— Неужели ты... — начала она снова.

Он не дал ей договорить, обнял ее, поцеловал и прошептал на ухо:

— Придется пойти, потому что у нас нет шприца.

И он вынул из кармана и показал ей пузырек.

Она поняла его. Покрасневшие от второй бессонной ночи веки ее замигали часто и стали влажными, но она кивнула головой, потом спросила вдруг так же, как и он, шепотом:

— А как же Фяша и Пуша?

— Останутся, что ж... Будут бегать по улицам... пропитаются чем-нибудь...

В больницу пошли они, крадучись от собак, как будто никуда далеко не уходят. По улице шли торжественно под руку, очень внимательно вглядывались во все кругом: в море, блистающее, голубое, широкое; в синюю ленту пляжа, на котором теперь неприятно для глаз несколько немецких солдат возились около какой-то машины; в далекий гористый берег и в белые дома на нем, окруженные высокими тополями; в руины бывших домов около и в резко сверкающее битое стекло под ногами...

Они промедлили дома недолго, но Прилуцкий с ефрейтором снова шли от больницы, как видно к ним же, потому что повернули, увидев их, обратно.

— Вот видишь, как нас ждут, — бодро сказал Иван Петрович.

— Ждут... Ну что ж, — беззвучно отозвалась Надежда Гавриловна и повторила слышное: — Ну что ж... Пусть ждут!

На дворе больницы их встретил один из вчерашних офицеров, стоявший рядом с услужливо сияющим Прилуцким. Офицер этот, вынув изо рта напиросу, сказал:

Мози.

Иван Петрович сделал вид, что не понял этого короткого приветствия.

Войдя туда, куда они входили тысячи раз, муж и жена привычно надели белые халаты. Шкаф с хирургическими приборами, к которому прежде всего подошел Иван Петрович, был открыт, хотя около него в операционной никого не было.

Считая это большой для себя удачей, но чувствуя, что волнуется, старый врач сразу нашел в нем никелированную коробочку со шприцем и сунул ее в карман, выразительно поглядев на жену. Она понимающе шевельнула бровями.

Когда в операционной появился офицер, теперь уже без Прилуцкого, Иван Петрович имел вид человека, готового с большим подъемом работать в той области, которая ему вполне известна.

VIII

У медиков есть общий язык; поэтому Иван Петрович, плохо владея немецким, довольно оживленно беседовал с молодым хирургом-немцем, обходя с ним вместе в офицерской палате шестерых тяжело раненных.

Немец-хирург, с простоватым длинным лошадиным лицом, почему-то относился к нему почтительно и даже называл его «герр профессор». Была ли причиной этому профессорская внешность Ивана Петровича, или прибавил ему достоинств Прилуцкий, или просто немец чувствовал себя не особенно сведущим по причине малой еще практики, но он охотно соглашался со всеми прогнозами своего русского коллеги.

Все раненые офицеры нуждались в немедленной операции — это подтверждала и Надежда Гавриловна, очки которой и седые пряди в волосах внушали тоже некоторое уважение к ней, как к ассистенту «профессора».

Из шести раненых двое были, по мнению Ивана Петровича, почти безнадежны. О них он сказал немцу хирургу: «Malum!»¹ — и тот подтвердил это скорбным выражением глаз. Для четырех других нужно было установить порядок оперирования, и, когда это сделали, Иван Петрович спокойно и деловито выпнул свой пузырек без сигнатурки и шприц.

¹ Безнадежно, очень плохо (лат.).

Следившая за всеми его движениями Надежда Гавриловна уловила его легкий пригласительный кивок, отошла с ним вместе к окну и протянула ему обнаженную до локтя правую руку.

Наполнив из пузырька шприц, Иван Петрович сделал инъекцию в локтевой сгиб руки той, с которой прожил всю свою сознательную жизнь, дорожке которой не было для него никого и ничего в жизни.

Руки его дрожали при этом, но он всячески сдерживал дрожь. Потом передал жене шприц, предварительно наполнив его. Заметив в ней робость, он сделал себе инъекцию сам.

Это отняло у Ивана Петровича всего две, не больше, минуты, но он почувствовал, что силы его слабеют, что ему хочется сесть, даже прилечь. Он видел, что Надежда Гавриловна уже села на белый больничный табурет, что лицо ее побледнело, что она подняла руку к сердцу и смотрит на него расширенными, почти неподвижными глазами.

Тогда он собрал всю энергию, какая еще теплилась в нем, придвинул к ее табурету другой, сел с нею рядом, положил голову на ее плечо и выпустил из рук опустевший уже пузырек и шприц.

Тут же вошли в палату хирург, офицер и санитары, выходявшие перед этим, чтобы перенести в операционную первого из предназначенных к операции вместе с его койкой, и остановились изумленные. Потом хирург бросился к пузырьку, валявшемуся у ног Ивана Петровича, понюхал его и сказал испуганно:

— Venena! ¹

Сильно и быстро действующий яд, от которого стоял в палате слабый, но характерный запах, убил уже свалившихся с табуретов на пол старого русского врача и его жену.

В кармане умершего нашли бумажку с несколькими словами: «Лучше смерть, чем подлая жизнь под игмом горилл с автоматами!»

1942 г.

¹ Яд (лат.).

Бурная весна

Р о м а н

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В пути на фронт

I

Лучился и сиял широкий южный день конца марта 1916 года.

Погромыхивая на стыках рельсов, добросовестно пытая локомотивом, однако не слишком спеша, двигался на запад пассажирский поезд, почти целиком из красных вагонов «четвертого» класса.

В купе единственного желтого вагона было тесно, — все шесть мест заняты, и довольно густо стояли в проходе, — поезд был переполнен. Машинист вел его в расположение одной из армий Юго-Западного фронта, главнокомандующим которого незадолго перед тем был назначен на место генерала от артиллерии Иванова генерал от кавалерии Брусиллов.

Так как все пассажиры в купе были офицеры, то вполне естественно, что разговор между ними шел именно об этом: ведь у каждого из них была та гнетущая неизвестность, в которой вершителем судеб в большой мере являлся главнокомандующий, позади же болезненно пыла одна только обидная горечь военных неудач.

Но все эти неудачи свалились на Россию благодаря кому же? — Это был острый и большой вопрос. Его решали везде в мире и везде в самой России, где хоть сколько-нибудь работала мысль; пытались решать его и здесь, в насквозь прокуренном, синем от дыма, несмотря на открытое окно, купе.

Старшим по чину оказался здесь подполковник интендантского ведомства, человек слабо запоминающейся внешности и мягких манер, несколько старше сорока лет на вид, с академическим значком на тужурке.

Говоря немного в нос и как будто даже делая это на-

меренно, он обращался преимущественно к своему визави — капитану артиллерии, имевшему упрямый, выпуклый лоб и жесткие, подстриженные черные усы.

— В Киеве я был в командировке по делам снабжения седьмой армии, и там, представьте вы себе, от многих слышал, что генерал Иванов считает войну уже окончательно проигранной и будто бы несколько раз докладывал самому государю, что был бы рад, если бы ему удалось защитить Киев, — только Киев, — а все остальное, что на запад от Киева, это, по его мнению, уже обречено и незащищено!

— Как так незащищено? — удивился капитан. — Фронт сейчас в трехстах верстах от Киева, это — во-первых, а, во-вторых, любую позицию можно защитить, были бы только снаряды.

— И желание защищаться, — скромно добавил один из двух в купе прапорщиков — белокурый, узкоплечий, слабый на вид, однако с очень располагающей к себе внешностью. Впрочем, он тут же вышел из купе, притворив за собою дверь.

— «Любую позицию» можно защищать только тогда, когда она по-настоящему мощная позиция, — эта поправка необходима, — улыбаясь, обратился непосредственно к артиллеристу поручик инженерных войск, сидевший рядом с интендантом, густобровый, сероглазый, куривший из небольшой трубки какой-то очень вонючий табак. — Французы, например, вот которую уж неделю защищают Верден, — это позиция мощная, а наш Брест-Литовск не продержался и десяти дней, а Ковно было взято за неделю, даже, кажется, меньше того.

— А кто Ковно защищал, кто? — бурно возразил поручику штабс-ротмистр, кавказец по обличью и по акценту. — Генерал Григорьев, который бежал из гарнизона? Вопрос, сколько он получил с немцев, на суде подымался, а? Не подымался... Присудили только на пятнадцать лет каторги, а надо было повесить! Повесить, как полковника Мясоедова, немецкого шпиона, вот как надо было, а то каторга!

— Тем более, что генерал этот уже весьма староват, и пятнадцать лет каторги или один год для него решительно безразлично, — насмешливо вставил другой прапорщик с лицом бледным, как после долгой болезни, но тем не менее энергичным. Он с трудом выносил табачный дым,

с явным неудовольствием смотрел на поручика и непосредственно после сказанного по поводу наказания генерала Григорьева буркнул своему соседу: — Послушайте, черт возьми, что вы такое курите, поручик? Это не шкура ли какого-нибудь скунса, от которого бегут, как известно, даже и леопарды, затыкая носы хвостами?

— Никак нет, это — все-таки табак, — весело отозвался на это поручик, — только не отечественный, а немецкий: нашли наши солдаты в отбитом окопе ящик с таким табаком.

— И здесь немец гадит! Уверю вас, что этот ящик оставлен сознательно, чтобы вас известить медленной пыткой! Это провокация, а не табак, — сказал прапорщик, блеснув карими живыми глазами. — Всякая война вообще довольно обдуманная штука, но так изощряться во всевозможных каверзах, как немцы, это значит уж сделать из войны профессию. Говорил же Бисмарк о румынах, что это не нация, а профессия, однако и немцы — это тоже теперь профессия... необыкновенно опасная для всего человечества в целом, а в первую очередь для нас, способных курить их скунсов и виверр и находить в этом удовольствие.

Инженер-поручик дотянулся рукою с трубкой до окна, выбил из нее табак и примирительным тоном обратился к прапорщику:

— Вы видели, что я сделал? Теперь открывайте мне свой портсигар.

— Откуда вы взяли, что у меня есть портсигар? — несколько удивился прапорщик. — Нет и никогда не было. Табак я все-таки выносил прежде, могу выносить и теперь, хотя уже пробит пулей (тут он указал пальцем на грудь). Но суть дела всецело в том, защитима или не защитима русская земля, и почему она была защитима прежде, и почему это свойство ее так резко изменилось теперь.

Университетский крестик, хотя и примелькавшийся уже на тужурках прапорщиков, энергичное лицо, свободно льющаяся речь и жесты, ее естественно дополняющие, — все это заставило подполковника-интенданта спросить:

— Простите, вы — юрист? Адвокат, наверное?

— Нет, я — математик, — ответил прапорщик. — И, как математик, я ищу доказательства, чтобы прийти к свя-

ценной для всех математиков фразе: что и требовалось доказать. Если Иванов заменен Брусиловым, то значит ли это, что хотели сделать лучше?

— Но ведь Брусилов-то как-никак боевой генерал,— ответил на этот вопрос артиллерист,— а какие же боевые подвиги значатся в послужном списке у Иванова? Ведь он — куропаткинец!

— А это разве не подвиг, что он — крестный папаша наследника престола? — подкивнул прапорщик.— Я от кого-то слышал, что сама Александра Федоровна пишет ему иногда по-русски так: «Крестник ваш жилает дедушке всего лушаго». Как же можно было сместить такое близкое к престолу лицо и назначить взамен какого-то вообще генерала Брусилова? Нет, как хотите, а ясности тут решительно никакой, если только этого не потребовали наши союзники.

— Вот именно — они-то и требуют наступления, а Иванов будто бы наступать отказался,— подхватил инженер-поручик, а штабс-ротмистр кавказец, с предупредительной мипой на густо загорелом лице, дополнил:

— А между тем, господа, сами немцы все время пишут, что они готовят на нас решительное наступление весной!

— Значит, не только защищаться, а нападать мы должны, поэтому и Брусилов — главнокомандующий,— сказал прапорщик, обращаясь к капитану-артиллеристу.— Но вот вы сказали: «Были бы снаряды», а я в госпитале отстал от событий и не знаю, как у нас со снарядами.

— Снаряды на фронт гонят и гонят, снарядного голода теперь долго не будет,— ответил артиллерист и добавил безразличным тоном: — А вы где были ранены?

— На позициях против села Кóссув,— таким же безразличным тоном ответил прапорщик, но капитан подхватил оживленно:

— Кóссув?.. Слышал я что-то об этом Кóссуве: не то там на позициях много солдат наших замерзло, не то какой-то пехотный полк самовольно оттуда ушел зимой...

— Было, было и то и другое в непосредственной связи,— ответил прапорщик, однако без всякого желания говорить об этом полнее.

— То-то вы и ставите вопрос: защитима или не защитима наша земля,— участливо обернулся к нему интен-

даст и вдруг спросил неожиданно для прапорщика: — Ваша фамилия, простите?

— Ливенцев, — ответил тот, и так как интендант переспросил, не разобрав, то пояснил: — Фамилия сия происходит от названия одного города в Орловской губернии — Ливны, о котором принято говорить: «Ливны всем ворами дивны»...

Это почему-то рассмешило всех в купе, даже интендант улыбнулся. А поручик, снова набивая трубку своим невозможным трофейным табаком из вышитого бисером кисета, сказал прапорщику Ливенцеву:

— Слышал я, что от вашей Орловской не отстают и Тверская, а также Витебская. По крайней мере факт будто бы тот, что тверской помещик Офросимов, — он же член Государственного совета, а не кто-нибудь вообще, — объединился со своим зятем, тоже помещиком, председателем Витебского земства, и общими усилиями они обрабатывали казну на огромную что-то сумму, — так что трудно и сосчитать.

— Выкладываете данные, я сосчитаю, — я математик, — с большим интересом отозвался на это Ливенцев.

— Да ведь вот опять я вам буду мешать своей трубкой, — лукаво покосился на него поручик.

— Ничего уж, как-нибудь вытерплю.

— Да всех обстоятельств дела я и сам не знаю. Получил будто бы этот Офросимов подряд на шитье солдатских сапог, а в Тверской губернии есть такое село — Кимры, где только этим все и занимаются — сапоги шьют — и старики, и ребята, и бабы, — все под итог... Ну, вот, значит, Офросимову, как он тверской помещик и член Государственного совета, и кожи в руки.

— Кожи для солдатских сапог? И много? — оживленно, однако не без лукавства, спросил интендант.

— Мне кажется, что-то очень много, так что я даже усомнился: двести тысяч пудов! — вопросительно посмотрел на интенданта поручик, но интендант отозвался, пожав плечами:

— Что же, — большому кораблю большое и плаванье... Я, впрочем, про это дело знаю: интендантство ведь продало Офросимову эти кожи, а не кто другой. Но дело в том, что кожи эти он со своим зятем купил у казны по четыре рубля за пуд и, не успев еще внести за них деньги, которых и не было у обоих компаньонов, — ведь почитай

миллион! — перепродал кожи партиями частным поставщикам сапог по двадцать уже рублей за пуд!

— А это уж четыре миллиона! — вставил Ливенцев.

— Вопрос: сколько за пару сапог будут драть с казны эти поставщики? — возмущенно заметил кавказец, а капитан кивнул ему выразительно, добавив при этом:

— Охулки на руку не положат, — будьте покойны!.. Мне кажется даже, что депутаты Шингарев и Годнев внесли вопрос об этих кожах в Государственную думу, и я в свое время читал в газетах, что дело об этом подниматься не будет.

— Вот видите, господа, как воруют тверские и витебские! — с загоревшимися глазами обратился Ливенцев непосредственно к артиллеристу. — Орловским, конечно, не уступают. Но любопытно бы знать, из каких губерний выпли дельцы артиллерийского ведомства, перед которыми, — если верить слухам, — все эти члены Государственного совета — вору, просто мальчишки и щенки!

— А что такое? Какие дельцы артиллерийского ведомства? — обиженным несколько тоном спросил капитан.

— Неужели не знаете? — удивился Ливенцев. — А в тылу ведь говорят об этом без утайки. Я знаю, что снарядов у нас не было уже в начале войны, сейчас же их доставляют, конечно, из запасов наших союзников. Тяжелых орудий у нас тоже было очень мало...

— И сейчас мало, — вставил капитан.

— Вот видите как! А между тем ревизия обнаружила, что не четыре миллиона, а целых два миллиарда прикарманили молодцы из артиллерийского ведомства в Петрограде!

— Разве два миллиарда? — счел нужным удивиться интендант, хотя тут же добавил: — Я что-то слышал подобное, но не давал веры: мало ли что болтают!

— Какое же «болтают», когда уж и особая комиссия назначена для расследования этого дела, — возразил Ливенцев. — и возглавляет эту комиссию прокурор рижского окружного суда Якоби!

— Я не читал об этом в газетах, — сказал поручик.

— Еще бы — так вот и напечатали это в газете! — искривился на него штабс-ротмистр.

— Слухи верные, так как называют и имена, — продолжал Ливенцев. — Говорят даже, что великий князь Сергей Михайлович, ведающий артиллерийскими делами,

пытается сорвать расследование. науськивает на Якоби известного сенатора Гарина, но дело уж получило большую огласку, хотя и в стороне от газет. Если о законной жене иные знатоки жизни говорят: «Жена — не стакан вина — один не выпьешь», то тем более о двух миллиардах можно сказать, что рассовать их можно было только в очень большое количество карманов... между прочим, и в карманчик балерины Кшесинской, которую, как всем известно, содержит сам великий князь. Авось расследование выяснит, кто скопился там, в артиллерийском ведомстве в Петрограде, — не немцы ли?

— Сухомлинов, бывший военный министр, как кажется, не из немцев, однако где он сейчас? — вопросом на вопрос ответил Ливенцеву интендант, но кавказец штабс-ротмистр быстро поддержал прапорщика:

— Если даже и не немец, так что из того? Сам не немец, так зато жена немка или в этом роде! А вы знаете, как приказано относиться у нас к пленным немцам? Наши пленные работают у немцев, как черти, а немцы у нас в плену пальцем о палец не ударят. Кто настоял на этом? Александра Федоровна — вот кто! Потому что ярая немка!

— Я тоже слышал довольно пакостную историю насчет валенок, — сказал капитан, — будто бы немцы прошлым летом закупили у нас и вывезли через Финляндию огромную партию валенок... Спрашивается, кто же им продал их и кто позволил вывезти?

— Даже и хлеб вывозили через ту же Финляндию сотнями тысяч пудов, — добавил интендант, — а у нас теперь большие затруднения с доставкой хлеба на Северный фронт и даже в Петроград.

— Вот видите, — и вы кое-что знаете! — подхватил это Ливенцев. — Спрашивается, с кем же мы воюем? И там ли мы воюем, где следует? И нет ли в этой сфере главнокомандующих Юго-Западным фронтом какого-нибудь далеко рассчитанного хода, как у заправских шахматистов?

— То есть, какого же именно? — спросил поручик, отрываясь от своей зловонной трубки.

Ливенцев отмахнул от себя дым рукой и ответил неопределенно:

-- «Наружность иногда обманчива бывает... Это из

басни. А иногда делают с виду «как можно лучше», только затем, чтобы вышло как можно хуже.

— Кто же так делает? — не понял капитан.

— Кто? Да вот именно те, кто ведаёт высшей политикой, — сказал Ливенцев. — Те, кто могут безнаказанно рассовать по карманам два миллиарда и оставить фронт без снарядов и пушек; кто производит, тоже безнаказанно, уголовные махинации с кожей для солдатских сапог и тем самым разуваёт фронт; те самые, кто продает и валенки и хлеб, чтобы у нас не было ни того, ни другого, а у немцев чтобы непременно было; те самые, при ком нельзя даже и заикнуться о том, что у нас в армии подозрительно много генералов немцев, потому что сейчас же они обзовут это «пошлым немецеством». А Вильгельм тем временем всячески добивается, чтобы Швеция или сама бы выступила против нас, или хотя бы пропустили его войска через свою территорию, потому что в Берлине уже готов план напасть через Финляндию на Петроград, — так сказать, в самый центр мишени направить удар. О том же, чтобы у нас фронт был везде и всюду, куда ни повернись, об этом Вильгельм и его присные позаботились гораздо раньше, конечно, чем начали против нас войну.

— Так что выходит, по-вашему, что это удивительно даже, как мы почти уж два года воюем, а? — спросил, улыбаясь, поручик. — Однако все-таки вот воюем.

— Разумеется, воюем, что же больше делать? — улыбулся и Ливенцев. — Вопрос только в том, во имя чего воюем... Ничто в природе не пропадает, — это закон. Не пропадают зря и все наши усилия и жертвы, конечно. Жертвы эти приносятся на алтарь, только какому богу? Поскольку я — человек любознательный, то мне хотелось бы узнать это заранее, а не тогда, когда меня уколшат и когда я, будучи уже бесплотным духом, стану всеведущ.

— Вы разве верите в это? — удивленно спросил его поручик.

Ливенцев заметил, что не менее удивленно поглядели на него и другие офицеры, поэтому он шире распустил свою улыбку и ответил не столько поручику, сколько всем вообще:

— Вот видите как, — скажешь не на уроке закона божия, а вот так в приватной беседе о бессмертии души, и

на тебя смотрят, как на спятившего с ума. А между тем тот же генерал Брусилов, насколько я слышал, усердно занимается на досуге столоверчением, вызывает дух своей покойной жены, задает ему, этому духу, вопросы и будто бы получает ответы. Пусть это — как бы это сказать помягче? — маленькая и вполне простительная в его почтенные годы слабость, но я бы на его месте этого не делал, — неудобно как-то в двадцатом веке терять время на такие пасьянсы, тем более главнокомандующему целым фронтом!

— Злой, злой у вас язык, прапорщик! — деланно-добродушно заметил интендант, но Ливенцев не согласился с этим.

— Язык обывательский, а не злой. И совсем не таким языком надо бы говорить о том, что творится вокруг нас и что творят с нами. Но если даже и плетью, как известно, обуха не перешибешь, то языком тем более.

В это время другой прапорщик, белокурый и скромный, вышедший из вагона, вошел в купе и сказал:

— Сейчас, господа, подъезжаем к большой станции, где есть буфет.

— Что и требовалось доказать! — весело отозвался ему за всех Ливенцев.

И в купе началось оживление, которое всегда бывает у засидевшихся путешественников, когда им преподносится возможность выйти из вагона, пройтись по перрону, поглазеть туда-сюда по сторонам, съесть тарелку борща, выпить стакан чая.

II

На станции этой пассажирский поезд стоял долго — пропускал поезда товарные: одни — порожняком идущие с фронта, другие — груженые орудиями, боевыми припасами, продовольствием, маршевыми командами — на фронт.

Здесь вообще уже чувствовалась близость фронта, знакомая прапорщику Ливенцеву. Однако, отвыкнув от этой суеты за два месяца, проведенных в тыловом госпитале, он присматривался ко всему кругом с большим любопытством.

Когда его увозили с фронта, стояла еще зима, крути-

ла поземка, поля лежали белые до горизонта, на котором толпились тоже белые холмы; теперь же упруго все дрожало, как туго натянутая струна, весенним подъемом сил. Ощутительно било в глаза это брожение во всем бодрых и бойких весенних соков, но в то же время хотелось думать Ливенцеву, что весна весною, а подъем настроения — сам по себе. Точнее, — счастливое совпадение двух весен — в природе, как и на фронте.

Маршевики в вагонах, уходящих от станции к западу, заливались гармониками — «ливенками», гремели песнями, — и никакого не чувствовалось в этом надрыва, напротив, заливались и гремели от чистого сердца и не спяну: водкой ведь их никто не поил тут на станции. Суета на вокзале, на перроне, на путях была не беспорядочная, а деловая, необходимая суета, не слишком крикливая. Это заметил и белокурый прапорщик, который старался здесь, на вокзале, держаться поближе к Ливенцеву.

У него были свои затаенные мысли, которые он хотел кому-нибудь доверить, но, видимо, боялся, чтобы его не вышутили, поэтому не к кадровым офицерам, а к своему брату прапорщику он с ними и обратился, застенчиво улыбаясь:

— Вот, знаете ли, смотрю на вас, — вы ведь гораздо старше меня годами и на фронте уж были, — поймите меня, пожалуйста, как надо... очень не хочется умирать!

Сказал и как-то сразу осекся и глядел оробело, но Ливенцев отозвался ему просто:

— Кому же и хочется? Никому не хочется, исключая помешанных на идее самоубийства.

— Вы согласны? — обрадовался застенчивый прапорщик. — Меня это очень угнетает, — сказать откровенно, — но я вот и школу прапорщиков окончил и в полк еду, а как я там буду, не знаю.

— Ничего, втянетесь и будете, как все.

— Главное, я ведь совсем не военный по своему складу характера.

— Да уж теперь мало осталось военных по натуре, зато много стало военных по приказанию.

— Вот именно, именно! И я такой... И я думаю, что меня в первом же сражении убьют.

— Могут убить и до первого сражения, — усмехнулся Ливенцев. — Перестрелки ведь на фронте всегда бывают, и сражениями они не считаются... Там все гораздо проще.

чем представляется издали. Неприятельская пуля летит по своей траектории; на ее пути оказались вы,— ясно, что она в вас и вопьется.

— Так было и с вами тоже?

— Совершенно так было и со мной. А что касается подвига, то никакого особенного подвига я не совершил и сейчас тоже не думаю, что совершу.

— Не думаете, что совершите, или не хотите думать о подвиге?

На этот неожиданно витиеватый вопрос Ливенцев ответил намеренно витиевато:

— Даже и подвиг, как все в нашей жизни, требует, чтобы его оценили и занесли в соответствующую графу, а если нет поблизости этого оценщика, то, стало быть, нет и подвига. Простое же выполнение воинских обязанностей за подвиг считать не принято.

Так как на очень внимательном худощавом лице собеседника начинал просвечивать какой-то новый, наивный, однако трудный для решения вопрос, то, чтобы предупредить его, Ливенцев добавил:

— Кстати, моя фамилия — Ливенцев, а ваша?

— Обидин... Прапорщик Обидин,— торопливо ответил белокурый.

— А в какой же, между прочим, полк вы назначены, прапорщик Обидин? — спросил Ливенцев, так как на защитного цвета погоне Обидина была только звездочка, но не было никаких цифр.

И Обидин назвал как раз тот самый полк, в который был назначен и Ливенцев.

— Вот ка-ак! — удивленно протянул он. — Так мы с вами, не желающие умирать, однополчане, значит? Такие-то бывают счастливые совпадения субстанций!

Но если Ливенцев несколько удивился, то Обидин не притворно обрадовался такому совпадению и весь так и лучился изнутри, когда говорил не совсем складно:

— Это замечательно, послушайте! Это прямо, я даже не понимаю, как... Ведь вас, конечно, ротным командиром назначат... Возьмите меня к себе в полуротыне! Ей-богу, право, возьмите!

— Погодите просить, что вы! Вам тоже роту дадут, — за этим дело не станет.

— Ну куда же мне так вот сразу и роту, что вы! — отмахнулся обеими руками Обидин. — Да я и командовать

не сумею. Там каждый рядовой больше знает, чем я, только что из школы, а уж об унтерах и говорить нечего!

— Вот унтера и фельдфебель вас и обучат фронтовой мудрости... А что это такое там, позвольте-ка? Погляди-те-ка сюда!

Внимание Ливенцева привлекло стадо волов, которое показалось невдалеке от станции, когда двинулся поезд с орудиями, прикрытыми брезентом.

— Что там такое? Волы? — спросил Обидин.

— Волы-то волы, да в каком виде! По ним можно, не снимая с них шкур, изучать скелет! Посмотрите, — они просто падают один на другого!

— Это для фронта?

— Разумеется, для фронта, но куда же они годятся? Да они и не дойдут до фронта, подохнут дорогой!

Как раз в это время подошел к ним интендант, доставший в буфете что-то, завернутое в газету, и подхватил последние слова Ливенцева.

— Вы бы спросили, сколько поддыхает от бескормицы вообще в этих «гуртах скота», я бы вам сказал довольно точно. В среднем из трех два, — это какой процент будет?

— Шестьдесят шесть! Неужели все-таки шестьдесят шесть процентов, и вы, интенданты, это терпите? — возмутился Ливенцев.

Но интендант ответил довольно невозмутимо:

— Не мы, не мы — на нас прошу не валить! Мы это гиблое дело передали уполномоченным министерства земледелия, и теперь уж они этим ведают, а мы в стороне. Вы себе представить не можете, сколько скотов оказывается у нас, чуть только их приставят к такому хлебному занятию, как доставка гуртов скота! Ведь они мало того, что кормовые деньги себе в карманы кладут, они еще по дороге меняют порядочную скотину на полудохлую, — зарятся на додачу! Уверяю вас, что казне было бы выгоднее кормить солдат сибирскими рябчиками, чем мясом!..

— Слыхали? — обратился к Обидину Ливенцев, но тот был вообще заметно смущен тем, что услышал, и спросил интенданта:

— А сколько, господин полковник, съедает таких волов фронт в день?

— Смотря какой фронт... Наш, Юго-Западный, я знаю, съедает вместе со своими тыловыми частями семнадцать с

половиной тысяч голов в неделю, но это имея в виду, что по средам и пятницам он постится, и тогда в котел идет кета или другая рыба. А в общем, конечно, стихийное бедствие, и если в этом году война не кончится, то в будущем именно гуртовщики ее и кончат: на голодное брюхо много не навоюешь!

Сказал и отошел улыбаясь, осторожно держа что-то, завернутое в газету, а подошедший с запада санитарный поезд закрыл тощее стадо качающихся на ходу, совершенно фантастичных, особенно в такой яркий день, животных, необычайно длиннорогих от худобы, с резкими бликами на всех позвонках и с густыми тенями во всех впадинах хлипких тел. Масти они были серой, но издали казались голубыми.

К санитарному поезду, шелестя шелком черного платья, прошла по перрону мимо Ливенцева какая-то молодая женщина, показавшаяся ему знакомой: где-то видел и этот взгляд, и эти высокие полукружия бровей, и поставов головы на ровной белой открытой шее, и даже эту четкую походку.

Он следил за нею, когда она шла к последнему вагону прибывшего с запада поезда, и был очень удивлен, увидев какого-то рыжеусого унтер-офицера, сыргнувшего с подножек этого вагона и расцеловавшегося с дамой, как с родною. Но еще больше удивило его, что следом за этим унтером вышел из вагона и тоже сыркнул другой унтер, — бородатый, осанистый, — один из взводных командиров его бывшей роты — Старосила.

И, несмотря на то, что он не захотел возвращаться в прежний полк и выхлопотал себе перевод даже и в другую дивизию, он обрадованно крикнул, сделав рупором руки:

— Старосила!

Тот присмотрелся и тут же, одернув гимнастерку и поправив фуражку, пошел к Ливенцеву, только успевшему сказать прапорщику Обидину:

— Это — мой боевой товарищ!

— Ваше благородие, честь имею явиться! — казенными словами приветствовал его Старосила, сияя запыленными серыми глазами, но Ливенцев обнял его и ткнулся лицом в его бороду, точно желая показать даме, которая в это время на него смотрела, что у него тоже есть родной — унтер.

— Очень рад я, братец, что ты жив, очень! — вполне искренне говорил Ливенцев, любуясь бородачом.

— Так же и я само, ваше благородие! Аж точно солнышко мне в глаза вдарило, как вас увидел! — вполне искренне и с дрожью в голосе отозвался Старосила.

— А как же ты сюда попал? По какому случаю?

— Да случай, как бы сказать, непредвиденный, ваше благородие,— понизил голос Старосила, слегка качнув головою назад, на вагон.— Тело сопровождать был назначен.

— Тело? Чье тело?

— Так что, подполковника Добычина,— еще больше понизил голос Старосила и закончил почти шепотом: — А этот со мной — полковой каптенармус Макухин, он приходился ему зять, покойнику, и эта с ним стоит сейчас — его дочка, ваше благородие.

— Вот ка-ак!

Ливенцев сделал несколько шагов по перрону, чтобы можно было говорить громче, и спросил, хотя не питал никакого расположения к Добычнину во время службы с ним в одном полку:

— Как же все-таки он был убит,— при каких обстоятельствах?

— Обстоятельства такие, ваше благородие... бандировка была,— и найдись осколок на ихнюю голову,— в один раз упали — и не живые,— объяснил Старосила и добавил: — Я только до этой станции должен, а дальше не знаю уж, как: везти ли его будут на ихнюю родину или здесь где похорвают... Унтер-офицер этот, каптенармус, Макухин, он, говорили так, из богатых людей,— вполне может и дальше ехать,— ему что! И даже гроб он достал не простой, а цинковый.

— Это был наш заведующий хозяйством — подполковник Добычин,— обратился к Обидину Ливенцев, а Старосила сказал:

— Вот рады будут все в нашей роте, как вы ее опять примете, ваше благородие!

— Ну вот, рады, что ты, брат,— не все ли равно, что я, что другой?

— Как можно, ваше благородие! Разве наша солдатня, она хотя бы какая ни на есть, не понимает? — и Старосила почему-то поглядел при этом на Обидина и добавил: — Не в нашу ли роту и вы тоже будете?

— Нет, я в другой полк,— ответил, улыбнувшись, Обидин.

— Я тоже в другой полк,— его же словами ответил Старосила и Ливенцев.

— Шуткуете? — оторопел Старосила.

— Ничуть. Вполне серьезно! Даже в другую дивизию.

И, видя, что Старосила вполне непритворно опечален, хлопнул его по плечу, объясняя:

— С начальством ничего не поделаешь,— взяло и назначило в другую дивизию: там я оказался нужнее... Прощай, брат Старосила! Мне надо идти в свой вагон,— торопливо сказал он вдруг, обнял его так же, как и при встрече, и пошел, едва взглянув в сторону дочери Добычина и ее мужа — Макухина.

— Вот не думал, что такая сидит во мне привычка к своей роте,— извиняющимся тоном обратился он к Обидину.— Великое дело оказались окопы, в которых вместе торчали, которые и заняли вместе с бою... А этот Старосила, он был толковый взводный, если бы в новом полку были у меня хоть немного похожие, стал бы я, как говорится, кум королю и сват Гаврику.

Обидин поглядел на него испытующе и спросил осторожно:

— То есть толковый он был взводный в смысле защиты или как-нибудь еще?

— И защиты и атаки тоже, а как же иначе? — немного удивился и тону и смыслу этого вопроса Ливенцев.

Кругом сповала толпа военных всяких рангов — шумная и однообразная, лишь кое-где расцвеченная белыми халатами сестер милосердия и их яркими красными крестами. Сестры были из санитарного поезда — дома скорби на колесах.

Оттуда и туда резво бежали засидевшиеся санитары с чайниками. Там в одном из вагонов кто-то громко воюще стонал с небольшими перерывами; в то же время два военных врача, шипели внакидку, медленно прогуливались в тени около другого вагона.

По платформе тяжело двигались тележки с ящиками из новеньких веселых досок и фанеры, на которых что-то было написано, наляпано черной краской. То и дело слышались рабочие крики: «Посторонитесь!.. Дайте ходу!.. Поберегись, эй!»

Весна и тепло между тем заставляли многих забывать о том, что отсюда же не очень далеко до фронта, где очень часто режут пушки и стрекочут пулеметы. То там, то здесь вспыхивал залиvistый женский смех, заботливо подкручивались усы, молодцевато выпячивались груди, кое у кого украшенные белыми крестиками.

Но исподволь во все звуки вокзала, покрывая их, врвался сверху жужжащий, однообразный, ровный гул, и когда он заставил всех поднять головы кверху, послышались крики:

- Аэроплан!
- Немецкий!
- Почему же немецкий? Может быть, и наш!
- А зачем здесь наш?
- Немецкий! Вот увидите!
- Сейчас начнет бросать бомбы!
- Да что вы говорите!
- Говорю, что надо! А другого не видно?
- Кажется, нигде не видно...

Шеи всех вытягивались, наблюдая за полетом вражеского самолета, и в то же время все пятились назад, готовясь куда-то и как-то скрыться от губительной бомбы, которая, казалось, вот-вот полетит вниз на станционное здание, или на перрон, или на какой-либо из поездов, стоящих на путях в ожидании отправки.

Воздушная машина кружилась над станцией замедленно и довольно низко. Ни у кого уж не оставалось сомнения в том, что она немецкая. Спрашивали один другого: неужели нет орудий, чтобы сбить разбойника? Дамы сочли самым надежным укрытием зал первого класса и кинулись туда толпой...

Тревога оказалась напрасной, — аэроплан потянул к западу и наконец скрылся из глаз.

— Сфотографировал немец станцию и ушел, — сказал Ливенцев подошедшему к нему капитану-артиллеристу, — а бомб не бросал, хотя и мог бы.

— Вообще ведь они только приличия ради пишут с своим весеннем наступлении на нас от моря до моря, а на самом деле заирать нас желания пока не имеют, — отозвался капитан.

— Почему же все-таки не имеют желания? — с живейшим интересом спросил Обидин.

— Ну, известно уж почему! — усмехнулся капитан.

О сепаратном мире с нами ведутся переговоры. Александра Федоровна вкупе с Распутиным стараются изо всех сил.

— Я даже слышал мельком,— вставил Ливенцев,— будто Распутин по пьяной лавочке говорил одному адвокату: «Если мы в марте не подпишем с немцами мира,— цаплюй мне тогда в рожу!..» Адвокат этот распускал такой слух в феврале...

— А март уже прошел... — перебил его капитан.

— Отсюда следует, что был бы теперь под рукой у адвоката Распутин, а наплевать ему в косматую рожу он уже имел право,— закончил Ливенцев.

— Зато Россия-то ведь не имеет права на сепаратный мир,— как же может она его заключить? — не совсем смело, однако с затаенной надеждой на желательный ответ спросил его Обидин, и Ливенцев оправдал его надежду.

— Э-э,— сказал он,— «не имеет права»!.. Право мы носим на концах наших штыков... за неизмением у нас более выразительных средств войны. Дело не в том совсем, имеем или не имеем мы право заключать мир, а выгодно ли это для нас или не выгодно. Мы можем заключить мир, дажс, пожалуй, получить и какую-нибудь прирезку территории по этому миру, но зато мы развяжем руки Вильгельму, и он всеми своими силами обрушится на Запад и его раздавит... А когда он сделает это, то что ему помешает, несмотря на мир с нами, послать против нас, демобилизованных, все армии свои с Запада? Это и будет *divide et impera!* — разделяй и властвуй.

— Так что, по-вашему, выходит — выбора у нас нет, продолжать эту бойню мы должны? — с тоскою в голосе спросил Обидин.

— Да, выбора нет, должны,— его же словами, но твердо ответил Ливенцев.

— Тогда что же... тогда... не о чем и говорить больше... Остается одно — помирать,— пробормотал Обидин.

Ливенцеву, видимо, стало жаль его. Он положил руки ему на плечи и сказал, улыбаясь:

— Помереть мы с вами всегда успеем, но сначала надо попробовать кое-что путное сделать.

— А что же именно «путное»?

— Да, в самом деле, что вы называете «путным»? — почти одновременно спросил и капитан.

— Ну, уж, разумеется, не сдачу в плен, — уклончиво ответил Ливенцев.

Между тем в это время санитарный поезд, после свистков, дерганья и лязга, отодвинули куда-то дальше в тупик, и на его место мягко подкатил, попыхивая локомотивом, щегольской, совсем небольшой поезд, всего в три вагона.

— Это что же такое за поезд? — спросил теперь уже Ливенцев капитана.

А тот вместо ответа кивнул в сторону парадных дверей вокзала, откуда поспешно выходили один за другим два генерала, оказавшиеся тут и направлявшиеся к поезду. Заметны также стали теперь и жандармы, а толпа как-то вдруг поредела.

Инженерный поручик вместе со штабс-ротмистром кавказцем подошли откуда-то к группе Ливенцева, и первый из них сказал:

— Главнокомандующий Юго-Западным фронтом Брусилов катит экстренным поездом.

А второй добавил:

— По всей вероятности, едет в ставку, представляться царю.

— Неужели не выйдет промяться? — спросил Ливенцев. — Посмотреть хотя бы издали на вершителя наших ближайших судеб.

— Вы разве его никогда не видели? — удивился артиллерист.

— Не приходилось.

— Генерал как генерал... Точнее, как старый генерал, — ведь он уже далеко не молод.

— Фигура не строевая, — с сильным ударением на «не» сказал кавказец. — Я его тоже несколько раз видел. А на лошади держится хорошо.

— Еще бы плохо! Кавалерист, бывший берейтор, — несколько презрительно заметил поручик. — А роль кавалерии в этой войне оказалась скромной.

Кавказец не возражал против этого, тем более что его внимание, как и всех прочих, привлекли генералы, тяжело избравшиеся в элегантный синий салон-вагон.

Шторы окошек этого вагона были полуприкрыты. Около вагона стали два жандармских офицера. Наконец жандармский поручик в белых перчатках подошел к ним, пятерым, устремившим любопытные взоры на таинственный

вагон Брусилова, и очень вежливо, однако твердо, попросил их не стоять на месте, а прогуляться в ту или иную сторону, куда им нужнее. Кстати он спросил, каким поездом и куда они едут. И, когда ему за всех ответил капитан, он даже встревожился:

— Так что же вы, господа! Вам тогда надо идти садиться в свой поезд: он двинется, как только этот поезд пройдет.

— А этот поезд куда идет,— в ставку? — спросил Ливенцев.

— Быть может,— неопределенно ответил жандарм, делая при этом рукой жест в ту сторону, где стоял на путях их поезд.

— А ставка теперь где? В Могилеве? — двинувшись первым, спросил было Ливенцев, но жандарм отозвался на это уже совсем неприязненно и сухо:

— Не могу знать.

Ставка была в Могилеве, и это было известно всем на фронте, всем в тылу, всем в Германии, всем в Австро-Венгрии, и тем не менее вслух об этом говорить не полагалось.

Когда Ливенцев подходил уже к своему вагону, он посмотрел все-таки в сторону таинственного, так тщательно охраняемого небольшого состава и увидел то, чего не удалось ему увидеть с перрона: генерал Брусилов действительно, как и предполагал он, вышел промяться.

Ливенцев узнал его по тем портретам, какие помещались в газетах и еженедельниках. Какой-то длинный, лодочкой вытянутый вперед козырек фуражки, а под ним овальное лицо с небольшими седоватыми, однако не совсем еще белыми усами.

Ничего показного, того, что называется бравым и так дорого сердцам всех любителей парадов, не было ни в лице, насколько его можно было разглядеть издали, ни в фигуре главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Средний рост, неспильные, обвисшие стариковские плечи, заметная сутуловатость,— вот и все, что метнулось в глаза Ливенцева, пока генералы, вышедшие вместе с Брусиловым из вагона и явившиеся к нему с рапортами отсюда, со станции, не заслонили его.

Видно было, что он говорил что-то, но, должно быть, очень тихо, так как все около него тянулось к нему, чтобы расслышать.

Беседа на свежем воздухе продолжалась, впрочем, недолго. Брусилов, очевидно, спешил, а путь для следования его поезда был свободен. Ливенцев с любопытством наблюдал, как он будет подниматься по ступенькам вагонной лестницы,— не будут ли ему помогать при этом,— но поднялся он бодро, не коснувшись ничего руками, и эта маленькая подробность расположила Ливенцева в пользу Брусилова больше, чем если бы он прочитал о нем большую хвалебную статью.

— Когда я только что в начале войны,— сказал он, сидя уже в своем купе,— приехал в ополченскую дружину, куда был назначен, мне предлагали там адъютантство, но я отказался,— предпочел строевую службу. Однако, если бы теперь мне предложили стать не то чтобы адъютантом, конечно, а ординарцем или вообще каким-нибудь винтиком в штабе главнокомандующего Юго-Западным фронтом, я бы согласился.

— Ишь вы какой!.. Всякий бы согласился, поскольку в штабе сидеть гораздо спокойнее, чем в окопах,— иронически заметил на это подполковник-интендант.

Но Ливенцев покачал головой, усмехнувшись, и добавил:

— Я вас понял, а вы меня нет. Не в том смысле мне хотелось бы быть при штабе, чтобы увильнуть от пули и прочего, а исключительно затем, чтобы знать, что задумано главнокомандующим, и чтобы иметь возможность наблюдать, что из задуманного выйдет. Дело в том, что я математик, и в этом отношении неисправим, а ведь математики только и делают, что решают задачи,— то есть на основании известных данных отыскивают неизвестные.

— Что же, напишите Брусилову докладную записку и проситесь к нему в штаб,— сказал кавказец.

Но подполковник ядовито заметил:

— Разве можно в штаб попасть прапорщику да еще и без протекции? Что вы!

— Да я никаких шагов в этом направлении и делать не буду, конечно,— сказал Ливенцев.— Это у меня вырвалось просто в порядке минутного желания, и только.

Плавню покачиваясь, прошел мимо их поезда штабной поезд, и Ливенцев, высунув голову в окошко, долго глядел ему вслед.

— Что, насмотрелись? — улыбаясь, спросил его Обидин, когда он наконец уселся на свое место.

— Насмотрелся,— в тон ему ответил Ливенцев.— А теперь посмотрим, что из этого путешествия Брусилова в Мекку может выйти.

Человек в красной фуражке, торчавший на перроне, дал знак. Засвистал старый, с оплывшим багровым лицом обер-кондуктор. Машинист дернул поезд так, что слетела на пол стоявшая на столике бутылка с недопитой фруктовой водой. Второй толчок был еще сильнее, чуть не слетели чемоданы с полок. Наконец, после третьего рывка, поезд тронулся. Подбирая осколки разбитой бутылки, чтобы выкинуть их за окно, поручик-инженер подкинул Ливенцеву и сказал многозначительно:

— Начало мы уже видим!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Генерал Брусиллов

I

Экстренный поезд, в котором ехал Брусиллов, направлялся не в ставку верховного главнокомандующего, то есть царя, а в Бердичев, где была ставка главкоюза генерал-адъютанта Иванова. Положение создалось такое, что Брусиллов хотя и назначен был на место Иванова, но тот не сдавал ему фронта около двух недель.

Крестный отец маленького наследника, великого князя Алексея, имел слишком сильную руку при дворе в лице императрицы Александры Федоровны и старого камерщика царя — министра императорского двора, графа Фредерикса. Шли интриги. Иванова обнадеживали, что приказ царя о его смещении еще не окончательный, что он вырван у славовольного главковерха постоянными союзниками, но совершенно нежелателен «святому старцу» — Распутину. Привыкший менять по своему капризу министров, создавший «министерскую чехарду» в России, «старец» полагал, что то же самое можно делать и с главнокомандующими, тем более с такими, которые проявляли строптивый воинственный дух, когда он шел уже закулисную паутину сепаратного мира с Германией и ее союзниками. Иванов был вполне хорош для этих целей, — он считал войну безнадежно проигранной, — Брусиллов же

мог повести себя совершенно нежелательно: при дворе известно было, что восьмая армия, которой командовал перед новым назначением Брусилов, считалась на фронте наиболее боеспособной.

О Куропаткине, главнокомандующем Северо-Западным фронтом, не могло быть двух мнений: он полностью проявил себя в Маньчжурии, поэтому ни императрицу, ни Распутина не беспокоил и теперь. Генерал Эверт, главнокомандующий Западным фронтом, был тоже испытан как в Маньчжурии, так и теперь. Наступление, которое он провел на своем фронте в первой половине марта, обошлось в девяносто тысяч человек и не дало никаких результатов. Много погибло от весенней распутицы, так как фронт обратился в сплошное болото, разливавшееся днем и замерзавшее ночью. По обыкновению не хватало ни снарядов, ни сколько-нибудь способных генералов, чтобы наступать на сильно укрепленные позиции немцев.

В то же время никаких попыток к наступлению не делали ни немцы, ни австрийцы: первые увязли под Верденом, где перемалывали французские дивизии, но несли и сами огромные потери, вторые — на итальянском фронте, в Тироле, где дела их были весьма успешны. Момент для заключения сепаратного мира казался там, во дворце в Петербурге, наиболее благоприятным, но Румыния, которая считалась лестной союзницей, если бы решила наконец присоединиться к Антанте, вела себя выжидательно: покупала в России тысячи лошадей для своей кавалерии, продавала Германии миллионы тонн кукурузы для ее скота, о чем немецкие газеты писали как о крупнейшей победе.

Нужен был шумный разворот сил, нужен был блеск и гром наступления, и об этом-то наступлении, необходимым и для Франции, и для Италии, и для Румынии, усиленно думал начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев, человек большой трудоспособности и совсем не царедворец.

Им был уже подготовлен обширный доклад, которым нужно было начать совещание главнокомандующих и ставке под председательством царя, и подходил уже день, назначенный для этого совещания, — 1 апреля, — между тем Брусилов еще не принял фронта.

Столкнулись две русские власти того времени — царя и Распутина. Царь через Алексеева требовал, чтобы Бру-

силлов как можно скорее приехал в Бердичев принять должность генерала Иванова, а министр императорского двора Фредерикс сообщил Иванову, что ему пока нечего спешить сдавать должность и уезжать из Бердичева, почему Иванов и отклонял всячески приезд Брусилова.

Только категорическая телеграмма Алексеева, что царь 25 марта будет в Каменец-Подольске, где его должен встретить новый главнокомандующий Юго-Западным фронтом, заставила Брусилова поверить наконец, что его назначение остается в силе, и выехать в Бердичев, тем более, что от Иванова тоже была получена телеграмма, что он его ждет.

Генерал Иванов был главнокомандующим Юго-Западным фронтом с начала войны, и Брусилов, командуя одной из четырех армий этого фронта, являлся его подчиненным. Теперь обстоятельства очень резко изменились: бывший подчиненный как бы сталкивал с места начальника.

Неудобство своего нового положения Брусилов чувствовал очень остро. Он знал, насколько был самоуверен, глубоко убежден в своих достоинствах, в своей независимости Иванов, и представлял поэтому с возможной яркостью, как тяжело он переживает свое назначение в Государственный совет, то есть на покой.

Однако оказалось, что он не в состоянии был даже приблизительно представить, как состарила этого braveго еще на вид старика отставка, хотя и одобренная «всемилодливейшим рескриптом с собственноручной надписью «Николай».

Иванов жил не в городе, а в поезде, в своем вагоне. Вечером, в день приезда Брусилова, он принял своего заместителя один на один в купе, освещенном только настольной лампочкой под желтым шелковым абажуром.

Первое, что бросилось в глаза Брусилову в этом осанистом бородатом старике с простонародным лицом, — были слезы. От желтизны абажура они блестели, как жидкое золото. Первое, что он услышал от него, были два сдавленных слова: «За что?»

Так мог бы сказать в семейной сцене кто-либо из супругов и скорее жена, чем муж, так мог бы сказать друг своему старому другу, уличив его в гнусном предательстве, угрожающем смертью, так мог бы сказать, наконец, отец своему любимому сыну, на которого он затратил все

свои средства и силы и который сознательно подло его опозорил.

Но между двумя главнокомандующими — старым и новым — никогда не было никаких отношений, кроме чисто служебных, и они очень редко виделись за время войны и только за год до войны познакомились друг с другом.

— Что «за что»? — озадаченно спросил Брусиллов, сам понимая всю нелепость этого своего вопроса, но в то же время не подыскав другого.

Он пытался понять это «за что?», как «за что вы под меня подкопались и меня свалили?», но тут же отказался от подобной догадки: Иванову было, конечно, известно, что его подчиненный никогда не был в ставке и ни доносами, ни искательством не занимался. Да и сам Иванов, который был и выше ростом и плотнее Брусиллова, положил обе руки на его плечи и приблизил свою мокрую бороду к его лицу, как бы затем, чтобы у него найти сочувствие, если не защиту.

Впрочем, он тут же сел, обессиленный, и... зарыдал, — зарыдал самозабвенно, весь содрогаюсь при этом, как будто его заместитель только затем и спешил сюда с фронта, чтобы увидеть его рыдающим, как может рыдать только ребенок, как полагается рыдать над телом близкого человека.

Брусиллов с минуту стоял изумленный, потом тоже сел, но не рядом с рыдальцем, а напротив, пряча глаза в тень от режущего их сквозь желтый абажур света.

— И вот... и вот итог... всей моей службы... на слом! — бормотал, затихая, Иванов.

— Почему «на слом», Николай Иудович? — принялся утешать его Брусиллов. — Мне сказали, что вас назначили не в Государственный совет, а состоять при особе государя.

— Состоять... в качестве кого?.. Бездельника?.. Как Воейков? — опустив лобатую голову на руку, лежавшую на столе, хриповато спрашивал Иванов.

Брусиллов знал, что дворцовый комендант генерал Воейков, обыкновенно сопровождавший царя во всех его поездках, действительно бездельник, и если когда-то раньше он мог развлекать Николая анекдотами, то теперь в этом смысле окончательно выдохся и занят только рекламой какой-то, якобы целебной, минеральной воды, найденной

в его имени «Кувака», почему один остроумный депутат Государственной думы назвал его «генералом от кувакерии». Но в то же время Брусилову был совершенно непонятен такой припадок слабости в недавнем еще руководителе нескольких сот тысяч человек на фронте, а кроме того, генерал-губернаторе двух военных округов — Киевского и Одесского, в которые входило ни мало ни много как двенадцать губерний; поэтому он сказал:

— По-видимому, причиной перемены вашего служебного положения, Николай Иудович, послужили ваши жалобы на усталость.

— Жалобы на усталость? Только это? — возразил, подняв голову, Иванов. — А вы разве не устали почти за два года войны?.. Кому из нас не хотелось бы отдохнуть, а, скажите?.. Однако отдых — это... это только временный отпуск... а совсем не отставка!

Он достал платок, как-то очень крепко надавил им, скомканным, на один глаз и на другой, провел по щекам, полужаросшим бородою, по бороде и ждал, что скажет Брусилов, ждал с видимым интересом и даже нетерпеливо.

— Если не эти ваши жалобы причина, то я теряюсь в догадках, — сказал наконец вполне искренне Брусилов, но Иванов подхватил живо и даже зло:

— Теряетесь в догадках?.. А разгадка очень простая!.. Разгадка эта — ваше поведение, Алексей Алексеевич!

— Мое поведение? — удивился и даже слегка приподнялся на месте от удивления Брусилов. — В каком же смысле я должен это понять?.. Я против вас никому не говорил ни слова.

— Нет, именно против меня... говорили! — тихо, но упрямо сказал Иванов.

— Когда же, кому и что именно? — еще больше удивился Брусилов.

— Разве вы не говорили, что можете наступать?

— Ах, вот что-о! — протянул облегченно Брусилов и сел на диване плотно. — Да, это я говорил, потому что так именно думал. И сейчас я то же самое думаю.

— Может быть... Все возможно... Может быть, вы были уверены в своей восьмой армии. А в седьмой? А в девятой? А в одиннадцатой?.. Ведь у меня перед глазами был весь фронт, а не одна ваша армия! Весь фронт... как теперь вот он будет перед вами. Генерал Лечицкий болен

крупозным воспалением легких, — едва ли выживет, — с кем же будет вести наступление его девятая армия?

— Я по приезде сюда узнал уже, что болен Лечицкий, — ответил Брусиллов. — Очень огорчен этим, конечно, но думаю, что временно его мог бы заменить генерал Крымов.

— Крымов?.. Он ведь моложе по производству другого корпусного командира в той же девятой армии! — возразил с живейшим интересом к этому вопросу Иванов, так что Брусиллов даже слегка улыбнулся, когда сказал на это:

— Совершенно не важно, кто из них старше, кто моложе!

Улыбка была слабая, еле заметная, но Иванов был ея уколот в больное место, и в тоне его появилась горячность, когда он заговорил, теперь уже более плавно:

— Нет, как хотите, а наступать мы все-таки не можем! Живое доказательство этому — наступление Западного фронта, которое провалилось. А кто же, как не я, предсказывал этот провал? Я говорил об этом Алексееву, я предостерегал от этого шага его величество! Однако меня не послушали, и вот — заплатились за это жестоко!.. Так что же вы, Алексей Алексеевич, хотите повторить неудачу генерала Эверта?

— Напротив, Николай Иудович, совершенно напротив. Я уверен в полной удаче! — всячески стараясь сдерживаться, не слишком тревожить так тяжело раненного отставкой и в то же время не противоречить и себе самому, ответил Брусиллов, но этой уверенностью только разбередил рану.

Трудно было и представить, конечно, чтобы так в корне не согласны между собой были два главнокомандующих — старый и новый, казалось бы, одинаково хорошо знавшие свой фронт. Но Иванов говорил, признавая только за собой знание всего фронта:

— Вы уверены в удаче, но какие же основания для этого имеете, — вот вопрос!.. Вы получаете девятую армию — и что же? Лечицкий безнадежно болен, а Крымов... ошибетесь вы в Крымове, ошибетесь, я вас предупреждаю!.. Нет у нас генералов!.. Вы получаете седьмую армию во главе с генералом Щербачевым, а что такое оказался этот Щербачев? Были и у меня на него надежды, когда он прибыл ко мне на фронт... Вот, думал я, не кто-нибудь, а сам начальник генерального штаба, и не из ста-

рых теоретиков, а из молодых, из протестантов против рутины,— заставил ведь опыт японской кампании изучать, а не поход Аннибала на Рим... Мне, участнику японской кампании, это говорило, конечно, много... Молодой еще сравнительно с другими, не ожиревший, а скорее даже к чахотке склонный, и государь к нему был так расположен, и все прочее,— а что же вышло на деле, а? Что вышло из его наступления, я вас спрашиваю?

— Вышел конфуз, разумеется, но я думаю, что он зато приобрел опыт,— спокойно сказал Брусилов, тщательно взвешивая слова.— Как теоретик, он, конечно, сильнее очень многих, но вот опыта в современном ведении боя ему не хватило. Этот пробел его теперь, я полагаю, заполнен.

Говоря это, Брусилов представлял и высокого, действительно плохо упитанного Щербачева, присланного из Петербурга командовать сразу целой армией «особого назначения», названной потом седьмой, и неудачное наступление на Буковину, которое он вел в декабре и которое обошлось почти в пятьдесят тысяч человек, но не дало никаких результатов.

— Вы полагаете,— проницательно произнес Иванов.— А вот я слышал, что генерал Клембовский, ваш же теперь начальник штаба, отказался принять бывшую вашу восьмую армию. Почему это, а?

— Он говорит, что не имеет военного счастья.

— Вот видите, видите, чего не имеет? — Военного счастья!.. А почему вы уверены, что Щербачев или, скажем, Сахаров, командующий вашей одиннадцатой армией, это военное счастье имеет, хотел бы я знать?

— Да ведь в конце-то концов, имеют или не имеют они военное счастье, они будут исполнять мои приказания, Николай Пудович, я и буду нести главную ответственность за неудачу, в случае она нас постигнет... Наконец роль армий Юго-Западного фронта будет, насколько меня известил Алексеев, только подсобная, а главные роли будут в руках Эверта и Куропаткина,— сказал Брусилов уверенным тоном, но Иванов очень живо возразил:

— О, нет, нет!.. Я весьма сомневаюсь, весьма сомневаюсь!.. Эверт и Куропаткин,— они не так... самонадеянны, чтобы брать на себя главные роли!

Если им прикажет государь, то возьмут, конечно,— примирительно, не повышая голоса, отозвался Брусилов.

Он считал жестоким спорить с разбитым нравственно стариком, который худо ли, хорошо ли все-таки двадцать месяцев без отдыха работал на фронте. Другой подобный старый генерал от кавалерии фон Плеве, командовавший Северо-Западным фронтом, не выдержал и нескольких месяцев, заболел нервным расстройством, и были слухи, что он теперь лежит при смерти в одной из лечебниц Петрограда.

Дальше разговор велся уже более вяло — заметив, что Брусилов отвечает ему неохотно, Иванов стал делать большие паузы и вздыхать, а когда один из его адъютантов явился доложить, что в салон-вагоне рядом приготовлен ужин, поднялся с места с не меньшим облегчением, чем и Брусилов.

Свита Иванова почтительно выстроилась перед новым главнокомандующим для представления ему. Каждый в ней, от генерала до обер-офицера, был озабочен мыслью, оставит ли его Брусилов или отчислит от штаба. Чтобы никого не огорчить, Брусилов счел нужным тут же заявить, что он не намерен никого из них заменять какими бы то ни было «своими» людьми, которые были бы новыми на новом для них месте, поэтому мало пригодными для дела.

Ему не хотелось, чтобы первое знакомство со своим штабом прошло натянуто, он хотел видеть живых, непринужденно беседующих с ним помощников, но Иванов как бы оледенил всех полной молчаливостью и крайне насупленным видом.

Брусилов с трудом досидел до конца и ушел в свой поезд, поставленный рядом с поездом Иванова.

II

Обыкновенно Брусилов, втянувшийся уже за двадцать месяцев войны в боевую обстановку, и засыпал и вставал в одни и те же часы. Иначе было нельзя: сложная обстановка войны требовала от командующего армией большой мозговой работы, которую можно было вести только с ясной головой. Бывали дни, когда приходилось прочитывать тысячи телеграмм, и телеграммы эти присылались для того, чтобы дать по ним то или иное заключение. Строгий режим в распорядке суток диктовался необходимостью: ни одна минута не могла, не имела права пропасть праздно.

но; поэтому вошло в привычку засыпать тут же, как можно было для этого лечь.

Однако здесь, на путях станции Бердичев, Брусиллов долго не мог заснуть: рыдающий, как ребенок, генерал от артиллерии, генерал-адъютант, член Государственного совета, «состоящий при особе его императорского величества». Николай Иудович Иванов неотступно стоял перед глазами.

Как можно сурово судить человека, способного так рыдать? Этот вопрос решал и не мог решить Брусиллов. Не обладает военными талантами, необходимыми для такой во всех отношениях новой войны, однако несомненно честен, если даже и заблуждается в главном, что русские не в состоянии наступать... Не изменник, как бывший военный министр Сухомлинов, не беспечен в отношении судеб своей родины и оскорблен до глубины души только тем, что отставлен, чем иной генерал в его положении был бы только обрадован, пожалуй: сам царь дает возможность умыть руки ввиду поражения России, которое, по мнению многих, было неизбежно.

И поднимался другой вопрос: «А что же я, занявший место отставленного? Не слишком ли самонадеян, что было бы непростительно в таком почтенном возрасте, как шестьдесят два года с лишним, не слишком ли мало сведущ в общем положении как фронта, так и тыла?» Ведь только теперь он должен был как следует познакомиться не только с генералами Щербачевым, Сахаровым, Лечицким, если он не умрет, но и с командирами корпусов их армий, и с состоянием их позиций, и со снабжением, как оно у них налажено, и с состоянием всех двенадцати губерний, входящих в Киевский и Одесский военные округа.

Перед войною он был знаком больше с Варшавским округом, во главе которого стоял генерал Скалон, — немец, убежденный в том, что Германия должна была командовать Россией. Будучи назначен помощником Скалона, Брусиллов оказался окруженным немцами — высшими чиновниками Варшавского генерал-губернаторства. Конечно, это были все русские немцы, из прибалтийских, но тем не менее, часто переходя в разговорах между собою на немецкую речь, они создавали впечатление, будто весь этот выдавшийся на запад округ завоеван немцами мирным дипломатическим путем. Впрочем, все эти Тизенгаузены, фон Минцловы, Грессеры, Утгофы, Тиздели,

Эгельстромы и прочие уверяли, что они — подлинные русские патриоты.

С легким сердцем он уехал от этих «патриотов» в Подольскую губернию, в город Винницу, когда был назначен командиром корпуса. Это было ровно за год до войны. Тогда, на маневрах, он впервые познакомился с генералом Ивановым, занимавшим в Киеве такое же положение, какое было у Скалона в Варшаве.

Даже и трех лет не прошло с того времени, — и какая разительная перемена! Кто бы мог думать тогда, что так будет рыдать теперь этот важного вида бородатый старик, руководивший маневрами в то лето?

Он же руководил и действиями восьмой армии, действиями его, Брусилова, путем телеграмм из довольно глубокого тыла, откуда было мало что видно! На фронте его не видели даже и во время длительного затишья. Распоряжения его всегда являлись или совершенно неосуществимыми, или запоздалыми, или нуждались в таких существенных поправках, которые сводили их на нет. Чаще всего приходилось командующим армиями обращаться к нему за разрешением занять такую-то позицию, туда-то передвинуть войска, и он разрешал. Но больше всего, конечно, сыпалось к нему просьб о подкреплении, и Брусилов теперь с горечью вспоминал, что именно его просьбы такого рода чаще всего оставались Ивановым без исполнения. «Ничего, — говорил он, — Брусилов как-нибудь вывернется!» Это «как-нибудь» означало, конечно, что понесет большие потери, так как восьмая армия была приучена защищать свои позиции путем наступления на позиции австро-венгров и немцев.

Так было в начале войны, когда она брала Николаев, Галич, штурмовала Перемышль, так было потом, когда боевые действия велись в Карпатах, в особо трудных условиях. Так было и совсем недавно, зимою, когда коротким ударом по хорошо защищенным позициям немцев части его армии взяли город Чарторыйск, разбили наголову четырнадцатую германскую дивизию, захватили много пленных и между ними почти целый «полк кронпринца».

Это последнее дело восьмой армии, когда немцы, хотя и не так далеко и в одном только месте, были отброшены на запад, происходило тогда, когда Иванов был занят постройкой нескольких мостов через Днепр и нескольких укрепленных линий в сотни верст длиною, причем первая

из них проходила в окрестностях Киева, а прочие были предназначены защищать более отдаленные подступы к нему.

На это тратились Ивановым громадные средства, и он был уверен, что обладает даром предвидения, что все затраты эти необходимы ввиду того, что весной, как немцы об этом и пишут в своих газетах, начнется «колоссальное» наступление их армий на восток.

Раньше, когда Брусилов слышал об этом, он временами думал, что Иванову издали, может быть, виднее и общая обстановка на фронте и общая картина разрухи в тылу, а его личная самоуверенность происходит исключительно от незнания.

Теперь он видел, что на постройку мостов через Днепр и укреплений около Киева толкали бывшего главнокомандующего фронтом чересчур расстроенные нервы и рыдал он два-три часа назад только потому, что ему не удалось довести до конца того, что он задумал. Так мог бы рыдать и маленький мальчуган, которого нянька взяла под мышки и оттащила от его сооружения из сырого песка.

Однако не мог ведь сказать и он, Брусилов, что армии, стоящие на Юго-Западном фронте, даже теперь, после долгого зимнего отдыха, таковы, как всем бы в России хотелось. Совсем напротив: эти армии по сравнению с теми какие начинали войну, были очень слабы в смысле их людского состава.

Почти совершенно не оставалось уже в них ни кадровых младших офицеров, ни унтер-офицеров, ни солдат. Прибывавшие на фронт пополнения приходилось учить всему, начиная со стрельбы из винтовок. Для снабжения частей унтер-офицерами пришлось ввести во всех полках учебные команды. Наконец, очень энергично пришлось бороться и с пораженчеством, так как случалось, что во время сражения кто-нибудь из солдат начинал вдруг кричать: «Что же это, братцы, на убой, что ли, нас сюда пригнали? Давай сдаваться!» — и целые роты, а иногда и батальоны наизывали белые платки на свои штыки и шли в плен.

Он припомнил свой же приказ по восьмой армии в июне 15-го года, когда русские войска откатывались на восток под нажимом войск Макензена, прорвавшего жи-денский фронт третьей армии на Карнатах:

«Пора остановиться и посчитаться наконец с врагом как следует, совершенно забыв жалкие слова о могуществе неприятельской артиллерии, превосходстве сил, неутомимости, непобедимости и тому подобное, а потому приказываю: для малодушных, оставляющих строй или сдающихся в плен, не должно быть пощады; по сдающимся должен быть направлен и ружейный, и пушечный, и орудийный огонь, хотя бы даже и с прекращением огня по неприятелю; на отходящих или бегущих действовать таким же способом, а при нужде не останавливаться также и перед поголовным расстрелом... Глубоко убежден,— писал он дальше в том же приказе,— что восьмая армия, в течение первых восьми месяцев войны прославившаяся несокрушимой стойкостью, не допустит померкнуть заслуженной ею столь тяжкими трудами и пролитой кровью боевой славы и приложит все усилия, чтобы побороть врага, который более нашего утомлен и ряды которого очень ослабли. Слабодушным же нет места между нами, и они должны быть истреблены!»

Восьмая армия первой на всем Юго-Западном фронте остановилась тогда и остановила натиск немцев, что дало возможность оправиться и другим армиям.

Сравнение себя самого с рыдающим — потому что «оставлен при особе государя» — Ивановым заставило Брусилова вспомнить и то, как он, первый во всей вообще армии, доброжелательно отнесся к действиям у себя организаций городского и земского союза.

Он отлично знал, что эти организации едва терпят царь, делая только необходимую уступку общественности, выступившей на помощь фронту; он знал и то, как стремятся дуть в дудку царя другие командующие армиями и всячески пытаются выказывать им свое нерасположение. Он же лично исходил из того, что войну ведет не только армия, а вся Россия в целом.

Так ли думал царь, которого он должен был встречать через два дня в Каменец-Подольске, и, вообще, что он думал,— этот вопрос тоже долго не давал заснуть Брусилову, и забылся он только под утро.

III

На другой день он знакомился с делами штаба, а также и со всеми своими новыми сотрудниками — генерала-

ми и полковниками, академистами, между тем как сам он не был в академии.

Он давно уже замечал, что академисты держались в армии как избранная, высшая каста; он знал, что и в Петрограде все успехи предводимой им восьмой армии всячески снижались и брались под подозрение только потому, что сам он не изучал так тщательно, как академисты, походов Карла V или Фридриха II. Эта подозрительность к нему отражалась и на тех, кого он представлял к наградам: они или получали их с большим опозданием или не получали совсем. Они же настраивали и царя не в пользу Брусилова, который давно бы уже мог получить главнокомандующего фронтом если не Юго-Западным, то другим. Иванов относился совершенно безучастно к сдаче дел фронта, — это делали его начальник штаба генерал Клембовский, генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихс и начальник снабжения генерал Маврин. Иванов же только просил у него разрешения остаться при штабе фронта еще на несколько дней и снова при этом пролил слезу. Вид у него был поистине жалкий.

Прежде чем представлять царю девятую армию, надо было, конечно, познакомиться с нею самому, и Брусилов, приняв дела, отправился в Каменец.

Вишница, в которой пришлось жить Брусилову три года назад, небольшой, но чистенький городок, очень правилась ему смесью культурности с простотою: там были шестиэтажные дома с лифтами и рядом — одноэтажные домики, окруженные садами, — в общем же это был городсад с тихо протекавшей жизнью. Совсем не то оказался Каменец-Подольск, красиво расположенный на берегах речки Смотрич, старинный город, бывший некогда под властью и турок, и поляков.

Турки оставили тут память в виде старой крепости, называемой турецким замком и бывшей до войны тюрьмою. Часть города вблизи этого замка так и называлась Подзамчье. Поляков жило здесь и теперь много в самом городе и в пригороде, носившем название «Польские фольварки». В городе было несколько польских костелов, между ними и кафедральный. По крутым берегам Смотрича там и тут поднимались каменные лестницы, все дома в городе были каменные, все улицы были вымощены булыжным камнем, — город вполне оправдывал свое название.

У генерала Лечицкого болезнь приближалась к кризи-

су. Брусиллов тут же по приезде заехал к нему на квартиру. Дежуривший при нем врач высказал уверенность в том, что больной поправится, и это обрадовало Брусиллова, так как он знал Лечицкого еще до войны с самой лучшей стороны, — таким же оставался он и во время войны.

Порядок, заведенный им в штабе, конечно, был одобрен Брусилловым. Тут все готовилось к царскому смотру, о чем предупредил штаб армии Алексеев; поэтому Брусиллову оставалось только навестить ближайший к Каменцу участок фронта, что он и сделал.

Придирчиво осматривал он окопы одной из дивизий армии Лечицкого, желая найти основания полной безнадежности Иванова, но, к радости своей, увидел, что и окопы эти и люди в них ничем не хуже людей и окопов его бывшей армии. Это укрепило его в мысли, что Юго-Западный фронт вполне может и будет хорошо защищаться, как бы старательно ни было подготовлено весеннее наступление немцев.

Об этом ему пришлось говорить с царем, когда тот прибыл в Каменец вечером, уже затемно, и, только приняв его рапорт, обошел выставленный на станции почетный караул и пригласил нового главнокомандующего к себе в вагон.

Бывали короли и императоры, которые если даже и не имели природных внешних данных для представительства, не были «в каждом верхушке» владыками государств, так хотя бы старались путем долгой тренировки привить себе кое-что показное, производящее благоприятное впечатление на массы, более или менее удачно играли роль королей, императоров.

Владыка огромнейшей империи в мире — Николай II изумлял Брусиллова и раньше, но особенно изумил теперь тем, что «не имел виду».

Толстый и короткий нос — картонка, длинные рыжие брови над невыразительными свинцовыми глазками; еще более длинные и еще более рыжие толстые усы, которые он совсем по-унтерски утюжил пальцами левой руки; какая-то, неопрятного вида, клочковатая, рано начавшая седеть рыжая борода, — все это, при его низком росте и каких-то опустившихся манерах, производило тягостное впечатление.

При первом же на него взгляде он чем-то невольным напомнил ему Иванова, и первое, что он услышал от по-

го, когда вошел вслед за ним в вагон, было как раз об Иванове.

— Какие такие недоразумения произошли у вас с генералом Ивановым? — спросил Николай.

— Насколько я знаю и помню, не было никаких недоразумений, ваше величество, — удивившись, ответил Брусиллов.

— Как же так не было?.. Мне доложили, что у вас было с ним какое-то столкновение, вследствие чего и получилось разногласие в распоряжениях, какие вы получили от генерала Алексеева и от графа Фредерикса... э-э... касательно смены генерала Иванова.

— Ваше величество! — с виду спокойно, но глубоко пряча раздражение от этих слов, начал Брусиллов. — Я получил распоряжение только от начальника штаба ставки, но не от графа Фредерикса! Никаких вообще распоряжений от графа Фредерикса я не получил и осмеливаюсь думать, что и получать не буду, поскольку дела чисто военные, дела фронта, так мне кажется, имеют прямое касательство только к ставке, а не к графу Фредериксу.

Договорив это, Брусиллов почувствовал, что выразился как будто несколько не по-придворному, но он никогда и не был придворным, а вопрос царя не то чтобы объяснил ему поведение Иванова, затянувшего сдачу фронта, но, по крайней мере, навел на это объяснение. Для него несомненным стало и то, что Иванов не хотел уезжать из Бердичева, все еще надеясь остаться. Словом, оправдывались доходявшие до него стороною слухи, что его назначение нельзя еще считать окончательным.

Он видел, что его фраза о Фредериксе не понравилась царю, хотя тот и постарался скрыть это, и ждал наконец разъяснения, точно ли бесповоротно назначен он главным командующим или придется ему все сдавать Иванову и возвращаться в штаб-квартиру своей восьмой армии.

Царь довольно долго был занят своими усами, внимательно приглядываясь к нему, и спросил вдруг совсем для него неожиданно:

— Что вы имеете мне доложить?

Брусиллов не сразу понял, что имел в виду царь, задавая такой вопрос. О чем именно должен он был докладывать? О «недоразумении» с Ивановым было уже доложено все; что же еще могло интересовать царя?

Он медлил с ответом едва ли не больше, чем царь со

своим весьма неопределенным вопросом, и решил наконец связать то, что занимало так царя, с тем, что наполняло его лично, особенно после объезда позиций девятой армии.

— Имею очень серьезный доклад, ваше величество,— начал он,— в связи с общим положением дел на Юго-Западном фронте вообще, насколько я успел познакомиться с ним за последние дни.

— Хорошо, говорите,— безразличным тоном отозвался царь, вынув серебряный портсигар и вертя в художавых пальцах папиросу.

— В штабе генерал-адъютанта Иванова при приеме мною дел мне подтвердили то, что я слышал уже и раньше,— стараясь выбирать выражения, начал Брусилов,— а именно, что мой предшественник, при всех положительных качествах своих, отличался недоверием к войскам Юго-Западного фронта, к их боевым возможностям, к их подготовке, а общий вывод его был таков: армии фронта наступательных действий вести не в состоянии, они могут только защищаться и то не очень стойко. Словом, на них положиться нельзя. С этим взглядом я в корне не согласен, ваше величество, о чем и считаю своим долгом вам доложить.

— Это интересно,— тем же безразличным тоном заметил царь, закурил папиросу и протянул ему свой портсигар.

— Мой предшественник,— продолжал Брусилов, взяв папиросу, но не закуривая ее,— несомненно имел большой опыт в управлении фронтом, я же имею довольно длительный боевой опыт, смею надеяться поэтому, что моя оценка боеспособности войск, мне теперь врученных волей вашего величества, окажется ближе к истине. Я до сего дня был вполне уверен в войсках только своей бывшей армии и мог с полным знанием вопроса говорить только о ней, но, приехав сюда, я успел уже несколько познакомиться с армией генерала Лечицкого, который, к сожалению, тяжело болен...

— Как его здоровье? — перебил царь.

— Есть надежды, что он поправится, ваше величество, и, может быть, даже примет участие в наступательных (Брусилов особенно подчеркнул это слово) действиях нашего фронта. По совести могу сказать, что та дивизия его, семьдесят четвертая, какую я сегодня видел на фронте,—

не хуже любой из моих бывших дивизий. По этой дивизии можно, мне так кажется, судить и об остальных в девятой армии. Я не успел познакомиться с седьмой и одиннадцатой армиями, но зато я знаю командующих ими генералов Щербачева и Сахарова и думаю, что положение дел у них не хуже, чем у Лечицкого...

Брусилов понимал, что этот импровизированный доклад его в царском вагоне может иметь большое значение для того, чем он жил в последнее время, то есть для решительного выхода из пассивного ожидания удара со стороны австро-германцев к активным действиям против их, пусть и очень сильно укрепленных за долгую зиму, позиций, и старался не пропустить ни одного довода в пользу этой своей мысли.

Он говорил обстоятельно и долго. Думал ли царь о том, что он говорил, или о чем-нибудь еще, совершенно не интересуясь к теме его доклада, но царь молча курил, и этого было довольно; он не перебивал, не задавал отвлекающих в сторону вопросов, он был терпелив, а это Брусилов считал хорошим знаком.

И действительно, когда доклад подошел к своему естественному концу и Брусилов заключил его словами: «Вот, в общих чертах, то, что хотелось мне доложить о состоянии вверенного мне фронта, ваше величество», — царь, поднявшись и тем заставив подняться его, протянул ему руку и сказал по виду благожелательно:

— Хорошо, вот первого апреля на совещании в ставке вы повторите, что мне говорили сейчас, и другие главнокомандующие тоже выскажутся по этому вопросу.

В этих словах царя Брусилову почудилось, что боеспособность Юго-Западного фронта все-таки берется под сомнение, что он не совсем переубедил его. Напичканного мнениями Иванова, поэтому Брусилов счел нужным добавить:

— Прошу, ваше величество, предоставить мне в будущем наступлении инициативу действий, равную другим главнокомандующим, в противном случае я буду думать, что мое пребывание на посту главнокомандующего бесполезно, даже вредно, почему и буду просить вас заменить меня другим лицом.

Царь при этих словах насунил брови так, что глаз его уже не было видно, и сказал:

— Я думаю, что на совещании вы столкнетесь с дру-

гими главнокомандующими и с начальниками штаба. Покойной ночи!

Брусиллов вышел из вагона царя хотя и не совсем убежденный в том, пробил ли он каменную стену его равнодушия, однако с чувством удовлетворенности от того, что ему все-таки разрешено было высказать откровенно все, что он думал. Но в следующем за царским вагоном был Фредерикс, который ждал окончания беседы Брусиллова с царем, чтобы... заключить нового главнокомандующего Юго-Западным фронтом в свои объятия!

Эта костлявая, старая, хитрая придворная лиса, неизвестно чем именно жившая, однако весьма живучая, захотела замести следы своей интриги, через камер-лакея пригласив Брусиллова в свой вагон, едва только он покинул царя.

Длинный и узкий, с пушистыми белыми усами, Фредерикс весь так и светился радостью, оттого что видит, — наконец-то! — его, Алексея Алексеевича, главнокомандующим.

— Давно пора, давно пора! — несколько раз повторил он, сияя. — И я всегда, — верьте моему слову! — всегда считал своим долгом докладывать его величеству о ваших заслугах, о том, что вы вполне достойны принять в свои руки фронт... тот или иной, тот или иной... Вот, например, Северо-Западный: дважды ведь поднимался мною вопрос о вашем назначении туда, — однако... находились люди... не будем же теперь говорить о них, дорогой мой Алексей Алексеевич: все хорошо, что хорошо окончилось, — вот! Прошу вас иметь в виду, что и на этот пост, какой вы получили, выдвигалось ведь несколько кандидатов, но я-я-я... я всячески отстаивал вас.

— Благодарю вас, — отозвался на это Брусиллов, чтобы сказать что-нибудь, и тут же увидел, что эти два слова ожидались графом, чтобы перейти к самому для него важному.

— Что же касается телеграммы моей генерал-адъютанту Иванову, о чем вы извещены, конечно, — держа руку Брусиллова в своей холодной руке, очень оживленно продолжал граф, — то ведь эта телеграмма касалась совсем не того, послушайте, — совсем не его смены, а вашего назначения на его место, — вот что мне особенно хотелось вам сказать!

И он не только пожал руку Брусиллова, но не выпустил

ее и теперь, ожидая, как и что ему тот ответит; и Брусилов ответил так, как счел нужным:

— Поверьте, граф, мне никто ничего не говорил ни о какой вашей телеграмме Иванову!

— Не о чем, не о чем было и говорить, — подхватил Фредерикс, — совершенно не о чем! И будьте уверены на будущее время, что если вам что-нибудь понадобится передать непосредственно его величеству — я всегда к вашим услугам!

Это покорило наконец Брусилова, и он не удержался, чтобы не сказать в ответ:

— Искательством, граф, я ведь никогда не занимался, — я исполнял свой долг на всех постах раньше, буду исполнять и теперь, насколько буду в силах, но ваши слова принимаю как доброе обо мне мнение и благодарю сердечно!

Фредерикс обнял его снова, и, расцеловавшись, они расстались по виду очень довольные друг другом.

На следующий день с утра начался смотр войск одновременно и царем и самим Брусиловым, и если царь обращал внимание только на выправку солдат, на их умение ходить церемониальным маршем, то в глазах Брусилова эти новые для него войска — сначала 3-я Заамурская пехотная дивизия, потом 9-й армейский корпус — держали строгий экзамен на право вести наступление через месяц и выдержали его с честью.

Царь вел себя на смотре, как обычно: тупо смотрел на ряды солдат, державших винтовки «на кра-ул», запаздывая поздороваться с ними; тупо смотрел, как они шагали, выворачивая в его сторону глаза и лица, — и только. Ни с малейшим задушевным словом он не обращался к тем, которые должны были проливать кровь и класть свои головы за него прежде, чем за родину: не было у него за душою подобных слов.

На Каменец-Подольск довольно часто налетали неприятельские самолеты, так как был он недалеко от фронта. В городе мало было целых стекол в домах и часто попадались развалины и кучи мусора на месте бывших построек. Конечно, воздушные разведчики дали знать на ближайший аэродром противника о скоплении большой массы русских войск, выстроенных для смотра, и над 9-м корпусом закружилось до двух десятков аэропланов.

Впрочем, этого уже ждали и приготовили для встречи

их свои самолеты, а также зенитные батареи, так что перед смотром корпуса произошло небольшое сражение: разрывались высоко в воздухе снаряды, летели вниз дистанционные трубки, осколки, шрапнельные стаканы, — наконец поднялись свои машины, и налетчики ушли ни с чем, хотя и без потерь в своем строю.

Разумеется, на Брусилова ложилась обязанность предупредить царя об опасности не только смотра, но и вообще пребывания его в Каменце: всегда можно было ожидать налета врагов даже и на царский поезд, который не так трудно было рассмотреть среди кирпично-красных и отдаленно поставленных обычных прифронтовых поездов.

Но царь ни одним словом не отозвался на эту о нем заботу и не уехал из Каменца, пока не закончил того, зачем приехал, — то есть смотра всех расположенных тут в окрестности частей войск.

Сам склонный к мистике, Брусилов приписал было такое равнодушие царя к опасности фатализму, но, приглядываясь в тот день к своему верховному вождю пристальнее, решил наконец, что это только равнодушие к жизни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Новый полк

I

Поезд с одним классным вагоном, в котором вместе с другими офицерами ехал на фронт прапорщик Ливенцев, не подходил к тому участку фронта, какой ему был нужен: от станции, где он вышел вместе с Обидиным, оставалось до расположения их полка, по словам знающих людей, не менее пятидесяти верст.

Эти пятьдесят верст предоставлялось осилить или на грузовой машине, если бы такая попалась, или на крестьянской подводе, или, наконец, пешком. Комендант станции, какой-то зеленолицый, явно больной подпоручик, говорил это без улыбки, как привычное, повторяемое им ежедневно.

— А шоссе тут как, очень грязное? — спросил Ливенцев.

— Ну, еще бы вы захотели, чтоб не было грязное в

марте! — почти рассерженно ответил подпоручик и добавил еще злее: — Да оно тут идет недалеко, а там дальше проселок, — колеса засасывает! — повернулся и отошел, а Ливенцев сказал Обидину:

— Для начала недурно, как говорится в каком-то анекдоте. Такая же грязь, конечно, будет и на фронте, и это совсем не анекдот.

Станция между тем оказалась хоть и небольшая, а бойкая: так как здесь осели склады, питающие порядочный участок фронта, здесь шла выгрузка из вагонов и продовольствия и боевых припасов, а также нагрузка их на машины и подводы — интендантские, пехотных полков, артиллерийских парков и другие.

Около станции с ее заднего двора была ожесточенная крикливая толча, в которой с первого взгляда совершенно невозможно было разобраться. Однако разбирались солдаты в заляпанных по уши сапогах и мокрых и грязных шинелях, только Ливенцев, сколько ни спрашивал здесь, нет ли машины или подвод от его полка, ничего не добился.

Кучка баб, притащивших к поезду откуда-то поблизости молоко в бутылках и сморщенные соленые огурцы в мисках, уже все распродала, когда к ней подошли Ливенцев с Обидиным в поисках попутной подводы.

Подвод у баб не водилось, — они даже как будто обиделись, что их заподозрили в такой роскоши. Одна из них, очень деbeatая, добротная, оказалась почему-то русская среди украинок и говорила вразтяжку на орловско-курском, родном Ливенцеву наречии. Она сосредоточенно жевала соленый, мягкий с виду, огурец, отламывая к нему хлеба от паяльницы.

— Скоро новые огурцы уж сажать будете, — сказал, глядя на нее, Ливенцев.

— А чего их сажать! — отозвалась баба, грустно жуя.

— Как чего? Чтоб посолить на зиму, — объяснил бабе Ливенцев, но та сказала на это весьма неопределенно:

— Только и звания, что цвет дают, а посмотреть плети — влоховязы, и пчел поблизу не держат.

— Капусту посадите, — вспомнил и другую огородину Ливенцев, но баба с грустным лицом флегматично сказала:

— Капуста, она когда ще голову начнет завивать? До того время спалишь дров беремя.

— Вы у ней поняли что-нибудь? — спросил, отходя, Ливенцев у Обидина.

Обидин подумал и ответил:

— Черт их поймет, этих баб! Они и капусту готовы тащить в парикмахерскую.

Неудача с машинами и подводами его раздражала, — это видел Ливенцев — и, чтобы успокоить его, он заметил, улыбаясь:

— Погодите, доберемся когда-нибудь до своего полка, и вот там-то вы уж действительно ничего не поймете!

Они пробыли на этой станции целые сутки, ночевали в совершенно грязном «зале 3-го класса», с неотмытым заслеженным полом, и спали, сидя рядом на своих чемоданах и прикорнув один к другому.

Только на другой день в обед как-то посчастливилось им натолкнуться на расхлябанный грузовик их полка, прибывший за «битым» мясом. На этом грузовике они и устроились, не без того, конечно, чтобы не дать за это на чай шоферу и артельщикам, хотя те и были солдаты.

— Вот видите, — говорил Обидину Ливенцев. — Вам может показаться непонятным и то, что мясо называется «битым». По-вашему, пожалуй, этого добавлять не надо: мясо — и все. Однако каждая воинская часть заинтересована бывает в том, чтобы мясо ей доставлялось «живое», то есть просто убойный скот. На этом могут быть «безгрешные» доходы, а на «битом» мясе что выгадаешь? Ничего, если только не прогадаешь.

Казалось бы, пятьдесят верст можно было проехать за светом, но грузовик был старый, очень раздерганый, дорога тяжелая, — часто на ней застревали и тратили много усилий, чтобы как-нибудь сдвинуться с места.

Десятки раз проклинал Обидин и грузовик, и дорогу, и мясные туши, которые не были привязаны и все время стремились, как он говорил, бежать в поле настись, но Ливенцев успокаивал его или, по крайней мере, пытался успокоить тем, что это — совершенно райский способ передвижения в непосредственной близости к фронту.

Когда сначала не очень разборчиво, а чем дальше, все внимательнее стал доноситься разговор орудий, Обидин настроился и спросил:

— Это что же такое? Значит, мы прямо с приезда — в бой?

Ливенцев ответил тоном бывалого вояки:

— Ну, какой же это бой! Это только: милые бранятся,— просто тешатся. Это вы ежедневно в те или иные часы будете теперь слышать — весна. Это — вроде глухариного токованья.

— Вы сказали «весна»,— вскинулся Обидив.— Может быть, это оно и начинается, о чем говорят и пишут,— весеннее наступление немцев?

— Не думаю. Сейчас еще грязно. Куда же наступать немцам по таким дорогам? Дайте хоть земле подсохнуть, а то орудий не вытащишь.

Один из солдат-артельщиков слушал прапорщиков, переглядывался с другим артельщиком, наконец, спросил Ливенцева:

— Неужто, ваше благородие, немец скоро пойдет на нас, как в прошлом году? А у нас болтают обратно, будто мы на него пойдем.

— Как все эти туши съедим, то непременно пойдем,— отшутился Ливенцев, но Обидиву подмигнул, добавив: — Вот видите, какие на фронте слухи ходят? Так и знайте на будущее время: панику любят разводить в тылу, а на фронте люди сидят себе — не унывают. Просто некогда этим тут заниматься.

II

Уже смерклось, когда наконец дотащился грузовик до деревни Дидичи, где был штаб полка. Однако вместо штаба полка попали оба прапорщика тут же, с приезда, в блиндаж командира третьего батальона. Это вышло не совсем обычно даже для Ливенцева.

— Что, мясо привезли? — спросил артельщиков около остановившейся машины какой-то казак в щегольской черкеске, и артельщики почтительно взяли под козырек, и один из них, старший, ответил:

— Так точно, мясо... а вот также их благородий к нам в полк.

— К нам в полк! Вот как! Это значит, ко мне в батальон,— у меня недокомплект офицеров,— обрадованно сказал казак, повернувшись лицом к Ливенцеву, причем тот, несмотря на сумерки, не мог не заметить, что белое круглое лицо казака совершенно лишено растительности, так что он даже подумал: «Только что побрил»

ся и даже усы сбрил». Кроме того, Ливенцев не понял, почему командир батальона в пехотном полку оказался казак, но тот не дал ему времени на размышление: он просто подал руку ему и Обидину и добавил к такому, отнюдь не начальническому жесту:

— Эта балочка не простреливается противником,— здесь можно ходить во весь рост. Пойдемте в блиндаж, поговорим там за чашкой чая.

Гостеприимство пришлось как нельзя более кстати после нескольких часов тряской и грязной дороги, а блиндаж оказался не очень далеко, так что казак не успел разговориться,— он только заботливо предупредил голосом басовито-рассыпчатым, где тут грязь по щиколотку, а где по колено.

Блиндаж, в который спустились прапорщики, был на редкость благоустроенным, что очень удивило Ливенцева, помнившего зимние блиндажи и окопы возле селения Коссув. Главное — в него натащили каких-то драпировок, ковров, которые при свете вполне приличной лампы, стоявшей на столе, покрытом чистой скатертью, заставляли даже и забывать, что это — всего только боевой блиндаж. И пахло в этом убежище, предохраняющем от свища и стали, духами больше, чем табаком.

Командира батальона, — обыкновенного пехотного, в достаточной степени старого, потому что взятого из отставки, увидел Ливенцев здесь, в блиндаже, и тут же представился ему, по неписаным правилам стукнув при этом каблуком о каблук; то же сделал и Обидин.

Однако казак сказал тоном, не допускающим возражений, обращаясь к подполковнику:

— Я думаю: одного из них, который постарше, — в девятую роту, другого — в двенадцатую. Завтра же могут от заурядов принять и роты.

— Да, разумеется, что ж... раз оба прапорщики, то, конечно... имеют преимущество по службе, — пробормотал подполковник, улыбаясь не то радостно, не то сконфуженно, и добавил вдруг, совершенно неожиданно и несколько отвернувшись: — Я никакой глупости не говорю.

Только после этой неожиданной фразы он выпрямился и назвал чин и фамилию:

— Командир батальона, подполковник Капитанов! — Потом он сделал жест в сторону казака, сказал торжественно: — Моя жена! — и снова сконфузился. — Впрочем,

вы ведь уже успели с ней познакомиться, — я это упустил из виду.

Только теперь понял безусость казака Ливенцев и то, почему здесь драпри и ковры и пахнет духами, но когда он поглядел на жену батальонного, то встретил суровый, по-настоящему начальнический взгляд, обращенный, однако, не к нему, а к батальонному. Так только дрессировщик львов глядит на своего обучаемого зверя, которому вздумалось вдруг, хотя бы и на два-три момента, выйти из повиновения и гривастой головой тряхнуть с оттенком упрямства.

Голова подполковника Капитанова, впрочем, меньше всего напоминала львиную: она была гола и глянцевата, что, при небольших ее размерах, создавало впечатление какой-то ее беспомощности. Да и весь с головы до ног подполковник был хилват, — вот-вот закашляется затяжным залиvistым кашлем, так что и не дожدهшься, когда он кончит, — сбежишь.

В блиндаже было тепло — топилась железная печка. Подполковница сняла папаху и черкеску; бешмет ее тоже оказался щегольским, а русые волосы подстрижены в кружок, как это принято у донских казаков.

Чайник с водою был уже поставлен на печку до ее прихода и теперь кипел, стуча крышкой. Денщик батальонного подоспел как раз вовремя спуститься в блиндаж, чтобы расставить на столе стаканы и уйти, повесив перед тем на вешалку снятые с прапорщиков шинели, леденцы к чаю и даже печенье достала откуда-то сама подполковница, и тогда началась за столом первая в этом участке для Ливенцева и первая вообще для Обидина беседа на фронте.

— Вы, значит, в штабе полка уже были, и это там вас направили в наш батальон? — спросил Капитанов, переводя тусклые глаза в дряблых мешках с Ливенцева на Обидина и обратно.

— Нет, мы только что с машины, — с говяжьей машины, — попали к вам... благодаря вот вашей супруге, — сказал Ливенцев.

— Так это вы как же так, позвольте! — всполошился Капитанов. — Может быть, вы оба совсем и не в наш батальон, а в четвертый!.. Ведь теперь, знаете что? Теперь ведь четвертые батальоны в полках устранивают и даже... даже еще две роты по нитьсот человек в каждой должны

явиться,— это особо, это для укомплектований на случай потерь больших. А ведь в эти роты тоже должны потребоваться офицеры.

— Ну что же,— я прапорщиков оставлю в своем батальоне, а заурядов пусть берут в четвертый или куда там хотят,— решительно сказала дама в казацком бешмете.

Теперь при свете лампы, которая, кстати, была без колпака, Ливенцев присмотрелся к ней внимательней и нашел, что она не очень молода,— лет тридцати пяти,— и не то чтобы красива: круглое лицо ее было одутловато, а серые глаза едва ли когда-нибудь и в девичестве знали, что такое женская ласковость, мягкость, нежность. Будь она актрисой даже и попадись ей роль, в которой хотя бы на пять минут нужно было ей к кому-нибудь приласкаться, она бы ее непременно провалила,— так думал Ливенцев и отказывался понять, какими чарами приворожила она Капитанова в свое время. Впрочем, он охотно допускал, что между ними обошлось без чар.

— Вы сказали нам поразительную новость, господин полковник,— удивленно отозвался между тем на слова Капитанова Обидин.

— Да, да-а! Теперь та-ак! — очень живо подхватил Капитанов, видимо, довольный, что замечание жены можно обойти стороной.— Теперь дивизия пехотная будет считаться в двадцать две тысячи человек,— вот какая! Почти в два раза больше, чем прежняя была, трехбатальонная.

— Это что же, в видах наступления, что ли? — спросил Ливенцев.— Конечно, на нас ли будут наступать австрийцы, мы ли начнем наступать на них, мы должны быть прочнее.

— Затеи Брусилова! — презрительно бросила подполковница, разливая чай по стаканам в серебряных подстаканниках.

— Что именно «затеи Брусилова»? — не понял ее Обидин.

— Все эти четвертые батальоны и какие-то роты там пополнения! — небрежно объяснила она.— Было желание выслужиться, ну, вот и добился своего — теперь главнокомандующим.

— Вам, значит, он не нравится? — догадался Ливенцев.

— А кому же он нравится? — быстро и даже сердито спросила она, так что Ливенцев счел за благо, принимая от нее стакан, сказать не то, что он думал:

— Приходилось иногда слышать в дороге, что, может быть, он будет лучше Иванова.

— А чем же был плох Иванов, — что эти болваны вам говорили? — совсем уже грозно посмотрела на него она.

Хлебнув было прямо из стакана и чуть не обварив язык, Ливенцев не сразу ответил:

— Все обвинения их сводились только к тому, что Иванов будто бы предлагал стоять на месте.

— А как же иначе? Наступать, как тут под шумок готовился сделать Брусилов? Мы наступать не можем! — решительно заявила подполковница и посмотрела при этом на своего мужа откровенно-яростно, точно он тоже был сторонником наступления, чего и предположить по всему его виду было никак нельзя.

Ливенцев понял подполковницу, как хозяйственную женщину, устроившую себе тут, на Волях, в деревне Дидичи, вполне сносный «домашний очаг», а к таким «очагам» женщины привыкают, как кошки, и поди-ка попробуй выкинь ее из привычного уклада жизни в рискованное неведомое, — глаза выдерут.

Так думая, Ливенцев заговорил, однако, о другом:

— Что вы — героическая женщина, это для меня несомненно. Женщины в тылу обыкновенно держатся на зубок заученного ими правила: наплюй на все и береги свое здоровье. А вы вот на фронте, куда вам не так легко и просто было попасть, я полагаю. Каждый день вы под обстрелом, и если бы к вам отнеслись, как к царю, который пробыл два часа на линии фронта и получил за это от генерала Иванова Георгиевский крест, то и вам могли бы дать, в пример другим, хотя бы медаль на георгиевской ленте.

— Ей и должны будут дать, должны, непременно! — поспешно и тараща глаза из прихотливых складок коричневых мешков, постарался поддержать его Капитанов.

Однако подполковница в бешмете презрительно фыркнула на мужа:

— Ме-даля! Поду-маешь!

Ливенцев увидел, что он дал промах: она, не желавшая наступать, считала несомненным, что ее объемистый бюст будет украшен белым крестом, а не какою-то три-

виальной медалью. Но он промолчал, а батальонный совершенно излишне, теребя вышитую салфетку и глядя при этом куда-то под стол, бормотнул:

— Что ж, я ведь никакой глупости не говорю...

Очевидно, у него уже была неискоренимая привычка говорить так в присутствии жены.

— Неприятельские окопы далеко ли отсюда? — спросил Ливенцев, чтобы затушевать неловкость.

— От наших окопов только пятьсот шагов, — ответила на это подполковница вполне по-деловому, как на вполне деловой вопрос.

— Пять-сот ша-гов? — удивился Обидин и даже на Ливенцева посмотрел, — не шутка ли это.

Ливенцев сказал спокойно:

— Расстояние приличное. Давно уж оно не нарушалось?

Вместо прямого ответа на вопрос, обращенный к лысому Капитанову, ответ получился косвенный от его супруги:

— В том-то и дело, что против нас сидят не такие уж отпетые дураки! Они нас не очень беспокоят, и мы их тоже.

— Значит, полная взаимность. Но перестрелка все-таки ежедневная? — спросил Ливенцев теперь уже подполковницу, и та ответила, наливая ему новый стакан чаю:

— Разумеется, а как же иначе!

Тут же после чаю она распорядилась, чтобы денщик — по фамилии Коханчик, белобрысый, молодой еще малый торопливых движений, развел новых ротных командиров по их ротам.

— Как же все-таки без разрешения командира полка... — попробовал было заикнуться батальонный, но она так крикнула на него: «Не твое дело!» — что он тут же умолк.

Зато чуть только из уютного блиндажа Ливенцев вышел в ночь и грязь, он сказал Обидину:

— Конечно, мы сейчас должны идти к командиру полка.

— Как сейчас? Ночью? — возразил Обидин.

— Ночью только и ходить в таких гиблых местах.

— А почему же не в свои роты?

— В какие «свои»? От кого вы их получили?

И Коханчику, который остановился в нескольких шагах от блиндажа, Ливенцев приказал:

— Веди-ка нас, братец, к командиру полка.

Однако он тут же увидел, что не на того напал. Коханчик, еле различимый в темноте, отозвался на это твердо:

— Велено развести господ офицеров по ротам: кого в девятую, так это сюдою иттить, а кого в двенадцатую — тудою.

И он махнул руками в одну сторону и в другую, находясь в понятном затруднении, с которой именно начать.

— Ни «тудою», ни «сюдою» нам не надо, братец, — досадливо сказал Ливенцев. — Веди в блиндаж командира полка, — вот тебе одно направление.

Но Коханчика переубедить оказалось трудно: прапорщики услышали из темноты:

— Цего я не могу, ваше благородие, бо я обязан сполнять приказание командира батальона.

Ливенцева не столько обидело это, сколько развеселило.

— А кто же у тебя командир батальона? — спросил он не без лукавства и услышал вполне обстоятельный ответ:

— Хотя же, конечно, считается так, что их высокоблагородие подполковник Капитанов, ну, однако, распоряжения идут от их высокоблагородия барыни.

Ливенцев рассмеялся и отпустил Коханчика.

Можно было вполне обойтись и без него: по ходам сообщения двигались в ту и в другую сторону солдаты, и всем им было известно, где находится штаб полка.

III

По дороге к блиндажу полкового командира Ливенцев узнал, что фамилия его Кюн.

— Как Кюн? Немец, значит?

Это было очень неприятно Ливенцеву, но спокойным голосом солдат-вожатый ответил:

— Точно так, похоже, что они из немцев.

— Может быть, латыш, а не немец, — вздумалось поправить этот ответ Обидину.

Ливенцев вздохнул и буркнул:

— Будем надеяться, что латыш.

Полковник Кюн был еще далеко не стар, — едва ли набралось бы ему пятьдесят лет; вид к концу дня имел не усталый, напротив — будто только что выспался; в светловолосом ежике на вытянутой голове седины совсем не было; человек рослый, молодцеватой выправки, он принял двух новых офицеров, явившихся в его полк, до такой степени наигранно любезно, что у Ливенцева в первую же минуту никаких сомнений не осталось — немец.

— А я вас поджидал, как же, — улыбаясь, радостно, как старший приятель, а совсем не новый начальник, говорил Кюн, когда оба они назвали свои фамилии. — Разумеется, бумаги о назначении приходят все-таки раньше, чем сами назначенные могут добраться, хе-хе! Транспорт, — вот где наша ахиллесова пята!

— У нас много слабых мест и кроме транспорта, — попробовал вставить Ливенцев.

— О, да, о, да, разумеется, много! — весь сморщился и даже глаза закрыл Кюн, но ревниво за ним наблюдавший Ливенцев не нашел никакой горечи в этой мимике.

В петлице теплой тужурки Кюна небрежно торчал Владимир с мечами, — тот самый орден, о представлении к которому Ливенцеву писали однажды приказ, но не послали.

— Ну, что, как там в тылу, откуда вы приехали? — спросил Кюн с явным любопытством.

— В каком именно смысле, господин полковник? — не понял вопроса Ливенцев.

— Ну, разумеется, — настроения в обществе касательно войны в дальнейшем, и тому подобное! — с игривой улыбочкой уточнил Кюн. — «До победного конца», как Меншиков в «Новом времени» пишет?

— Есть и такие мнения, — тут же, как подстегнутый, немножко резко по тону, ответил Ливенцев.

Обидин же добавил:

— Но большие все-таки противоположных, что воевать мы едва ли в состоянии.

— Поэтому? — оживленно повернул голову от Ливенцева к Обидину Кюн.

— Выводы из этого положения всякий делает по-своему, — уклонился от прямого ответа Обидин, а Ливенцев вставил свой вывод:

— Все-таки все сходится на одном: разговаривать о мире с немцами сейчас могут только одни мерзавцы!

— Хо-хо-хо! — добродушно с виду рассмеялся Кюн. — Это хорошо сказано!.. Ну, что же, господа прапорщики, ведь вам с приезда надо бы хоть чаю напиться... Позвольте-ка, как бы это вам устроить?

— Мы уже пили чай, господин полковник, — сказал Ливенцев, — у командира третьего батальона.

— У Капитановых? Вот как?.. Как же вы к ним попали? Ори-ги-наль-ная пара, не правда ли? — с таким видом, точно приготовился рассмеяться, зачастил вопросы Кюн и брови поднял; но Ливенцев был вполне серьезен, когда говорил в ответ на это:

— Конечно, в третьем батальоне у вас, господин полковник, тоже может быть недокомплект офицеров, но мы очень просили бы нас назначить в какой-нибудь другой батальон.

— Как так? Они же вас, оказывается, чаем напоили, и вы же против них что-то возымели?

Кюн протянул это без видимой задней мысли, только с любопытством насчет того, какое же именно недоразумение могло произойти так вот сразу между новоприбывшими прапорщиками и четой Капитановых.

— За чай мы им, конечно, очень благодарны, но служить нам хотелось бы все-таки в другом батальоне... просто потому, что одно дело приватный чай и совсем другое — служба на фронте, — сказал Ливенцев все, что хотел, надеясь избежать этим излишних вопросов.

И Кюн оказался понятлив.

— Да ведь у нас офицеров только подавай, — помилуйте! — заторопился он. — Оба вы, как прапорщики, прошедшие школу...

— Я, господин полковник, из старинных прапорщиков запаса и школу проходил только на Галицийском фронте, — перебил Ливенцев.

— Тем лучше, тем еще лучше! — продолжал Кюн. — Поэтому оба вы и получите у меня роты, но-о... в новом моем батальоне, в четвертом, а не в третьем.

— Очень хорошо, — сказал на это Ливенцев.

Обидин же отозвался застенчиво:

— Не знаю, господин полковник, справлюсь ли я?.. Мне бы лучше сначала полуротным.

— Ну-ну, полуротным! Вас полуротным, а зауряд ротным? удивился Кюн и добавил: — И разве вы не знаете разницы между окладами ротного и субалтерна?..

Ничего, подучитесь... Вот ваш старший товарищ вам поможет,— кивнул он на Ливенцева, но тут же добавил: — Вы-то командовали, надеюсь, ротой?

— Так точно, господин полковник,— постарался ответить вполне официально Ливенцев.

В это время отворилась входная дверь в блиндаж, и снаружи ворвался сюда оружейный очень гулкий выстрел, а за ним с небольшими промежутками еще два, и Кюн, к удивлению Ливенцева, вдруг вскочил с изменившимся лицом, точно оружейные выстрелы на позициях были для него новостью.

— Что такое? Что такое, я вас спрашиваю?! — накинулся Кюн на вошедшего с кучей бумаг офицера, точно он был причиной пальбы.

— Постреляют, перестанут,— спокойно сказал офицер с бумагами, здороваясь с прапорщиками. Сам он тоже оказался прапорщиком, годами несколько постарше Ливенцева, который безошибочно угадал в нем адъютанта полка. Фамилия у него была простая — Антонов и лицо простоватое, бесхитростное и несколько дней на вид небритое, должно быть, по недостатку времени.

Кюн вышел в другое отделение блиндажа, к связистам, справляться, кто и во что стреляет, Антонов же успел за это время и узнать, что вот прибыли в полк те, кого поджидали, и шепнуть, что командир полка имеет особенность: не выносит пушечной пальбы.

— Вы шутите? Как так не выносит? — спросил Ливенцев.

— Не могу вам объяснить, как так это у него происходит, а шутить не шучу: я уж около него три месяца, и каждый раз, чуть только пальба,— такая история.

— Почему же он на фронте? — удивился Ливенцев.

— Потому что полковник имеет сильную протекцию, метит в генералы и здесь проходит стаж.

Ливенцев успел только многозначительно переглянуться с Обидиным, когда вернулся Кюн, да и поднятая было стрельба из орудий прекратилась так же внезапно, как поднялась.

— Это дурак Поднимов из аэропланного взвода! — обратился он к Антонову. — Ему захотелось показать, что он, как это называется, стоит на страже! Будто бы летели два неприятельских аэроплана, а он приказал по ним стрелять и отогнал... вот подите с такими! Почему он знал,

что это неприятельские, а не наши? Да и летели ли они, или у него в ушах звон? Тоже — показывает старание не по разуму!

Ливенцев наблюдал этого нового своего командира с большим любопытством, стремясь догадаться, в какой именно отрасли военного дела проявлял себя такой любитель тишины, готовый отменить всякую вообще стрельбу на фронте, как совершенно излишнюю.

Блиндаж командирский был не только обшит кругом досками, но еще и оклеен обоями. Фигурные бронзовые часы старинной работы стояли на столе. Пол был дощатый, и соломенный мат для вытирания ног лежал у двери. Блиндаж хорошо проветривался, так что не чувствовалось сырости в нем, несмотря на сырую весеннюю погоду. Потолок из толстых бревен был тоже облицован досками и оклеен белой бумагой. Вообще за зимние месяцы тут было сделано все, что можно, чтобы доставить командиру полка возможные удобства.

Это заставило Ливенцева подумать, что будет за блиндаж у него, командира роты, которой ведь не было на позиции до последнего времени, и чем его можно если не украсить, то хоть несколько привести в удобный для жизни вид. Об этом он и спросил Кюна, взявшего уже в руки бумаги, принесенные Антоповым.

— Вы, прапорщик Ливенцев, назначаетесь мною ротным командиром тринадцатой роты, а вы, прапорщик Обидин, — четырнадцатой, — совершенно служебным уже тоном ответил Кюн. — Что касается блиндажей для вас, то они имеются налицо, в примитивном, разумеется, виде. И это уж от вас зависит как-нибудь их обставить, если вам удастся найти для этого что-нибудь тут в деревне.

— Я, признаться, не заметил как-то с приезда, велика ли деревня, — сказал Ливенцев, поднимаясь с места.

— Трудно ее и заметить, — улыбнулся ему Антопов, проворно пиша бумажки о назначении и ставя на них печати, — она почти вся сгорела и растаскана по бревнышку на блиндажи.

— Все-таки десятка два домишек, кажется, осталось. — добавил Кюн, подписывая эти бумажки. — Так вот, подите отдохните с дороги, господа, познакомьтесь со своими ротами, а завтра мне доложите. Кстати, они у нас стоят пока в резерве.

Ливенцев и Обидин простились с Кюном и пошли искать четвертый батальон и в нем свои роты. Провожатого солдата им дал Антонов.

IV

Это бывает с каждым человеком, который долго куда-то, — куда бы то ни было, — едет или идет, вообще движется. Безразлично даже, желанное и радостное это или нет, но вот цель достигнута, путь окончен, дальше двигаться некуда и незачем, — и тогда наступает заминка во всем человеке: усталость, если был перед этим подъем; охлаждение, если всю перед этим цвела и пела душа; сдержанность, если была порывистость, и, наконец, пустое и холодное сознание обреченности, если и в пути ничего хорошего не ожидалось.

Так было и с Ливенцевым, когда он добрался наконец до новой для него роты в новом полку.

Было нечто вроде оторопи, когда хочется подергать себя за рукав, чтобы убедиться, что ты не спишь и не какой-то скверный сон видишь, а перед тобой действительность, страшная и непостижимая, которой ты удостоен отнюдь не за свое поведение, так как решительно никаких преступлений против своего ближнего ты не делал и даже не желал никогда «ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его».

Блиндаж командира тринадцатой роты оказался сравненно хуже обоих блиндажей на позициях, которые только что видели Ливенцев и Обидин. Но не то даже так удручающе подействовало на Ливенцева, что с бревен наката капало в какой-то грязный таз, что влажная глина стен тускло блестела, что под ногами была грязь, от которой пытались спастись тем, что разложили кое-как по полу кирпичи, — он и разглядел-то все это уже потом, а не сразу, потому что сразу, с прихода, он ничего как следует и разглядеть не мог.

Стоял непроглядный махорочный дым, в котором чуть желтело, как волчий глаз, маленькое узенькое пламя чего-то — свечки или каганца, причем пламя это все время то как-то порхало, то заслонялось головами нескольких человек, свирепо игравших в карты, — именно свирепо: горласто, видимо пьяно, с тяжеловесной брашью... Около минуты стояли у входа в эту мрачную яму Ливенцев и

Обидин, но на них едва ли обратили бы внимание игравшие, если бы Ливенцев не крикнул во весь голос:

— Встать! Смирно!

Дорогой от провожавшего солдата Ливенцев узнал, что и тринадцатой и четырнадцатой ротой временно командуют подпрапорщики из унтер-офицеров, и теперь, больше чутьем, чем глазами, определил, что офицеров среди игравших в карты нет.

Команда «встать!» была подана так энергично, что все вскочили и стали навтыжку, а так как Ливенцев, говоря: «Ну, и начадили!», усиленно начал разгонять обеими руками дым, то ему в этом стал помогать и Обидин.

Обозначилось наконец, что в блиндаже было всего четверо, но кто из них был командующий тринадцатой ротой, угадать, конечно, не мог Ливенцев, особенно при таком тусклом свете, поэтому сказал:

— Командующий тринадцатой ротой имеется тут?

— Я — командующий тринадцатой ротой! — хриповато отозвался подпрапорщик, выступая на шаг вперед.

— Вот у меня бумажка за подписью командира полка полковника Кюна, — стараясь говорить как можно отчетливее, несмотря на душивший его дым, достал из кармана свое назначение Ливенцев и поднес к свечке, чтобы можно было прочесть его вслух, но чуть не наткнулся на раскаленную тонкую проволоку, пучком торчавшую из узенького коптящего пламени.

Он прочитал все-таки:

— «Приказываю командующему 13-й ротой вверенно-го мне полка, подпрапорщику Некипелову, сдать роту, а вновь назначенному в полк прапорщику Ливенцеву ее принять, о чем донести мне рапортом.

Командир полка полковник Кюн».

Потом обратился к подпрапорщику:

— Вы — подпрапорщик Некипелов?

— Так точно, я — подпрапорщик Некипелов, — ответил тот.

Ливенцев подал ему руку и спросил:

— Остальные тут кто с вами?

— Остальные тут... (Некипелов кашлянул и зло поглядел на Ливенцева) фельдфебель роты нашей и два еще взводных унтер-офицера.

— Очень хорошо... А теперь скажите мне, пожалуйста, что у вас такое горит? Это не провод ли?

— Действительно так, это провод.

— Откуда же он у вас взялся? — удивился Ливенцев.

— Ребята где-то обрывок подобрали.

— То есть средство связи сжигается в окопах за неимением свечей, так?

— Действительно, свечей не выдают, это так, — подтвердил Некипелов.

— А если сожгут все провода, то как будет телефон работать? Ведь этого только и добивается наш противник, чтобы у нас не было связи ни с нашими батареями, ни с позициями, чтобы ничего экстренного передать было нельзя, а как же вы, командующий ротой, делаете то, что на руку только нашим врагам?

— Ну, без света в окопах сидеть также нельзя, господин прапорщик! — угрюмо, пьяно и зло возразил Некипелов.

— Надо было требовать свечей, а за такое подлое отношение к своим же средствам связи отдавать под суд, — вот что надо было сделать! — выкрикнул Ливенцев, и так как у него был припасенный им еще в дороге огарок свечки, то он собственноручно вонзил его в горлышко пустой бутылки, выкинув оттуда скрученный жгутом кусок черного провода.

— Откуда у вас взялась свечка? — спросил все время безмолвный до того Обидин.

— Как откуда? Я ведь по горькому опыту знал, куда я еду, — сказал Ливенцев и поднял на высоту своего лица бутылку с огарком, чтобы рассмотреть и Некипелова и других трех и чтобы они могли в свою очередь рассмотреть его, своего отныне ротного командира.

— Так... фельдфебель, — как фамилия?

— Верстаков, ваше благородие!

— Верстаков, — повторил Ливенцев, присматриваясь к оплывшему, как свечной огарок, не то от пристрастия к хмельному, не то от окопной сырости, разлившемуся и в стороны и вниз лицу своего фельдфебеля, и спросил: — Какого срока службы?

— Срока службы... девяносто пятого года, ваше благородие, — с заминкой ответил Верстаков, казавшийся более захмелевшим, чем остальные.

— Начал службу в каком полку?

— В семьдесят третьем Крымском пехотном, ваше благородие.

— А-а, девятнадцатой дивизии первый полк... В Могилеве-Подольском стоял?

— Так точно, в Могилеве-Подольском,— заметно оживился Верстаков.

— Выходит, что мы в старину были однополчане,— и в Крымском полку как-то отбывал шестинедельный учебный сбор,— сказал Ливенцев уже гораздо мягче по тону, и о Верстакове он подумал, что тот просто опустился, а выправить его, пожалуй, можно будет.

Взводные унтер-офицеры, один — Мальчиков, другой — Гаркавый, не успели еще так отяжелеть, как фельдфебель, хотя были не моложе его. Зато теперь успели уже настолько отрезветь, что старались держаться, как в строю, и в Гаркавом, который оказался родом из Мелитопольщины, Ливенцеву так хотелось видеть второго Старосилу, что он простил ему даже и явное нежелание запускать бороду.

Зато Мальчиков, когда в упор на него навел свечу Ливенцев, был не только густобород, но еще и кражист, а главное — гораздо моложе на вид своих сорока с лишним лет.

— Ну, этот, кажется, из долговечных,— сказал о нем Ливенцев, обращаясь к Обидину.— Какой губернии уроженец?

— Вятской, ваше благородие,— эта губерния, она так и считается изю всех долговечная,— словоохотливо ответил Мальчиков.

— Гм... не знал я этого,— удивился Ливенцев.— А почему же так?

— А почему,— нас отцы наши так приучили: вот, со сна цветет весной, этот самый с нее цвет бери и ешь себе,— никакого туберкулеза иметь не будешь, потому что там ведь сера, в этих цветочках в сосновых. Также весной, когда сосну спляют, из нее сок идет, опять же мы в детях и этот сок пили... Вот почему наши вятские жители по сто и более годов живут,— говорил Мальчиков четко и на «о».

Ливенцев спросил его:

Отен то живи?

А как же можно, ваше благородие! Девяносто семь ему сейчас будет, ничуть не боится, как бывает в такие

годы, и все дела справляет в лучшем виде, — с явным восхищением и своим отцом и своей губернией говорил Мальчиков. — Да у меня и двое дядей еще в живых, тем уже перевалило... У нас если там шестьдесят — семьдесят лет, это даже и за годы не считается!

— Вполне, значит, молодые люди и воевать идти могут?

— Так точно, вполне могут, — зря их и не берут.

Поговорив еще и с Гаркавым и с фельдфебелем, Ливенцев наконец отпустил их в роту, сказав:

— Теперь уж поздно, а завтра я уж с утра пройдуся по окопам, посмотрю людей.

Ушли трое, — в блиндаже стало заметно просторнее, и вот тогда-то разглядел Ливенцев всю убогость своего жилища, рассчитанного на долгие, может быть, дни, и оценил как следует и ковры, и драпри, и лампу, хотя без абажура, у Капитановых, и другую лампу с белым абажуром, и бронзовые часы на столе полковника Кюна.

— Прикажете сейчас сдать вам все ротные ведомости? — мрачно спросил Некипелов.

— Нет, это уж завтра, — сказал Ливенцев, только по движению подпрапорщика заметив в углу стола кипу бумаг, накрытую газетой, а рядом с нею пузырек с чернилами, ручку с пером и карандашик.

В блиндаже было два топчана с очень грязными тюфяками на них из каких-то рыжих мешков, и Ливенцев спросил подпрапорщика:

— На какой же из этих роскошных кроватей спите вы?

— Я вот на этой, — безулыбочно ткнул пальцем в один из топчанов Некипелов.

— Хорошо-с, вы на этой, а на другой кто имеет обыкновение почивать?

— А на другой — фельдфебель.

— Вот как! Так значит, он не с ротой, а я его в роту послал! Ну, с сегодняшней ночи он уж пусть устраивается там, с ротой: это во всех отношениях лучше и даже необходимо... Теперь остается, стало быть, вам пойти познакомиться со своей четырнадцатой ротой, — обратился Ливенцев к Обидину, но тот забормотал растерянно:

— Я... чтобы... сейчас... так поздно? Не лучше ли мне это завтра с утра, а?.. Я, признаться, очень хочу спать... Я мог бы вот тут на столе устроиться, если вы позволи-

те... Я раздеваться, конечно, не стану, а просто так, как есть...

— Да я вам могу свой топчан уступить на ночь, — что же тут такого, — вдруг начал сворачивать свою постель Некипелов, действуя довольно проворно длинными руками.

Он весь был длинный, но в то же время с каким-то неестественным, может быть, даже переломленным носом, под которым торчали небольшие белесые усы.

— Вы за боевые заслуги получили подпрапорщика? — спросил его Ливенцев.

— А как же? Разумеется, я в юнкерском не учился, — хрипло ответил подпрапорщик и, неся перед собой свой тюфяк из ряднины и замасленную подушку, ушел, не пожелав даже новому ротному командиру, своему теперь начальнику, покойной ночи.

Впрочем, напрасно было и желать этого: покойной первой ночью в таком логовище быть все равно не могла.

Ливенцев не препятствовал его уходу, потому что ему было жаль Обидина, состояние которого он понимал как нельзя лучше.

Огарок свечи в бутылке освещал бледное, с расширенными тоской зрачками лицо командира четырнадцатой роты, севшего на голый топчан в офицерском блиндаже тринадцатой и бросившего бессильно руки на колени.

— Боже мой, боже мой, что же это за кошмар такой! — заговорил он вполголоса, даже не глядя на Ливенцева, а будто наедине с собой. — Значит, только затем и работал человеческий мозг десятки, а может быть, и сотни тысяч лет, создавал цивилизацию, культуру, изобрел железные дороги, автомобили, аэропланы, телеграф, телефон, радио, небоскребы строил, Панамский и Суэцкий каналы копал, и прочее, и прочее, не говоря о миллионах книг в библиотеках, о миллионах картин в музеях и галереях, и прочее, и прочее, и все это только затем, чтобы загнать человечество в такие вот волчьи логова и в лисьи норы и систематически расстреливать десятки миллионов людей в течение нескольких лет, а сотни миллионов заставлять мучиться и подыхать от голода и тифа... значит, только затем, а?

— Это — один из проклятых вопросов... простите, не знаю вашего имени-отчества...

Павел Васильевич... и ваше?

— Я — Николай Иванович... Так вот, — проклятый вопрос... А эти проклятые вопросы потому-то и проклятые, что пока неразрешимы. Блаженны верящие, что долготлетие вятичей — от соснового цвета и от соснового сока. А если бы не было у них под руками сосны, — во что бы могли они верить?

— Что же делать? Что же, скажите, Николай Иванович, делать? — трагически проговорил Обидин.

— Сейчас? Спать! — спокойно ответил Ливенцев. — О проклятых же вопросах думать завтра.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Совещание в ставке

I

Ответить на весеннее наступление немцев, — о чем, как о вполне решенном и вполне подготовленном, они кричали во всех своих газетах, — наступлением русских войск было, конечно, разумной мерой. Эта мысль принадлежала начальнику штаба верховного главнокомандующего Алексееву, олицетворявшему собою мозг русских сил, раскинувшихся от моря до моря. И для того, чтобы остановиться на этой мысли, подсчитать свои силы и согласиться с ней, были собраны главнокомандующие всех трех фронтов на совещание в ставке 1 апреля под председательством царя.

Председательство царя, впрочем, всеми понималось, как присутствие на совещании, которое должен был вести и вел действительно Алексеев. Он и встречал приехавшего в Могилев утром в назначенный день Брусилова, как хозяин ставки.

Можно было по-разному относиться к этому седому высоколобому генералу среднего роста, с простым русским лицом, но никто все-таки не отказывал ему в больших военных способностях.

Он вышел из нечиновной и небогатой трудовой семьи, этот генерал, которому не было еще шестидесяти лет. Он не держался «за хвостик тетеньки», чтобы подняться на тот пост, какой занял, он и не добивался его, — просто

этот пост был ему предложен, и ему оставалось только его занять.

Около десяти лет он прослужил офицером в пехотном полку, пока наконец, тридцатилетним, начал готовиться в академию генерального штаба. Окончив академию, он был в ней потом профессором. В чине прапорщика он провел русско-турецкую войну 77—78-х годов, а в русско-японскую был уже генерал-квартирмейстером третьей Маньчжурской армии. Когда в 1912 году начала бряцать оружием Австрия, было решено в Петербурге, если разразится война, так что, запоздав на два года, война дала этим возможность Алексею подготовиться к ней настолько добросовестно, насколько мог только он, с большой серьезностью относившийся даже и к маневрам в царском присутствии, которые в подобных случаях обращались в какие-то спектакли на огромной сцене.

Одно время он был начальником штаба у Иванова, в Киевском военном округе, и с тех пор привык относиться с большим почтением к этому бесталанному бородачу. Перед войной он командовал армейским корпусом в Смоленске, так что прошел все этапы как низшей, так и высшей офицерской службы, пока не был назначен начальником штаба Юго-Западного фронта, то есть к тому же Иванову.

Но в марте 15-го года он получил Северо-Западный фронт, а в августе того же года был вызван в ставку, чтобы стать там тем, кем он был теперь.

Сухомлинов, когда был военным министром, не назначил (это было перед войною) Алексея начальником академии генерального штаба, когда освободился этот пост, потому что он, не имевший в детстве гувернанток французенок, не мог свободно говорить по-французски.

— Ну, как же он поедет во Францию на маневры и как он один будет разговаривать с начальником французского генерального штаба? — говорил Сухомлинов.

Тогда начальником академии был назначен светский человек — генерал Янушкевич, который потом, с начала войны, был начальником штаба в ставке. Заместить его пришлось Алексею. И теперешний военный министр, бывший главный интендант, генерал Шуваев, был под стать хозяину ставки: человек простых привычек, он, появившись в первый раз в столовой ставки, мягко попросил

себе постной пищи, а когда ему сказали, что постного тут ничего не готовят, пошел искать по городу подходящей для себя кухни, сказав при этом:

— Я — человек старый и менять своего режима не могу.

Шуваев выделялся не только большим практическим умом, но и тем, что поколебал привычное представление в обществе об интендантах как неутолимых хапугах.

Теперь он тоже приехал в ставку из столицы, так как вопрос о наступлении был прежде всего вопросом снабжения фронта.

Генералы Эверт и Куропаткин явились со своими начальниками штабов, Иванов — в одиночестве, как состоящий при особе царя.

Брусиллов не был участником японской войны, эти же трое как бы принесли с собою незримо тот горький запах поражений, который им неизменно сопутствовал в те дни.

Как у Шуваева была глубоко укоренившаяся привычка к постному столу, так и эти трое были привычнобитые генералы.

О Куропаткине, бывшем в Маньчжурии главнокомандующим и начальником Эверта и Иванова, ходило в военной среде чье-то меткое четверостишие в связи с поражениями, которые он нес от командующего японской армией — Куроки:

Куропаткину Куроки
на практике
дает уроки
по тактике.

А один из великих князей назвал его Пердришкиным, производя эту фамилию от французского *perdre*, что значит куропатка.

Его назначение главнокомандующим Северо-Западным фронтом состоялось незадолго перед тем, в начале февраля, когда пришлось отставить фон Плеве по болезни, от которой он и умер. В ставке появился маленький старый генерал, очень усердно кланявшийся всем, даже и молодым полковникам, смотревшим на него с недоумением, — кто он и зачем он в ставке, хотя и видели, что он — полный генерал.

Даже когда стало известно всем, что этот маленький

старенький генерал — Куропаткин, то, хотя это и вызвало к нему некоторое любопытство, никто не думал все же, что он появился потому, что получает высокое назначение.

Не было мало-мальских опытных генералов, поэтому пришлось вытащить из нафталина и Куропаткина, которого еще Скобелев аттестовал, как хорошего штабного работника и совершенно неспособного командира во время боевых действий.

Громоздкий Эверт имел куда более воинственный вид по сравнению со своим бывшим начальником. Всей осанкой он подчеркивал ежеминутно, что он птица весьма высокого полета.

У себя в главной квартире Западного фронта он любил писать приказы по армиям, причем вместо обычных, принятых в русской азбуке букв ставил такие готические палки, хотя и крупных размеров, что офицеры его штаба проводили все время только в том, что разбирали и расшифровывали его каракули. Иногда он приводил их в неподдельное отчаяние тем, что вместо одних слов писал другие, несколько сходные по начертанию, — например: написанное им «Мария» получало в тексте его приказа смысл только тогда, когда читалось как «армия».

Один гоголевский чиновник тоже писал вместо «Авдотья» — «Обмокни», но, во-первых, он делал это с умыслом, во-вторых, он не командовал фронтом.

Кажется, главнокомандующему фронтом должно бы быть известно, что ручные гранаты употреблялись еще в Крымскую кампанию, однако это не было известно генералу Эверту, почему он и писал в одном из своих приказов: «Из получаемых мною донесений видно, что употребление ручных гранат совершенно не налажено, причем в корпусах их возят в обозах или при саперных батальонах, а потому это *новое средство* к отражению неприятельских и поддержке своих атак, как ручные гранаты, может остаться неиспользованным до конца войны...»

Чтобы ни у кого, кто его видел за общим столом в его штабе, не возникало сомнения в том, что он, несмотря на немецкую фамилию, природный русский, он истово крестился и садясь за стол и вставая, обедал ли он, завтракал или ужинал. Мало того, — он требовал этого же и от всех чинов своего штаба, как могли бы этого требовать только в бурсе от семиваристов.

По сравнению с Каменец-Подольском, хотя и страдавшим от налетов австрийских аэропланов, Могилев-губернский показался Брусилову чрезвычайно грязным, захудалым, вымирающим, несмотря на то, что в нем была ставка.

Сеялся мелкий дождь из густых низких туч; трепал ветер порывами голые, еще рыжие деревья на бульваре; уныло тащилась мокрая худоробная рослая пегая лошадь, вытягивая по рельсам на главной улице небольшой линиявый зеленый вагончик городского «трамвая». Еврейская беднота сновала по тротуарам. Домишки были обшарпанные, облезлые, давно не выдавшие никакого ремонта; и только одни полицейские на постах стремились держаться парадно, выставляя свои руки в белых нитяных перчатках из-под черных плащей, с которых скатывались дождевые капли.

Около царской ставки грязи, правда, было меньше, порядка больше, но даже и в новизне кое-каких, наскоро, видимо, сделанных низеньких строений, похожих на бараки, сквозила какая-то убогость, а главное — лагерность, временность, неуверенность в прочности положения на фронте: строили в расчете на то, чтобы с большою легкостью можно было все это бросить и перекочевать дальше в глубь страны, благо страна огромна.

Так как Брусиллов не мог выехать в ставку ни раньше царя, ни в одно время с ним, когда он уезжал из Каменца, и так как ему хотелось на месте подготовиться к тому, что он мог сказать на совещании, то оказалось, что и Куропаткин, и Эверт, и Шуваев явились раньше его, поэтому они, как и сам Алексеев, встретили его, уже будучи в сборе. Кстати, они и поздравляли его с новым назначением с виду одинаково благожелательно к нему, но только у Алексеева и Шуваева Брусиллов уловил искренность и в тоне их слов и в выражении лиц.

Обезьяноподобный великий князь Сергей Михайлович, генерал-инспектор полевой артиллерии, находившийся в ставке, как приглашенный на совещание, тоже поздравлял Брусиллова, но не позаботился даже и на йоту изменить при этом свою глубоко безразличную ко всему внешность.

В руках Алексеева Брусилов заметил свернутый в трубочку доклад, который он приготовил для совещания. Этим докладом совещание и началось, когда явился царь и когда все приглашенные, а также и начальники их штабов (Брусилов приехал с генералом Клембовским, Эверт — с Квединским, Куропаткин — с Сиверсом) уселись по приглашению царя за стол, покрытый красным сукном.

Алексеев читал очень отчетливо, громко, делая особые ударения на тех местах, которым придавал большое значение, хотя значительным в этом совещании было все, так как на нем решалась дальнейшая судьба России, уже в достаточной степени потрясенной.

От быстрой смены впечатлений за последние дни, от их пестроты, при всей их важности лично для него, Брусилов чувствовал утомление, тем более что он не успел и часа отдохнуть после дороги. И все же он заставлял себя следить, не пропуская ничего, за нитью алексеевского доклада.

Он понимал, в какое трудное положение попал этот способный человек при таком верховном главнокомандующем, как царь, ничего не понимающий в военном деле и теперь сидевший с видом манекена из окна парикмахерской. Полномочий быть хозяином не только ставки, но и всего фронта Алексеев не имел и, конечно, не мог иметь; напротив, он в каждом отдельном случае должен был на свои соображения и замыслы испрашивать разрешения царя, а это ставило его, человека и без того не очень сильной воли, в зависимость от человека с явно для всех пониженной психикой и воли более чем слабой.

Открывая совещание огромной государственной важности, царь не обратился к созванным им своим непосредственным помощникам с какою-либо хотя бы и самой краткой речью, как это сделал бы на его месте кто угодно другой; он только сказал милостиво, как говорил обычно за обедом в своем присутствии:

— Кто желает курить, курите.

И вынул свой серебряный портсигар, уже известный Брусилову, — серебряный потому, что императорский сервиз, взятый в ставку, был тоже серебряный, — походный, не способный разбиться, как фарфоровый, при переездах с места на место.

Алексеев говорил о том, что решено произвести прорыв германского фронта ударом на Вильно, причем про-

рыв этот должен быть выполнен силами войск генерала Эверта. Для этого на Западный фронт должна стянуться вся тяжелая артиллерия, находящаяся в резерве; для этого туда же будет направлен и общий резерв, находящийся в распоряжении верховного главнокомандующего. Однако не весь этот резерв: часть его предназначается для передачи Северо-Западному фронту, который должен собрать достаточно внушительный кулак, чтобы ударить тоже на Вильно, в прорыв, для его расширения и для выхода в более глубокий тыл германских войск.

Пока говорил это Алексеев — таким тоном, как будто решить поставленную ставкой задачу было так же легко, как и поставить ее, — Брусилов наблюдал за лицами Эверта и Куропаткина.

Конечно, это не могло быть и не было для них новостью, но Брусилов заметил, как они выразительно переглянулись, эти бывшие маньчжурцы, точно были и в самом деле удивлены.

Но вот настала очередь удивиться, только по-настоящему, и самому Брусилову: его фронт объявлялся Алексеевым совершенно не способным вести наступательные действия, почему и предполагалось, что он будет только обороняться до тех пор, пока не определится, что войска Западного и Северо-Западного достаточно далеко уже продвинулись на запад; только тогда может перейти в наступление и он, что будет вполне для него возможно.

Теперь Брусилов неотрывно глядел на одного только Иванова, который как-то пришипился, наподобие кота, только что проведавшего шкап со снесью.

Когда царь спрашивал в Каменец-Подольске, какие были у него, Брусилова, недоразумения с Ивановым, и Брусилов ответил, что никаких не было, он имел в виду только последнее время. Теперь он сидел и вспоминал, что происходило несколько месяцев назад, когда он собирал все силы для контратак против наседавших полчищ Макензена, отступая к реке Буг.

Тогда от Иванова сыпались телеграммы за телеграммами с такою резкой критикой всех его действий, что он счел за лучшее приехать для объяснений к нему лично в Ровно, где была его штаб-квартира. Произошло объяснение не совсем обычного рода: Брусилов тогда категорически поставил вопрос о доверии к нему, о том, чтобы его не дергали, чтобы над ним не было няньки, которая бы

ежедневно вмешивалась в его действия, не имея понятия о том положении, какое создавалось на фронте его армии. Он даже предложил отозвать его и передать командование другому. если Иванов считает, что он не на своем месте.

В ответ на все это Иванов совершенно некстати начал ему рассказывать о каких-то случаях из времен японской войны, пытаясь этим развлечь его, успокоить и кончить дело ничем.

Теперь Брусилов видел, что столкновение в Ровно с Ивановым нашло отклик: несомненным для него было, что именно Иванов внушил Алексееву мысль о слабости Юго-Западного фронта, о полной невозможности для него наступать, и ему хотелось тут же после окончания доклада Алексеева встать и доказать то, что знал только один он среди всех, здесь собравшихся: Юго-Западный фронт наступать может и будет, если получит приказ это сделать.

Но Алексей, который вел совещание, так как царь только курил и молчал, предоставил высказаться не ему, а Куропаткину, почтительно обратившись к нему:

— Алексей Николаевич, было бы желательно выслушать ваши соображения по данному вопросу!

Старичок поспешно попробовал левой рукой седенькую свою бороду, слегка кашлянул и заговорил, наклонившись в сторону царя, но взглядывая время от времени и на Алексева:

— Я глубоко понимаю всю желательность наступательных действий. Не может быть никакого сомнения, что только они одни могли бы принести вполне осязаемые и крайне необходимые результаты, соответственные и величию и достоинству России, по я знаю, к сожалению, и то, насколько сильны немецкие позиции, лежащие против всего вообще моего фронта, а в особенности в направлении на Вильно... в особенности, повторю, в этом направлении, как наиболее существенном как для нас, так, в равной степени, и для нашего сильного противника. Разве не делалось уже попыток как с моей стороны, так и гораздо более серьезных со стороны Алексея Ермолаевича (повернул он голову к Эверту), однако они были безрезультатны. Точнее, — результаты были, но совершенно отрицательные: огромные потери у нас и едва ли большие у немцев, а прорыва не получилось.

Что необходимо для успеха дела? Это известно: наличие тяжелой артиллерии и неограниченное количество снарядов к ней. Есть ли это у нас? Насколько я знаю, тяжелой артиллерией мы не богаты. На что же мы можем рассчитывать? На то, что она в скором времени будет? Едва ли я ошибусь, если скажу, что надеяться на это мы не можем. Имеем ли мы право надеяться на то, что немцы сейчас и дальше, скажем, в мае, есть и будут слабее, чем они были в истекшем марте или в феврале? Нет оснований у нас на это надеяться. Наш противник был силен и будет оставаться таким же. Так что единственный вывод, к которому я прихожу, взвесив все «за» и все «против», — это продолжать стоять на занимаемых нами позициях и постараться защитить их, если неприятель перейдет в наступление. Что же касается активных действий с нашей стороны, то они невозможны.

Тут Куропаткин остановился, вопросительно поглядел на царя, увидел полное равнодушие в заволоченных голубым дымом свинцовых царских глазах и умолк, решив, что дальше говорить незачем.

Брусилов сделал нетерпеливое движение, но его готовность возразить Куропаткину предупредил Алексеев. Слегка приподнявшись на месте, он сказал, точно продолжал начатый раньше дружеский спор, мягко и ни для кого не обязательно:

— С вашим взглядом на невозможность наступления не только на Северо-Западном фронте, мне достаточно хорошо известно, но и на Западном, я не могу согласиться. Наступать на обоих этих фронтах мы не только должны, но и можем. А что касается поднятого вами вопроса о тяжелых снарядах, о их у нас недостатке, то это мне, к сожалению, приходится подтвердить. Да, у нас мало и тяжелых орудий, но совершенно недостаточно снарядов к ним. Следовательно, надо изыскать способы и средства к устранению этого недостатка. — Тут он обратился к Шувалову: — Быть может, какие-либо светлые перспективы может нам указать Дмитрий Савельевич?

Человек приземистый, плотный и деловито-спокойного вида, Шувалов отозвался на этот вызов неторопливо, но тоном, не допускающим сомнений:

— Наша военная промышленность дать тяжелые снаряды в большом количестве пока не может. Остается только ожидать, когда их могут доставить наши союзни-

ки, но этот процесс — доставка из-за границы теперь, морем — сделался чрезвычайно сложен, тем более, что ведь и союзникам нашим дозарезу нужны те же тяжелые снаряды: у себя оторвать, когда у тебя самого не хватает — на это кто же решится? Своя рубашка ближе к телу. Слов нет, должно наступить время, когда производство тяжелых снарядов там, за границей, перекроет потребность в них, но этим летом такого положения не будет, во всяком случае.

Он умолк сразу и с сознанием честно исполненного долга — это заметил Брусилов по выражению облегченности на его широком лице.

Конечно, Алексеев не думал, что великий князь скажет что-нибудь для него новое, когда обратился потом к нему. Но Брусилов понимал, что этого требовал весь ритуал совещания в царском присутствии, и Сергей Михайлович, поерзав по сморщенному немудрому лбу весьма подвижными бровями, заявил, что военный министр вполне в соответствии с фактами обрисовал тяжелое положение с тяжелыми снарядами; как генерал-инспектор полевой артиллерии, он может только подтвердить это.

— Но зато, — оживленно добавил он, — легкие снаряды имеются у нас в изобилии. Легкими снарядами мы можем буквально засыпать фронт. Так что, если бы для наступления достаточно было бы одной только легкой артиллерии и снарядов к ней, то в этом отношении мы богаты.

Алексеев склонил голову, как склоняет ее человек, вполне покорный неизбежной судьбе, но, сделав рукой пригласительный жест в сторону Эверта, добавил к этому жесту многозначительно:

— Ваш фронт, Алексей Ермолаевич, мы считаем и наиболее сильным и наиболее важным. Имея в виду на помощь вашему фронту бросить почти все резервы, просим вас отвечать на поставленный вопрос о возможности наступления, приняв во внимание именно это: все или почти все резервы — вам!

Брусилов не то чтобы нитал к Эверту какие-либо личные чувства неприязни, — он его слишком мало знал для этого, — но он просто не признавал в нем способностей, необходимых для руководства фронтом.

Он знал, что Эверт, как и его бывший начальник Иванов, никогда не бывает на позициях, ограничиваясь что-

нием телеграфных донесений, хотя и сам же поднимал в ставке вопрос о том, что донесения эти сплошь и рядом бывают лживы, что лгут все от мала до велика, чтобы или представить положение лучше, или обрисовать его гораздо хуже, чем оно есть, в зависимости от того, что для них полезней в смысле получения наград и продвижения по службе, и что не лгут одни только солдаты, которые совершают иногда чудеса геройства, но донесений не пишут.

Брусиллов считал также, что последняя операция Эверта, когда он потерял чуть ли не сто тысяч человек, не удалась потому, что была поручена совершенно неспособному генералу Плешкову, что она была подготовлена из рук вон плохо, что для нее было выбрано совершенно неподходящее время: главнокомандующий фронтом преступно-непростительно оттягивал начало операции и был захвачен во время ее развития бурным таянием снегов, сделавшим ее продолжение невозможным.

Брусиллову чудилась какая-то умышленность, злость со стороны Эверта во всем, что тогда делалось на Западном фронте при его попустительстве. От его выступления теперь он ожидал только открытого нежелания наступать и не ошибся, конечно.

С первых же слов Эверт заявил, что вполне разделяет мнение Куропаткина, но, в полную противоположность униженно и виновато склонявшемуся над столом в сторону царя апостолу «терпения, терпения и терпения», Эверт не поступился ни одной нотой из своего вполне благополучного, молодцеватого вида.

— Оборонительные действия—это все, что мы можем вести на всех фронтах и, в частности, на вверенном мне Западном,— говорил он с большой авторитетностью в голосе жирного тембра.— Наступать при отсутствии у нас тяжелой артиллерии — это значит совершенно бесполезно для дела истреблять людей, как бы значительны у нас ни были людские резервы. Как можно верить в успех наступления, когда попытки к этому уже были и окончились для нас весьма печально? Другое дело, если у нас будет тяжелой артиллерии и снарядов столько же, сколько у нашего противника,— тогда... тогда мы можем быть уверены в полном успехе защиты наших позиций, так как сейчас мы и в этом не вполне уверены, а для наступления мы должны быть сильнее противника по крайней мере вдвое,

если не втрое. Вот все, что я могу сказать на основании своего опыта в наступательных действиях.

Совершенно неожиданно для Брусилова его неприязнь к Эверту, укрепившаяся после таких слов, как бы перекинула мост к тому, с чем мог выступить он непосредственно тут же, когда в его сторону обратился Алексеев, сказав не то с улыбкой, не то с какою-то надеждой, осветившей подобно улыбке его простонародное курносое лицо:

— Ну, вот! Теперь хотелось бы выслушать вас, Алексей Алексеевич!

Хотя Брусиллов и не готовился предварительно к речи, понимая, что это совсем не нужно, но он был в достаточной степени переполнен доводами в пользу если не наступления вообще, то наступления именно со стороны своего фронта, чтобы и начать горячо и продолжать убежденно:

— Я слышал сейчас неоднократные заявления о том, что у нас нет или почти нет, что по существу одно и то же, тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, и, признаюсь, весьма удивлен, что ничего не слыхал о наших недостатках в авиации. А между тем, говоря о тяжелой артиллерии, не мешает вспомнить и о том, что мы не в состоянии корректировать навесного огня, потому что не имеем хоть сколько-нибудь порядочных аэропланов в своем распоряжении. В этом отношении противник решительно подавляет нас и количеством аппаратов и уменьем ими пользоваться. Наши «Ильи Муромцы» оказались ввиду их громоздкости мало пригодными для дела, да их и мало: на моем фронте их совсем нет. Заграничные аппараты в большинстве своем износились, и если кому в состоянии принести ощутительный вред, то это — самим же нашим летчикам. Меня поражает, что мы, столько претерпевшие от неприятельской авиации, все еще недооцениваем этого средства борьбы. У нас были неудачные попытки наступления, и я считаю большой беспечностью с нашей стороны, что мы не изучили всесторонне причины наших неудач, как будто они касаются только одного, скажем, Западного фронта, а не всех других фронтов. У нас, несомненно, есть много недостатков и в повседневном управлении войсками, и в снабжении их боевыми припасами, и во многом другом, и все-таки я беру на себя смелость утверждать, вопреки высказанным здесь мнениям

главнокомандующих Западным и Северо-Западным фронтами, что мы наступать можем!

Тут Брусилов остановился на момент, чтобы приглядеться к выражению лиц царя и Алексеева. Царь смотрел на него в упор, но без малейшего выражения в глазах, Алексей же, как ему показалось, удовлетворенно наклонил голову.

— Не может быть никакого сомнения, что общее состояние чужих фронтов знают гораздо лучше меня их главнокомандующие. Прошли считанные дни, как я сам принял врученный мне Юго-Западный фронт. Мне могут сказать, что я и его не знаю, я знаю только свою бывшую восьмую армию, с которой провел много месяцев и которую испытал во многих боях. Но зато я знаю,— уверен, что знаю и очень хорошо знаю секрет наших общих неудач: он состоит в отсутствии со-гла-со-ванности действий.

На огромном общем фронте нашем собраны громаднейшие силы, и численно мы гораздо сильнее нашего противника. Чем же объяснить то, что, когда бы и где бы мы ни вздумали наступать, он в конечном счете оказывается сильнее нас в этом именно пункте и осаживает нас назад? Ответ простой: противник несравненно более подвижен и к раненному нами месту сейчас же притягивает не только закупорку, но и внушительные силы для контратаки. Откуда же он берет эти силы? Из общего резерва? Отнюдь нет: с другого участка своего фронта, против которого наш фронт совершенно бездействует. Из вашего доклада, Михаил Васильевич,— обратился он к Алексееву,— я услышал, что Юго-Западный фронт к наступательным действиям не способен.

Я не знаю, на основании чего вынесен этот поистине смертный приговор вверенному мне фронту. Мне кажется, что тут что-нибудь одно из двух: или, вручая мне этот злополучный фронт, меня самого, так сказать, выводят в тираж, исходя из принципа: «по Сеньке и шапка» или «каждый сверчок знай свой шесток», или же,— на что я и надеюсь,— Юго-Западный фронт доверен мне затем, чтобы он доказал свою боеспособность под моим руководством. Если я так именно понимаю свое назначение, как оно было предложено высочайшей волей, то мне ничего и не остается больше, как доказать, что я достоин выраженного мне доверия. Стоять в стороне в спокойной позе на-

блюдателя в то время, как не на жизнь, а на смерть дерутся рядом мои товарищи, я никогда не был способен. Я всегда держался старинного суворовского завета: «Сам погибай, а товарищей выручай!» И теперь я осмеливаюсь думать, что если ударные задачи будут возложены верховным командованием на Западный и Северо-Западный фронты, то они не минуют и Юго-Западного. Пусть я не добьюсь даже успеха, но зато, несомненно, я значительно облегчу задачу, которая будет решаться к северу от меня. Я привлеку на свой фронт резервы противника и этим его обессилю в других направлениях. Если на это мое предложение можно мне что-нибудь возразить, то я выслушаю возражение с величайшим интересом, на какой я способен.

Брусиллов чувствовал большой подъем, когда говорил это, но когда он посмотрел на царя, прозрачно окутанного табачным дымом, то увидел, что царь зевал.

Это был не короткий, прячущийся зевок, а очень длительный, самозабвенный, раздражающий челюсти и вызывающий на глаза слезы.

Конечно, царь плохо спал в своем вагоне, пока ехал сюда, но ведь и все здесь, кто приехал на совещание, едва ли спали лучше. Брусиллов вспомнил, что и сам он в истекшую ночь спал не более двух часов. Зевота царя его оскорбила. Зато Алексеев глядел на него вполне благожелательно, и теперь уже ясно было, что он улыбался.

Алексеев сказал, выждав с полминуты, когда он закончил:

— Я ничего не могу возразить против вашего, Алексей Алексеевич, желания принять в наступлении участие в своем фронте. Но только я считаю долгом предупредить вас, чтобы вы не надеялись напрасно,— мы ничего на ваш фронт дать не можем: ни тяжелых орудий, которых у нас в резерве в обрез, ни больше, чем нашему фронту приходится получить по разверстке, снарядов для тех орудий, какие у нас имеются. Это действительно прошу иметь в виду.

— Да ведь я и не заявлял, что надеюсь получить что-нибудь, кроме того, что имею,— отозвался на это Брусиллов. Для меня будет важно уже и то, что я делаю общее дело вместе с другими, что я не изгой, что фронт мой не какой-то занататный, и только. Зато ведь я не обещаю непременно никаких особенно блестящих успехов: я

не мечу в какие-то Наполеоны, я не юноша. Роль вытяжного пластыря для резервов противника, вот и вся скромная роль, на которую я прошусь, но по крайней мере я буду знать, что вместе со всеми чинами своего фронта буду в свое время занят полезным делом, а не обречен бить баклуши.

Алексеев совершенно успокоенно и даже благодарно, как показалось Брусилову, кивнул раза два ему головой и перевел ожидающие глаза на Куропаткина. Тот понял, что после заявления Брусилова ему необходимо выступить снова, что Брусилов поставил его в неловкое положение. И он заговорил, стараясь все же избегать какой-нибудь определенности.

— Разумеется, если только от меня не будут требовать успеха во что бы то ни стало, то наступать могут и вверенные мне войска. Наступать хотя бы для того, чтобы создать затруднительное положение для противника в смысле свободного распоряжения резервами, когда будут развивать свой удар армии Западного фронта.

Пришлось сказать несколько слов в том же духе и Эверту:

— Это совсем другая постановка вопроса, когда требование непременно успеха, притом успеха крупного, решающего чуть ли не всю кампанию, снимается и остается просто наступательное действие, а там уж что выйдет, то выйдет. При таких условиях, конечно, свою долю пользы общему делу может принести и вверенный мне фронт.

— В таком случае, как полагаете, можете ли вы быть готовы к наступлению в первые же дни, как позволит это установившаяся погода, — скажем, к середине мая? — быстро спросил его Алексеев.

— К половине мая? — переспросил Эверт, поглядев при этом на Куропаткина. — К половине мая, пожалуй, да. Думаю, что смогу подготовиться.

— А вы, Алексей Николаевич? — так же быстро атаковал Алексеев ученика Куроки.

— К половине мая? — счел нужным повторить и тот. — То есть, через шесть недель? — он посмотрел вопросительно на Эверта и ответил: — Думаю, что это достаточный срок.

— Отлично! Очень хорошо! — заметно повеселел Алексеев. — Вас, Алексей Алексеевич, не спрашиваю, — добавил он.

— Да, разумеется, я постараюсь подготовить свой фронт к середине мая, — сказал Брусилов, взглянув при этом на царя.

Царь снова затяжно и судорожно зевал.

III

Так как подошло время завтрака, то совещание было прервано, хотя оно должно было рассмотреть и обсудить много еще вопросов более мелкого характера — по части снабжения войск продовольствием, оборудования медицинской помощи, бань и прочего, приобретающего теперь немалое значение, раз наступление в мае было решено.

Завтракать все были приглашены в дом к царю.

На охране всей ставки числилось полторы тысячи человек, но, конечно, особо тщательно охранялся дом, в котором жил царь, когда приезжал в ставку. На отдельных площадках около дома размещены были пулеметы для защиты от цеппелинов.

Дом этот был двухэтажный. Там были и парные наружные часовые, и казаки-конвойцы внутри, и лакеи, и скороход — лицо немалых полномочий. Кроме того, весь дом был наполнен лицами царской свиты, начиная с неизбежного «генерала от кувакерии» Воейкова, гофмаршала князя Долгорукова и других свитских генералов и кончая флигель-адъютантами. Фредерикс появился несколько позже вместе с начальником конвоя графом Граббе и флаг-капитаном адмиралом Ниловым.

Зал был не слишком обширен и небогато убран: белые обои, недорогие портьеры, бронзовая люстра, рояль, портреты отца и матери царя в багетовых овальных рамах и стулья вдоль стен.

Здесь царь здоровался с теми, кого не видал в этот день, потом, пригласив движением головы ближайших к нему в столовую, первым вошел в открытую перед ним настежь изнутри дверь.

Гофмаршал Долгоруков, со списком царских гостей в руках, указал каждому его место за большим столом. Брусилов невольно улыбнулся, глядя, с какой серьезностью он это проделывал, и представляя и то же время, сколько пришлось ему ломать голову, кого куда поса-

дить, чтобы соблюсти и общие правила, — визави царя, например, всегда садился граф Фредерикс, — и примениться к обстоятельствам такого экстренного случая, как сбор в ставку главнокомандующих фронтами и их начальников штабов.

Рядом с царем были посажены — по одну сторону — великий князь Сергей Михайлович, по другую — Алексеев. Рядом с Фредериксом — Иванов и Куропаткин. На них двоих пришлось смотреть во время завтрака Брусилову, так как он сидел рядом с Алексеевым, и потому завтрак в ставке очень живо напомнил ему обед в салонвагоне Иванова: как там, так и здесь Иванов сидел, обижено молча.

Так же молчалив был он, впрочем, и на совещании, но там случилось Брусилову поймать обращенный к нему тяжелый, не то презрительный, не то ненавидящий взгляд: это было как раз в то время, когда он говорил о возможности наступления.

Брусилов понимал, конечно, что ничего сложного не происходит теперь в темной душе этого старого бородача: только тяжкое оскорбление, нанесенное ему тем, что он, считавший себя незаменимым, заменен своим бывшим подчиненным. Даже Фредерикс, по-видимому, понимал, что к нему лучше не обращаться с разговорами, и говорил только с Куропаткиным.

Перед каждым завтракавшим стояли серебряные стопки для вин, причем вина брали в серебряных же кувшинах, — однако этим и ограничивалась вся роскошь царского стола в ставке: на войне, как на войне.

Умилительно было наблюдать, как Фредерикс и Куропаткин, оба — старые царедворцы, стремились превзойти друг друга в изысканной угодливости, но Брусилов, которому Куропаткин последних лет был не вполне известен, с интересом наблюдая его, не мог не заметить, что и тот наблюдает его довольно пристально.

После завтрака Куропаткин неожиданно для Брусилова подошел к нему, взял его за локоть, отвел в сторону и заговорил пониженным голосом:

Послушайте, Алексей Алексеевич, — я в полном недоумении был, когда вы говорили, что можете наступать!

— В недоумении? — повторил тоже недоуменно Брусилов. Почему же именно, Алексей Николаевич? Да, я

вполне могу наступать на своем фронте,— тут никакой решительно натяжки нет.

— Вы можете?.. Впрочем, если даже вы думаете, что можете, то ведь это заставило и меня тоже сказать, что и я могу, а между тем я вполне убежден, что наступление наше окончится провалом.

Маленький старик-полководец, говоря это, совсем потерял всю свою недавнюю приторность: он оказался теперь необычайно серьезен.

— Провалом или успехом,— этого мы с вами не может знать наперед, Алексей Николаевич,— столь же серьезно сказал Брусилов.— Наконец роль вашего фронта, насколько я понял, будет вспомогательная, а главная выпадает на долю Западного.

— Западного?— Куропаткин быстро оглянулся, ища глазами Эверта, и продолжал почти шепотом: — Западный, кажется, доказал уже, что наступать он не способен. Каких же еще нужно доказательств, если его мартовская операция для вас неубедительна? Я чрезвычайно сожалею, что не был осведомлен заранее о ваших взглядах на этот предмет. Мне кажется, я мог бы поколебать вас в этом решении вашем, если бы знал о нем. Генерал Эверт тоже изумлен,— я успел перекинуться с ним двумя словами. Однако, мне думается, еще не поздно заявить о том, что вы... как бы это выразиться... переоценили возможности своего фронта и недооценили нашей общей бедности в снаряжении. Вот вы же говорили, что у нас очень мало аэропланов. Да, да, конечно, до смешного мало сравнительно с немцами! Как же мы можем надеяться на успех, когда мы — слепые, а они зрячье? Они о нас будут знать решительно все в то время, как мы о них ничего! Какой же успех мы можем иметь,— не понимаю.

— Успех зависит от очень многих причин,— сказал Брусилов,— а самое главное, от того, как будут вести себя войска.

— Вот видите! — подхватил Куропаткин.— Как будут вести себя войска? Отвратительно будут они себя вести, ниже всякой критики будут себя вести,— вот как!.. Алексей Алексеевич, прошу вас выслушать мой совет,— переменил он тон на вкрадчивый и сладкий.— Советование еще не закончилось. Поднимите этот вопрос снова под предлогом ввести в него ясность!

— Поднять вопрос снова? Зачем? — удивился Брусилов. — Чтобы его перерешили?

— Разумеется! Разумеется, именно за этим!

— Нет, Алексей Николаевич, этого я не сделаю, — твердо сказал Брусилов, и Куропаткин потемнел и начал смотреть на него с сожалением.

— Охота же вам рисковать всею своей военной карьерой! — покачал он сокрушительно головой. — Ваше имя сейчас стоит высоко. Вы получили фронт за боевые заслуги в этой войне, и вам бы надо было побереечь свой ореол, а вы сами подвергаете его опасности!.. Раз о вашем фронте сложилось в ставке убеждение, что он не боеспособен — и превосходно! В наступление, значит, не переходить, своим новым постом не рисковать, шеи себе не ломать, — чего же вам больше? Какую пользу, скажите мне, желаете вы извлечь из поражения, которое совершенно неизбежно?

— Польза мне лично? — оскорбленно вскинул голову Брусилов. — Я ищу и желаю пользы только для России, а совсем не для себя! Поста главнокомандующего я не искал, и он свалился на меня, как полная неожиданность, и если для дела, для пользы службы России, а не моей личной, меня отчислят за негодностью в отставку с назначением ли в Государственный совет или даже без такой любезности, я нисколько не буду этим оскорблен или огорчен, поверьте!

Последние слова вырвались у Брусилова потому, что он вспомнил Иванова. Куропаткин же, как бы испуганный даже нетактичностью своего собеседника, который незаметно для себя несколько повысил голос, поспешно отошел от него, вздернув плечи.

После завтрака совещание продолжалось еще несколько часов, но вопрос о наступлении уже никем не поднимался больше, — он считался решенным как Алексеевым, так и царем, который зевал теперь совершенно неудержимо.

Совещание закончено было к обеденному часу. Обедали в той же царской столовой. Тут же после обеда главнокомандующие разъехались, едва успев проститься друг с другом и ни одним словом не обменявшись по поводу будущих совместных действий.

Единственное, что подметил Брусилов в лице царя, когда откланивался ему, было довольное выражение, что на-

конец-то скучнейшее совещание он кое-как высидел и теперь может уснуть.

Брусиллов не знал, однако, что был человек, покушавшийся на это вполне законное предприятие монарха величайшей империи в мире. Человек этот был «состоящий при особе царя» Иванов.

Он вдруг обрел дар речи, оставшись около царя, когда разошлись почти все другие. Он имел чрезвычайно взволнованный вид, и голос его дрожал, когда заговорил он:

— Ваше величество, умоляю вас, верноподданнически умоляю вас, предотвратите!

— Что такое? Что с вами?.. Что я должен предотвратить? — изумленно спрашивал его царь, совершенно не понимая, что творится с крестным отцом его единственного сына.

— Предотвратите наступление, ваше величество! — выдавил горлом Иванов, так как его душили спазмы. — Брусиллов — гнусный карьерист, — вот кто он, я давно его знаю... Он погубит все армии моего фронта!.. Он послужит причиной гибели и армий всего Западного фронта! Он все дело обороны России погубит, ваше величество!

Иванов сделал такое движение, как будто хотел упасть на колени, и царь едва удержал его. Тем недовольнее он глядел на него сквозь узкие щели отяжелевших век и сказал наконец:

— Почему же там, на совещании, вы не заявили об этом? Ведь вас никто не лишал права выразить мнение... больше того: вы затем и были приглашены на совещание, чтобы высказаться по этому вопросу.

— Я не предполагал, ваше величество, и отказывал себе в мысли допустить, что подобное решение будет принято! — не совсем внятно от душивших его чувств проговорил Иванов, приложив обе руки к сердцу в знак доказательства полной правдивости своих слов, однако он рассчитал плохо.

Был ли причиной тому совершенно неподходящий момент, — ведь говорится, что сон милее родного брата, — или царем были приняты в уважение другие, гораздо более серьезные причины, только он несколько брезгливо и даже в нос отоавался Иванову:

Теперь, во всяком случае, вы докладываете мне ва-

ше мнение очень поздно. Решение об открытии наступательных действий принято на совещании и внесено в протокол. Перерешаться этот вопрос не будет.

И он отошел от Иванова, который понял наконец, что возврата к деятельности полководца ему уже больше не будет, что «состоять при особе царя» ему совершенно незачем, что это только позолота горькой пилюли, что единственное осталось ему: отправиться в Петроград, где можно поселиться на казенной квартире с видом на Неву, числиться по Государственному совету, читая газеты с осторожными статьями о неудачах наступления на всех фронтах, доказывать другим, таким же отставным, как и он, что был в свое время совершенно прав, но его не хотели слушать и запоем писать мемуары.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Начальник дивизии

I

Только что вернувшись из ставки в Бердичев, Брусилов разослал телеграммы командующим всех четырех армий своего фронта с приказом собраться в Волочиск.

Он не хотел терять ни одного дня в подготовке наступления. Волочиск был выбран им потому, что был гораздо ближе к линии фронта, чем Бердичев, и добраться до него участникам военного совета было удобнее и скорее.

И вот они сидели за общим столом для того, чтобы обдумать общее мероприятие огромной важности — наступление на Юго-Западном фронте, который, по мнению ставки, к наступлению был совершенно не способен.

И Щербачев, и Крымов, и Сахаров, и тем более Каледин, — все эти четыре генерала были гораздо лучше известны Брусилову, чем Эверт и Куропаткин, а главное — они были его подчиненные. Однако даже исполнять прямые приказы они могли всячески, — это зависело от того, насколько они сами способны были верить в успех общего дела.

Еще не открывая беседы с ними, Брусилов вглядывал-

ся в их лица, стараясь угадать, можно ли их зажечь тем огнем, какой горел в нем самом. Он переводил глаза с одного на другого, но убеждался, что видит обычные их выражения: внешнюю настороженность, какую особенно ярко проявлял в ставке и Куропаткин, прикрывавшую глубокое внутреннее равнодушие.

Даже наиболее молодой из его помощников, Крымов, — человек большого роста, вполне картинный боевой генерал, — и тот сидел с таким видом, как будто иронически думал про себя: «Послушаем, послушаем, что ты такое скажешь!»

Вспухшее, точно искусанное пчелами, лицо Сахарова вообще выразительностью не отличалось, и здесь он спокойно-загадочно глядел узенькими, как у калмыка, глазами, выжидая.

Каледин, взявший в свои руки восьмую армию, к которой Брусилов питал вполне понятное доверие и на которую надеялся больше, чем на другие, имел заранее обреченный, понурый вид, а Щербачев, испытавший такую крупную неудачу в декабре, хотя и старался держаться так, как будто ничего особенного с ним не случилось, а главное — он совсем не виноват, но маска привычной самоуверенности плохо держалась на нем.

С выздоровлением генерала Лечицкого, испытанного уже руководителя девятой армии, Крымов, правда, должен был вернуться к своему корпусу, но ведь и от действий этого корпуса тоже многое могло зависеть при наступлении. И Брусилов перебирал в памяти известных ему понаслышке или лично командиров корпусов в других армиях, кроме бывшей своей восьмой. Ему хотелось подвести как можно более прочный фундамент под то свое убеждение, какое он с большой энергией отстаивал в ставке, — что Юго-Западный фронт может наступать и будет, поэтому он медлил открывать совещание.

Но и открыл он его наконец только затем, чтобы передать решение ставки и свое. Он так и начал немногословно и категорично:

— Я счел необходимым, господа, со всей возможной поспешностью, притом лично, поставить вас в известность, что на совещании в ставке решено: в наступлении, предпринимаемом в первых числах мая Западным и Северо-Западным фронтами, принять активное участие и нашему фронту. О мерах подготовки к этому наступле-

нию мне и хотелось бы поговорить с вами, поскольку каждый участок фронта имеет свои особенности.

Сказав это, Брусилов сделал намеренную паузу. Он не думал, конечно, что слова его явятся новостью: он сам приехал с начальником своего штаба, генералом Клембовским, и командующие армиями взяли сюда с собой своих начальников штабов, — при таком многолюдстве нельзя было и надеяться ошеломить слушателей новостью, — но ему хотелось все-таки проследить бегло за выражением лиц, а потом пойти дальше.

Однако его пауза понята была Щербачевым как предлог к дебатам. Он поднялся, узкий, худощавый, стремительный, и заговорил вдруг торжественно:

— Алексей Алексеевич, вы знаете, что я всегда предпочитал наступательные действия оборонительным по той простой причине, что оборона, как бы она ни была блестяща, никогда не приводила и по самой сути своей не может привести к победе. Но в данное время я считаю своим долгом доложить вам, что вверенная мне седьмая армия, по общему состоянию своему, к наступательным действиям совершенно не способна.

— Это все, что вы хотели сказать? — сухо спросил его Брусилов.

— Я могу развить это общее положение, перейдя к частностям, — сказал Щербачев.

— В этом никакой надобности нет, — перебил его Брусилов. — Состояние вашей армии мне известно, также и других армий. И такого вопроса, может или не может та или иная армия наступать, я прошу всех вообще не подымать на этом нашем собрании. Раз вопрос о наступлении решен в ставке под председательством верховного главнокомандующего, то как же можно заявлять тому или иному из командующих армиями: «Я наступать не в состоянии»? Решение ставки — это приказ, а приказ должен быть выполнен. Значит, о чем же мы можем говорить и что именно обсуждать сегодня? Только и исключительно об одном и одно: какими способами можем мы выполнить приказ о наступлении, что необходимо для этого сделать?

Сказав это, Брусилов снова сделал паузу, длившуюся всего несколько секунд, но за эти секунды он успел заметить, как выразительно переглянулись два старших командующих армиями — Щербачев и Сахаров — и обя

младших — недавние корпусные командиры — Каледин и Крымов. Он видел, что им не понравился даже самый тон, каким заговорил с ними новый главнокомандующий фронтом (Иванов не говорил таким тоном), поэтому он решил укрепить на заседании именно этот тон, сделать его категоричней, чтобы сразу пресечь всякую возможность кривотолков.

— Я очень прошу вас всех,— продолжал он, попеременно глядя при этом то на Щербачева, то на Сахарова,— отнестись к тому, что я сказал уже и что буду развивать в дальнейшем, не только как к приказу, полученному мною в ставке, но и как к моему личному приказу. Требую от вас отнестись к задаче нашего майского наступления сообразно с правилами воинской дисциплины, от которой вы не только не избавлены своими высокими постами в русской армии, но которую, именно ввиду этого, бы-то и должны в первую очередь соблюдать. Поэтому никаких отговорок ни от кого я не приму, и самое лучшее с вашей стороны будет, чтобы они вами не поднимались.

После таких полновесных слов глаза всех, сидевших за столом, обращены были только на Брусилова, точно он стал освещен вдруг вспышкой магния. Сам же Брусилов, видя это и хорошо зная генеральскую среду, понял, что не столько его резкий тон, не столько смысл его слов произвели впечатление на этих косных людей, сколько убеждение, появившееся, конечно, у каждого, что их новый главнокомандующий получил от царя в ставке какие-то необыкновенные полномочия, каких не имел даже Иванов, несмотря на свою близость ко двору.

Поймав это выражение на всех лицах, Брусилов продолжал говорить дальше уравновешеннее и спокойней, так как основное им было уже достигнуто:

— Показывая его величеству девятую армию в Каменец-Подольске и около него, я удостоился благодарности государя за тот порядок, в каком были найдены части, хотя заслуга тут была не моя, а генерала Лечицкого. Порядок этот действительно никак иначе нельзя и назвать, как только образцовым. Я вполне убежден, что подобный же порядок найду и в одиннадцатой и в седьмой армиях, которыми назначу смотр в ближайшие дни. О своей бывшей восьмой не говорю, так как ее очень хорошо знаю.

Что нам всем известно из опыта последнего года войны? Я не ошибусь, конечно, если суммирую этот опыт в

немногих словах: наступательные действия противника удаются, как, например, всем хорошо памятный прорыв фронта третьей армии Макензенем, и приводят к неисчислимым потерям, а наступательные действия наши не удаются, как это мы видим на примере седьмой армии в Буковине и Галиции, или как недавнее наступление на Западном фронте, у генерала Эверта. Возникает естественный вопрос: почему то, что удается противнику, не удается нам?

Тут Брусилов сделал было новую паузу, вопросительно глядя при этом на Щербачева, однако, чуть только тот несколько приподнялся, чтобы сказать, конечно, всем уже набившие оскомину слова о недостатке снарядов и вообще технических средств, Брусилов сделал ему рукою останавливающий жест и ответил на свой вопрос сам:

— Все дело только в тактических приемах, которые наши руководители наступлений стремятся слепо заимствовать у немцев, вместо того чтобы создавать сообразно с обстоятельствами свои приемы. Прием немецких тактиков грубо прост и остается пока неизменным, а именно: собирается кулак против намеченного для прорыва места, и множество собранной артиллерии начинает долбить позиции, пока не продолбит брешь, в которую бросается пехота, а потом конница пускается по тылам, вот и все. Приказываю, — повысил он голос, — этот немецкий прием при нашем готовящемся наступлении решительно отбросить!

Генералы переглянулись в недоумении, а Брусилов, который и не ожидал ничего другого, продолжал уверенно и спокойно:

— В дело должен быть введен другой прием, тоже, разумеется, весьма простой, но почему-то до сего времени никем не применявшийся: каждая из четырех армий вверенного мне фронта должна наметить свой участок для прорыва фронта противника, и, сообразно с тем, какая из армий будет действовать удачнее других, ее успех незамедлительно будет поддержан и развит силами общесреднего резерва. Но, кроме того, некоторые корпуса, — тут Брусилов проникновенно посмотрел на Крымова, — тоже должны будут начать земляные работы, как подготовку к наступлению, причем это, разумеется, неминуемо станет известным противнику и неминуемо же собьет его с толку относительно настоящих направлений прорыва и каж-

дой из армий. Противник будет видеть сверху, с аэропланов, и будет фотографировать, конечно, нашу подготовку на боевое сближение с ним в одном месте, в другом, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, в седьмом, наконец, — и куда же именно командование его должно будет стягивать свои резервы? Между тем резервов у него немного, это известно нам. Вся сила его заключалась только в том, что эти резервы он умел стягивать к одному, нужному в тот или иной момент пункту, а мы этого не умели делать. Чем же он превосходил нас? Только ли тем, что у него более совершенная техника и более развитой транспорт? Нет, еще и тем, и главным образом тем, что держал в своих руках инициативу. Этот-то шанс мы и выйдем из его рук, когда начнем наступление сами.

Брусиллов говорил долго, так как ему было о чем говорить, и с подъемом, так как здесь, в кругу своих ближайших помощников, он уже почти осязательно представлял, во что может вылиться задуманная им операция, при одном только условии — если на фронте той армии, которой удастся прорыв, сумеют ковать железо, пока горячо, не дадут остыть развязанной энергии войск. Эта армия, на долю которой выпадет успех, должна была быть, по его мнению, не какая-либо другая, как только его бывшая, восьмая, и в конце своей речи он сказал об этом.

— Каждый успех той или иной армии я буду поддерживать всемерно, но главный удар все-таки намечается мною в направлении Луцка, то есть почетнейшая задача выпадает на долю восьмой.

Так как при этом он остановил глаза на Каледине, то это привело в смущение очень быстро выдвинувшегося генерала, к тому же только недавно вернувшегося после тяжелого ранения в строй. Теребя усы и с заметным трудом поднимая голову, запинаясь, глухо заговорил Каледин:

— Я не могу не быть благодарным за доверие ваше, Алексей Алексеевич, к моим... э-э... возможностям... главное же — возможностям командуемой мною армии... но не могу также не напомнить... э-э... что неприятель именно на Луцком направлении... чувствительно укрепился, так что мне кажется, что атака в лоб таких позиций не будет... э-э... не может даже быть успешной... Это заявить и считаю своим долгом.

Брусилов довольно давно уже знал Каледина,— еще до войны, по Киевскому военному округу,— и знал его тогда как прекрасного начальника кавалерийской дивизии. Благодаря его личному представлению Каледин получил корпус и никому другому, после отказа Клембовского, он, Брусилов, не хотел бы передавать своей армии,— только этому сумрачному с виду, но деловому генералу. И вот этот генерал повторяет то, что сказано было до него Щербачевым и что он, Брусилов, требовал не повторять.

— Я... я знаю позиции противника в Луцком направлении лучше, чем можете знать их вы,— резко возразил Каледину Брусилов.— Я... я знаю состояние восьмой армии также гораздо лучше, чем успели узнать ее вы! Если мною выбрано именно это, Луцкое направление, то я преследовал тут и другую цель: поддержать наступление соседних с восьмой армией войск генерала Эверта, так как ему, Эверту, вручается главная роль: он — в корню, а мы — на пристяжке. Но в крайнем случае, если вы заранее уверены в неуспехе на Луцком направлении, мне придется из восьмой армии передать решающий удар в смежную — одиннадцатую и действовать в направлении на Львов.

После этих слов пришла очередь беспокоиться генералу Сахарову, но он только покорно наклонил круглую голову на апоплексической шее в сторону Брусилова, понимая уже, что какие-либо возражения будут совершенно бесполезны. Но зато Каледин оказался не в состоянии перенести то, что он оттирается от основного удара, а Сахаров, которого он нисколько не уважал, может вдруг получить большую славу только потому, что смалодушествовал он, Каледин. Поэтому он заговорил снова:

— Алексей Алексеевич, позвольте мне объяснить: я не так вами понят! Я ведь сказал только, что... э-э... позиции противника на Луцком направлении очень сильны и они действительно сильны... Но я ведь не отказываюсь атаковать их! Ответственность, только одно это, — ответственность за неудачу, в случае если она постигнет мои усилия, — вот единственное, что мною учитывалось... э-э... Что меня беспокоило и сейчас беспокоит... а усилия, все усилия с моей стороны, разумеется, будут приложены.

Ответственность за успех, если он вас или другого постигнет, падет в конечном итоге на меня, конеч-

но, — спокойно сказал на это Брусилов. — А я ведь не непременно жду успеха там, где мне хотелось бы его схватить. Очень может случиться, что на Луцком направлении дело ограничится слабым успехом, а решительный результат обнаружится, скажем, на Львовском или любом другом. Ясно должно быть для всех, что я буду стараться раздуть этот решительный удар всеми резервами, какие у меня найдутся, так как руководить всею операцией в целом буду ведь я, и единственное, что я прошу от вас, это — донесений мне незамедлительных и правдивых. Конечно, все вы будете просить подкреплений, но вы понимаете, что я-то должен же на основании фактического, а не сумбурного какого-то, с бухты-барахты, донесения расходовать резервы и слать их туда, где без них вполне могли бы обойтись, и лишать их тех, кто в них действительно нуждается, хотя и предпочитает истошным голосом не вопить об этом.

Новшество, предложенное Брусиловым, казалось со стороны как будто и небольшим, однако оно совершенно опрокидывало привычные представления собранных им на совет генералов, причем все эти генералы были академики, не академиком же среди них был только он сам, их начальник. Вспомнив об этом, Брусилов добавил:

— Мне могут сказать, что если с волками жить, то по-волчьи надо и выть, и что тактический прием немецкого командования, а именно — сильнейший кулак только в месте намеченного прорыва, есть прием безусловно существенный, а тот прием, какой я хочу провести на своем фронте, с самого начала уже распыляет мои силы, и вместо кулака может получиться только пятерня, годная разве что для пощечины, а не для сокрушения зубов, но справиться с такими безусловно сильными позициями нельзя без военной хитрости. Позиции эти укреплялись девять месяцев; они стоили австро-германцам и много трудов, и много искусства, и много средств. На что же я надеюсь, решаясь атаковать их? Как это ни звучит парадоксально, я надеюсь только на то же самое, на что надеются и австро-германцы, то есть на то, что они очень сильны.

Это заявление не могло не вызвать недоумения со стороны генералов, и Брусилов закончил так:

Надеюсь на их неприступность, высшее командование германской армии начало оттигивать свои дивизии с

нашего фронта на запад; надеясь на их крепость, высшее командование австрийцев снимает кое-какие свои дивизии на итальянский фронт. По данным нашей разведки, против нас теперь, то есть против Юго-Западного фронта, стоит армия общими силами не свыше полумиллиона человек, но есть надежда у меня, что она с течением времени отнюдь не увеличится, а только уменьшится. Так что численность неприятельских войск нас страшить не может, а преодолеть то, что они понастроили против нас, это уж дело вашей настойчивости и вашего искусства.

Сказав это, Брусилов поднялся, давая этим понять, что им сказано все и что теперь должна начаться усиленная подготовка фронта.

II

Дивизия, в которую входил полк Кюна, была третьеочередная, собранная исключительно из бывших ополченских дружин, но зато командовал ею боевой генерал-лейтенант Константин Лукич Гильчевский, и вскоре после того, как он узнал, что наступление окончательно решено и намечено на средние числа мая, он явился в расположение своих полков в целях окончательного подсчета всех своих сильных и слабых сторон.

Были в старину сверхсрочные унтера, оставшиеся на военной службе до старости: таким унтером, украшенным серебряными и золотыми шевронами на рукавах мундира и шинели, был и отец генерала Гильчевского в одном из кавказских полков, и едва ли надеялся он когда-нибудь на то, что сын его, поступивший добровольцем в пехотный полк во время русско-турецкой войны, получит прапорщика, как отличившийся при взятии Карса, будет принят после войны в академию генерального штаба, которую успешно окончит, и пойдет потом шагать от чина к чину.

Он и шагал бы безудержно и далеко бы, может быть, шагнул, если бы не отказался усмирять рабочих в Кутансе, когда командовал Мингрельским полком в 1905 году. Это сильно затормозило его дальнейшее продвижение по службе, но все-таки он получил второй генеральский чин и вместе с ним дивизию из второочередных полков, с которой и прославился в начале войны и проштрафился снова, так что был временно отставлен. Однако недостаток

генералов заставил высшее начальство снова поставить его во главе дивизии и даже больше того: теперь ему, как боевому генералу, дали ни больше ни меньше как задачу прорыва фронта — одну из нескольких, правда, подобных задач, но другие задачи выпали на долю кадровых дивизий, его же, ополченская, носила трехзначный номер, а названия полков в ней были неслыханные до этой войны в русской армии.

Ему было уже под шестьдесят, но у него задорно еще светились круглые серые глаза под получерными, полуседыми бровями, и серый волос на голове его был еще густ, и голос еще звонок, и в поясе он был гибок, и по-кавказски неумоимо подолгу он мог держаться в седле, предпочитая верховую лошадь генеральской легковой машине, на которой далеко не везде можно проехать, а ближе к позициям лучше и совсем не подъезжать.

Он любил также по-кавказски кутнуть в хорошей компании и по приличному поводу и, разойдясь, спрашивал, хитровато шурясь:

— А ну-ка, ответьте на Наполеонов вопрос: что будет выгоднее для дела — войско львов, предводимое баранами, или войско баранов, предводимое львами?

Конечно, Наполеонов вопрос этот знали и отвечали, как требовал сам Наполеон, что войско баранов под предводительством льва выгодней, потому что боеспособней.

Тогда он бил себя кулаками в грудь и добавлял:

— Это — я и моя ополченская дивизия!

Так же было и с его первой дивизией из запасных, которая делала в его руках чудеса на фронте, но, воспользовавшись однажды его крепким сном после кутежа, как-то так, здорово живешь, ненароком, по небрежности сожгла целый небольшой австрийский городок, только что перед тем взятый ею же с бою.

За это-то художество «баранов» и отчислили в резерв «льва», однако не сразу. Он должен был совершить еще подвиг, от которого благоразумно отказался генерал, уже явившийся было ему на смену. Этот подвиг был — форсирование с боями реки Вислы, имевшей в том месте полверсты в ширину, причем на реке не было никакого моста, — его еще нужно было сделать.

По замыслу высшего командования предполагалось произвести здесь не столько переправу через Вислу, сколько демонстративные действия, имеющие характер пе-

реправы. Настоящая переправа войск происходила гораздо севернее, но об этом не было дано знать Гильчевскому, он понял приказ буквально и принялся за дело с тою энергией, которая его отличала, тем более, что распоряжение шло от Лечицкого, а это был генерал серьезный.

В виду неприятеля, занимавшего позиции на другом берегу Вислы, с лесопильного завода, расположенного верстах в двенадцати от русских позиций, начали доставлять доски для постройки моста. Над этим трудилось много полковых лошадей и много людей, но это был мирный труд. Немцы с другого берега широкой реки наблюдали его спокойно: пока мост не был перекинут через реку, им и беспокоиться было нечего, а вот строить мост под орудийным и пулеметным огнем,— это могло, конечно, привлечь пристальное внимание кого угодно, не только немцев.

Гильчевский достал не только доски, но и булыжник для башмаков козел моста,—горы этого булыжника привезли подводы на берег,— и железо, и скобы, и гвозди, и канаты,— строить так строить,— нужно, чтобы все при этом было под руками, но прежде всего, конечно, надо было отогнать подальше зрителей с другого берега, а для этого переправить каким-нибудь образом свою дивизию на тот берег и занять позиции немцев.

Это было то самое, чего испугался его заместитель, засевший пока в штабе корпуса в ожидании, когда сломает себе на этом голову Гильчевский.

Однако Гильчевский ломал голову только над переправой и ломал не зря. Он изъездил верхом весь свой участок берега,— приблизительно верст двадцать, и хорошо изучил и глубокую реку с ее быстрым течением, крутыми берегами и широкой, версты на три, на четыре, долиной, и небольшие заросшие ивняком острова на ее старом русле. В эти-то острова он и вцепился.

Берега Вислы здесь были чрезвычайно густо заселены: польские деревни, еврейские местечки, отдельные фольварки, господские дома в имениях польских помещиков, окруженные парками,— все это, с одной стороны, содействовало продвижению дивизий к намеченным для переправы островам, с другой же — убеждало в том, что сделать это втайне от противника, хотя бы и пользуясь ночами, было невозможно: глаза и уши его непременно должны были таиться тут везде.

Гильчевский пустился на хитрость, чтобы сбить с толку и противника и его шпионов: днем он развил большую суету в одном, более удобном для переправы месте, чтобы ночью начать переправу в другом, менее удобном на любой взгляд. Он учел при этом и то, что против места, выбранного им для демонстрации, тянулись позиции, занятые германцами, а позиции против островов, намеченных для переправы, занимали австрийцы.

Но где бы и как бы ни переправлять дивизию, этого нельзя было сделать без каких-нибудь, хотя бы и небольших, лодок. Однако у приречных жителей лодок не оказалось. С трудом удалось узнать, что лодки были, но владельцы сознательно утопили их, чтобы сохранить от реквизиции. Действительно, когда в хмельниках помещичьих имений нашли длинные жерди, то при помощи жердей этих разыскали утопленные лодки; выбрали из них камень, подняли, и Гильчевский довольно потер руки от удачи. Теперь оставалось только приступить к переправе передовых отрядов там, где намечена была демонстрация.

В сумерки 9 октября эта демонстрация началась и, конечно, встречена была орудийными залпами немцев, но зато в ту же ночь на 10 октября пять батальонов переправилось где вброд, где вплавь, где на лодках, которых было всего несколько штук, от острова к острову, на другой берег Вислы, выбили австрийцев из их окопов и закрепились в них при поддержке артиллерии, стоявшей на берегу.

Беспрерывная артиллерийская пальба допосилась на другой день с севера, около Ивангорода, где завязались серьезные бои, так что, выйдя на левый берег, дивизия Гильчевского должна была ударить во фланг австро-германцам, — так он сам понимал свою задачу. Поэтому, лично руководя переправой полков, он руководил и боем. пока наконец то, что считалось совершенно невыполнимым с точки зрения теории, — форсирование широкой реки без малейшего подобия моста и под обстрелом с сильно укрепленных позиций противника, — не закончилось вполне успешно, хотя проводилось и не одну только ночь, а захватило еще четыре дня и три ночи.

За это время у самого Гильчевского не раз возникали сомнения, не подтянет ли противник достаточных сил, чтобы опрокинуть и утопить в Висле и авангард его и

другие батальоны, которые он вводил в дело постепенно, не имея средств для переброски их разом: на пяти-шести лодчонках много людей не поместишь, но ведь кроме людей нужно было переправлять и лошадей и орудия.

В то же время никаких новых указаний он не получал, — значит, прежние оставили в силе. Ему приходилось думать, что начальство знает и силы и замыслы врага и где-то в другом месте проводит против него основательный нажим, а он должен не только приковать к себе немецкие и австрийские части, но еще и расколотить их и все это сделать со своими запасными, которые весьма упорно продолжали считать себя если и взятыми в ряды армии, то исключительно для службы в тылу, а не для сражений на фронте.

Во всей дивизии был только один штаб-офицер — подполковник, командовавший одним из полков, и его-то поставил Гильчевский начальником авангарда. Однако и он, кадровый офицер, не был уверен в успехе штурма неприятельских позиций, назначенного Гильчевским в ночь с 12 на 13 октября; он просил перенести его на утро, когда солдаты будут по крайней мере видеть, куда именно они идут на штурм.

Гильчевский в ответ на это только подтвердил свой приказ и ждал потом, что из этого выйдет: он считал, что штурм подготовлен артиллерией, и думал, что ночью его запасные будут действовать отчаянней. Артиллерия замолкла как с русской стороны, так и со стороны врага. Настала тишина. И вдруг — «ура» с того берега. Сначала жидкое, оно становилось все могучей, и трескотня пульметов и винтовок не могла его заглушить.

Это значило — начался штурм. Но его могли отбить, могли опрокинуть штурмующие колонны в Вислу... В землянке у своего офицера связи сидел Гильчевский и смотрел на него выжидающе, время от времени повторяя: «Ну? Что? Ничего нет?..» Провод мог быть, конечно, и перебит пулей теперь или перед атакой осколком снаряда... Гильчевский скрипел зубами, выходил из землянки, взгляды вали в сырую темь, откуда «ура» хотя и продолжало еще доноситься, но уже гораздо слабее, а выстрелы показались громче и чаще.

Наконец затихло там все ни ура, ни выстрелов... Что же там происходит? Тонут его солдаты в реке?.. Не забыл в то время Гильчевский никаких крепких слов, ко-

торыми вспоминал он свое начальство, давшее ему приказ, заведомо неисполнимый... Но вдруг дошло до связи — ста первое донесение с того берега: «Позиции противника взяты, идет подсчет пленных...»

— Ого! Ого, запасные!.. Вот тебе и запасные! Знай наших! — радостно выкрикнул Гильчевский и вытянул из кармана полфляги коньяку.

Потом пришло другое донесение: «Пленных 700 с лишним человек, из них 13 офицеров».

Для того чтобы броситься на штурм, солдаты должны были перейти вброд через проток — рукав Вислы — по грудь в воде, держа вещевые мешки и винтовки над головой. Как бы ни энергично вели обстрел батареи в течение дня, но гарнизон противника понес не такие большие потери, если после сопротивления сдалось еще несколько сот человек: можно было предположить, что не меньше бежало в тыл, пользуясь темнотой ночи. Эти бежавшие, конечно, должны были притянуть к утру гораздо более крупные силы, и вот перед Гильчевским встал вопрос, что делать дальше. Он решил в эту же ночь перебросить на тот берег всю остальную дивизию.

И переправа началась, тем более, что накануне удалось поднять со дна реки уже не рыбацью лодку, а целую баржу, на которую погрузили теперь пушки. К утру на другом берегу было уже одиннадцать батальонов, восемь орудий и две сотни донцов. Это позволило отбить контратаку противника, который ввел на другой день в дело бригаду босняков с артиллерией. Отбитые босняки окопались вблизи, ожидая подкреплений. Гильчевский тоже мог бы, как сделал бы другой начальник дивизии на его месте, остаться вблизи боевых действий около остальных пяти батальонов и пяти восьмиорудийных батарей, расположенных на правом берегу, и отсюда руководить действиями большей части дивизии, переброшенной на левый.

Однако он предпочел переправиться на каком-то паскоро сбитом плоту, причем случилось так, что через проток ему пришлось идти вброд наряду с солдатами. Это его отличало от других генералов, тем более от академиков, что он не переносил неизвестности, неразлучной с сиденьем в тылу, когда дивизия его вступила в бой.

Свои одиннадцать батальонов на бригаду босняков он вел уже сам, начав штурм их окопов в четыре часа

ночи. Штурм этот был так же удачен, как и первый. Окружены были все передовые позиции противника, захвачено больше шестисот пленных с офицерами, гаубичный парк, и от окончательного разгрома босняков спасли только их быстрые ноги.

Впрочем, преследовать их было запрещено командиром корпуса, приславшим в этом смысле строгий приказ. Предписывалось заняться постройкой моста.

Пришлось приступить к строительству, хотя материалов для моста было собрано не так много и качество их было плохое. Но через несколько дней на буксирных пароходах прибыл наконец из Ивангорода понтонный мост.

Вслед за тем явилась возможность отчислить Гильчевского в штаб корпуса с передачей им своей дивизии тому самому генералу, который выжидал в штабе более легких задач, чем форсирование Вислы без всяких надежд на удачу.

Никто из высшего начальства не обратил внимания на то, за что иного любимца судьбы могло бы выдвинуть или хотя бы отметить, и целую зиму Гильчевский был не у дел. Только в марте 1915 года он получил дивизию, которую надо было еще самому формировать из дружин, притом в большом портовом городе — Одессе.

Впрочем, долго с этим возиться не пришлось, — фронт требовал пополнений.

Вооруженные берданками, снабженные старинными запасами патронов с дымным порохом, дружины потянулись в Буковину, — в тот краешек ее, который был близок и к Каменец-Подольску, и к Хотину.

В каждой бригаде этой дивизии было шесть дружин, а при каждой из дружин по конной сотне и по батарее и шесть орудий. Так они и действовали в первых своих боях: стреляли отсыревшими патронами сорокалетней давности, причем пули летели не дальше как за пятьдесят шагов, а сами стрелки окутывались непроницаемым для глаз дымом, под защитой которого можно было бросать свои окопы и уходить, что они и делали, так как никакой дисциплины не знали. Бывало и так, что и окопы свои рыли они, обращая их фронтом не к противнику, а в тыл — до того не умели они располагаться на местности. Офицеров было очень мало; все они были или из отставки, отягченные годами, болезнями, но отнюдь не зна-

ниями боевых действий, или зауряд-прапорщики, что было не лучше.

И вот такую дивизию получил боевой генерал, причем времени на ее обучение ему не было дано, — она была брошена на фронт отстаивать отечество. Выходило так, что не зачисление в резерв генералов на полгода, а назначение командиром такой дивизии было подлинным наказанием для Гильчевского. Он все-таки привык ценить себя, если даже не ценило его начальство, но в первые дни и недели на новом для себя фронте и с совершенно небоеспособными дружками что он мог сделать против неприятеля, прекрасно укрепившегося, вполне дисциплинированного, в изобилии снабженного новейшим оружием и боеприпасами?

Он мог удивляться только тому, что не делал ничего и противник, только сидел в своих отлично оборудованных окопах и не то чтобы стрелял даже, а постреливал, — держал фронт и давал понять, что всего у него вдоволь, что воевать для него — приятное занятие, поэтому к каким-нибудь решительным действиям, которые бы сократили это удовольствие, он не стремится.

В то время как австрийцы защитили свои окопы сплошной стеной колючей проволоки на четырех рядах кольев и выбрали для окопов командующее положение, дружины должны были закапываться в землю в сырой низине, и ни кольев, ни проволоки им не доставляли долгое время. Много настоятельных требований об этом послал по начальству Гильчевский, пока наконец-то явилась возможность забить хоть один ряд кольев, а также раздать в дружины вместо берданок японские винтовки, которыми надо было еще научить пользоваться ополченцев, привыкших уже из-за дыма берданок не замечать, производит ли какое-нибудь действие их стрельба или нет.

Каждый день делал Гильчевский то, чего нельзя было даже и вообразить в русской армии того времени. — он, начальник дивизии, обходил окопы всех своих двенадцати дружин, проверяя лично чуть ли не каждого ополченца, не говоря об офицерах. Но когда в конце апреля 1915 года получил приказ о наступлении на своем участке фронта, он все-таки ахнул от изумления.

— Кто же сидит в штабе корпуса и армии, какие мерзавцы, хотел бы я знать?! — кричал он у себя в штабе дивизии. Как же мы будем наступать, когда у нас нет

даже ножниц для резки колючей проволоки? Как наступать, когда у нас почти нет снарядов? И против кого наступать мы должны с голыми руками? Против австрийцев, у которых снарядов горы, которые по одиночным людям нашим не стесняются из орудий лупить! Хороши мы будем, если начнем наступать! Красивый вид мы будем иметь, когда нас возьмут в работу!

Однако приказ он выполнил и если к чему стремился, то только к тому, чтобы уберечь своих ополченцев от больших потерь, когда австрийцы пошли в контратаку, показав при этом, что у них есть в глубине позиций даже и двенадцатидюймовые орудия, а по колючей проволоке пропущен с электростанции ток. Так защищали они в апреле 1915 года г. Черновицы, который штаб девятой армии намерен был взять силами двух рядом стоящих дивизий из ополченских дружин.

Впрочем, отогнав вздумавшие наступать дружины, австрийцы тоже не пошли вперед: они снова засели в свои чистенькие сухие окопы, наводя этим на размышления привыкшего к кипучим действиям Гильчевского. Но это был крайний левый фланг тогдашних русских позиций Юго-Западного фронта, а серьезные действия готовили австро-германцы не против девятой армии генерала Лечицкого, а против третьей, — которой командовал Радко-Дмитриев, — стоявшей на Карпатах и угрожавшей вторжением в богатые долины Венгрии.

Гром и грянул именно там в ближайшее время, а здесь, против Черновиц, раздались только его отголоски. Со стороны противника появились новые части, между ними и бригада баварских улан, и началось наступление, которое готовилось с ранней весны. Штаб корпуса приказал Гильчевскому, как и начальнику другой ополченской дивизии, отступить планомерно, а сам умчался в тыл сразу верст на сто.

Отступать под натиском значительно превосходящих сил — трудное искусство. Не раз случалось, что, поддавшись панике, ополченцы-артиллеристы бросали свои орудия, хотя и бесполезные, правда, в тот момент из-за отсутствия снарядов; а пехотинцы накидывались на свои же обозы, сбрасывали с повозок обозных, садились в них сами и, нахлестывая коней, мчались в тыл по дорогам и по хлебам вдоль дорог...

Гильчевский сам собирал, кого только удавалось со-

брать, чтобы приостановить напор противника арьергардными боями, пока не закрепился наконец там, где представлялась возможность защищаться продолжительное время. Но это было уже за Хотином, на подступах к Каменец-Подольску, так что пришлось бросить и долину Прута и перейти через Днестр.

Не только не удалось укрепиться, но даже неугомный Гильчевский решил перейти сам в наступление на австро-германцев, пользуясь тем, что они тоже приостановились и начали окапываться на вновь занятых рубежах.

Местность была богатая. Огромные сливовые сады окружали частые деревни. В одной из них, прилежавшей к Хотинскому шоссе, был большой сахарный завод, занятый противником. Туда-то и решил направить Гильчевский свой удар. Это была вполне понятная для всех ополченцев цель, и радовалось сердце начальника дивизии, когда, после артиллерийского обстрела завода ринулись туда среди бела дня, — в четыре часа пополудни, — три дружины.

И завод был взят к ночи — это было первое удачное дело дивизии, за которое Гильчевский готов был расцеловать каждого из своих ополченцев, будь то зауряд-прапорщик, будь то рядовой. Этот завод был ключом новых позиций противника, поэтому последствия успешной атаки оказались гораздо более крупными, чем ожидал Гильчевский: в следующую ночь австрийцы очистили все, что было ими занято, и откатились к старой линии своих окопов.

Гильчевский повел свои дружины следом за ними, чтобы не потерять соприкосновения с врагом, между тем как другой ополченской дивизии рядом с ним теперь не было, а штаб корпуса успел забраться так далеко, что о нем ничего не было слышно. Дивизия действовала так, как будто одна она и представляла все русские силы между Днестром и Прутом в направлении Черновца.

И нужно же было, чтобы как раз в то время, когда дивизии удалось нагнать противника, нагнал и дивизию офицер, посланный вдруг проявившим признаки жизни где-то в тылу командиром корпуса генералом Федотовым. Офицер этот привез категорический приказ остановиться и ждать подхода остальных частей корпуса — второй ополченской дивизии и конных полков.

Пришлось остановить дружины, горевшие желанием

боя, но это значило дать противнику возможность и время подготовить как следует отпор, тем более он занял холмистую местность, покрытую буковым лесом,— очень удобную для защиты и трудную для нападения.

Подошла вторая дивизия; подошли даже и кавказские пластуны, которые, пробыв перед тем несколько дней в Севастополе, отправлены были потом морем в Одессу. Однако, как ни приятно было Гильчевскому иметь у себя под боком кавказцев с одной стороны и вторую дивизию ополченцев — с другой, он горестно бил себя по бедрам, прикусывал ус и грозил кулаком в сторону предполагаемой штаб-квартиры Федотова, приговаривая:

— Эх, вот кого бить некому, а следует! Пропустил время, лодырь божий!

Относительно пластунов он знал еще по Кавказу, что они не признают никаких окопов и никогда не занимаются саперным делом, что вместо окопов у них кусты, пеньки, камни, но они — меткие стрелки. Пренебрежение к окопам прощалось им на Кавказе, но здесь была другая война, и тревожно было за них: как-то они себя здесь покажут?

Впоследствии пластуны приспособились и к этой войне, и противник их очень боялся, но в эти дни неудача ожидала всех, так как пришлось атаковать врага на его старых, давно им обжитых, позициях.

Даже те двенадцатидюймовые гаубицы, которые были уже знакомы дивизии Гильчевского, заговорили снова, делая огромные воронки десятиметровой глубины. Три атаки одна за другой были отбиты венгерскими и хорватскими частями, и, хотя несколько окопов было взято, их все-таки пришлось оставить. Потери были значительны, и единственным результатом этих атак явилось только то, что, укрепившись потом вблизи австрийских позиций на австрийской же территории, ополченская дивизия Гильчевского оказалась единственной в этом отношении дивизией во всей русской армии, продолжавшей отступление в глубь своей страны.

После того надолго установилось затишье в этом углу фронта. Летом из двенадцати дружин каждой из двух ополченских позиций 32-го корпуса были сформированы по четыре трехбатальонных полка, командиры которых были присланы из полевых войск, а бывшие командиры дружины стали командовать батальонами. Самое слово

«ополченец» было с тех пор вычеркнуто из обиходной даже речи.

— Ну, братцы, раз вы назвались груздями, так полезайте теперь в кузов! — сказал своим теперь уже обстрелянным питомцам Гильчевский и приступил к их окончательной шлифовке, когда тот или иной полк поочередно находился в резерве.

Тут все тогда делалось при нем: и показная атака позиций, укрепленных рядами проволочных заграждений, и решение тактических задач на местности, и вождение войск в лесах, для чего было выписано много компасов. Последнее было самым трудным делом: части, попадавшие в лес, очень быстро теряли и направление и связь и становились беспастушным стадом. Тут же делались саперами ручные гранаты из консервных жестянок, готовились рогатки, которые потом по ходам сообщения выносились к передовым окопам.

Все научились тогда резать ножницами колючую проволоку, но на деле оказалось, что одно дело заниматься этим у себя в тылу и совсем другое — под огнем противника. Однако введенного тогда уже французами способа уничтожения проволочных заграждений при помощи гранат в русской армии еще не знали.

Даже учебную команду на триста человек для подготовки унтер-офицеров учредил в своей дивизии Гильчевский. Никто не помогал ему в работе ни из штаба корпуса, ни тем более из штаба армии, но он был рад и тому, что никто не мешал.

Так простояла его дивизия до конца года, когда весь корпус был переведен в восьмую армию Брусилова, в район города Ровно, на Волыни, где и застала его весна 16-го года.

Через месяц после того, как утвердился здесь Гильчевский, он, по своей личной инициативе, повел атаку одним из полков на высоту противника, с которой тот обстреливал и днем и ночью из винтовок и пулеметов дорогу между местечком, где был штаб дивизии, и деревней, где был штаб этого полка, — нельзя было ни ходить, ни ездить, много было потерь.

Высота эта взята была ночным штурмом, и два батальона не только заняли на ней бывшие окопы австрийцев, но и удержали их за собою, несмотря на сильный

артиллерийский обстрел и неоднократные попытки противника их отбить.

Так как штурм высоты произведен был без ведома корпусного командира Федотова, то он задержал список отличившихся при этом, представленных Гильчевским к награде. Но вскоре после этого явился на смотр нового корпуса своей армии Брусиллов, и для него приятной новостью оказалось, что доложил ему сам Гильчевский о взятой его полком высоте.

— Как же вы не донесли мне об этом? — обратился Брусиллов к Федотову.

— Дело это у меня совершенно подготовлено, но просто по недостатку времени, ваше высокопревосходительство, — вывернулся Федотов.

Сам он никогда в окопах не бывал и теперь, идя следом за Брусилловым, видимо, даже не понимал, как может командующий армией ходить там, где все время свистят над головой пули.

— Я представил к награде командира полка, а также всех отличившихся в этом деле, — не постеснялся сказать Брусиллову Гильчевский, — но до сих пор, однако...

— Как же вы так? — обращаясь к Федотову, перебил Гильчевского Брусиллов. — Сегодня же передайте мне список представленных, — добавил он сухо, — и на будущее время прошу вас этого не делать.

И тут же, остановившись под пулями, которым то и дело кланялся Федотов, Брусиллов, поняв уже, что не Федотов отважился приказать взять высоту штурмом, а этот бравый начальник дивизии, сердечно поблагодарил Гильчевского. Это была первая благодарность, какую получил от высшего начальства во всю войну боевой генерал.

III

Ливенцев за два-три дня успел познакомиться и со своей ротой и со всеми офицерами четвертого батальона, благо их было пока немного, да и весь батальон еще только составлялся тут из маршевых команд, окопы же, которые он занял, оставила ему другая часть, переведенная гораздо левее по линии фронта.

Оказалось, что на людей в эту весну не скупилась

ставка, — людей в тогдашней России нашлось еще очень много, несмотря на огромные потери летом 15-го года: мало было тяжелых орудий и снарядов, мало вагонов, так как сотни тысяч их было занято под постоянное жилье беженцами, мало было даже винтовок, но людей пока хватало для того, чтобы создать подавляющее превосходство в силах на всех фронтах войны.

И люди были не плохи, — это видел и Ливенцев по своей и по другим ротам. Кроме вятских, тут были и волжане — довольно рослый и крепкий на вид народ. Наметанный уже глаз Ливенцева давал им оценку не только как окопникам — он представлял их впереди своих окопов, с винтовками «на руку» и с ярыми лицами. какие, он помнил, были у солдат его прежней роты при атаке высоты 370 в Галиции, и говорил Обидину:

— Ничего, народ в общем бравый... Главное, много молодых, а старых гораздо меньше.

Но Обидин смотрел на него растерянно.

— Бравый, вы говорите? Это просто орда какая-то, — никакой дисциплины, — бормотал он и махал безнадежно рукой.

— Какой же вы хотели бы дисциплины? Как в казарме? Такой нельзя и требовать, ведь это — позиция, — пробовал убеждать его Ливенцев. — Тут они не перед лицом устава гарнизонной службы, а перед лицом ее величества Смерти.

— Однако без дисциплины как же перед лицом Смерти чувствовать себя? Скосит — и все!

У Обидина было при этом такое обреченное, отчаявшееся во всем лицо, что ему не нужно было и делать того слабого жеста рукой, какой он сделал, чтобы представить косу смерти над его ротой. Это заставило Ливенцева мгновенно стать на его место и тут же попятиться назад. Он сказал ему наставительно, как старший младшему, как опытный новичку:

— Разумеется, вы сами, лично вы должны себя чувствовать так, как будто и сидеть в окопах, вшей кормить, для вас ничего не значит, и в атаку идти если, — пожалуйста, сколько угодно, — вот тогда и будет у вас дисциплина в роте, а иначе откуда же она возьмется? Солдат в роте все равно что ученик в классе: вы наблюдаете его, а он вас. Ведь вы тут живете с ним рядом и терпите то же, что и он, ведь вы не начальник дивизии, а всего толь-

ко командир роты — невеликая птица. Вот и покажите ему на своем примере, как надо терпеть все солдатские нужды, тогда он вас и слушать будет и за вами куда угодно пойдет.

— А вы? — вдруг, как будто раздраженный его тоном, спросил Обидин.

— Что я? — не понял Ливенцев, так как, говоря Обидину, он старался как бы убедить самого себя.

— Вас слушают?

— Ну, еще бы!

— И за вами пойдут? — качнул Обидин головой в сторону австрийских окопов.

— Непременно! — постарался убедить самого себя Ливенцев.

— Непременно?.. А зачем? — вызывающе спросил Обидин и снова махнул рукой в знак безнадежности.

Это случалось иногда раньше с Ливенцевым, что другой человек для него становился мгновенно вдруг чужим, ненужным, даже ненавистным — иногда после одного какого-нибудь слова, если только это слово выражало его неприглядную сущность, с которой он не мог мириться. Так вышло и теперь с Обидиным, который как будто воплотил в себе все дряблкое, что таилось и в самом Ливенцеве под его внешней бравадой, но совершенно было ни к чему тут, где все жестко, жестоко, стихийно-бессмысленно, трагично в огромнейших масштабах, а не в личных и не в семейных, и даже не в масштабах одного города, пусть столь же населенного, как Лондон или Нью-Йорк... Ливенцев сам как будто вырос сразу, в один этот момент, когда появилась в нем острая неприязнь к человеку располагающей внешности, с которым он ехал сюда в одном вагоне и почевал по приезде первую ночь в одном блиндаже.

— Вы помните, у Достоевского есть капитан в среде ему чуждой, в среде атеистов, а? — спросил он резко. — Помните, как он бросил на пол свою фуражку и сказал: «Если бога нет, то какой я капитан?» Как же вы хотите остаться жить на свете и считаться вполне порядочным человеком, если не будет России, если вместо России будет откровеннейшая немецкая какая-нибудь Остланд или как-нибудь иначе, а?

Ничего в этом страшного не вижу, — убежденно-спокойно отозвался на его горячую тираду Обидин.

Ну, если так, то... то, признаться вам, я не хотел

бы иметь вас своим соседом по роте,— столь же убежденно сказал Ливенцев и отошел от него поспешно.

Это произошло как раз на той самой дороге, которая теперь была безопасна для ходьбы и езды, так как на некрутой высотке перед нею, версты за полторы-две, сидели теперь в окопах не гонведы, а русские солдаты другого полка той же дивизии, которые и взяли штурмом эти окопы, и сидели они там упорно, несмотря на долговременный и сильнейший артиллерийский огонь австрийцев, которые наконец примирились с потерей и умолкли.

Иногда нужны бывают толчки извне, чтобы осмыслить то, что в себе самом еще недостаточно ясно. Таким толчком и был для Ливенцева этот короткий разговор с прапорщиком, хотя и побывавшим в военной школе, но не вынесшим оттуда ничего, кроме равнодушия к судьбам своей родины.

Ливенцев не знал о себе самом и многого другого, что удалось узнать только во время войны. Он не думал, например, даже и представить не мог, что он способен так стоически переносить все неслыханные и невиданные им до того неудобства фронтовой жизни и даже привыкать к ним; он не думал, что может засыпать под залпы тяжелой артиллерии и в то же время вскакивать, как резиновый, когда его будили по неотложному делу; он не думал, что в нем найдется то же самое сопротивление разным воздействиям извне, какое он с изумлением наблюдал у солдат в первые недели своей службы,— однако сопротивление это нашлось у него под тяжелым ворохом математических формул и прочего, очень многого, совершенно ненужного теперь, но что он усваивал всю свою жизнь ревностно и жадно.

Если бы ему сказали раньше, что те два-три месяца, какие он провел вне фронта, не заставят его ни возненавидеть, ни проклясть, ни даже прочно забыть фронт,— он бы ни за что не поверил, и, однако, это было именно так: в госпитале он просто скучал по тому, что осталось на фронте, хотя остались там только снега, бураны, замерзающие солдаты, «самострелы», окопы, в которых нельзя было ни сесть ни лечь от избытка в них почвенной воды, и случайные товарищи по несчастью, среди которых не было и не могло быть друзей.

Выздоровев от раны в грудь, он не искал себе места в

тылу, как делали многие другие, — его тянуло снова на фронт, и он объяснял самому себе эту тягу несколько сложно.

Человек науки, он сравнивал это с тягой ученых в неведомые страны, обозначаемые на картах белыми пятнами. В этих странах что могло ожидать путешественников? Всевозможные виды лишений, опасностей и даже смерть от чего бы то ни было. Однако ученые шли, подчиняясь тому, что было в них сильнее любви к тихому удобному кабинету, и иногда погибали, но зато белых пятен на картах мира становилось все меньше и меньше. Или он сравнивал это с наводнением, которое угрожает залить город, и вот все от мала до велика начинают работать кирками и лопатами, строить дамбу, способную защитить город. Тут нельзя отговариваться тем, что никогда не копал земли, что это гораздо лучше могут сделать грабари, привычные к земляным работам: вода не ждет, она приближается, она вот-вот хлынет и разрушит город, поэтому всякая сила нужна, хотя бы и стариков и ребят. Наконец он сравнивал это и с созидательным трудом, в котором участвуют миллионы. Ничто в природе не пропадает, на развалинах одного воздвигается другое и непременно более совершенное... «Что такое эта война? — спрашивал он себя самого и отвечал себе: — Гигантский процесс отмирания отживших форм, понятий и представлений и зарождение других», и вспоминал при этом известные стихи: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...»

Все это ничуть не мешало ему возмущаться тем, как делалось то или другое на фронте, однако гораздо больше возмущало его то, что делалось в тылу, где все оставалось по существу своему довоенным, как будто тут, на западе страны, не совершалась титаническая ломка всех старых устоев.

В числе многих сторон в себе, которые были ему до войны не известны, оказалось, неожиданно для него самого, и то, что он любит Россию. Если бы перед войной кто-нибудь спросил его: «Как вы смотрите на Россию?», он бы ответил, улыбаясь: «Посмотрите лучше в том словаре Брокгауза, так и озаглавленный «Россия», там вы, наверное, найдете ответ на свой вопрос». А если бы вопрос повторили, с нарочитым ударением на «вы», он процитировал бы две тютчевские строчки: «Умом Россию не

обнять, аршином общим не измерить» и на этом бы кончил. Теперь же слова Обидина показались ему кощунством и по смыслу и по тону, каким были сказаны: русскому человеку, каким был Обидин, он их простить не мог.

Генерал Гильчевский не то чтобы производил смотр своим полкам в эти дни,— строгое по содержанию слово «смотр» сюда не подходило,— он просто знакомился с тем пополнением, какое ему присылали, так как основные полки знал хорошо. Однако фронт насыщался людьми с большою щедростью, так что в пополнениях, приходивших в каждый полк, было почти столько же человек, сколько во всех трех старых его батальонах: дивизия удваивалась, она становилась крупной военной единицей, что, с одной стороны, повышало значение начальника дивизии, а с другой — значительно осложняло его роль.

Новые десять тысяч человек могли совершенно изменить весь установившийся уже облик и уклад дивизии, так как боевого опыта они не имели. Особенно беспокоили Гильчевского четвертые батальоны, которые должны были действовать вполне самостоятельно наравне с тремя первыми, а разве их можно было поставить наравне с теми, которые провели уж на фронте целый год?

Обыкновенно и прежде Гильчевский каждый день посещал тот или иной участок своей позиции или даже, если позволяло время, обходил ее всю из одного конца в другой, но последние дни он был занят только резервами, и полк Кюна был последним, куда он попал, уже обеспокоенный тем, что пришлось ему видеть в других полках.

Его беспокоило не то, что люди плохо знали службу, что у них была плохая выправка, даже и не то, что они плохо умели стрелять,— все это в его глазах было дело наживное, но он заметил среди них довольно много людей тяжелого, как он сам определил, взгляда.

— У моей матери,— говорил он своему начальнику штаба полковнику Протазанову,— было маленькое домашнее хозяйство и, между прочим, водились коровы. Она сама их, конечно, доила и по части коров, как я потом по части лошадей, кое-что понимала. Так вот, помню я это еще с детства, говорила она своей соседке: «Ты хочешь корову себе приобрести, а того не знаешь, какую. Ты ей на имя глядишь, — она, моя мать, так и говорила не «вымя», а «имя», — а ты бы ей еще и в глаза поглядела: как

если глаза у нее тяжелые, нелюдимые, ту корову не покупай,— она тебе и доенку ногой может из рук выбить, а то когда в углу прижмет, то и рогами забрухтает...» Вот я это мамино наставление и вспомнил, как на наших маршевиков смотрел: тяжелый какой-то у многих, действительно — «нелюдимый» взгляд!

— Это и я тоже заметил,— отозвался Протазанов, очень всегда подтянутый, размеренно-деятельный человек, с красивыми сухими чертами лица,— академик.— Физически народ подходящий, а психика стала уж не та, какая была у наших ополченцев год назад. Это — действие затяжной войны. Через год люди, надо полагать, будут глядеть на свое начальство еще нелюдимее. И вполне объяснимо это,— ведь больших удач нет, а только большие неудачи.

— То-то и есть... И только у меня и надежды, что через год и у немцев пополнения будут глядеть нелюдимо.

Так настроенный пришел в четвертый батальон Гильчевский, где его встретили Кюн со своим адъютантом, прапорщиком Антоновым, и командир батальона подполковник Шангин.

Шангина Ливенцев определил с первого с ним знакомства словом «разболтанный». До своей отставки, откуда был он взят, Шангин служил в корпусе военных топографов и, по его же словам, «топографию прилично знал во время оно, а что касается тактики — ни в зуб!».

Он и просто пехотного строя не знал и путался в командах, подзубривал их по уставчику, и ходил не только по-стариковски, хотя шестидесяти лет еще не имел, но и по-штатски, как-то сгибаясь в поясе и виляя плечами. Борода его, еще не седая, желтая, расчесывалась им веером от подбородка, а выцветающие глаза смотрели на всех подслеповато-приветливо, так как здоровьем он, по видимому, был еще крепок и «переносить труды походной жизни», как писалось в «аттестациях штаб-офицеров», мог, почему и был назначен командиром батальона, идущего на фронт. От недостатка зубов говорил пришепетывая и перед большим начальством робел.

Так как тринадцатая рота Ливенцева была первой в батальоне, то с нее и начался смотр.

Ливенцев успел уже кое-что услышать об этом новом для него начальнике дивизии в штабе полка и потому глядел на него с большим любопытством, но он заметил,

что не меньшее любопытство было в серых, под получерными бровями, круглых глазах генерала.

— Зауряд? — коротко спросил Гильчевский.

— Никак нет, ваше превосходительство, бывший прапорщик запаса, каким стал еще в прошлом столетии. В японскую войну призывался из запаса, в эту призван из отставки, — обстоятельно ответил Ливенцев.

— А-а! — довольно протянул Гильчевский. — И, может быть, даже в боях бывали?

— Так точно, бывал, и в эту войну, так как служу уже больше чем полтора года.

— Бывали? — очень оживился Гильчевский. — На каком именно фронте?

— На Галицийском.

— Отступали, ну-ка, а?

— Никак нет, пришлось наступать, — невольно улыбнувшись затаенному лукавству, с каким был задан вопрос, ответил Ливенцев и добавил: — Моей ротой была занята высота с австрийскими окопами... Впоследствии я был ранен, лежал в госпитале, по выздоровлении зачислен в четыреста второй полк.

— Прекрасный рапорт! — почему-то с ударением на «о» весело сказал Гильчевский. — Вполне уверен, что вы прекрасно представите и свою роту.

— В этой роте я всего только три дня, так как приехал сюда прямо из госпиталя, — сказал Ливенцев, но Гильчевский отозвался на это по-прежнему весело:

— Это не составляет сути дела, когда вы приехали!

И Ливенцев понял, что этот начальник заранее готов простить ему все недочеты, но вышло так, что ни о каких недочетах он и не говорил.

К тому, чтобы иметь под своим начальством полтора-ста, двести или даже полностью двести пятьдесят человек, Ливенцев уже привык; столько людей он способен был и быстро запомнить и долго держать в памяти, тем более, что рота делилась на равные части взводов и отделений. Человек пятьдесят из разных взводов он успел узнать за эти три дня несколько ближе, чем других, потому что спрашивал их, откуда они и чем занимались до призыва в армию.

Он спрашивал это для себя лично, чтобы иметь понятие о людях, которых придется когда-нибудь ему вести на окопы противника: как же он будет вести на смерть

тех, кого совсем не знает? И как они могут идти за ним, когда его не знают? Обоюдное знание это казалось ему гораздо более необходимым, чем знание разных мелочей службы.

Поэтому он становился искренне рад, если вдруг оказывалось из расспросов, что бывал сам в той или иной местности, откуда родом его новый подчиненный, или даже просто читал, слышал о ней. Так один, Селиванкин, оказался из села Ижевского Рязанской губернии.

— Постой-ка, братец, село Ижевское, это, кажется, Спасского уезда? — начал припоминать Ливенцев.

— Так точно, Спасского! — радостно ответил Селиванкин.

— И там ведь у вас все бондари, насколько я знаю, должно быть, и ты — бондарь?

— Так точно, бондарь я! — еще радостнее отозвался и прямо засиял Селиванкин.

— Ну, значит, мы с тобой земляки, выходит. Селиванкин!

Но и волжанин из Большой Глушицы под Самарой — Дымогаров тоже был назван им своим земляком, хотя он сам никогда не был в Большой Глушице, а только случайно слышал о ней.

Подобных «земляков» из опрошенных им оказалось около тридцати человек, и он знал наперед, что когда опросит таким образом всю роту, то окажется их не меньше двухсот: всегда ведь можно было что-нибудь припомнить о той или другой местности, вроде: «А-а, это у вас там битюгов разводят?» или: «Знаю, знаю: у вас там пяточный завод Полизовкина!..» Когда один оказался из села Березайка и Ливенцев припомнил, что когда-то слышал: «Там возле села и станция «Березайка», — кому надо, вылезай-ка!» — то березаевец заулыбался во все широкое заросшее сорокалетнее лицо: ведь это и ему было знакомо едва ли не с детства.

К удивлению Ливенцева, приблизительно в таком же духе знакомился с его ротой и генерал Гильчевский, только у него оказался еще и язык, богатый народными словечками, красочными и яркими, и язык этот очень шел к нему с его лохматыми серыми усами: по годам своим каждому солдату он мог годиться в отцы.

Он обратил внимание на то, что в тринадцатой роте трубы окопных печей были прикрыты мешками, чтобы

дым из них не поднимался столбом, а расплзался над землею. В других ротах этого не было, и он, не говоря об этом ничего самому Ливенцеву, сказал солдатам:

— Это ваше счастье, ребята, что у вас такой ротный командир оказался! Будь бы я рядовой, а не начальник дивизии, я бы знал, что с таким ротным нигде бы не пропал, а немцам бы по первое число всыпал! Впрочем, и мне, начальнику дивизии, тоже не плохо, раз у меня нашелся офицер до того к вам заботливый, что от неприятельских пушек вас и в резерве спасает!

И только тут он показал пальцем на трубы в мешках.

Каганцы вместо телефонных проводов уже появились в окопах по хлопотам Ливенцева; привезли и свежей соломы,— вообще окопы приведены были в более сносный вид, что тоже не укрылось от зорких глаз Гильчевского, и к смотру четырнадцатой роты он приступил уже в приподнятом настроении.

Там приказал он Обидину вывести первый взвод на укрытый от противника участок, чтобы узнать, умеют ли его новые солдаты если не стрелять из австрийских винтовок, которые получили они перед отправкой сюда, так хотя бы заряжать, и знают ли они сборку-разборку.

Но, когда взвод роты Обидина, расстелив на земле шинели, принялся по команде Гильчевского разбирать винтовки, действуя отвертками, случилось то, что смутно ожидал начальник дивизии от людей с нелюдимыми глазами.

Он посмотрел ствол одной винтовки, другой, третьей,— оказались грязными, несмазанными; разбирать магазинную коробку не умели; не знали даже, как называются отдельные части.

Гильчевский не ставил этого в вину Обидину, зная, что он в роте — человек новый, не винил и солдат, зная, что винтовки эти выданы им только перед отправкой, а до того в их руках были берданки. Он только говорил Обидину:

— Надо вам подналечь, подзаняться этим делом!

И солдатам:

— Прежде всего, ребята, береги винтовку, а винтовка уберекет вас! Сборке-разборке,— этому вас научат, а чистить ствол вы уж должны уметь...

Так, переходя от одного к другому, подошел Гильчевский и к рядовому с тяжелым взглядом. Это был рос-

лый малый со сжатыми губами и с желваками под скулами; держа в правой руке ствол винтовки, как дубинку, глядел он на генерала явно ненавистно.

— Как фамилия? — спросил Гильчевский, сразу насторожась.

— Мослаков, — протиснул тот сквозь зубы.

— Отвечать не умеешь! — слегка поднял голос Гильчевский, беря в то же время ствол его винтовки за нижний конец, и разглядел, что он забит землею.

— Кэ-эк это тэ-эк не умею? — с выдыхом, с запалом протянул Мослаков, глядя не только ненавистно, но и вызывающе.

Предчувствуя уже недоброе, Гильчевский крепко держал обеими руками гладкое железо за свой конец, но вдруг Мослаков сильно дернул ствол к себе и тут же сделал им выпад вперед, в грудь генерала.

Очень острый момент этот не ускользнул от зорких глаз тех, кто окружал Гильчевского, и первым подскочил к нему на помощь Протазанов — человек крупных и крепких мышц, — потом адъютант дивизии, и командир полка Кюн, и Антонов, и Шангин, и другие...

Мослакова свалили наземь, связали ему солдатскими поясами руки.

Когда его уводили потом под конвоем, он совсем не казался обескураженным: напротив, он старался идти браво, подняв голову и презрительно и часто поплеывая, как будто случилось с ним все именно так, как ему хотелось.

На допросе в штабе дивизии он тоже держался вызывающе, намеренно не желая отвечать по-солдатски. Его спросили, чем он занимался до призыва в армию.

— Чем занимался? — надменно переспросил он. — Мослакова вся Одесса знает, а вы — «чем занимался»? Знаменитый я вор-домушник... Между прочим, и «медвежатник» тоже.

— Это что же значит такое «медвежатник»? — спросили его.

— Не знаете? А это же по части несгораемых касс, — подмигнув он. — Считается высшая марка!

И что же, — сидеть приходилось?

Разумеется, сидел, — что же тут диковинного?.. А вы лучше спросите, почему я аж до самого фронта с маршевой ротой дошел, это, конечно, вопрос!

В самом деле, почему же именно?

— Так себе, признаться, ради интереса,— беспечно с виду ответил Мослаков.

— Ради интереса? Хорошо, допустим. А вот что ты сегодня выкинул — эта штука зачем?

— Это, прямо вам сказать, ради скуки.

— Как «ради скуки»? То есть в видах развлечения, что ли? — спросили его.

— Так точно,— для пущей веселости,— шевельнув желваками, ответил он с напускным спокойствием.

Когда Гильчевскому доложили о результатах допроса, он сказал:

— Мерзавец этот врал насчет скуки. А вот в расчете на то, что его пошлют по этапу в тыл для суда, а он, конечно, сбежит при первой к тому возможности, он ошибся! Судить его полевым судом за покушение на начальника дивизии!

В то время, как Гильчевский, растирая под шинелью грудь, уходил из четырнадцатой роты, он ничего не сказал прапорщику Обидину, но посмотрел на него долгим тяжелым взглядом.

Мослаков на другой день был расстрелян; Обидин же переведен в другую роту.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Предвестники

I

Среди русских былии есть очень примечательная о том «Как перевелись витязи на святой Руси». После одной из своих побед «на Сафат-реке» расхвастались витязи, что побьют и «силу нездешнюю». И «нездешняя сила» не замедлила явиться, чтобы наказать их за святотатство. Она предстала перед ними в лице двух воителей, которые тут же пошли на них боем.

Первый же витязь перерубил их пополам одним взмахом меча, но их стало четверо, и они снова идут боем на витязей. Второй перерубил пополам этих четверых в два взмаха — их стало восьмеро, и живы все. После действий третьего витязя их стало шестнадцать, четвертый сделал из них тридцать двух, и когда кинулись на них все витязи

зи, то благодаря их же геройству и силе перед ними выросло такое неисчислимое войско, что витязи испугались и обратились в бегство. Они бросились в Киевские горы, в «Каменные пещоры», а подбежав к горам — окаменели сами. Отчего же окаменели? Конечно, от ужаса перед непостижимым.

Бактерия слишком мала, но как и «нездешняя сила», она размножается делением надвое в каждый час своей жизни. Так за десять часов из одной получается тысяча бактерий. За три дня при таком способе заполнять пространство потомству одной бактерии было бы тесно в пятиэтажном доме; но нет еще такого небоскреба на земле, чтобы разместить в нем семью одной бактерии в конце четвертого дня ее жизни: для этого понадобилась бы внутренность такой горы, как Казбек, если бы можно было оставить от Казбека одну только его оболочку.

Нечто подобное этому совершилось на всем длиннейшем фронте запада России весной 1916 года, когда германским и австрийским генералам казалось, что Россия совершенно разбита летом предыдущего года и уже не в силах больше подняться, — остается только прикончить Италию и Францию, и выиграна будет затянувшаяся, вопреки всем расчетам, война.

В России перед войной числилось сто восемьдесят миллионов населения, но хотя и свыше десяти губерний на западе были уже заняты врагом, хотя потери в войсках, почти безоружных благодаря предательству перед наступавшими армиями австро-германцев, и были действительно громадны, все же гораздо более мощными оказались русские резервы.

Немецкие публицисты писали еще в начале войны в своих газетах, что, лишенные таланта организации, русские будут в первый же год войны голодать среди изобилия съестных припасов в их стране. Однако, несмотря на то, что это предсказание казалось правдоподобным, голода не было и к концу второго года войны. А главное, росли и росли силы на фронте от Румынии до Финляндии.

Больше всего подкреплений шло в армии Эверта и Куропаткина, меньше — в армии Брусилова, однако никогда раньше эти последние армии не были так многочисленны, как теперь.

Это бросалось в глаза и Ливенцеву, чем дальше, тем ярче, потому что даже и на том маленьком участке фрон-

та, какой занимала 101-я дивизия, становилось день ото дня заметней небывалое раньше насыщение фронта людьми.

Пришли пятисотные роты пополнения, составившие ближние резервы каждого полка; пришли новые батареи. Прежде были только старые скорострельные японские пушки и сорокавосемиллинейные гаубицы, теперь явились еще донские конные казачьи батареи и туркестанская горная в восемь орудий,— и для них усиленно рылись окопы и снарядные погреба.

Донцы, туркестанцы, волжане, вятские, мелитопольские, подпрапорщик Некипелов, оказавшийся сибиряком, боевой начальник дивизии — кавказец,— в Ливенцеве все это отслоилось, как великая русская домовитость и плодovitость, щедро бросившая теперь сотни тысяч, миллионы людей не на захват чужих земель, как было в начале войны, а на защиту своей.

Разве не исконно русская земля была Волянь? И вот на ней теперь сидели, в нее закопались австрийцы, мадьяры, босняки, немцы... Они заняли цепь холмов, командующих над русскими позициями; они укрепили их восемью рядами кольев, опутанных толстой колючей проволокой, и четырьмя рядами рогаток. Они не страдали недостатком тяжелой артиллерии, а тем более не знали, что такое снарядный голод. Штабные германские офицеры, командированные для ревизии укреплений на этом участке, нашли в начале апреля, что эти укрепления совершенно неприступны, и это позволило Конраду фон Гетцендорфу бросить с русского фронта несколько дивизий против итальянцев. Там, у австро-германцев, машины истребления ставились на место людей,— здесь людьми заполнялись места, предназначенные для машин.

Это оживотворяло войну в глазах Ливенцева. Не многомашинность, а многолюдство,— в этом для Ливенцева таился и смысл русской пословицы «на людях и смерть красна». И что еще пахотил он теперь нового в себе самом,— это непосредственное живое ощущение России.

Никогда так ярко и ясно не приходилось ему чувствовать этого раньше. Этого не было и в Севастополе в первый год войны, когда он томился в своей дружине, в которой не доставало содружества; этого не было потом и в Галиции, когда он жертвовал здоровьем и жизнью за что же, как не за ту же Россию. Наконец, может быть, этого

не было бы и теперь, и, во всяком случае, не было бы с такой определенностью, четкостью, если бы к нему в госпиталь, когда он уже почти оправился от своей раны, не приехала из Херсона, получившая для этой цели отпуск всего только на три дня, Наталья Сергеевна Веригина — библиотечарша публичной библиотеки, сказавшая ему, подавая «Размышления Марка Аврелия Антонина о том, что важно для себя самого»: «Других книг этого автора у нас нет».

Он простил ей эту фразу библиотечарши тогда же, а больше ей нечего было прощать. Он помнил, он представлял ее теперь только такую, какой она была, когда поднималась по лестнице на второй этаж, где он, опираясь о стену, чтобы не упасть от счастья, стоял и глядел на подсолнечник ее золотых волос, едва прикрытый шляпкой, на ее голубые, как просветы в небо, глаза, поднятые к нему и смотревшие встревоженно за него, и радостно за встречу с ним, и по-матерински любовно, и, как у сестры, нежно, и, как у самого дорогого человека во всем мире, отзывчиво.

Это был не шопенгауэровский гений рода, а гораздо больше, — неизмеримо больше: Родина!.. Он вспоминал теперь, не пропуская ни одного слова, все, о чем они говорили тогда, сидя рядом на жестком деревянном диване госпитальной столовой, которая во внеобеденное время служила также и комнатой для свидания с посетителями раненых, могущих ходить.

Она сказала ему тогда: «Разве для вас секрет это, что мы уже накануне революции?..» Он же говорил ей потом, когда они уже спускались вдвоем и рядом с лестницы вниз: «Я не хотел бы только одного: отставки!.. Я не хотел бы, чтобы меня разоружили, потому что революцию способны сделать все-таки вооруженные люди, а не безоружные...» Он добавил еще тогда: «Чтобы сделать рагу из зайца, нужен заяц, — так говорят французы, — а чтобы сделать революцию в России, нужна прежде всего Россия!»

Этим тогда он как бы Родине присягал на ее защиту. Родине с золотыми подсолнечниками, с золотыми морями снежных хлебов и с голубым тихим орловским небом.

Неожиданным для себя самого чувствовал он себя теперь, когда снова попал в меотийские болота гризи польнской, которая была ничем не лучше прошлогодней гали-

дийской грязи. Тогда он стоически перенес все не потому, конечно, что читал в Херсоне стойка Марка Аврелия, однако и не потому, что в его жизнь вошла Наталья Сергеевна. Тогда он просто был еще полон нерастратенных молодостью сил, тогда в нем было упорство, упрямство, иногда даже соперничество с другими подобными ему «математиками в шинелях», как называл себя он сам. Он был самолюбив, конечно, и по одному этому уже не мог позволить себе быть слабее кого бы то ни было. Но зато он отводил душу, подшучивая над войной, не только над тем, как она велась, но и зачем велась. Теперь ему казались странными даже чужие шутки по поводу целей войны: он твердо знал, что война велась во имя преобразования России, но не ошипанной, не обдерганной, не кургузой России, а такой, какую создалась она в силу исторической необходимости. Теперь, сам защищая границы государства, он несравненно глубже понимал слово «границы», чем это было раньше, хотя он и на новой границе оставался тем же прапорщиком и был снова тем же ротным командиром, но больше того: он готов был теперь аплодировать, кричать «ура» каждой новой роте, каждой новой батарее, прибывающей на участок дивизии Гильчевского.

И даже именно то, что он попал в дивизию к такому боевому генералу и что он будет действовать, худо ли, хорошо ли, в рядах бывшей армии Брусилова, казалось ему тоже удачей: он верил в то, что приказаний, легкомысленных, неразумных, неисполнимых, полк, а значит, и его рота не получат от начальника дивизии, потому что командир корпуса не получит подобных приказаний от Каледина, а Каледина от Брусилова.

Ливенцеву во что бы то ни стало хотелось, чтобы теперь, именно теперь, была не цепь каких-то непостижимых нелепостей, как в прежнем полку, у полковника Ковалевского, в Галиции. Он, математик, хотел точного учета всех вероятностей, прежде чем началось бы наступление, чтобы новое наступление это прошло иначе, чем прошлогоднее — седьмой армии генерала Щербачева, когда полку их не дали даже оглядеться, а прямо с подхода погнало в бой.

Теперь проходил день за днем, подсыхала земля, выше и выше ходило в небо солнце, больше и глубже втягивались в позиционную жизнь солдаты четвертого батальона.

знакомее становились холмы врага, окутанные паутиной заграждений, и не только всем существом желалось успеха, — верилось в успех.

Пасха в этом году пришлось на 10 апреля. С днем этого весеннего праздника у Ливенцева, как у всех русских людей, связывалось многое, впитанное еще с детства: целодневный, даже целонедельный, колокольный трезвон во всех церквах; крашенные в разные веселые цвета, но больше в розовый и красный, яйца; христосованье; блаженное ничегонеделанье; визиты, сплошь подвыпивший, а кое-где и до положения риз пьяный народ; яркие новенькие платья женщин; песни жаворонков в полях; пушистые, точно в подвенечном уборе, вербы у прудов; сладкий, как березовый сок, весенний воздух...

От одних этих воспоминаний больно щемило душу здесь, на фронте, где все пытались притвориться праздничными: поздравляли друг друга, христосовались, приглашали друг друга пить водку и есть ветчину и крашенки, доставленные к этому дню в окопы.

Однако день этот никому не давал забыть, что «друг друга обьемем, рцем: «Братие!» и ненавидящие ны простим», как пелось в церквах утром, там же, в церквах, и осталось, а здесь можно было жить только смутной надеждой на счастье Иванушки из русских сказок, дела которого за его великую простоту и терпеливость возмут вдруг да и увенчаются полной удачей, ошеломляющим успехом.

И, как предвестник действительно большого успеха, в половине апреля выпал на долю 101-й дивизии успех, хотя и маленький сам по себе, но звонкий, и виновником его был сам начальник дивизии, который чем дальше, тем больше нравился Ливенцеву.

За две с лишним недели Ливенцев успел уже как следует присмотреться к этому неутомимому человеку, так как тот несколько раз бывал в его роте. Совершенно естественно у него выходило, когда он, задавая какой-нибудь вопрос солдату, добавлял при этом: «Ну-ка, друг сердечный, таракан запечный, — умудрись!» А если ответ был неудачный, то: «Нет, брат, не ходи один, ходи с тетенькой!» или что-нибудь еще в этом роде, так как подобных словечек был у него огромный запас.

Изумляло Ливенцева прежде всего то, что он не только видел Гильчевского, но и часто видел, между тем как

у него уже сложилось убеждение о начальниках дивизии вообще, как о существах таинственных, наподобие тибетского далай-ламы: сидят где-то в своих штабах, обычно верст за десять — пятнадцать от своих дивизий, получают приказания свыше, издают приказы по дивизиям, — и это все. Таким был и начальник той дивизии, в которой он был раньше, некий генерал Котович: Ливенцеву его так и не пришлось увидеть.

И вот — новый, у которого уже немало под начальством: двадцать две тысячи пехоты, одиннадцать батарей, обозы всех видов, сложная сеть укреплений, которую он ежедневно усиливал... И каждый день он непременно лично бывал здесь или там, наблюдая глазами хозяина за всем своим немалым хозяйством, и штаб его в колонии Новины приходился всего в трех верстах от передовых окопов.

Успех, выпавший на долю дивизии, показал совершенно неожиданно для многих чересчур осторожных, что наступать даже и среди белого дня на Юго-Западном фронте можно.

В отместку за неожиданное почное нападение мадьяр на выдвинутые вперед окопы двух рот соседнего 403-го полка, — причем были, конечно, и убитые и раненые, и несколько десятков человек вместе с командиром одной из рот, старым подпоручиком, попавшим в пехотное ополчение, были взяты в плен, — Гильчевский приказал полку немедленно же отбить у мадьяр окопы.

Расчет его был простой: с наблюдательного пункта он видел, что мадьяры не успели еще сделать в свою сторону ходы сообщения из занятых русских окопов, так что ни отступить им было нельзя, — они были бы перебиты все равно перекрестным огнем из соседних окопов, — ни помощи дать им свои тоже не могли из опасения слишком больших потерь.

— Ага, сукины сыны, сами в крысоловку попали! — кричал возбужденно Гильчевский, наблюдая с вышки в бинокль за тем, как падают и взрываются снаряды гаубичных батарей в только что под утро занятых врагами окопах.

Конечно, артиллерия с той стороны тоже развила возможный для нее огонь, но она оказалась слабее русской, хотя от ее снарядов фонтанами летела кверху грязь из болотистой речушки Муравицы, протекавшей через по-

зиции 403-го полка и дальше, уже за позициями австрийцев, впадавшей в реку Икву.

Ожесточенно стрекотали пулеметы с обеих сторон, гремели винтовки,— казалось, что сражение, начавшееся на небольшом участке, разовьется в очень серьезное, но оно только удивило как соседей Гильчевского справа и слева, так и соседей венгерской дивизии: о начале серьезных действий должно было дать знать высшее начальство, а начальство это пока молчало.

Не больше как через два часа после начала сражения, когда три роты потерпевшего полка пошли в атаку, канонада утихла: из окопов, занятых ими ночью, начали выходить венгерцы с белыми флагами и сдавать оружие.

По ходам сообщения, потом по мосткам через Муравицу прошли под конвоем в тыл остатки двух батальонов мадьяр — шестьсот с лишком солдат при двадцати трех офицерах. Это были сытые на вид, здоровые люди в серо-голубых шинелях; они имели ошеломленный вид, особенно офицеры. После удачи, стоившей им очень дешево, по их же словам, так как силы их были четверные, и вдруг плен!

Зато ликовал 403-й полк, и вся 101-я дивизия, и сам виновник «крысоловки» начальник дивизии Гильчевский, причем его ликование относилось не столько к удаче контратаки, в чем он заранее не сомневался, сколько к тому, что командир корпуса генерал Федотов не успел сму в этом помешать.

Все потери 403-го полка свелись к двумстам сорока солдатам и семи офицерам, а разгромлено было полностью два батальона мадьяр.

II

В конце апреля Брусилов должен был ехать из своей штаб-квартиры сначала в Одессу, а потом в Бендеры снова встречать царя. Верховный главнокомандующий отправился из ставки на смотр сербской дивизии, в которой кроме сербов было много и других славян, бывших поданных Франца-Иосифа, попавших в плен.

Все не шло в этой новой встрече с царем Брусилову.

Прежде всего то, что из пленных воюющей страны формировались дивизии, это противоречило междуна-

родному праву и давало основания немцам делать то же самое в отношении русских военнопленных. Правда, немцы кинули на Юго-Западный и Западный фронты польские легионы, но они прикрывались тем, что поляки в них — подданные Германии и Австрии, а не из бывшего «Царства Польского». Что же касалось привлечения пленных русских солдат к работам в тылу фронта, то к подобным мерам прибегали и русские военные власти, только назначались на работы австрийцы, а не германцы; пленным германцам выдавались кормовые деньги, но делать они ничего не делали, на чем настояла сама императрица.

Не нравилось Брусилову и то, что царь, объявивший себя главнокомандующим, как будто все время только и думает о том, куда бы ему улизнуть из ставки, где одолевает его смертельная скука. Брусилов часто признавался и самому себе и своим близким, что совершенно ничего не понимает в этом императоре величайшего государства в мире. Не понимал он и его вечного стремления куда-то ехать, хотя с точки зрения дела ни малейшей в этом не было нужды. Можно было только поставить эту особенность царя в прямую зависимость от наследственности. Любил ездить без всякой ощутительной цели Александр I, любил ездить брат его Николай, причем царские кучера постарались два раза вывалить его из тарантаса, и один раз, на Кавказе, он чуть было не свалился в пропасть, — едва удержался за колючий куст, — другой раз, под городом Чембаром в Пензенской губернии, сломал себе ключицу; любил ездить и Александр II, который бывал даже во времена своего долгого наследничества и в Сибири, жители которой принесли ему за время путешествия шестнадцать тысяч письменных жалоб на лихоимство чиновников; более тяжел на подъем был Александр III, но много ездил и он, и умереть ему довелось не в Петербурге, не в Гатчине и не в Царском Селе, а в Ливадии.

Но как бы ни была эта черта в Николае II наследственной, все-таки наиболее бесцельные поездки, лишь бы убить время, были у этого, очень незадачливого человека.

Наконец, не нравилось и то, что его, Брусилова, отрывают на несколько дней на то, что совершенно и ни для чего не нужно, от того, что в высшей степени необходимо: от подготовки к наступлению на его фронте, для чего ценен и важен каждый час.

Царю было скучно в ставке, где он ежедневно по утрам принимал Алексеева с докладом о положении дел на фронте, чем и оканчивались все его заботы о взятых на себя огромных обязанностях, а семье царской скучно было в Царском Селе, тем более теперь, весной, когда, как известно, даже и счастливых тянет вдаль: поэтому-то теперь царь путешествовал вместе со своим семейством.

В Бендерах на вокзале встречал царя Брусилов, потом представлял ему новую, только что сформированную пехотную дивизию. Смотр этот прошел так, как ему уже было известно по Каменец-Подольску: у царя не нашлось ни одного сердечного слова для обращения к полкам, которые предназначались на фронт, где готовились невиданные еще в эту войну бои.

Впрочем, и с самим Брусиловым царь не говорил о подготовке к наступлению, как будто не об этом наступлении шло целый день совещание в его присутствии в ставке с месяц назад. Брусилов не заговаривал об этом сам, так как ждал вопросов царя, но так и не дождался и терялся в догадках — почему же именно это? Была ли это забывчивость, была ли это деликатность, — дескать, я в вас уверен, и мне незачем задавать вам вопросы, как у вас там на фронте и что; была ли это осведомленность из других источников, например от Алексеева, или, наконец, было это полнейшее равнодушие ко всему, что делалось и во всей армии и во всей России? Брусилов боялся думать, но все же не мог не думать, что последнее предположение, быть может, самое верное, если только он вообще способен понять что-нибудь в таком тщательно закупоренном человеке, как царь.

Так как сербская дивизия была в Одессе, то нужно было ехать туда в свитском вагоне, где приходилось делить время с такими пустыми людьми, как Воейков, флаг-капитан адмирал Нилов, способный пить сколько угодно, начальник конвоя граф Граббе, гофмаршал князь Долгоруков, — все уже знакомые ему по завтраку и обеду в царской столовой в Могилеве, в день совещания.

К дивизии сербской в Одессе царь выказал не больше внимания, чем к дивизии из своих ополченцев в Бендерах. Но зато в Одессе Брусилов неожиданно для себя был приглашен в вагон императрицы.

Жена Брусилова действительно трудилась по части посадов-складов и поездов-бань, обслуживающих армию на

фронте и носивших название «поездов ее величества», так как через канцелярию царицы шли средства на их содержание; жена Брусилова не раз получала от императрицы и благодарственные телеграммы за труды, — сам же Брусилов впервые удостоен был ее внимания.

Стояла яркая южная весна, синело ласковое на вид море, а в вагоне перед Брусиловым сидела бледная, узкогрудая женщина, с высокой тонкой шеей, с высокой прической жидких темных волос и с какими-то брезгливо-тоскливыми карими глазами.

Ничего живого не было в этом лице, — не было и наигранной величавости. Напрашивался вопрос, не было ли усталости, но тут же отпадал: нет, усталости не было, но на худое длинное лицо это с прямым продолговатым носом как будто давно уже была плотно надета маска, так что оно лишено было способности изменяться; улыбающимся это лицо Брусилов никак не мог представить, однако и очень раздраженным тоже. Но что чрезвычайно удивило Брусилова, так это то, что она с первых же слов заговорила о готовившемся им наступлении на Юго-Западном фронте.

Вот кто оказался равнодушным к тому, что он затеял, на что сам напросился в ставку, не царь, а она — эта слабая на вид женщина с брезгливо-тоскливыми глазами.

— Я слышала, что вы хотите переходить в наступление на своем фронте? — с легким немецким акцентом, медленно подбирая слова, спросила она по-русски.

— Да, ваше величество, — удивленный, что с этого вопроса началась беседа, ответил, поклонившись ей, Брусилов.

— И что же вы, уже вполне готовы к этому наступлению? — делая ударение на «вполне», спросила она с таким выражением глаз, что он не знал уже, чего в них стало больше — брезгливости или тоски, видел только, что в них отнюдь не было равнодушия, как в рано выцветших глазах царя.

— Я не могу уверенно сказать, что вполне, ваше величество, но и я и мои подчиненные командующие армиями, командиры корпусов и дивизий, все мы делаем все, что в наших возможностях и силах.

Брусилову показалось после этих слов, сказанных тоном доклада, что брезгливости в глазах царицы стало как

будто больше. Она ничем не отозвалась на сказанное, только смотрела прямо ему в глаза долго и внимательно, так что ему стало не по себе, наконец спросила:

— Когда же именно, какого числа думаете вы переходить в наступление?

Этот вопрос заставил его насторожиться. Он лично считал, что наступление нельзя откладывать дальше 10 мая, и чуть было не сказал так, но тут же себя одернул: подозрительным показалось ему вдруг любопытство этой женщины к тому, что касалось только ее мужа, как верховного главнокомандующего, и в то же время не возбуждало никакого любопытства в нем. Кто из них пытался стать вождем русской армии — царь ли, бегавший из ставки, она ли, благословляемая на это своим «святым» старцем? Ее симпатии к немцам были ему известны, и он ответил на ее вопрос, насколько можно было туманно:

— Пока ничего еще определенного на этот счет мне неизвестно, ваше величество... Обстановка на фронте ежедневно меняется, а момент должен быть выбран наиболее подходящий... Об этом нам, главнокомандующим фронтами, будет дано знать, я полагаю, только накануне наступления, ваше величество. Тогда мы получим телеграмму из ставки и начнем.

— И что же, вы надеетесь на успех? — быстро спросила она, очевидно заранее подобрав слова.

В этом вопросе, в самом его тоне почудилась Брусилову тонкая ирония, хотя выражение маски-лица как будто нисколько не изменилось. Это подстегнуло Брусилова, как удар хлыста, и он ответил твердо:

— В этом я вполне убежден, ваше величество: в этом году мы разобьем противника!

Тоскливая брезгливость глаз дополнилась еще и сожалением, — так показалось Брусилову, но вот отвернулись от него глаза, тонкие руки начали искать что-то и нашли: она протянула ему маленький серебряный образец с эмалью — Николая Мирликийского.

— Вот примите от меня, — сказала она совершенно неопределенным тоном, и Брусилову оставалось только пробормотать слова благодарности и взять образец.

Приносят ли пользу на фронте мои поезда? — спросила она без любопытства.

И когда Брусилов ответил, что приносят и очень большую, она подала ему руку.

Беседа была окончена. Эмаль же с образка Николая-угодника почему-то отскочила, и Брусилов принес в свой вагон только серебряную пластинку.

III

— Главнокомандующий большим фронтом несколько похож на театрального режиссера,— говорил Брусилов своему начальнику штаба Клембовскому, возвратясь из этой поездки в Бердичев,— разницу между ними я вижу только в том, что режиссеру-то известна во всех мелочах пьеса, какую он собирается ставить, а главнокомандующий только еще собирается писать эту пьесу, имея при этом соавтора, который внесет в нее существенные поправки.

— Кого же вы разумеете под соавтором, Алексей Алексеевич? — спросил Клембовский, так понятиливо улыбаясь при этом, что Брусилову оставалось только сказать: «Конечно, вас, как начальника штаба», но он сказал:

— Разумеется, я имею в виду австрийского главнокомандующего русским фронтом,— а не вас. Точнее, я говорю о нескольких: и об эрцгерцоге австрийском Иосифе-Фердинанде с его четвертой армией, и о генерале Пфланцер-Балтине с его седьмой, и о генерале Линцингене, подпирающем своими немцами австрийцев, а не об одном только главнокомандующем фон Гетцендорфе. Это они все будут вносить поправки в то, что мы с вами тут сочиняем... А все наши расчеты в конце-то концов основаны только на том, что против нашего фронта стоит, по нашим сведениям, до полумиллиона, а у нас, что мы знаем, гораздо больше... Вот, в сущности, и все наши шансы: у нас есть резервы, у нашего же противника их нет. А когда он их подтянет, то наши шансы сойдут на нет, но зато мы прикуем к себе силы противника и не дадим их бросить на Эверта и Куропаткина, которые тем временем будут громить немцев. Только так мне рисуется наше будущее.

На умном, первом лице Клембовского улыбка, погасшая было, разгорелась вновь.

— Не всякий рожден для того, чтобы счастливо командовать сотнями тысяч людей, — сказал он. — Я, например, как уже не раз говорил вам, Алексей Алексеевич, не рожден для этого. Но что касается генералов Эверта и Куропаткина, то, мне кажется, что и они...

Вместо того чтобы договорить, он предпочел вздохнуть и развести руками.

— Не-ет, теперь уж им нет выбора, — теперь уж жребий брошен! Теперь им просто прикажут из ставки наступать, и тогда берлинские и венские умники поймут, как оставлять весь фронт без резервов! — с горячностью возразил Брусилов. — На всем фронте в тысячу верст, если мы нажмем одновременно, — чего ведь не было за всю войну и что составляет всю мою идею наступления, — они затрепещут, они откатятся!.. Бить противников по частям, — сегодня одного, завтра другого, — вот и вся их стратегия. Сейчас, когда они сцепились — германцы с французами, австрийцы с итальянцами, если мы не выступим всем фронтом, то что же мы такое будем, а? Байбаки, дураки или... или даже просто-напросто негодяи, а? Ведь своим бездействием даже и сейчас, когда идет уже май, а мы не двигаемся, мы только играем на руку Вильгельму! А вот если выступим вовремя, то Вильгельм будет уже не Вильгельм, а журавль!

— Почему журавль? — не понял Клембовский.

— А это я о том журавле говорю, который «птица важная и вальжная: нос вытащит, — хвост увязит, хвост вытащит, — нос увязит». Тогда немцам придется метаться между Верденом и нашим Западным фронтом, а фон Гетцендорфу между итальянцами и нами, а кто за двумя зайцами гонится, ни одного не поймает, или вот еще, как это говорят у нас на Кавказе горцы: «Два арбуза под одной мышкой не увесешь». Только на это мы и можем идти при нашей отсталой технике, а больше на что же нам ставить?

Вопрос женщины с тоскливо-брезгливыми глазами: «Вполне ли вы готовы к наступлению?» стоял перед Брусиловым каждый день с утра до поздней ночи, когда он приехал в свою штаб-квартиру. Он придавал ему особенную нарочитость: склонный к мистике, он считал эту женщину роковой для России. Все немногие слова, какие он от нее слышал в вагоне, он по многу раз перебирал в памяти, стремясь проникнуть в то, что таилось за ними.

Что она не хотела никакого наступления, это он понял, конечно, еще тогда, в вагоне.

Чего же она хотела? В каком направлении она действовала на царя — вождя всех войск?

«Ничто немецкое, конечно, не было ей чуждо, и все русское непременно должно было казаться ей чужим, — раздумывал над словами царицы Брусилов, — а как же согласовать это с русским конокрадом, пьяницей и сатиром, «святым старцем» Распутиным? Наконец, пусть это — неразрешимый вопрос, но не по желанию ли царицы сделан главнокомандующим Северо-Западным фронтом Куропаткин, разумеется, для того только, чтобы фронт его двигался назад, а не вперед, так как он испытанный мастер отступлений? И не действовал ли по тайному приказу царицы Эверт, когда проваливал свое большое наступление в марте и когда остановил в самом начале наступательные действия в апреле? Не изменник ли он, попросту говоря, такой же, каким оказался военный министр Сухомлинов, — когда-то свой человек во дворце?»

Обилие и острая горечь этих мыслей угнетали Брусилова.

В апреле, две недели спустя после совещания в ставке, Эверт, как бы желая воочию доказать царю, что его фронт к наступлению совершенно не способен, приказал одной из своих армий продвинуться на коротком участке при озере Нарочь, потерял за два дня до десяти тысяч человек и на том закончил, послав донесение с ядовитым вопросом в конце: следует ли ему попытаться вернуть потерянную территорию и уложить ради этого еще три корпуса или «упрочить только современное положение»? Алексеев предложил остановиться на последнем.

Алексеевым руководила вполне понятная Брусилову мысль: не спешить с наступлением на каком-либо одном фронте, пока не подготовлено оно на всех, — а какие мысли владели Эвертом? Это была загадка для его соседа по фронту Брусилова, загадка, которую решить он не мог, пока не началось наступление, и которую было бы поздно решать, если наступление на своем фронте тот провалит.

Если к позициям Брусилова подходили подкрепления из резервов и подвозились орудия и снаряды, то это вынуждалось только необходимостью развернуть трехбатальонные полки в четырехбатальонные и дать им пополнения на первый случай — это делалось, само собою разу-

меется, и на других фронтах. Но, кроме того, Эверт в первую голову, Куропаткин во вторую — получали еще и новые части, и тяжелые орудия из общегерманских резервов, и обильные запасы снарядов к ним.

Брусилов понимал, конечно, что сломить противника, стоявшего против Эверта, труднее, чем ему сломить смешанные австро-германские армии, но зато и средства для этого отпускались щедро, а он был обделен. И к Эверту, и к Куропаткину, как к старым генералам времен японской кампании, у Алексеева как бы оставалось еще старинное подчиненное отношение, хотя могло бы уж, кажется, оно выветриться с годами. Брусилова возмущало в Алексееве именно то, что он, будучи теперь выше по положению, чем эти двое, все-таки был с ними в ставке преувеличенно любезен, чуть ли даже не низкопоклонничал перед ними, а между тем...

Когда 11 мая из ставки, в телеграмме от Алексеева, подтверждено было то, что уже просачивалось в газеты, об отчаянном положении итальянских войск на плоскогорье Азиаго, где теснили и местами гнали уже их австрийцы, забирая огромные трофеи и массу пленных, Брусилов принял это как долгожданный сигнал к действиям.

Об этом именно, по словам телеграммы, и просило высшее командование итальянской армии: наступать, чтобы оттянуть от них петлю, уже занесенную над их головой, сыграть роль вытяжного пластыря. Алексеев запрашивал почти теми же словами, как и царица в вагоне: готов ли он выступить на помощь союзникам и когда мог бы он это сделать?

Брусилов ответил, что вполне готов, — теперь он уже не опасался слова «вполне», — и начать наступление мог бы через неделю — 19 мая, если только в тот же самый день приступит к боевым действиям и Эверт.

Послав такую телеграмму, Брусилов ждал приказа, чтобы немедленно передать его всем четырем своим армиям, однако напрасно ждал день, два, три. Наконец Алексеев вызвал его для разговора по прямому проводу. Оказалось, что он не бездействовал эти дни: он улаживал Эверта и добился того, что 1 июня обещал начать действия этот упрямец. Поэтому-то, чтобы сократить разрыв во времени, он предлагает Брусилову начать наступать не 19, а 22 мая.

Напрасно доказывал Брусилов, что десять дней это

огромный срок, что за десять дней можно или разгромить чужую армию, или потерять свою, если не будет поддержки. Он убедился, что Эверта, от имени которого говорил Алексеев, ему не переубедить, — приходилось мириться и на этом сроке.

— Ну, а могу я получить гарантии, Михаил Васильевич, что Эверт не передвинет свое выступление на несколько дней? — спросил Брусилов.

— Нет-нет, Алексей Алексеевич, об этом не беспокойтесь: этот срок зафиксирован прочно, о нем доложено государю, — донесся вполне твердый, убеждающий голос Алексеева, и на этом закончилась деловая беседа.

Брусилову оставалось только передать своим командирам, что день наступления приурочен к 22 мая, что он и сделал. Однако напрасно он думал, что с этим все уже кончено: сколько ни вопили о помощи итальянские генералы, ставка стремилась под тем или иным предлогом, очевидно в угоду Эверту и Куропаткину, оттянуть решительный день.

Теперь в дело вмешался сам царь и вмешался как раз накануне открытия действий — вечером 21 мая.

Опять был вызван к прямому проводу Алексеевым Брусилов, и, как оказалось, для того, чтобы он отказался от своей тактической мысли, от своего детища, которое выпанивал так долго, руководясь опытом своих и чужих боевых действий.

— Алексей Алексеевич, прошу не принимать этого за мое личное вмешательство, этого желает государь, чтобы вы сосредоточили свой удар в одном месте, а не разбрасывались по всему фронту, — кричал Алексеев, отчетливо произнося слова.

Как ножом по сердцу ударили эти слова Брусилова! Менять всю тактику наступления, назначенного через несколько часов, на рассвете следующего дня, — что это такое было: самодурство царственного невежды в военном деле? Явное желание оттянуть срок наступления, так как произвести новую перегруппировку войск для удара в одном месте нельзя было даже и за несколько дней? Может быть, тут-то именно и вмешалась роковая женщина с ее брезгливыми ко всем русским усилиям глазами? А может быть, это просто нажим Куропаткина на своего бывшего подчиненного, хозяина ставки?..

— Прошу меня сменить! — прокричал в телефонную трубку Брусилов.

— Что вы такое говорите? — испуганным тоном отозвался ему Алексеев.

— Прошу его величество сменить меня, если мой план ему не угоден! — повысил голос Брусилов. — Сейчас же сменить, сейчас же!

Очевидно, и резкий тон и смысл сказанного Брусиловым ошеломили Алексеева, — этого-то он во всяком случае не ожидал от человека, так умевшего владеть собою, как Брусилов, насколько он был ему известен.

— Что вы, что вы, Алексей Алексеевич, как так смелить вас, — успокойтесь! Речь идет ведь не о вас совсем, а о системе действий, — заговорил Алексеев как будто даже испуганно. — Несколько дней еще большой разницы не составят, а зато испытанный уже прием удара в одном месте принесет большие результаты.

— Испытанный кем? Противником, у которого транспортные средства вчетверо больше наших? — кричал в ответ Брусилов. — Да пока я успею перевести дивизию, он переведет пять, если не шесть, и все наступление пойдет прахом! Сейчас он не знает, где будет нанесен ему удар, и даже я сам этого не знаю: где удастся! А начини я перегруппировку, — для него все карты будут раскрыты!.. В одном месте? К этому месту он и стянет пятерные силы против моих!.. Нет, я вижу, что мне не суждено ничего сделать, нет!.. Прошу меня сменить! Доложите верховному главнокомандующему, что я прошу заменить меня кем угодно, хотя бы генералом Эвертом!

— Я не могу сейчас ничего докладывать верховному: он лег спать, — ответил Алексеев, — а вы все-таки подумайте, Алексей Алексеевич.

— Зато я не сплю и не могу спать, когда у меня все готово и все на своих местах! И мне не о чем думать, — и сон верховного меня не касается, — раздражаясь до предела, кричал Брусилов. — Прошу доложить немедленно, чтобы меня сменили!

— Ну, что вы, что вы, как же я могу его будить ради этого, — примирительно уже заговорил Алексеев и закончил вдруг: — Ну, бог с вами! Делайте, как задумали сделать, — желаю успеха! И да поможет вам бог!

Алексеев был человек религиозный, и бога призвал

он к концу разговора не зря. Он знал, что и Брусилов был человек тоже религиозный, хотя и оказался излишне горяч и несдержан.

IV

Но если горяч оказался Брусилов, то потому только, что слишком холодна была ставка. Да и что могло загореться в ней, если верховный главнокомандующий являл собою образец превосходной воспитанности, то есть невозмутимости? И для чего же торчали в ставке вместе с ним все эти Фредериксы, Воейковы, Долгоруковы, Граббе и прочие, как не для того, чтобы ставка имела вид невозмутимого царскосельского дворца в миниатюре?

Если исконный, вошедший в дворцовый ритуал, обряд христосования на пасху царя с «народом» производился ежегодно во дворце, то разве он мог быть отменен в ставке? И 10 апреля царский скороход (совершенно, кажется, ненужная должность в век телеграфа, телефона, автомобилей и самолетов) по заранее составленному списку выкликал в ставку фамилии лиц, допущенных к христосованию с царем. Тут были и генералы, и офицеры ставки, и духовенство, и придворные служители, и служители гаража, и рабочие гофмаршалской части, и администрация императорских поездов, и иностранные военные агенты, и певчие штабной церкви, и вся почтовая контора при штабе, и могилевский губернатор Пильц.

По мере того как их выкликали, они выстраивались и шли в затылок к царю в его обеденный зал. Царь стоял там около стола с горюю фарфоровых яиц разных цветов с его вензелем и украшенных лентами. Генералам и офицерам при христосовании он подавал еще руку, остальных же только слегка касался губами ли, бородкой ли, вообще касался, — и каждому подавал фарфоровое яйцо. Разумеется, о каждом из попавших в список скорохода было заранее известно, не болен ли он чем-нибудь неподходящим для такого торжественного обряда.

На другой день обряд был продолжен и для войск, несущих наружную и внутреннюю охрану ставки, причем предварительно все офицеры и солдаты должны были пройти через медицинский осмотр.

Но если Пасха бывала только раз в году, то ритуал

каждого дня, сложный и затруднительный для непривычных, не изменялся, как бы ни менялось положение на фронте. И если в основные понятия царской ставки вошло такое новое понятие, как «прорыв», то оно уж и должно было держаться прочно, как христосование царя с «народом», а не заменяться по своеволию одного из высших генералов чем-то совсем небывалым: «прорывами» в нескольких местах! Такой невоспитанности не могли допустить ни министр императорского двора, ни дворцовый комендант, ни гофмаршал, ни даже начальник штаба Алексеев, который, как пасхальное фарфоровое яичко, получил на Пасху генерал-адъютантство, причем сам царь преподнес ему два ящика: в одном — золотые аксельбанты, в другом — погоны с царским вензелем.

Благодаря тому, что верховным главнокомандующим был сам царь, ставка жила своею жизнью, а фронт своей, и даже Алексеев, не замечал он этого или замечал, безразлично, хотел он этого или не хотел, становился по-немногу придворным.

Удар, который готовил Брусилов, был направлен на Луцк, чтобы приковать к этому участку своего фронта, смежному с Западным фронтом, дивизии противника и этим дать возможность развернуться во всю мощь Эверту, с его тяжелой артиллерией и громадными людскими силами.

Когда Брусилов попытался обратиться как-то в ставку с требованием дать ему еще хотя бы один только корпус, он получил отказ. Алексеев мягко, но решительно ответил: «Все, что у нас есть, отправляем на Западный фронт». Это значило, что даже и против своей воли, но именно Эверт был избран в спасители России. Так приходилось на него смотреть и Брусилову, которому давалась только подсобная роль.

Против Луцка должна была действовать стоявшая на этом участке восьмая армия с Калединым во главе. Но была еще задача, решение которой зависело от другой армии: нужно было вывести из выжидательного состояния Румынию и притянуть к себе крупным успехом. По соседству с Румынией стояла девятая армия, — она-то и должна была одержать этот успех: задачи седьмой и одиннадцатой армий сводились к тому, чтобы подпирать девятую и восьмую.

Но саперные работы кипели на всем фронте. Размяк-

шая весенняя земля была податлива для саперных лопат,— старинная русская земля, воспетая еще в «Слове о полку Игореве». В разных местах, чтобы сбить противника с толку и запутать, рылись окопы в направлении к неприятельским позициям, подходя кое-где к ним уже всего только на полтора-два, даже на сто шагов, чтобы накопить в них пехоту, необходимую для штурма укреплений, когда они будут разгромлены артиллерийским огнем. Каждый солдат понимал, зачем он копал подходы к врагу, вдыхая волнующий землеробов запах сырой земли. Бесчисленные ходы сообщения связывали передовые линии окопов с тылом: огромная армия подбиралась к засеваемой в земле армии врага: это оказался единственный удобный путь.

В тот вечер, когда происходил последний перед началом действий разговор Брусилова с Алексеевым, весь фронт напрягся для прыжка вперед, и в дивизии Гильчевского, назначенной для прорыва против чешской колонии Новины, все было закончено: подтянуты резервы, расставлена артиллерия, устроен для самого начальника дивизии наблюдательный пункт в расстоянии всего лишь семисот шагов от окопов. Попавшие в плен 15 апреля мадыарские офицеры ахнули от изумления, когда их привели в штаб начальника дивизии, расположенный всего в трех километрах от передней линии укреплений,— теперь им пришлось бы удивиться чудачку русскому генералу гораздо сильнее.

А Гильчевский весь полон был подмывающей гордости оттого, что его ополченскую дивизию командующий восьмой армией Каледин поставил в ряд с двумя боевыми кадровыми дивизиями: четырнадцатой — с ее полками Волинским, Минским, Подольским, Житомирским, прогремевшими на весь мир еще во времена Крымской кампании, и четвертой стрелковой, «железной» дивизией, покрывшей себя славой в русско-японскую войну. Могло показаться, что исторические традиции стойкости русских войск как бы непосредственно от него одного впитали четыре полка с новыми для военного слуха именами: Карачевский, Усть-Медведицкий, Вольский, Камышинский.

Усть-Медведицкий полк, 402-й, в котором командиром был Кюн, равнодушно относившийся к выстрелам даже своих пушек, наряду с другими готовился к необычайному.

Офицеры писали письма своим близким, прощаясь с ними на всякий случай; иные составляли духовные завещания.

Ливенцеву нечего было завещать и некому. Его старая мать, которой он посылал ежемесячно часть своего жалования, должна была как-то одна перебиваться, если ему суждена была смерть, и она знала это. Она жила в Орле на Садовой улице. После каждого получения от него денег она неизменно справлялась письмом, не обижает ли он себя самого, — что-то уж очень расщедрился, а к чему? И добавляла: «Мне-то ведь, старухе, немного надо, а тебе деньги гораздо нужнее, — у тебя товарищи: тот придет в гости, — угощай; тот придет займы просить, — дай, а на позициях жизнь, это уж всем известно, очень дорогая...»

К Пасхе от нее получилось письмо с поздравлением, но пришло также письмо и от Натальи Сергеевны, пахнувшее духами л'ориган. От нее же передали ему письмо в штабе полка и 20 мая, и он держал его в кармане гимнастерки нераспечатанным. У него, человека энергичного, знающего себе цену, была такая маленькая странность — не спешить знакомиться с письмом человека, которого он любил. Письмо есть ведь, — вот оно, здесь, ближе к сердцу, чем что-либо другое. Меня помнят, обо мне думают, — и вот доказательство этого — письмо в закрытом конверте. Милым твердым почерком крупными буквами в нем может быть написано и то, и другое, и третье. Ну, а вдруг написано совсем не то, чего бы мне хотелось, или не так выражено, не теми словами? Это письмо — слишком дорогой подарок, чтобы в нем обнаружился вдруг какой-нибудь изъян. И когда же? Как раз тогда, когда здесь совершается такое, совершенно ведь невидное из Херсона, напряжение огромнейших сил, о котором будет сказано в телеграммах мертвыми казенными словами: «Войска Юго-Западного фронта перешли в наступление». Наконец, что бы ни было написано в этом письме, пусть оно звучит в душе только как пароль — «Россия». Впереди — позиции противника, укреплявшиеся им всеми средствами техники в течение долгих девяти месяцев и потому признанные знатоками этого дела совершенно неприступными; рядом — смелое желание сотен тысяч людей русских переступить через них, а позади — золотинная, голубонесная Россия.

Началось!

I

Тогда год спустя, в 1917 году, англичане готовили атаку немецких позиций на Ипре, они выпустили для этой цели четыре с половиной миллиона снарядов стоимостью в двадцать два миллиона фунтов стерлингов, то есть двести двадцать миллионов рублей золотом, или около того. Вес этих снарядов был равен 107 тысячам тонн, так что для доставки их из Англии на материк нужно было пустить 27 судов по 4000 тонн водоизмещением, а для подвоза с берега к линии фронта — 36 тысяч трехтонных грузовиков.

Когда генерал Макензен в 1915 году осуществлял свой прорыв на Карпатах, на фронте третьей армии русских войск, его артиллерийская фаланга развивала огонь такой силы, что на два погонных метра фронта приходилось сорок три снаряда.

О таком поражающем воображение богатстве снарядами не мог и мечтать Брусилов, когда разослал своим командирам приказ начать бомбардировку австро-венгерских позиций на рассвете 22 мая (4 июня), и все же внушительность начавшейся канонады явилась совершенно неожиданной для австрийских и германских генералов.

Всего за неделю до того совещались два союзных главнокомандующих — Конрад фон Гетцендорф и Фалькенгайн, не опасно ли будет снимать с русского фронта большое число дивизий для переброски их на итальянский фронт, и первый убедил второго, что никакой опасности нет и быть не может, что без тяжелой артиллерии было бы безумием со стороны Брусилова пытаться прорвать неприступные позиции, а чтобы подвезти тяжелые орудия в достаточном числе, а также снаряды к ним, русским при их отвратительных дорогах потребуются не меньше месяца, — время вполне достаточное, чтобы совершенно разгромить итальянцев.

Гетцендорф был так увлечен своим проектом натиска на Венецию из Тироли через плоскогорье Азиаго, что сумел убедить Фалькенгайна в полной безопасности этого шага, давшего уже с первых дней наступления большое количество пленных и трофеев и сулившего полный успех.

Фалькенгайн не выдержал роли строгого опекуна и развязал руки Гетцендорфу. Несмотря на то, что местность, по которой шло наступление, была высокогорная, покрытая снегом, что затрудняло военные действия, австрийские войска, окрыленные удачами, рвались преследовать отступающих итальянцев, — оставалось только поддерживать их пыл новыми и новыми частями: любая армия наступает стремительно, если перед ней бежит противник и о ней заботится начальство.

Победы в Италии приказано было праздновать на австрийских позициях как раз 22 мая (4 июня), слив этот праздник с торжеством по случаю рождения австрийского эрцгерцога Фердинанда, командующего четвертой армией, которую била брусиловская восьмая армия в предыдущем году.

Очень кстати оказался, таким образом, салют огромного числа русских орудий, — среди которых, вопреки уверениям Гетцендорфа, были и тяжелые, — раздавшийся на фронте в четыреста километров почти одновременно на рассвете: трудно было бы и придумать лучшее начало для празднования побед в Италии, с одной стороны, и для рождения одного из членов австрийского императорского дома, с другой.

Когда начинают свой разговор тысячи орудий, далеко разносится он по земле: салют эрцгерцогу Иосифу-Фердинанду слышала вся Подолия, слышала вся Волынь, слышали Карпаты, Галиция, Буковина, Румыния, а скоро услышали его в Вене и Берлине.

Это была торжественная увертюра к тому, что потрясло основы одной из старейших монархий Европы, решительно повернуло лицо победы в сторону держав Антанты и могло бы привести к полному разгрому Австро-Венгрии летом, если бы ставка с царем во главе так же поверила в русского бойца, как поверил в него Брусилов, и дала бы тому, кто хотел наступать, а не тем, кто решил, как Эверт и Куропаткин, отсидеться, все средства к наступлению.

Западный и Северо-Западный фронты считались ставкой важнейшими, так как они прикрывали Москву и Петроград, что же касалось Юго-Западного, прикрывавшего Киев и Одессу, — Украину житницу России, с ее кринорожской рудой и донецким углем, то он считался второстепенным.

Эта предвзятость привела к тому, что обделенный тяжелой артиллерией, без которой нечего было и думать о прорыве укреплений, имевших накатники в шесть-семь рядов толстых бревен, присыпанных слоем земли в несколько метров толщиной, а где и бетонных, с рельсами вместо бревен,— Брусилов вынужден был перебрасывать тяжелые мортиры не только из одного корпуса в другой, которому давалась ударная задача, но даже из одной армии в другую.

И все-таки к началу бомбардировки австро-германцы семидесяти брусиловским тяжелым орудиям и мортирам могли противопоставить сто шестьдесят,— важно было только то, что внезапность русского огня не дала времени их сосредоточить именно там, где оказалось нужней и важней. Случилось то, на что надеялся Брусилов, открыто ведя саперные работы, как подготовку к наступлению, во многих местах своего фронта.

Для многих австрийских генералов неожиданным оказалось и то, что сила русского огня не только не слабела с часами, напротив — росла. За первыми выстрелами следили с наблюдательных пунктов, и, только убедившись, что снаряды ложатся в намеченные цели и производят там, у противника, ожидаемый вред, учащали пальбу.

Расстояние между окопами местами доходило до трехсот, а где даже и до ста шагов, что позволяло австрийским солдатам во время Пасхи выкрикивать поздравления с праздником.

Теперь поздравляли минами и бомбами из минометов и бомбометов, причем минометов было больше у австро-германцев, бомбометов оказалось больше в русских окопах.

В апреле, в двухдневных боях у озера Нарочь, на Западном фронте впервые в ту войну были введены и только что изобретенные немцами огнеметы, но на брусиловский фронт они еще не успели попасть.

Дивизии Гильчевского был отведен для прорыва участок в две версты; два полка — Карачевский и Усть-Медведицкий — готовились идти на штурм позиций противника, когда артиллерия продолбит для этого проходы в густой сети провололочных заграждений, ежей и рогаток, которым не причинили вреда даже и нитроксилиновые шашки саперов, подползавших к ним ночью перед началом нападения.

Когда Гильчевский услышал утром о неудаче саперов, он горестно прокричал рядом с ним стоявшему своему начальнику штаба:

— Пи-ро-кси-лин не взял,— шутка, а? Вот так гадюки!.. А давно ли ножницами нас заставляли проволоку под огнем резать, да и тех не давали, сколько требовалось, подлецы! Уйму народу зря из-за этого положили!

Он был взбешен еще дня за два до этого и все никак не мог успокоиться: командир корпуса Федотов взял у него один полк — 404-й Камышинский — и передал его в другую свою дивизию, 105-ю, хотя она и не была ударной. У него осталось только три полка и на одну батарею меньше, чем было,— он чувствовал себя ограбленным как раз тогда, когда от него требовалось напряжение всех сил.

У него оставалось двенадцать гаубиц и пятьдесят пушек, из которых японские стреляли шимозами, дававшими слабый разрыв. Хотя Камышинский полк увез с собою тоже японские пушки, но рачительному хозяину, каким был Гильчевский, все-таки было их до боли сердца жаль, и время от времени, когда ему казалось, что работа его артиллерии слаба, он принимался ругать Федотова, оставшегося и теперь в тридцати верстах от фронта.

Все рвалось, грохотало, гремело и впереди, и позади, и около его наблюдательного пункта; кроме орудий, еще и бомбометная батарея, стоявшая между первой и второй линией окопов Карачевского полка, старалась расширять проходы.

Но если огонь противника был гораздо более беспорядочным, зато там не жалели снарядов, и гаубичный дивизион 101-й бригады глушил батареи гонведов. Гильчевский знал, что против его дивизии стояли 38-й, 68-й, 79-й и 21-й полки мадьяр, из которых один был уже обескровлен наполовину в середине апреля, но вновь пополнен, а командир гаубичного дивизиона, старый кадровик полковник Давыдов, знал расположение батарей этих полков, поставив в новые укрытия незадолго перед днем атаки свои батареи.

Как дирижер огромного оркестра, впитывал и отражал Гильчевский в порывистых движениях, в остром блеске горящих глаз, в мимике подтянувшегося сероусого лица разрушительную музыку своих орудий. Он различал действия своих донцов и туркестанцев с их горными пушками и не раз выкрикивал: «Ого, молодцы донцы!.. Так-та-

ак, туркестанцы!» и кричал на ухо полковнику Протазанову:

— Что бы мы делали, если бы их нам не прислали, а? Наши чертовы шимозымцы ни-ку-да!.. А донцы-то, донцы-то — прямо конфетки, а не донцы! Так и чешут!

Однако шли часы непрерывной пальбы, — на батареях обедали поочередно, — стало уже тускнеть солнце, но, как ни чесали, всей гущины чересчур щедро разросшейся всюду колючей проволоки прочесать не могли, насколько хотелось; местами были просто поля проволочных заграждений шириною в сотни шагов, где предполагал Гильчевский и заложенные фугасы.

— Артиллерия должна сделать свое дело на совесть, чтобы не подвести под монастырь пехоту, — говорил он. — Пехота пойдет безотказно, а если она на фугасах взорвется, кто перед нею будет ответчик? То-то и есть!

Ответчиком за все скверное, что могло случиться с его полками во время штурма так старательно, тоже вполне «на совесть», укрепленных позиций, он считал только самого себя, поэтому был осторожен, как никогда раньше.

Снаряды гаубиц громили легкие батареи мадьяр, проламывали, долбя раз за разом в одно и то же место, бетонированные своды блиндажей. Видно было, как взлетали там на воздух разные обломки вместе с фонтанами сырой земли. Снаряды забирались и в «лисий норы», выкуривая оттуда врагов. Рассчитанно действовали донцы, туркестанцы и свои дивизионные испытанные наводчики скорострельных японских пушек; проходы ширились, однако наступал уже вечер этого громогласного дня, а Гильчевский не давал еще сигнала к атаке.

— Утро вечера мудренее, — сказал он Протазанову. — Ночью пусть люди снят, и нам с вами это тоже не мешает.

— А чтобы мадьяры ночью не заплели проволоку, нужно бы продолжать обстрел, — возразил Протазанов.

— Не залетут, врут, не залетут! — подмигнул ему Гильчевский. — А для остратки — редкий огонь по проходкам и осветительные снаряды из трехдюймовок — и все! Что они могут сделать при таком наблюдении? Рогатки поставить? Утром мы эти рогатки расшибем к черту — и пойдем к ним с визитами. Все устали, все мало-мало отлохли, — пусть снят!

Подкрепления подбросят за ночь, Константины Му-

кич, — сказал уверенно Протазанов, но Гильчевский отозвался на это бодро:

— Если у них они есть, — милости просим! Лучше увидеть их завтра, чем послезавтра.

II

Приведя в действие большие силы, каких никогда до этого не было под его начальством, Брусилов в штабе, в Бердичеве, не мог, конечно, чувствовать себя спокойным и вполне уверенным в успехе, особенно на фронтах одиннадцатой и седьмой армий, где он за полнейшим недостатком времени не успел даже и побывать.

Он не был по натуре сухим человеком. Он всегда склонен был верить в приметы, отыскивать таинственное и непостижимое в жизни, одно время даже увлекся спиритическими сеансами, которые, впрочем, вообще были в моде во второй половине прошлого века.

Теперь он мог бы назвать себя пифагорейцем: он стал себя чувствовать во власти магии чисел. Отлично изучив по карте фронта расположение частей своей бывшей восьмой армии, он изучал также соотношение сил своих и австро-германских на фронтах — Сахарова, Щербачева, Лещинского и еще перед началом наступления говорил в штабе:

— Да, вот видите, как вышло, господа, оказывается, наше превышение в силах над противником сводится к пустякам, — сто с чем-то тысяч всего на четыреста верст по линии фронта! Ведь это совершенно ничтожно для наступающего на такие крепкие позиции... А вот Эверту создают тройное превосходство в силах! У нас едва набирается двадцать процентов перевеса, а у него целых триста!.. Да, плохо, плохо быть пасынком даже и среди главнокомандующих... Конечно, мы не старшие козыри в игре, однако же с нас начинают игру, а мы... все ли мы подсчитали как следует?

И подсчеты людей, орудий, пулеметов, снарядов, патронных лошадей, повозок и прочего начинались в штабе снова.

В день, назначенный для открытия бомбардировки по всему фронту, уже не занимались подсчетами, а ждали телеграмм от командующих армиями.

Важнейшая задача прорыва была оставлена за восьмой армией, которая, соответственно задаче, была и сильнее остальных, вобрав в себя больше трети всех сил Юго-Западного фронта — пять пехотных корпусов и один конный.

Ей приказано было Брусиловым действовать путем штурма не раньше утра на второй день бомбардировки, так что ожидать донесений об успехах или неудачах пехоты можно было из других армий, и первая радостная телеграмма пришла в полдень. Генерал Сахаров доносил, что его 6-й корпус прорвал фронт противника в назначенном для того месте, захватил одну из командующих над его позициями высот и закрепился на южном скате другой высоты.

За этой радостной вестью часа через два пришла и другая от того же Сахарова: второй его корпус — 17-й, который, как знал Брусилов, должен был только содействовать 6-му, в свою очередь прорвал позиции австрийцев против деревни Сопаново.

— Вот видите, вот видите, как! — ликовал Брусилов, впиваясь глазами в карту-верстовку.

— Странно только, что против Сопанова, а не против Богдановки, — заметил на это Клембовский, хорошо помня, что 17-му корпусу предписано было действовать против Богдановки, а Сопаново называлось только на всякий случай.

Но Брусилов тоже помнил все эти деревни, против которых готовились плацдармы.

— Да, да, Богдановка, совершенно верно, но успех-то, успех ожидал нас у Сопанова, — в этом все дело! — объяснял он оживленно своему начальнику штаба, доставшемуся ему в наследство от Иванова. — В этом только и состоит вся суть моего плана!.. Умница комкор Яковлев решил, значит, против Богдановки, где его ждали, устроить только демонстрацию, а ударить по-настоящему от Сопанова, вот и все, — и получился успех! А между тем, — вы ведь знаете это, — сам же Сахаров в Волочиске на совете заявлял, что успеха не ожидает!

— Не рано ли все-таки он пустил пехоту, Алексей Алексеевич? — раздумывал, глядя в ту же карту, Клембовский. — Артиллерия у него не так сильна, особенно в шестом корпусе... да и в семнадцатом тоже. Не погорячился ли Гутор, вот чего я боюсь.

Генерал Гутор был командир 6 корпуса, только что оправившийся от тяжелой раны и как раз накануне наступления, 21 мая, вновь принявший свой корпус.

— Да ведь что же Гутор? Он ведь боевой генерал, а не штабной, и свой корпус знает и позиции немцев знает,— вступился за Гутора, известного ему еще до войны, Брусиллов.

— Но ведь против него немцы, а не австрийцы, и командующие высоты, а не ровное место, и даже не лес, как против Яковлева.

Брусиллов знал, конечно, что против 6-го корпуса стояла часть Южной германской армии генерала Ботмера,— именно две дивизии — 32-я и 29-я,— что командующие над всей местностью там высоты — 369, 389, 390 — были чрезвычайно сильно укреплены за девять месяцев упорно сидевшими там немцами, знал и то, что артиллерия 6-го корпуса слаба, как и всей армии Сахарова,— ведь несколько батарей тяжелой артиллерии он сам приказал передать оттуда в восьмую, ударную, армию.

— И артиллерия слаба, и корректировать стрельбу по второй линии немецких укреплений нельзя без аэроплана. однако же вот держатся в занятых окопах,— молодцы!— скорее подбадривал самого себя, чем понимал причины успеха Гутора и верил в его прочность Брусиллов.— Да, наконец, ведь задача всей армии Сахарова только завязать дело, задача вполне второстепенная,— оттянуть на себя резервы армии Бем-Ермоли, а завтра ударит восьмая, и это уж будет настоящий удар.

Армия генерала Бем-Ермоли была австрийская, расположенная севернее армии Ботмера, против восьмой русской.

Телеграммы шли за телеграммами, сплошной поток телеграмм, но из седьмой — от Щербачева и из девятой — от недавно вступившего снова в ряды несущих службу командиров Лечицкого телеграммы касались только работы легкой артиллерии, пробивавшей проходы в проволоке, и тяжелой, долбившей вторые линии укреплений и уничтожавшей неприятельские батареи.

О том же самом доносил неоднократно и начальник штаба восьмой армии генерал Сухомлин. Брусиллов замечал за собою, что все донесения Сухомлина, с которыми работал он последние месяцы перед назначением главным командующим, его особенно волновали, хотя они пока ка-

сались только подготовки к атаке пехоты; отделаться от пристрастия к делам своей бывшей армии он все же не мог.

Однако день 22 мая был днем начала наступления, и начинала сбивать врага с давно насиженных им мест одиннадцатая армия, а не восьмая.

— Доброе начало — половина дела, доброе начало — половина дела, — механически повторял Брусиллов, внимательно между тем слушавший и просматривавший сам телеграммы и Сахарова и непосредственно обоих командиров — Яковлева и Гутора.

Корпус Яковлева — 17-й — был временно взят в одиннадцатую армию из восьмой и примыкал к левофланговому корпусу восьмой армии — 32-му, — поэтому действия Яковлева занимали большую часть интересов Брусиллова по сравнению с действиями Гутора. Но корпус Гутора стремился пробить брешь в наиболее сильных позициях на всем фронте одиннадцатой армии, притом в позициях, защищаемых германцами. Атака 6-го корпуса шла на Воробьевку, Глядки, Цебрув, но от этих галицийских деревень очень далеко было до армии кронпринца, осаждавшей Верден, однако удар здесь был направлен против нее там: били здесь, чтобы облегчить положение французов под Верденом, дивизии которых с тупой методичностью перемалывались артиллерией германцев; били здесь, чтобы оттянуть силы, таранящие Верден, на себя. Это была жертва на общий алтарь европейских жертв и вместе с тем это был вызов Эверту: против 6-го корпуса, как и против всего почти его фронта, стояли одни и те же германцы, которые, по убеждению Эверта, были неодолимы.

Одна из телеграмм-донесений особенно взволновала Брусиллова. Сахаров доносил, что, по показаниям пленных немцев, им было известно, что наступление не только готовится против линии укреплений на высотах 369, 389 и 390, но и начнется не раньше, не позже, как 4 июня (22 мая), поэтому у них все было готово к достойной встрече русских.

Что они знали о наступлении, это понятно: такого не шла в мешке не утаишь, но откуда они могли узнать заранее о дне наступления? — недоумевал Брусиллов и вспоминал любознательность царицы, но Клембовский отнесся к этому прощам, он сказал, вздохнув:

По-видимому, это только объяснение неудачи, по-

стигшей Сахарова, о которой сообщено им будет несколько спустя.

Действительно, несколько спустя пришло донесение о больших потерях 6-го корпуса. Боевые полки 16-й дивизии — Владимирский и Казанский — держались в занятых ими укреплениях, но им пришлось выдержать несколько контратак противника, которые нечем было отбивать, кроме как оружейным и пулеметным огнем, для чего уже теперь, в самом начале дела, не хватало патронов.

Артиллерия оказалась не в состоянии успешно бороться с многочисленной артиллерией врага. Кроме того, складки местности на высотах так укрывали неприятельские батареи, что наши наводчики не в состоянии были их нащупать. Змейковые аэростаты ничуть не помогли делу: во-первых, они не могли подняться выше как на двести метров, откуда ничего не было видно; во-вторых, их так раскачивало ветром, что наблюдатели заболели морской болезнью и сделались вообще ни к чему не пригодны.

В семнадцать часов (суточный счет часов был введен в ставку в ночь с 3 на 4 апреля) пришло донесение из штаба восьмой армии, что особая группа генерала Зайончковского двинулась в наступление на штурм германских позиций из деревни Черныж, но вслед за тем новое донесение обрисовало этот штурм как неудачный: он был отбит с большими потерями для частей 30-го корпуса, виною чему была плохая артиллерийская подготовка.

Брусилов встретил это донесение спокойно.

— Что из того, что отбит первый штурм? — говорил он. — Первый не удался — второй удастся. Зато немецкие резервы не пойдут оттуда на юг и не помешают тридцать второму корпусу и восьмому прорваться на Луцк и Ковель. Хорошо сделал Зайончковский, что выступил вовремя: и раньше выступить было бы хуже и позже еще хуже. А немецкие резервы припаяны теперь к Черныжу, — кончено!

Он не хотел допускать и мысли, что на его фронте, на который смотрят теперь алорадно Эверт и Куропаткин, скептически Румыния, с надеждой отчаянья Италия, с проблеском надежды Франция и с верой истрадававшаяся за двадцать два месяца войны Россия, может провалиться все начатое им большое дело в самом начале.

Он пил крепкий чай, курил папиросу за папиросой и вчитывался в подносимые ему телеграммы, всем существом стремясь найти в них что-нибудь радостное.

Но через час,— это было уже совсем к вечеру,— донесения рисовали картину еще более безотрадную: противник, не считаясь с числом расходуемых снарядов, развил ураганный огонь по занятым владимирцами и казанцами окопам, не переходя в атаку, и таким образом создал большие затруднения, даже полную невозможность поддержки наших бойцов, несущих большие потери.

— Это уже похоже на то, что было в марте и апреле у Эверта,— сказал Клембовский.

— Нет, не похоже, нет!— вскипел Брусиллов.— Генерал Гутор — прекрасный корпусной командир, но... но он только вчера вернулся в корпус свой из госпиталя,— вот причина! Подготовка велась без него,— вот!.. Кто ее вел? Как ее вел? — Вот где причина! Говорится: без хозяина дом — сирота, так и это. Нужно телеграфировать Сахарову: «Завтра с утра во что бы то ни стало занять на участке шестого корпуса обе главные высоты — триста восемьдесят девять и триста девяносто, для чего ночью произвести перегруппировку артиллерии и подготовить к атаке части четвертой дивизии».

Записав сказанное, Клембовский вспомнил и о высоте 369:

— На высоте триста шестьдесят девять тоже ведь положение трудное, Алексей Алексеевич.

— Ну, вот и добавьте об этом: «Шестнадцатой пехотной дивизии расширить плацдарм на высоте триста шестьдесят девять, оставив при этом только один полк в корпусном резерве».

Заметив некоторую нерешительность на первом лице Клембовского, записавшего и это добавление к приказу, Брусиллов спросил резко:

— Что вы хотите мне сказать?

— Неизвестно, как велики потери шестого корпуса теперь и насколько их будет больше к ночи, Алексей Алексеевич,— осторожно выбирая слова, ответил Клембовский.— Вдруг эти потери уже сейчас доходят до численности целого полка?

Вы так думаете?

Это вполне возможно... А к ночи там, может быть,

потеряют еще два батальона, раз наша артиллерия не может соперничать с неприятельской.

Брусиллов раза два прошелся по кабинету, остановился у окна и сказал, не поворачивая головы:

— Добавьте в таком случае: «Исполнение по усмотрению командира корпуса».

III

В штабе Брусиллова, как и в штабах всех четырех командармов, писались и оттуда сыпались на линию фронта телеграммы с приказами, ясными, категоричными и очень требовательными к людям. Все было рассчитано, — магия цифр и чисел владела всеми, — не было только предусмотрено такой досадной мелочи — дождя, а дождь, сильный весенний дождь, притянутый дневной канонадой, хлынул как раз ночью, когда нужно было совершать перегруппировку войск и передвигать артиллерию.

То, что действительно могло быть сделано за ночь в сухую погоду, при напряжении всех сил, не успели сделать под дождем, когда глубоко размок и без того сыроватый грунт, когда за сплошной сеткой споро падавших крупных капель люди даже и в трех шагах перестали что-нибудь видеть, точно заболели куриной слепотой.

Кроме того, не в одной ведь дивизии Гильчевского, а во всех дивизиях одно и то же: не солдаты, а народ, одетый в серые шинели. Народ же этот был разный, и чем только он не занимался до войны!

Крестьяне и рабочие городов, попав в армию, проходили, конечно, и военный строй и стрельбу из винтовок, но неискоренима была в них привычка отдыхать в то время, когда работает дождь. Так что даже и здесь, на фронте, за несколько часов до боя, когда тысячам из них грозили смерть или увечье, многие не хотели понять, что дождь ли, грязь ли, ночь ли, а работать надо: им все казалось, что это как-то не по закону с них требуют.

К утру, впрочем, дождь перестал.

Четвертый батальон 402-го полка продолжал оставаться в резерве, но был предупрежден все-таки, что, как только пойдут на штурм первые два батальона, он должен быть готовым по команде немедленно двинуться по ходам сообщения вперед в определенном порядке.

Готовиться к возможной смерти и не прочитать письма, — может быть, последнего письма от любимой женщины, было невозможно, конечно, и Ливенцев нашел время уединиться с письмом утром и вскрыл конверт. И, только когда вскрыл его, осознал, почему все откладывал это; он понял, что боялся каких-нибудь не тех ее слов, не тех ее мыслей даже, таящихся между строчек письма, — боялся какого-нибудь разительного несоответствия ее мира с тем, который окружает его; но с первых же строк письма увидел, что напрасно боялся.

Письмо Натальи Сергеевны начиналось с того, чем иная на ее месте могла бы закончить:

«Храни вас бог! Благословляю, целую!»

Он остановился на слове «благословляю». Почему «благословляю»? Не иначе ли как-нибудь? Может быть, «обнимаю»? Но почерк четкий, буквы крупны, — не «обнимаю», а действительно «благословляю»... Это наполнило его тою торжественностью, какая была, несомненно, в ней, когда она писала, и дальше он читал уже без опасений и с огромным вниманием к каждому ее слову, как будто она была рядом, и он ее слышал:

«Мне было очень тревожно за вас все последние дни. В газетах так много пишут страшного, а говорят люди еще больше. Мы все живем для лучшего будущего, конечно, но хотелось бы все-таки, чтобы оно настало, не требуя от нас такой слишком дорогой цены. Если за него придется отдать все, что еще осталось у нас, тогда зачем нам и это лучшее будущее? Тогда, значит, мы его просто-напросто недостойны и напрасно его добиваемся. Если к лучшему будущему приходится делать прыжок через такое море крови, то можно ведь и не перепрыгнуть, а утонуть, — то есть, — я хочу сказать... утонуть всем лучшим, что у нас есть, и что же тогда останется? Вы меня умнее, и вам виднее там, на месте, где творится паша новая история, какими средствами она творится и какими именно людьми. Не обо всем можно писать, — вам известно это, не все бумага терпит, по мне хотелось, чтобы с вами лично ничего плохого не случилось. Говорят и пишут, что летом должны начаться на фронте какие-то большие события, — они и начнутся, конечно... Я не пишу вам: «Не сдавайтесь в плен!» Я знаю, — вы и так не сдадитесь. Но мне бы хотелось, чтобы у вас были хорошие начальники, чтобы они знали, что надо делать, чего нельзя. Это ведь не так

много я хочу, не правда ли? Ведь я имею право этого хотеть?.. Жду от вас письма. Пишите мне каждый день, если можно, хотя бы по два слова только! Н. Веригина».

Ливенцев украдкой поцеловал письмо, тут же написал на клочке бумаги: «Жив, здоров», подписался, надписал на обороте адрес Натальи Сергеевны и сунул клочок этот в карман, так как не знал, кому передать его. Трудно было и знать это перед боем, который мог вырвать из списка живых кого угодно.

Артиллерия уже гремела, готовя бой.

Перед позициями 401-го и 402-го полков стояли две высоты — 100 и 125 метров, — на них-то и были расположены мадьярские окопы. Но если к окопам первой линии почти вплотную подобралась в земле русские окопы, то вторая линия укреплений была запрятана за гребни высот. Аэроплан поднялся было, чтобы корректировать стрельбу тяжелых батарей по второй линии, но, обстрелянный, быстро улетел в тыл.

За ночь всюду в пробитых проходах мадьяры успели повесить рогаток, но горные и легкие орудия, а также бомбометы очень быстро разметали эти препятствия.

Гильчевский с Протазановым с раннего утра были уже на наблюдательном пункте и видели, как тяжелые снаряды мадьяр ищут батареи, переставленные все-таки ночью, несмотря на дождь и грязь, — ищут ревностно, однако неудачно. Но снаряды падали и в передовые окопы обоих ударных полков, и это обеспокоило Гильчевского.

Начало штурма было назначено командиром в девять часов. Гильчевский решил применить хитрость: ввести в заблуждение солдат противника тем, что прекратить огонь и заставить их выскочить из окопов для отражения штурмующих штыками, а в это время накрыть их новым градом артиллерийских снарядов и тем обеспечить дело штурма.

Но вышло не так, как ему представлялось.

Командир 402-го полка Кюн получил этот полк не так давно, — в январе. О том, что у него сильная протекция в Петрограде, Гильчевский знал; что он — исправный службист, — это видел; проверить, каков он в деле, не пришлось, не было случая — и всю зиму и раннюю весну тянулось позиционное сиденье. Если даже и говорил кто-нибудь ему о Кюне, что он не выносит артиллерийской стрельбы, Гильчевский принимал это за злую шутку.

В первый день канонады не случилось его видеть, а на второй день злополучная нервность Кюна испортила штурм.

Гильчевский приказал прекратить оружейный огонь ровно в половине девятого, а через четверть часа, когда мадьяры выскочат из окопов, чтобы отражать штурм, открыть пальбу снова и продолжать ее до девяти, когда всем батареям умолкнуть.

Этот приказ был передан и командирам полков, но Кюн был точно в столбняке,— так он был оглушен канонадой,— приказ не понял и, чуть только упала в половине девятого тишина на окопы, погнал две передовые роты на штурм.

Точнее, его полковой адъютант, прапорщик Антонов, не успел предупредить в этом ставшего совершенно невменяемым Кюна, как удалось ему приостановить движение вперед других ударных рот.

Гильчевский с часами в руках считал минуту, когда должна была вновь открыться пальба по врагу, поддавшемуся на хитрость, как вдруг услышал впереди «ура».

— Что это там такое, что? Кто это? — ужаснулся он, но остановить тех, кто уже бросился в неприятельские окопы, не мог, конечно.

Роты были полного боевого состава, высокого боевого духа. Неудержимой лавиной бросились они в проделанные проходы и вскочили в окопы противника, не дав ему времени выбраться оттуда для встречи штурмующих.

У Гильчевского была еще надежда, что окопы мадьяр, быть может, сильно разбиты артиллерией и уже наполовину пусты. В этом он почти убедился, когда вдруг очень быстро по ходам сообщения начали проводить партии пленных. Непредвиденный оборот дела, казалось, обещал удачу, но следом за пленными кинулись назад остатки рот, браво бежавших на штурм и оставшихся без поддержки.

Только гораздо позже узнал Гильчевский, что прекрасно построенные окопы врага дали возможность мадьярам справиться после первых минут растерянности и забросать гранатами с обох флангов ворвавшихся к ним. Оба командира рот были убиты, роты потеряли управление, и хотя до трехсот человек насчитывалось пленных, но зато и потери рот были не меньше.

Менять данный раньше приказ было нельзя из-за то-

го, что несвоевременно вырвалась вперед часть ударных батальонов двух полков, — четверть часа молчания батарей были выдержаны точно, и началась новая пальба. Она, несомненно, с лихвой отплатила мадьярам, так как кое-где, видно было, они все-таки выскочили из окопов, и снаряды накрыли их, пока остатки их успели спрятаться снова.

Гильчевский был очень взвинчен первой неудачей, однако он не знал, что гораздо более крупная неудача ожидала его дивизию вслед за этой, сравнительно мелкой.

Тяжелые батареи, стихнув только на время, чтобы дать этим сигнал к общей атаке, начавшейся точно в девять часов по фронту всех трех ударных дивизий Каледина, перенесли потом огонь на вторую линию австрийских укреплений. Вот тогда-то и ринулись очень дружно и остальные роты первого батальона 402-го полка и все роты тоже первого батальона 401-го, Карачевского.

Гильчевский наблюдал за их действиями не отрываясь, до боли в глазах, и увидел вдруг то, что им просто не предполагалось даже. Бешеный заградительный огонь открыла австрийская артиллерия, точно заранее ей была известна минута штурма; началась жестокая трескотня бесчисленных пулеметов, и, что всего неожиданней вышло, он заметил своих солдат, не только падавших кучами около разорванной проволоки вражеских окопов, но еще и таких, которые вертелись пылающие, как факелы.

— Огнеметы! — догадался он. — Огнеметы!.. Неужели успели доставить?!

Да, их успели доставить, эту дьявольскую выдумку немцев, принесшую много потерь русским полкам в апреле, на Западном фронте, в боях у озера Нарочь. Для отражения штурма мадьяры выступили во всеоружии. Может быть, канонада предыдущего дня и уничтожила многие пулеметные гнезда, но или их было чрезвычайно много, или на место выбывших появились за ночь новые пулеметы из резерва, только и противоштурмовой и заградительный огонь оказался необычной силы.

Можно было рассмотреть в бинокль, как выскакивали на бруствер своих окопов неприятельские стрелки и расстреливали из винтовок зазевавшихся у проволоки солдат обоих полков. Пришлось отдать приказ открыть самую частую стрельбу по этим проклятым окопам, чтобы хотя обеспечить этим отступление в свои окопы тем, кто еще в со-

стоянии был бежать оттуда назад, иначе можно было потерять оба батальона в весьма короткий срок.

И стрельбу подняли сразу из всех орудий, и остатки батальонов отползли к своим окопам, благо не так далеко это было.

Гильчевский приказал немедленно произвести подсчет потерь и, когда узнал, что около восьмисот человек погибло за десять — пятнадцать минут, схватился за голову. Установить точно, сколько именно было заживо сожженных огнеметами, не удалось: донесли, что несколько десятков человек.

Этот новый вид смерти бойцов на фронте особенно волновал старого командира дивизии. Бросать в атаку очередные батальоны своих ударных полков при такой налаженной обороне неприятельских позиций он не считал возможным. Он телеграфировал в штаб корпуса о своей неудаче, приказал продолжать артиллерийскую стрельбу и уехал в колонию Новины на свою квартиру совершенно подавленный и расстроенный.

Единственное, что его теперь занимало, это опрос взятых двумя ротами 402-го полка пленных. Так или иначе, но оказалось, что непредвиденно вырвавшиеся эти роты сделали хоть что-нибудь, — им помогла именно эта самая непредвиденность, внезапность.

— Так что, если бы их поддержать тогда еще шестью ротами, — говорил дорогой Протазанову Гильчевский, — то, пожалуй, вышел бы толк, а? Но как было знать это? Я хотел сделать лучше, а вышло хуже, а совсем не лучше.

Он ждал, что Протазанов найдет что-нибудь такое, чего не находил теперь он для оправдания своей хитрости, которая послужила на пользу только мадьярам, заставив их подготовиться к штурму за четверть часа передышки. Однако Протазанов, не менее его удрученный неудачей, сказал только:

— Вот показания плешных покажут, как работала наша артиллерия. Ведь только на ее работу и была надежда, а пехота тут ни при чем, как и мы с вами. Не мы назначали штурм в девять часов по всему фронту, а командарм. Кто поручится за то, что это не было заранее известно противнику?

Было известно, было известно, вы правы! Они знали все в точности, да! — оживленно отозвался на это Гильчевский. Хотя от этого и не легче, но это так, —

знали!.. Язык наш — враг наш, такой же, как немцы!.. Шпионы — вот кто воюет против нас прежде всего! А сволочь эта — шпионы — вербуют изменников. Разве можно было назначать заранее один общий час для штурма по всему фронту? Нет, как хотите, как вам будет угодно, а этот наш командарм новый, генерал Каледин, сущий дурак! Не зря он каким-то отпетым дураком и смотрит. Меланхолией он, что ли, страдает, а? У него и усы висят, как у покойника, и глаза мутные... А если ты меланхолик, так на черта же ты командарм, а? Скажите, пожалуйста, — ведь я слышал, что Брусилов его не хотел, — царь назначил!

— Может быть, в четвертой дивизии успех или в четырнадцатой, Константин Лукич, — попробовал возразить Протазанов, но Гильчевский, пробормотав: «Дай бог, конечно, дай бог нашему теляти волка поймати», разошелся вновь, и Протазанов убедился вновь в том, что только опрос пленных может ввести его начальника в потерянное им равновесие, хотя бы одним только краем.

А между тем, когда совершенно упавший и в своем собственном мнении и в том мнении о своей дивизии, какое он себе составил, Гильчевский возвратился, как привычно, верхом в колонию Новины, он заметил, — не мог не заметить, — что к северу от его позиции шел бой. Видны были высоко вздымавшиеся, как смерчи на море, столбы дыма и земли от разрывов тяжелых снарядов; эти снаряды были русские, 8-го корпуса, в который входили кадровые дивизии — 14-я и 15-я, с овечьими боевой славой полками: Волинским, Минским, Подольским, Житомирским — в первой и Модлинским, Прагским, Люблинским, Замосцким — во второй. Эти полки тоже почти целиком состояли из новых уже людей, но положение обязывает: вливаясь, точно новое вино в старые бочки, новые люди спустя короткое время уже говорили о себе с гордостью: «Мы, волинцы», или «Мы, мишцы!», «Мы, модлинцы!..». Боевые традиции полков впитывались в них даже и независимо от усилий небольшой кучки кадровиков: они перерабатывались день ото дня сами тем неисповедным путем, о котором хорошо сказано народом: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». Незаметно для самих себя они впитывали в старых полках и выправку, и выдержку, и сметливость, и стойкость: это был тот воздух, которым они дышали.

И первая атака этих старых полков с новыми людьми тоже не увенчалась успехом, но они ее повторили и уже в десять часов прочно заняли первую линию австрийских окопов на участке от фольварка Носовичи до деревни Корыто, откуда был выход на широкое Луцкое шоссе.

Правда, этот участок фронта был все-таки легче для атаки и артиллерии и пехоты, чем участок 101-й дивизии: здесь не было высот, и вторая и даже третья линия укрепления противника отлично просматривалась и простреливалась,— не нужно было прибегать к помощи аэропланов и змейковых аэростатов, чтобы корректировать стрельбу.

Но если бы поднялся на аэроплане Гильчевский, он увидел бы дальше, севернее, те же могучие разрывы тяжелых снарядов русских батарей, дающие высокие смерчевые столбы и дыма и пыли: это вели упорный бой с противником тоже боевые и овеванные славой полки двух стрелковых дивизий 40-го корпуса — второй и четвертой. Полки эти не имели названий,— только номера: с 5-го по 8-й — во 2-й дивизии и с 13-го по 16-й — 4-й, но и под этими номерами они были известны и всей армии, и России, и ее врагам.

В это утро 2-я стрелковая дивизия и 15-й полк «железной» 4-й взяли штурмом две линии окопов на всем своем участке от фольварка Носовичи и дальше к северу до деревни Дерно. Отсюда шоссе на Луцк было еще ближе, чем от участка 8-го корпуса.

Наконец, еще севернее не переставая гремел бой 39-го корпуса: две молодые дивизии из бывших ополченских дружин, — 102-я и 125-я, — пробивались тут непосредственно на Луцкое шоссе, которое перекрещивалось на их участке с железной дорогой на Ковель.

В полдень пробита была брешь между двумя деревнями — Ставок и Хромьяково. Брешь эта хотя была и не так широка, зато пришлось по соседству с деревней Дерно, занятой стрелками, под флажковым огнем которых австрийцы по всем признакам дожидались только наступления темноты, чтобы бросить и третью линию своих укреплений и откатиться, насколько было можно, на запад.

Брусиллов поднялся в этот день раньше обычного.

Он привык за долгие двадцать два месяца, как командарм, сурово размеренно распределять свое время,— иначе нельзя было бы и справиться со всей работой, которую

приходилось нести. Но неудачи предыдущего дня слишком потрясли его, хотя внешне он старался держаться спокойно и даже уверять своего начальника штаба, что все идет именно так, как им и ожидалось.

Нельзя было надеяться, конечно, на то, что ночь внесет какие-либо перемены к лучшему в обстановку, сложившуюся днем. Нельзя было ждать этого и от раннего утра, но когда человеку хочется, чтобы события, в которые втянуты миллионы людей, развивались как можно быстрее, он, совершенно даже против воли, механически начинает, например, переставлять мебель в своей квартире или перекладывать книги на своем письменном столе.

Главкомандующий фронтом Брусиллов жил интересами всего четырехсотверстного фронта в целом, а не отдельной какой-либо армии на нем, не отдельного корпуса пехотного или конного, не отдельной дивизии. Это ощущение биения живого пульса целого фронта в нем самом было ново. Хотел или не хотел он этого, но он уже как будто не вмещался в прежнем своем «я», он расширялся, рос по мере впитыванья в себя интересов, нужд, сил и надежд других армий, кроме своей бывшей восьмой.

Этот стремительный процесс роста не мог обойтись, конечно, без слишком большого напряжения всех способностей главнокомандующего, а теперь наступал решительный день, — день отчета, день экзамена, который сдавал его фронт, который сдавала через посредство его фронта вся страна, который сдавал в конечном итоге он сам, напросившийся в ставку 1 апреля на этот экзамен. Ведь если бы он послушался тогда Куропаткина и так решительно выявленное желание привести свой фронт в наступление взял бы обратно, не гремела бы теперь артиллерия, по соотношению тяжелых орудий гораздо более слабая, чем австрийская, и не домогалась бы прорвать фронт противника, несравненно более крепкий, чем Юго-Западный.

Но дело уж было начато, артиллерия гремела. День 22 мая показал, что гремела она как будто впустую: она не испугала врага, не нанесла ему ощутительных потерь, а если и сделала проходы в колючей проволоке, то — как звать? — может быть, эти-то самые проходы, образуя собою поневоле узкие дефиле, простреливаемые и справа и слева фланкирующим огнем, станут местами гибели десятков тысяч беззаветно храбрых людей без всякой поль-

зы для дема прорыва? Так было у Эверта в марте, и может быть, он, Брусиллов, оказался просто чересчур легкомысленно-самонадеянным, несмотря на свой почтенный уже возраст?

В сотый раз он задавал себе этот последний вопрос и накануне и в этот день, 23 мая утром. За окнами дома, в котором помещался штаб, был разбит небольшой палисадник, и в нем цвела теперь пышными кистями ранняя персидская розовая сирень.

Запах сирени напоминал ему безмятежную жизнь с женою в Виннице, городе садов; однако это воспоминание даже, милое его сердцу, по воле должно было пронестись мимолетно, — он не смел остановиться на нем. Жена выражала в письмах не раз уже желание приехать к нему в штаб-квартиру, но, как ни хотелось ему этого тоже, он всеми силами давил в себе это и ей писал, что не может позволить себе такой радости.

Он знал, что в девять часов Каледин назначил штурм всеми своими ударными частями, — об этом была получена его шифрованная телеграмма в полночь, — и вот стрелки стенных часов, как и стрелки карманных его старых золотых часов, заводившихся ключиком, показывают ровно девять: штурм!

Кипа бумаг, поднесенных ему на подпись, не давала ему возможности сосредоточиться на мысли, что там сейчас, на фронте одной только восьмой армии. Бумаги были все деловые, касались вопросов снабжения сотен тысяч человек, бывших под его начальством. Сколько из этих сотен тысяч будет «снято с довольствия» сегодня к вечеру?.. Бумаги подписывались им и откладывались в сторону, снова вырастая в толстую кучу. Он не читал их, конечно, это за него делали другие.

Первой телеграммой с фронта, остановившей его внимание, была телеграмма комкора Федотова о взятии в плен двумя ротами 402-го полка трехсот мадьяр.

— Ага! Вот! — радостно сказал Брусиллов. — Это — сто первая дивизия, — как же! Там начальник дивизии Гильчевский, — отличный генерал, прекрасный начальник дивизии!.. Отличное начало! Спасибо ему!

О том, что штурм был отбит, что очень много было потерь у Гильчевского, Федотов не сообщал, но это пока и не было нужно. Нужно было другое, и оно приходило с других участков фронта. Радость за радостью: 8-й корпус,

40-й корпус, даже 39-й ополченский корпус — везде успех!

Брусилов опасался радоваться этим успехам в полную меру: он знал, что командиры имели совершенно непреодолимую склонность раздувать даже и незначительные удачи своих частей до размеров больших, и, напротив, большие неудачи сводить к незначительным. Он требовал и теперь подтверждения успехов, подробностей, он не отходил от своей карты фронта, чтобы взвешивать все возможности своих войск к дальнейшим действиям и учитывать возможности врага к их отражению.

Но, когда вечером пришли одна за другой несколько телеграмм командарма восьмой армии, что захвачены все три линии окопов противника на самом главном направлении, на Луцком, куда и был направлен основной удар, так тщательно обдуманый еще задолго до совещания 1 апреля в ставке, Брусилов позволил себе наконец довольную улыбку охотника, выстрел которого попал в цель.

В тот вечер было составлено им и послано в ставку на имя Алексеева подробное донесение о действиях его бывшей армии, так же как и о действиях других армий его фронта. В этом донесении заключительной была фраза: «Фронт противника на большом участке, на Луцком направлении, прорван».

глава восьмая

Перед новым штурмом

1

При опросе пленных в штаб-квартире Гильчевский все время сидел сам, иногда задавая и вопросы: он не забыл еще немецкого языка, который когда-то штудировал в академии.

Его занимало главным образом то, какое впечатление в окопах противника произвела пятнадцатиминутная пауза в артиллерийской стрельбе перед атакой. Эту паузу ввел он сам, думая, что так будет лучше, но вышло как будто хуже, потому что две роты приняли ее за сигнал к штурму, выскочили не вовремя и тем испортили все дело.

Пленные были настроены враждебно, показания их были отрывочны, однако несколько человек из них прого-

ворилось о том, что в передовых окопах их и в ходах сообщения было много потерь от русских гранат, когда обстрел неожиданно начался снова в восемь часов сорок пять минут.

— Ага! Много потерь! — воспрянул духом Гильчевский и переглянулся с Протазановым.

Представить это было можно так: из глубоких блиндажей и «лисных нор» выбегали солдаты противника для отражения штурмующих штыками и заполнили, конечно, и ходы сообщения и передовые, более мелкие окопы, когда их накрыл неожиданно для них новый град русских снарядов.

Установив, что благодаря его выдумке потери мадьяр, считая с пленными, никак не могли быть меньше, чем потери его дивизии, Гильчевский несколько успокоился. У него возник тут же новый план артиллерийской атаки, и он поделился им после опроса пленных со своим начальником штаба.

— Вот что мы сделаем: не будем совсем прекращать огня, когда будет назначен нам новый штурм. Люди пусть бегут на штурм по ходам, а легкие орудия в это самое время пусть лупят по окопам и ходам сообщения, чтобы...

Он имел привычку иногда не договаривать того, что понятно без слов: он любил, когда за него договаривали подчиненные, особенно же солдаты; ему казалось, что таким приемом он приучает их думать.

— Чтобы перенести огонь на вторую линию, когда наши добегут до первой, — договорил Протазанов. — Это было бы хорошо, если бы артиллерия с пехотой спелась как следует, чтобы не накрыть по оплошности своих же.

— Как же так накрыть своих? Что вы это такое? Ведь не ночной же назначат нам штурм? — взмахнул обеими руками, как крыльями, Гильчевский.

— Хотя бы и днем, но видимость может быть плохая, Константин Лукнич, — например, дождь... Или плохо будет видно из-за дыма.

— Ничего, мы выберем время, вот что мы сделаем. Теперь уж не командарм и не комкор даже, а я сам назначу время для штурма, — вот что-с. Я отвечаю за действия своей дивизии, я и назначу... Раз у меня ополченцы, то пусть в мой монастырь с кадровым уставом не ходят. У меня свой устав... А все-таки, почему же это выскочили не вовремя две роты, — вот вопрос? — вспомнил вдруг

Гильчевский.— Надо бы вызвать к прямому проводу полковника Кюна.

С Кюном по этому поводу еще не говорили,— совсем не до того было. У начальника конвоя при пленных, зауряд-прапорщика, была сопроводительная бумажка и донесение, подписанное Кюном; было потом и новое донесение его же о неудачном штурме в девять часов; но лично с ним еще не говорил Гильчевский, и вот Протазанов вызвал к телефону Кюна.

Оказалось, что Кюн заболел внезапно, и вместо него говорил полковой адъютант Антонов.

— Чем заболел? — удивленно спросил Протазанов.

Прямого ответа он не получил.— Антонов передавал, что командир полка лежит и плохо стоит на ногах, если пытается встать, поэтому ложится тут же снова.

— Что такое с ним? — удивился и Гильчевский.— Вертячка, как у овец от глистов в голове бывает, или, может быть, живот схватило? Спросите определенно.

Однако и на более определенный вопрос Протазанова Антонов отвечал так же неопределенно и путанно; приказание же двум погибшим в бою командирам рот о начале штурма ровно в девять часов было, по его словам, утром передано им, как и всем прочим.

— Ну, на мертвых можно валить что угодно, у них не добьешься правды,— сказал Гильчевский Протазанову,— значит, я буду иметь в виду, что полковник Кюн подозрителен по холере... или по чуме, или по сибирской язве, почему и руководство штурмом передать командиру четверста первого полка Николаеву,— вот как мы сделаем... И теперь пусть оба полка полностью идут на штурм,— была не была,— повидалася... А в резерве остается пусть третий полк. А четвертым пусть подавится комкор Федотов... В такой момент полк у меня взял, а? Только бумажонки строчит в тридцати верстах, а порох он едва ли когда нюхал!

Зная, что по поводу комкора Гильчевский может говорить много, Протазанов постарался изложить как можно мягко:

— У нас есть еще учебные команды, Константин Лукич.

А как же нет? Конечно же есть полторы тысячи человек, — обрадованно, точно сам не знал этого раньше, подхватил Гильчевский. — Вот и их тоже, их тоже в ре-

зерв... Конная сотня еще имеется, — и конную сотню в резерв: пустим ее за отступающим противником вдогонку... если он, проклятый, вздумает отступить перед ополченцами.

Все-таки он не мог отделаться от мысли, что штурм этого дня провалился потому только, что ополченцы, во скольких водах их ни мой, настоящего военного обличья иметь не будут, и ожидать от них чего-нибудь путного — просто глупо.

Горькие мысли эти несколько раз вкладывал он в течение дня в гораздо более резкие и злые слова. Впрочем, и о себе самом он тоже сказал как-то между делом:

— Дал маху!.. Понадеялся на какой-то кислый сброд, что ни ступить, ни молвить не умеет. На что же я надеялся, скажите, — на счастливый случай? Только Иван-дурак на счастливый случай надеется, и то в дурацкой сказке.

— Хотя бы узнать, как в четырнадцатой дивизии штурм прошел, грому там было пропасть, — сказал Протазанов.

— Авось завтра утром узнаем, — отозвался Гильчевский хмуро.

Но узнать об этом удалось ему еще задолго до утра, когда все распоряжения на завтрашний день были им переданы в полки и команды.

Он уж укладывался спать, когда услышал с надворья громкий круглый голос:

— Генерал Гильчевский здесь квартирует?

Потом кто-то звучно спрыгнул с коня.

— Вот тебе на! Кто же это там такое? — проворчал недовольно Гильчевский, натянул снова на плечи только что было сброшенные подтяжки и взял со стула расплетенный на его спинке староватый уже свой диагональный френч.

А за дверью тот же круглый голос:

— Доложи его превосходительству, что полковник Ольхйн, командир шестого Финляндского стрелкового полка.

— Ваше превосходительство, полковник Ольхйн! — появился и сказал отчетливо, точно подстегнутый бодрым голосом приехавшего, вестовой Архипушкин, которого Гильчевский обыкновенно звал, переставляя ударение — Архипушкин.

— Проси же, что же ты! — крикнул Гильчевский, натягивая френч.

И вот в комнате, служившей начальнику дивизии и кабинетом и спальней, появился молодой еще для командира полка генштабист, крутоплечий здоровяк, и отрекомендовался по уставу:

— Ваше превосходительство, честь имею представиться, назначенный в ваше распоряжение со своим шестым Финляндским стрелковым полком, генерального штаба полковник Ольхин.

— Как так в мое распоряжение? — подавая ему руку, спросил Гильчевский.

— Точно так же, ваше превосходительство, как и пятый полк той же дивизии, который идет за моим полком и часам к четырем утра, я думаю, будет на месте, — весело ответил Ольхин.

— Вся бригада в мое распоряжение? — удивился Гильчевский.

— Относительно первой бригады мне известно, что она назначена в резерв вашего корпусного командира, генерала Федотова, а уже его распоряжением будет передана в ваше распоряжение в порядке постепенности, начиная с моего полка, — тем же веселым тоном сказал Ольхин и добавил: — Поэтому, в случае надобности, располагайте и мною и моим полком, ваше превосходительство.

— Да это же, позвольте, как замечательно вышло! — обрадованно заторопился Гильчевский, усаживая за стол позднего, но очень вовремя явившегося гостя. — Архипушкин! — крикнул он весело. — Раскачай, бестия, самовар. Будем пить чаем полковника.

Он поднял, конечно, и Протазанова, и весь штаб собрался у стола послушать вести от свежего человека, кстати сказать, умевшего увлекательно передавать эти вести.

Прежде всего Ольхин осведомил всех о том, чего здесь еще не знали, — что австрийский фронт прорван двумя корпусами — 8-м и 40-м.

Все крикнули «ура», подняли рюмки, как-то неизвестно даже кем и поставленные на стол перед чаем, и выпили шутовского коньяку «четыре звездочки», вытасченного из «неприкосновенного запаса» ради исключительного случая, как шутил разошедшийся Гильчевский.

— Странно только одно, — заметил после того, как вспырынули победу, Протазанов: — Ведь четырнадцатая дивизия рядом с нашей, и мы об ее успехах не извещены.

— У четырнадцатой успехи скромнее, у пятнадцатой

большие, — сказал Ольхин, — а почему в вашей дивизии неудача, этого, простите меня, и в штабе корпуса мне не объяснили.

— А чего же там хотели от ополченцев? — обиженно вскинулся Гильчевский.

— Да ведь ополченцы-то были — ваша дивизия, — улыбаясь, возразил Ольхин.

— Так что же из того, что моя?

— От вас привыкли уже ожидать чуть что не чудес, ваше превосходительство. Я ведь помню, был как раз тогда в ставке, — как вы там всех изумили, что без моста через Вислу дивизию свою, кажется, восемьдесят третью, перекинули.

— Да, восемьдесят третью, только та была второочередная, а не ополченская.

— Хотя бы даже и кадровая, хотя бы даже и наша — финляндских стрелков дивизия, — но чтобы ее под огнем противника перебросить через реку в полверсты шириною да еще и австро-германцев с того берега выбить, это, знаете ли, до такой степени поразило тогда нас всех, что мы вам аплодировали заочно, как могли бы только Варламову в Александринском театре аплодировать.

Ольхин говорил вполне искренне, — он был увлечен даже воспоминанием о том, что успело полузабыться в самом Гильчевском, а это, с одной стороны, польстило старому генералу, с другой — несколько смутило его.

— Во-первых, там запасные были, — пробормотал он, — а во-вторых, офицерский состав лучше... А то, представьте вот, один полк у меня взял тот же Федотов, полк с хорошим командиром полка Татаровым, а у меня остался полк с таким командиром, что вот он там заболел какой-то сибиркой или чумой, чертом или дьяволом и всю мне обедню испортил.

— Как же именно испортил? — полюбопытствовал Ольхин.

— Как? Не распорядился как следует, — тем и сорвал штурм, — вот как именно.

— А какой же штурм? Первый, второй, третий? — добивался ясности Ольхин.

— Ну-ну, — «второй, третий». Разумеется, первый, он же был и единственный.

— Так вы с одного штурма хотели позиции на высотах взять? — изумился Ольхин. — Да этого не то что от

ополченцев, а и от любого кадрового полка едва ли возможно было добиться. Я слышал о трех-четыре-х штурмах подряд, даже о пяти и шести штурмах, а об одном,— простите меня, ваше превосходительство,— только от вас слышу.

— Гм... Вы как к этому относитесь? — обратился к своему начальнику штаба Гильчевский.

— Конечно, мы тоже могли бы попробовать, да испугались больших потерь,— сказал Протазанов.

— Потери у всех были серьезные, но ведь вопрос ставился о прорыве позиций, а не о том, чтобы как можно меньше было потерь. Какие бы ни были потери у нас, у противника они будут несравненно больше,— возразил Ольхин.

— Гм... Вот видите как? — несколько укоризненно кивнул головой Протазанову Гильчевский и добавил, обращаясь уже к Ольхину: — Так что вы полагаете, если мы завтра рискуем воевать, то... что нас может ожидать, а?

— Успех! — не задумываясь, но очень твердо ответил Ольхин.

И все выпили еще коньяку за завтрашний успех штурма, а потом уже перешли к чаю.

II

Прапорщик Ливенцев ловил себя на том, что несколько раздвоился после чтения письма Натальи Сергеевны: с одной стороны, жизнь приобретала для него почему-то большую ценность, чуть только оживала в представлении ярче эта скромная и тихая женщина, высокая, с четкой походкой, с верой в лучшее будущее России, библиотекаря из Херсона, — самый близкий, хотя и мало все-таки известный ему человек; с другой, — жизнь его уже растворялась, даже почти растворилась, в тысячах (миллионов он не представлял) других жизней около него, пусть даже иные, далекие от войны люди и называют пренебрежительно пушечным мясом все эти жизни. Никому из них не хочется умирать, но все в его роте, в его батальоне, в его полку и в другом полку рядом, — несколько тысяч людей, — очень твердо знают, что в каждый новый момент могут быть убиты или искалечены, однако же они не бегут в ужасе куда попало от одной этой мысли: ни-

стинкту самосохранения противостоит в них другой инстинкт — сохранение своего жилища; миллионы же их жилищ с семьями в них — это их родина: они — граждане родины, пославшей их на свою защиту; в этом их ценность для них же самих, хотя бы они этого и не представляли ясно; в этом их гордость самими собой; это повышает вес каждого в собственных глазах.

В часовом пробуждается гордость, когда он охраняет полковую святыню — знамя, мимо которого никто в полку не смеет пройти, не отдав ему чести. Но что же такое знамя, как не символ родины? На часах у родины, на страже родины стоит каждый солдат, как и офицер тоже. Во всякого, кто подходит к знамени с целью сорвать его с древка, часовой обязан стрелять, а когда выпустит все патроны, выставить против него штык и не смеет уходить от знамени, если даже чувствует, что он слабее врага, а стоять и биться за него должен насмерть.

Это сурово, но это красиво. Тут если и теряется жизнь, зато на высшей своей точке, в экстазе борьбы за самое дорогое в жизни, за то, что ее освещает, за то, что ее подымает, за то, чем она широка...

Очень много подобных мыслей приходило в голову Ливенцева, когда он смотрел на своих солдат в окопах, ощущая письмо Натальи Сергеевны в кармане своей гимнастерки. Была какая-то неукротимая потребность поделиться своей радостью, упавшей к нему, может быть, в последний день его жизни, и в то же время желание примирить своих солдат со смертью, какая их тоже, может быть, ждет, но неизвестно было ему, где взять для этого понятные им слова и даже с чего именно начать.

И остановив глаза на рядовом Кузьме Дьяконове, очень хозяйственного вида пожилым ополченце, всегда аккуратно выбритом, с чистой и хорошо смазанной винтовкой, Ливенцев спросил его для начала:

— Ну-ка, Дьяконов, как ты думаешь, для чего человек живет на свете?

— Для чего живет? — повторил степенный Кузьма Дьяконов, человек широкий, неслабый. — Да как сказать, ваше благородие, для чего человек живет...

— Ну, да, — для чего, как полагаешь?

— Полагаю так, что как бы ему хорошо пожить, да вот еще как бы, конечно, получше ему одеться, — вот для этого он, человек, и живет.

Очень серьезное лицо было у Дьяконова Кузьмы, когда он говорил это,— заподозрить его в малейшей тени насмешки над ним Ливенцев не мог, но, пораженный таким ответом, спросил:

— А что же, по-твоему, значит «хорошо поесть»?

— Ну, известно, ваше благородие, значит, чтоб настоящая пища была— убежденно-спокойно сказал Дьяконов (голос у него оказался-теноровый).

— Не понимаю, что это за «настоящая пища», какой смысл ты вкладываешь в эти слова,— уже начиная улыбаться, сказал Ливенцев.

— Да вот, к примеру, хоть об себе мне вам доложить, ваше благородие,— безулыбочно начал объяснять Дьяконов.— Жил я до мобилизации под Керчью,— город такой есть...

— Знаю я Керчь,— ну? Селедка там ловится.

— И селедка, и пузанок, и разная там всячина: бычки, судаки, лещи, прочие...

— Чем же это не пища? — спросил Ливенцев с любопытством, но Кузьма только головой повел.

— Какая же это пища, ваше благородие,— искренне недоумевал он, так как для него то дело было вполне ясно.

— Что же ты там делал, под Керчью? Хозяйство у тебя там было?

— Да как сказать вам,— было, конечно... Корову баба держала, молоко там, сливки, творогом индюшат кормила... Курей штук двадцать, кролы... Ну, опять же, огородишко там у нас,— летнее дело,— кавуны, дыни там, редиска, морковь, картофля,— все зрящее, а что касается настоящей пищи,— не-ма-а...

Подошел в это время фельдфебель Верстаков с докладом о чем-то и не дал Ливенцеву узнать у Кузьмы Дьяконова, какую же именно пищу считает он «настоящей».

А другой ополченец, Завертяев Тихон, «вредными вещами» назвал как-то в подобном разговоре с ним Ливенцева картины. Он до войны служил в богатом доме лакеем, и там его заставляли каждый день обтирать пыль с картин, развешенных на стенах,— вот из-за этой пыли картины у него и стали вредными вещами; сказать же, что это были за картины, он не мог, так как это ему, по его словам, было «совсем без надобности»,— картины и

картины... «А кому из гостей интерес был на них смотреть, те смотрели».

Все-таки ежедневная забота о картинах приучила Завертјева к порядку, и солдат из него вышел довольно исправный. Но было много и таких, которые и солдатами были плохими и картинами не были огорчены, так как никогда их не видели, и все слова застывали на языке Ливенцева, когда его подмывало сказать им горячо и ярко о родине, о том, какая святая возложена на них задача — защищать своею грудью родную землю.

Он думал, что его поймут если не все солдаты его роты подряд, то хотя бы младший командный состав, и, собрав взводных и отделенных унтер-офицеров в одной землянке, повел было с ними беседу о том, как приходили уж не раз завоеватели на русскую землю, но уходили с разбитыми зубами, а вот теперь такими завоевателями России хотят стать немцы. Но первый же из вызванных им на разговор взводных, бородатый и расторопный и тем похожий на Старосилу, Мальчиков, хитровато щурясь, сказал уверенно:

— До нас, ваше благородие, немец не дойдет, — мы вятские.

Оставалось только напоминать каждому, что он обязан был делать при штурме неприятельских окопов и что может всех ожидать в этих окопах, которые гораздо глубже русских, имеют отсеки и, пожалуй, будут защищаться упорно.

— Если он, немец, будет упорен, то нам надо быть вдвойне упорней, — говорил Ливенцев. — Теперь нам хорошо, — проволоку разнесла к черту наша артиллерия, а мне в прошлом году пришлось в Галиции через проволоку лезть, и вся рота так под огнем лезла, — через проволоку, даже пожниц не было у нас, чтобы ее резать, — и однако мы перелезли и окопы взяли. А теперь что же! — Теперь благодать! Теперь у нас и гранатометчики есть, а тогда ведь не было... Теперь вся армия на немца идет, а тогда один наш полк почему-то послали, и то мы шли с одними винтовками... Только когда мы уж в австрийских окопах сидели, пулеметная команда к нам подошла, артиллерия же наша где-то в болоте завязла... А почему мы окопы взяли? — Потому что шли дружно, стеной, без отсталых, вот так и теперь будем: ура, — и все на свете забудь, и помни только про австрийские окопы,

а прочесал первую линию, — гони во вторую... Главное, от товарищей не отставай, не задерживайся, ни на какую окопную австрийскую хурду-мурду не зрись, что бы там у них ни валялось... Даже и с пленными не заставляйся, — это уж я распорядюсь на месте, кому с ними идти, а не я если, — убит могу быть или тяжело ранен, — то мой заместитель, подпрапорщик Некипелов. Кстати, о ранах. Легкие раны в бою не замечаются: если только с ног не свалило. — действуй, из строя не выходи! В бою каждый человек важен, а легкую рану после сам перевяжешь, на то у всех индивидуальные пакеты имеются, а не достанешь перевязаться сам, — товарищ перевяжет...

Так и в этом роде говорил Ливенцев, стараясь казаться гораздо опытнее, чем он был на самом деле. Он несколько не подвигивал себя, — он о себе лично не думал, только о своей роте, от которой себя отделить уже не мог и ответственность за действия которой в предстоящем бою ощущал очень остро.

Но он не отделял и своей роты от всего четвертого батальона, хотя ей приходилось вести весь батальон, так как она была в нем по счету первой. Поэтому он ревниво присматривался, насколько это можно было в окопах, и к батальонному Шангину и к командирам других трех рот.

Шангин, как показался ему вначале разболтанным, так и оставался в его представлении — разболтанным и торопыгой. По опыту он знал, что такие командиры в бою не портят дела только тогда, когда остаются сзади.

Командирами четырнадцатой и пятнадцатой рот были прапорщики, как и он, Кошшин и Тригуляев, а в шестнадцатую, несколько позже их, назначен был почему-то старый отставной корнет Закопырин, не способный уже ездить верхом, однако и ходивший, по причине своей толщины, так же плохо.

— Как же вы побежите с ротой в атаку? — спросил его Ливенцев без иронии, но с неприкрытым любопытством.

— Бегать я никому не обаялся, я не беговая лошадь, — с достоинством ответил Закопырин.

— Однако ведь придется же и пробежаться до австрийских окопов, — силясь представить этого коротенького и совершенно завывшего до сокрытия глаз командира роты бегущим, снова спросил Ливенцев.

Но с еще большим достоинством и даже с рокочущим хрипом в жирном голосе. сказал на это Закопырин:

— Вы забываете, что я не-е прапорщик пехотный, а кор-нет.

И Ливенцев вспомнил, что он слышал от прапорщика Тригуляева, человека по натуре довольно веселого, но совершенно пустого:

— Закопырин-то наш — каков? — выражал батальонному свое порицание за то, что вы, прапорщик, командуете первой ротой в батальоне, а он, кор-нет, — последней.

При этом Тригуляев подмигивал и выделял такие сложные штуки губами, щеками и поздраватым носом, что небольшое лицо его морщилось, как у поворожденного.

Коншин, назначенный на место Обидина, был гораздо серьезнее, но по близорукости носил пенсне, а это тоже, как и солидная толщина, совершенно лишняя вещь в бою. До войны он работал в Тамбовском губернском архиве и сотрудничал там же, в Тамбове, в «Губернских ведомостях», а эти занятия расположили его к основательности действий и непреклошности суждений.

Правда, Ливенцев сомневался в том, был ли он способен бежать впереди роты своей на штурм, но все-таки он был и не такой пожилой, и далеко не так щедро упитан дарами природы, как Закопырин. А привычка копаться в архивах привела его к тому, что он довольно хорошо сумел изучить полевой устав, выпущенный главным штабом еще до японской кампании, когда не было в военном обиходе не только аэропланов, пулеметов и колючей проволоки, но даже и трехлинейная винтовка была введена не во всех частях.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Штурм

I

Утром, на рассвете, пошел вдруг сильный дождь. Солнце, поднявшись, расшвыряло тучи, но сырость в воздухе держалась и повлекла за собой стрельбу химическими снарядами по батареям на участке дивизии Гильчевского:

австрийцам непременно захотелось истребить всю артиллерийскую прислугу и этим сорвать новый штурм.

К газовому обстрелу давно уже готовились и носили при себе на всякий случай противогазы. Однако знали, что это слишком сильное средство войны — палка о двух концах: на газовый обстрел заранее приказано было отвечать тоже газовыми снарядами, которых достаточно было теперь как в парках, так и на позициях. Как только раздались крики: «Химия! Газы!» и лишь только успели надеть маски, взялись за эти снаряды.

Батареи в это мглистое утро имели совершенно фантастический вид.

Разрывы австрийских снарядов вообще были красные, чем издали отличались от русских, дававших белый дым, и вот теперь, в красной, как при пожаре, мгле, на батареях металась офицеры, точно на дьявольском маскараде, — с квадратными стеклами в белых черепах из резины и с длинными зелеными хоботами.

Они именно металась, а не ходили от орудия к орудю. Подавать команды наводчикам, тоже смотрившим сквозь стекла масок, было нельзя, — голоса противогазы почти не пропускали, приходилось командовать каждому наводчику на ухо и от него тут же бросаться к другому. А при каждом броске кололо в легкие и почти опрокидывало навзничь от удушья. Не верилось, что противогазы рассчитаны на шесть часов, — каждому казалось, что в них невозможно выдержать и часа.

Теперь никто уже не думал о возможности смерти от осколков снарядов, — это отступило на второй план, — выпало из сознания; на первом плане было только это — вот-вот нечем будет дышать... Обстрел тянулся больше часа, и прекратили его австрийцы: они не ожидали, что русские батареи будут им отвечать так же.

Когда часам к девяти приехал на позиции Гильчевский, он увидел на батареях лошадей, валявшихся около своих коновязей с кровавой пеной, бьющей из поздрей и рта, с мутными глазами: некоторые из них бились еще в судорогах, другие уже издохли. Люди, снявшие противогазы, были бледны, красноглазы, с угольной пылью, осевшей на губах и веках; они качались и с трудом понимали простые слова. Многих пришлось отправить в тыл, передать врачам, а между тем даже и от комкора Федотова пришел приказ о повторении штурма.

Установлена была ночью связь с 14-й дивизией, и от туда пришли ободряющие вести: две линии австрийских окопов были заняты прочно, так что если бы нажала как следует 101-я, то враги очистили бы сами и третью линию.

Хотя полку Ольхина Гильчевский приказал остаться в резерве, но сам Ольхин не усидел в Новинах,— прискакал на позиции и пробрался на наблюдательный пункт начальника дивизии.

Он был вне себя от выходки австрийцев:

— Газы вздумали пустить в дело, мерзавцы,— ого! Порядочные люди так не поступают!.. Вы знаете, что это значит, Константин Лукич?

— Догадываюсь отчасти,— ответил Гильчевский, в то же время пристально вглядываясь в глаза Ольхина.— А вы как думаете?

— Это называется: не мытьем, так катапьем,— вот что это такое! — бурно кричал Ольхин, очень темпераментный человек.— Мытьем, по-человечески, отчаялись взять, а конец свой чувят,— вот и гадят!

— Дескать, семь бед, один ответ? Да-да-да, голубчик мой, я и сам прихожу к тому же выводу... к тому же выводу...

Он присматривался в бинокль к позициям противника, чтобы найти в них новое, чего не было после вчерашнего штурма, однако это новое были только рогатки, беспорядочно набросанные в основательно проделанных проходах.

— На полчаса работы для донцов и туркестанцев, только на полчаса... — говорил он больше про себя, чем для Ольхина, Протазанова и окружающих его штабных.— Они же теперь злы на мадьяр и разнесут у них все к черту с первых же залпов. Только нужно им все-таки отдышаться и привести у себя все в порядок... Упряжки новые пригнать из парков... А мосты? А в каком состоянии наши мосты? Узнайте сейчас же,— обратился он к начальнику связи.

Заблаговременно, еще перед первым штурмом, приказал Гильчевский сделать мостки через окопы и ходы сообщения, не говоря уже о ручье Муравинце; мостки имели особое назначение: по ним должны были, в случае удачи штурма, проскакать горные батареи для поддержки наступающей пехоты; если же удача будет такою, какая

могла мерещиться только в пылких мечтах, то вслед за горными могли бы двинуться по этим мосткам и все вообще легкие батареи,— бить по отступающему неприятелю вдогонку.

Однако мостки, возможно, были разбиты утром, и Гильчевский встревоженно ждал сообщения об этом. Но они неожиданно оказались целы, и Гильчевский обвел всех около себя округлевшими и проясневшими глазами и сказал Протазанову:

— Приказываю: артиллерии открыть усиленный огонь ровно в одиннадцать, а ротам повторить штурм ровно через полчаса,— в одиннадцать с половиной... Пехота чтобы не ожидала, когда огонь прекратится, так как он прекращаться не будет, а будет лупить в хвост и гриву первую линию, пока до нее не добегут наши, а когда добегут, вот тогда только по второй пусть жарят все наши батареи: это вместе с тем будет заградительный огонь, чтобы вторая линия не успела подоспеть на помощь первой. Подробные приказания пехоте были отданы раньше без обозначения времени штурма.— теперь, значит, только точно указать время, да чтобы не выскакивал никто раньше времени, как вчера у полковника Кюна! Кстати, надо узнать, чем он таким вчера был болен, да не болен ли и сейчас этот Кюн?

— Слушаю, ваше превосходительство, — внимательно слушавший и подтянутый, как всегда, ответил Протазанов и отошел для передачи приказа.

И было всего только десять часов, когда и пехота и артиллерия узнали о решении, принятом начальником дивизии, а начальник дивизии узнал, что командир 402-го полка был вчера не то чтобы болен, а всего только несколько недомогал; в том же, что его роты вчера выскочили на штурм раньше времени, виноваты исключительно только сами командиры этих рот, которые, к сожалению, были убиты, и ответственности больше ни за какие свои проступки нести не могут.

II

Ровно в одиннадцать грянула вся артиллерия, сколько ее было в дивизии. Обе высоты — 100 и 125 — в первые же минуты окутаны дымом от разрывов, однако мадьяры не захотели остаться в долине: постепенно вступали в борьбу

с гаубичными и тяжелыми батареями, громившими пулеметные гнезда, их тяжелые батареи.

Но было все-таки преимущество над 38-м мадыарским, короля испанского полком, и над другими полками мадыар, занимавшими высоты, у полков дивизии Гильчевского, русская легкая артиллерия оказалась многочисленной, хотя тяжелые батареи противника и были сильнее.

Пальба все учащалась, — ее можно уже было назвать ураганной. Такой силы огня не разрешал Брусиллов, боясь износа орудий, но на полчаса подготовки штурма, при условии чередования батарей, ее разрешил лишь Гильчевский.

Земля гудела и дрожала, — это все замечали в окопах. Перепуганные полевые мыши, ютившиеся между бревнами потолков, падали вниз на головы солдат, не считая уж больше своего убежища прочным; вместе с ними сыпались и мелкие комья сырой земли.

Однако держаться можно было только в глубоких окопах, — ходы сообщения теперь не спасали ни от осколков, ни от шрапнелей. Представляя то, что творилось на позициях своих и противника, прапорщик Ливенцев вспоминал прошлогоднюю атаку своей роты на высоту 370 под прикрытием густого тумана, когда не было-ни такой ошеломляющей пальбы, ни таких огромных сил, пущенных в действие с обеих сторон. Случайно тогда ждала его удача, но что ждет его теперь?

О смерти почему-то не думалось. Живого представления о ней, быть может, совсем уже близкой, не принес ему и Обидин, назначенный Гильчевским в третий батальон, в одиннадцатую роту, к удовольствию Капитановой. До этого дня Ливенцев и Обидин виделись редко и мельком и почти не говорили друг с другом, теперь Обидин был торжественно-растревожен; он сказал проникновенно:

— Итак, значит, оба наши батальона через час пойдут на убой! Ну, что ж, — раньше ли, позже ли, все равно... Николай Иванович, я верю, что вы останетесь живы и невредимы, а меня убьют... убьют, это я чувствую!

— Как же можно это чувствовать наперед, — что вы! — пытался уснокоить его Ливенцев, напрасно усиливаясь в это время припомнить его имя и отчество.

— Нет, нет, не говорите, — возновался Обидин, имеющий действительно какой-то обреченный вид.

— Слы, что ли, вы нехорошие видите? В этом нет ни-

чего вешего: при такой обстановке всякий подобные сны может видеть.

— И сны, и все... Нет, я не уцелею, нет, Николай Иванович, — это, может, вам покажется тривиальным, что я скажу, но вы не смотрите так... Вообще, я — не герой, я — человек слабый... У меня есть невеста, Николай Иванович, — вот ее адрес (он сунул в руку Ливенцева бумажку). Сообщите ей, что меня убили, хотя... хотя это, может быть, и жестоко с моей стороны, но я так смотрю на это: пусть лучше она узнает, чем будет оставаться в неведении, считать меня живым, когда я уж буду гнить в земле... если только меня похоронят, а не бросят там, где убьют меня...

Ливенцев очень живо представил при этих словах внимательные глаза Натальи Сергеевны и обещал, конечно, написать невесте Обидина, но тот следил в это время ревниво за своей бумажкой и сказал по-ребячески просительно:

— Спрячьте, спрячьте, пожалуйста, Николай Иванович, а то вдруг потеряете, и как же тогда?

— А почему же вы не допускаете, что меня убьют, может быть, гораздо раньше, чем вас? — спросил, невольно улыбнувшись при этом и пряча бумажку в карман шаровар, Ливенцев.

— Убежден в этом! — уверенно ответил Обидин. — Вы рождены под счастливой звездой, как принято говорить...

— Или в сорочке, как тоже принято говорить? Впрочем, есть еще такие, что и в талисманы верят: недалеко ходить, — корнет Закопырин верит и что-то такое на шее носит. Блажен, кто держится за тетенькин хвостик какой-нибудь ерунды: дуракам иногда действительно непостижимо везет! — насмешливо говорил Ливенцев.

Обидин смотрел на него проникновенно и вдруг перенес губами, как будто стремясь усмехнуться, и не то чтобы сказал, а как-то выдохнул:

— Хватаюсь, как утопающий, за то, что вы мне бросаете: ведь я-то дурак, конечно, в ваших глазах, а? Так что, может быть, и мне повезет сегодня быть только раненым, а? Пусть даже оторвет хотя бы ногу... или даже руку... — я согласен...

И снова, как когда-то раньше, охватило Ливенцева при этих жалких словах чувство безразличия к тому, с

кем вместе, в одном купе вагона, ехал он в марте, два месяца назад, сюда, на фронт; поэтому он сказал теперь уже безулыбочко, даже хмуро:

— Был такой страшный для нас день во время русско-японской войны, когда взорвался «Петропавловск» и адмирал Макаров, и художник Верещагин, и множество дорогих людей погибло, а Кирилл Владимирович, великий князь, один из сотни подобных и нам ненужных и для нас вредных, выплыл каким-то образом из пучины паверх, и его подобрали, и он жив до сих пор, и, говорят, торчит зачем-то в ставке... Помнится, старый боевой генерал Драгомиров отозвался на это тогда народной поговоркой, не то чтобы великосветской, а однако меткой: «Дерьмо плавает!» Так что и с вами вполне может случиться то же самое, что и с вышепомянутым великим князем.

Обидин не мог не понять колкости Ливенцева, но счел за лучшее не показывать, что понял, пробормотал: «Да, вот видите, повезло же ему, может быть, мне тоже...» и простился, а Ливенцеву было не до того, чтобы думать над Обидиным: у него под началом было около двухсот человек, за многих из которых не мог поручиться он, что они не чувствуют себя теперь так же, как Обидин.

Машинально он вынул бумажку и прочитал на ней: «Г. Касимов, Рязанской губ., Верхняя ул., собственный дом, Вере Андреевне Покотиловой». Он не слышал раньше от Обидина, из каких тот мест, но теперь, хотя то был адрес его невесты, а не его самого, зачислил его тоже в касимовцы. Почерк у него оказался страшный какой-то, как у малограмотных людей, что Ливенцев объяснил, впрочем, отчасти его волнением, отчасти плохо очиненным химическим карандашом.

III

Несколько раз за время канонады смотрел Ливенцев на свои часы, и когда наконец стрелки подошли к половине двенадцатого, он крикнул Некипелову:

— Штурм!

Некипелов снял фуражку и перекрестился. Считая, что это не плохо в такой момент, Ливенцев сделал то же, а вслед за ним, без всякой с его стороны команды, сняли фуражки и крестились солдаты.

Некипелов не зря получил подпрапорщика: он имел Георгия всех четырех степеней. Как-то, разговорившись с ним, Ливенцев узнал, что у него в Сибири есть сестра, которая ходит на медведей с рогатиной и с ножом, и она недавно писала ему, что имеет на своем счету уже двенадцать медведей.

— Какова же она из себя? — любопытствовал Ливенцев.

— Сказать, чтобы была из красивых собою, нельзя, — так она, вроде меня, ну зато она и ростом вышла с меня и силой ее бог не обидел, — объяснил ему Некипелов. — А на медведей это она приучилась с отцом ходить, я уж в это время на службе был... Ну, раз они такого огромину из берлоги подняли, что и сами не рады были... Этот мпшка отца тогда повредил, мог бы и совсем задрать, если б не сестра Дуня: она к нему кинулась с ножом, как он стоймя стоял, да снизу вверх ему по брюху — тррр! А конечно же нож сама точила, — как бритва он был, — вот почему огромину этот повалился, а то бы конец отцу. Так что теперь уж он дома сидит, одна Дуня ходит.

— Да ведь рогатину медведь сломать может или как? — захотел уяснить это Ливенцев.

— Обязательно сломает, — в этом и дело, — невозмутимо сказал Некипелов.

— Ну вот, допустим, сломал, — как же потом?

— А потом очень просто: она подскочит и своим этим ножом его снизу вверх по брюху, — тррр! — и медведь стал ее, остается ей только драть с него шкуру да окорока его положить под шкуру на сайки да домой все это везть, — и все дело.

Особенно живописно у Некипелова выходило это «тррр», — звук, которого, может быть, невозможно было и слышать даже сестре его Дуне во время ее богатырского подвига в одиночной борьбе с сильным зверем в глухой зимней тайге. И, когда бы потом ни обращался Ливенцев к Некипелову, всегда и неизменно вспоминалось ему это «тррр».

Теперь, во время сокрушающей все там наверху канонады, отдающейся во всем теле не как треск, а как совершенно подавляющий грохот, не смолкающий ни на минуту, мирной идиллией могла бы показаться схватка великорослой Дуни с хозяином тайги; но зато в той схватке,

которая предстояла вот-вот, можно было положиться на брата сибирской медвежатницы.

Правда, четвертый батальон назначен был идти по порядку после третьего, но, во-первых, тринадцатая рота должна была показать пример всему батальону, а во-вторых, третий батальон с двумя Капитановыми во главе его и с такими ротными командирами, как Обидин, Ливенцев не считал надежным. Ему представлялось, что этот батальон непременно испортит дело двух первых и не кому-либо другому, а именно ему, Ливенцеву, придется спасать положение какою-то мгновенной догадкой, каким-то «тррр», без которого все дело может погибнуть.

Батарей не прекращали палбы, и трудно было судить в окопе о том, что делалось наверху, зато это видел взволнованно следивший за всем со своего наблюдательного пункта Гильчевский.

Слишком смело выдвинутый вперед,— всего на семьсот шагов от окопов,— этот наблюдательный пункт уцелел от артиллерийского обстрела, но пули залетали сюда и звучно шлепались в бруствер, так что стоять здесь было совсем небезопасно.

Однако ни Ольхин, ни Протазанов, ни тем более сам Гильчевский,— никто из них не мог удержаться от соблазна следить за тем, как выбежали из своих окопов первые роты обоих ударных полков, как очень быстро пробежали они по расчищенным снарядами проходам, как задерживались они то здесь, то там на брустверах мадьярских окопов, но потом прыгали вниз и исчезали, а за ними следом бежали, как будто даже еще быстрее и уверенней, вторые роты, потом третьи...

— Пошло дело, пошло дело! — кричал возбужденно Ольхин.

— Подождите хвалить,— не сглазьте! — останавливал его Протазанов.

— Нет уж — теперь не сглазишь! Теперь уж взяли их за жабры! — не унимался Ольхин.

Гильчевского ободряло это, что командир полка чужой дивизии,— притом старой кадровой, стрелковой и академик к тому же,— так близко принимает к сердцу интересы его дивизии, ополченской, к которой принято было в кадровых частях относиться не иначе, как только насмешливо; но он, как и его начальник штаба, все еще не сваял с себя горечи вчерашней неудачи, поэтому он предостере-

гающе поднимал в сторону Ольхина палец и бормотал:

— Цыплят по осени считают... по осени... по осени...

Глухо из-под земли начали доноситься со второй линии неприятельских окопов взрывы.

— Ага! Наши гранатометчики, наши работают! — радостно закричал Ольхин.

— По-чем вы знаете, а? По-чем вы знаете, что наши, а не ихние? — пробовал даже возмутиться этой преждевременной радостью Гильчевский и не мог: ему тоже казалось, что так рваться могут только русские гранаты!

Одна за другой бежали в проходы и уже без задержки спрыгивали в глубокие окопы мадьяр, как в свои, роты вторых батальонов. Вот на высоте 125 появились кучки австрийцев с пулеметами, однако не успели пристроиться, чтобы обстрелять штурмующих, как были обстреляны сами снарядами гаубичной батареи и разбежались, бросив пулеметы и несколько убитых возле них.

— Так их, та-ак! Так-так-так,— молодцы! — кричал теперь уже сам Гильчевский по адресу батарейцев.— Крой их, вонючих, кро-ой!

«Вонючими» стали у него австрийцы только сегодня, когда вздумали взяться за удушливые газы: раньше Гильчевский отдавал дань уважения своим противникам за их благоустроенные деревни, в которых улицы были щедро посыпаны гравием, за то, что вместо наших грунтовых дорог, непроезжих осенью и весной, у них везде шосс, как везде линии телеграфных и телефонных столбов и повсеместны указатели, благодаря которым безошибочно можно было двигаться в любую сторону, не прибегая к опросам местного населения, не всегда ведь толкового, а иногда даже и сознательно долго скребущего в затылке, прежде чем ответить что-нибудь такое, что совершенно сбивало с толку.

Враг с сегодняшнего утра стал в его глазах подлым, и, чувствуя к нему личную озлобленность, Гильчевский понял, наконец, что та же озлобленность теперь у всех от мала до велика в его дивизии и что поэтому неуспеха уже быть не может, как вчера, а непременно должен быть и будет успех.

Движение рот, одна за другой идущих на штурм, было исключительно дружным, и самое дело штурма чем дальше, тем быстрее текло. Вот уже на той верхушке высоты 125 появились взамен еще недавно там бывших австрий-

цев кучки бойцов 401-го полка; вот они осматривают и забирают с собою брошенные противником пулеметы; вот они, не мешкая ни минуты, переваливают через гребень к третьей линии укреплений.

— Смотрите, — пленные, пленные! Пленных ведут! — кричит раскрасневшийся от радостного волнения Ольхин, и Гильчевский видит — действительно, группа австрийцев идет под конвоем, а навстречу этой группе бегут и потом проваливаются в окопы и ходы сообщения, кажется, уже четвертого батальона какого-то полка роты... Какого именно, — 401-го или 402-го, — трудно уж и следить стало от влаги, заволакивающей старые глаза.

Вот на высоте 100 свои, — значит, и она взята, а пленные австрийцы — группа за группой, идут сюда безостановочно, — два потока движутся: свои — широкий, туда, и враги — узкий, сюда, свои вытесняют врагов, свои занимают их окопы, свои бегут и бегут вперед молодцами, как и наде...

— Как думаете, больше уж, пожалуй, их будет, чем вчера? — кивает на пленных Протазанову Гильчевский.

— Куда там вчера! Гораздо больше! Победа, Константин Лукич! — кричит Протазанов.

— Победа, победа, — ура! — подхватывает Ольхин.

Оба они кричат потому, что возбуждены, но артиллерия как своя, так и вражеская уже умолкла, а винтовочные выстрелы и короткие очереди пулеметов доносятся теперь уже издалека, с того склона высот, откуда все подходит, одна крупнее другой, новые и новые кучи пленных.

— Ого, ого! Поздравляю! — кидается Ольхин к Гильчевскому.

Тот обнимает его, стряхивая непрошеную слезу на его мощное плечо, и говорит вдруг торопливо-начальственно:

— Поезжайте же за своим полком, — придвиньте его сюда! Сейчас я пуцую в пастушение свой последний резерв: куй железо, пока горячо!

— Слушаю, ваше превосходительство! Через три четверти часа тут будет мой полк! — говорит Ольхин, уходя поспешно.

А на наблюдательный пункт начальника дивизии сходятся теперь уже отдыхающие командиры тяжелых батарей, чтобы тоже поздравить с победой; а горные батареи уже снимаются с позиции, чтобы мчаться вперед через заготовленные заранее мостки над ходами сообщения и пасть по отступающему неприятелю вдогонку.

Когда Шангин дал знать Ливенцеву, что пришло время ему передвигать свою роту в передовые окопы, чтобы оттуда бросить ее на штурм, Ливенцев не представлял еще, что ждет его солдат там, наверху, где перестала уже греметь канонада. Он не знал и того, что было уже известно Гильчевскому и его штабу; он знал только одно и знал твердо, что ему самому придется бежать впереди роты, что бы там ни было впереди: пулеметы, огнеметы, минометы, или только те же самые австрийские винтовки, какие были и в руках его бойцов. К этому он уже приготовился. По опыту он знал, что, стоит только ему начать бежать с криком «ура», непременно найдется несколько человек из молодых солдат, которые его обгонят, и тогда ему, в свою очередь, надо будет догонять их, чтобы руководить рукопашным боем. Так как ум у него был насмешливый, то про себя он добавлял, думая об этом: «Необходимо в такие моменты, чтобы физиономия была наводящая ужас на неприятеля и возбуждающая невольное уважение к себе подчиненных. Почему-то бывает во время штурма именно так, что зверские лица точно вынимаются ради этого из вещевых мешков и приклеиваются моментально поверх обычных лиц; добродушие же исчезает даже из самых кротких в мире глаз, что, конечно, само собою понятно: откуда же и взяться добродушию, когда люди бегут навстречу своей смерти и с чужою смертью, крепко, изо всех сил, зажатой в руках?»

Он как бы раздвоился в эти моменты перед действием, вместо того чтобы быть собранным, но это была только старая привычка его наблюдать за собою со стороны. И когда он беспокойно думал о том, как ему надо сделать, чтобы не потерять руководства ротой там, в австрийских окопах, где в темноте и тесноте рассыплются его солдаты, — кто-то другой в нем как будто недоуменно пожимал плечами перед такою брэнной заботой.

— Рота, вперед! — скомандовал Ливенцев, и рота пошла, и сразу ясно стало, что не о чем больше думать, что дальше все случится само собою, только бы вырваться из своих окопов и увидеть чужие, теперь, впрочем, уже занятые своими или ставшие просто проходным двором: предвидеть заранее, что может встретиться роте там, наверху, все равно было нельзя.

Рота шла гуськом, змейкой вытягиваясь по ходам сообщения поспешно и молчаливо. Но чем ближе подходила к передовым окопам, тем оживленнее становились в ней все. «Победа!.. Бегут венгерцы! Сдаются в плен!..» — это слышали на ходу чаще и чаще от встречных раненых и вот начали выбираться наконец из своих окопов наружу, и первыми Ливенцев с Некипеловым: нужно было осмотреться, куда и как вести роту.

В несколько коротких, но ярких моментов Ливенцев вобрал в себя: тела убитых впереди в проходе, разорванная проволока задралась кверху, блестит; пара сапог торчит из воронки, венгерские окопы совсем недалеко, — добежать можно в две-три минуты; бруствер их — рыжий, на нем местами тела вповалку; выше — еще линия окопов, блестит задранная проволока, валяются убитые, но их больше: не попали ли под флагтовый пулеметный огонь с соседней высоты 125?..

— Наши уж просмолили дальше! — говорит Некипелов и кричит солдатам: — Скорей, скорей, вы там! Какого черта возитесь!

Ливенцев не знает, как лучше сделать: дожждаться ли, когда выберутся из окопов наружу все в его роте, или ждать не стоит, а бежать с теми, кто уже вылез, оставив других на Некипелова? И тут же решает: «Выиграешь в скорости, потеряешь в силе, — нельзя... А главное, потеряешь руководство ротой...»

Он знает, что сзади теперь напирает на его роту четырнадцатая, а на ту — пятнадцатая: ему кажется, что он тормозит порыв всего батальона, а между тем его солдаты сами спешат вылезть из окопов, помогая один другому. И время, потраченное ими на это, в сущности ничтожно, самое же важное то, что он осознает: обе высоты спереди молчат, — ружейные выстрелы доносятся только с задних их скатов.

«Мы — для отражения контратаки мадьяр... они теперь так же спешат отбить эти высоты, как мы спешим их занять», — думает Ливенцев в то время, как последние из его роты вылезают, и, не дожидаясь уже каких-нибудь пяти-шести отсталых, он командует, выхватывая револьвер из кобуры, — командует с огромным подъемом, на какой только способен:

Рота, вперед, за мной!

Он бежит сам, едва через плечо оглянувшись назад.

Сначала он слышит за собою только топот многих ног и вспоминает вдруг, что нужно было ему крикнуть еще и «ура», — однако тут же кто-то сзади, должно быть Некипелов, исправил его ошибку, и дальше он бежал, крича «ура», как и вся его рота.

По передовым окопам мадьяр и дальше по ходам сообщения расставлена была цепочка из солдат 402-го полка, указывавших, куда бежать дальше. Ливенцев счел это за предусмотрительность полковника Кюна, но Кюн, как и командир 401-го полка Николаев, получил точный приказ Гильчевского о всем порядке штурма: через какие именно проходы вести роты на штурм, через какие санитарам выносить и выводить раненых и через какие вести в тыл пленных, только начальник дивизии, сам руководивший штурмом, а не сидевший в безопасном месте в тылу, мог и дать такой приказ, чтобы ни пленные, ни свои же раненые не тормозили дела.

Пленные? Толпу их увидал мельком Ливенцев, едва задержав на них глаза, когда пропускал первые ряды своих солдат в мадьярские окопы и готовился прыгнуть туда сам. Пленных вели стороною, ложиной, спускавшейся с высоты 100 к ручью Муравица. Они шли открыто, и он подумал: почему же ему не вести было свою роту так же открыто прямо ко второй линии укреплений? Но цепочка из солдат стояла не на открытом склоне, теперь безопасном, однако сплошь почти опутанном где разорванной, а где и не тронутой еще проволокой на кольях, где поваленных набок, где стоячих. Накопец, мадьяры могли обстрелять склон этот гаубичным огнем, и неизвестно еще, скорее ли этот «прямой» путь до их третьей линии укреплений.

Самым важным казалось теперь Ливенцеву привести туда, где еще дрались мадьяры, не беспорядочную кучку солдат, а действительно роту — четыре взвода, восемь отделений с их командирами, с полными подсумками патронов. И когда он заметил, обернувшись назад, как со всех ног бегут догонять своих несколько человек оставших, он успокоенно почти мешком свалился в первый австрийский окоп, какой пришлось ему увидеть здесь, на Волани.

Дивизия занимала большой участок фронта — двенадцать верст, так что на каждый из двух атакующих полков приходилось по шести. Однако занять людьми все шесть верст даже только одних передовых окопов так, как тре-

бывала обстановка, создававшаяся к концу мая (началу июня), не могли австро-германцы. Силой своих укреплений они думали заменить недостающие живые силы, как искусственным бензином из угля заменили бензин из нефти; на место отдыхающей на русском фронте тактики они выставили фортификацию — в масштабах, еще не виданных в мире. И вот русская тактика победила, и сознание того, что он — тоже участник победы, необычайно, как он и не думал даже, волновало радостно математика в рубахе защитного цвета — Ливенцева.

Если галицийские окопы австрийцев казались ему, по сравнению с русскими, образцом строительного искусства в земле, то волынские, — он видел, — далеко превзошли те. Они были и глубоки, и сухи, и чисты, вполне безопасные от тяжелых снарядов полевой артиллерии, вполне обжитые за девять месяцев подземные галереи, со стенами, забранными досками, с настоящими полами, — не окопы, — дачи, — так это казалось теперь, в конце весны, когда все жители больших городов неудержимо рвутся на лоно природы.

Конечно, бомбардировка двух предыдущих дней, а может быть, и только что умолкшая, испортила кое-где дачное благополучие окопов: были кое-где проломы, торчали бревна концами вниз, а под ними кучи земли, свалившейся сверху, громоздились на полу, и приходилось пробираться вперед уже не во весь рост, а согнувшись; кое-где приходилось обходить тела убитых; где-то пришлось несколько шагов сделать по мягкому, — тут свалены были в кучу бинты и вата, — знак того, что здесь был перевалочный пункт, поспешно оставленный...

Цепочка солдат вывела роту в ходы сообщения, тоже сделанные аккуратно. — Ливенцев даже подумал «любовно»: о побежденном враге можно уж было так думать. И вот — вторая линия укреплений, гораздо более мощная, чем первая: Ливенцев изумился тому, как можно было бросить такие блиндажи, в которых, как определил и Некинелов: «Сорок лет сиди себе, пожививай, был бы только женский монастырь поблизости, а только, лиха беда, и есть не так далеко монастырь, так не совсем подходящий».

А вы какой же монастырь имеете в виду? — спросил его на ходу Ливенцев.

— А вы разве не знаете, Николай Иванович? Так Почаевская же лавра от нас верстах в тридцати пяти, люди говорят, если не врут! — весело ответил Некинелов.

О том, что знаменитая Почаевская лавра так сравнительно близко, Ливенцев действительно не удосужился узнать, но его удивила явная веселость сибиряка, точно шел он не с ротой на где-то там впереди еще упорно сражающихся мадьяр, а со своей сестрой Дуней после удачной охоты.

Впрочем, как заметил он, у всех в роте настроение было приподнятое, хотя никто ничего еще не ел с утра. И никто не задерживался, как он побаивался перед штурмом, чтобы пошарить под парами и койками в окопах, не стоят ли где бутылки с ромом и жестянки с консервами.

Даже любитель «настоящей пищи» Кузьма Дьяконов проворно шагнул вместе с другими в певедомое грядущее, теперь уже, видимо, никому не казавшееся мрачным.

V

Четырнадцатая, пятнадцатая, а вслед за ними и шестнадцатая рота, с ее тяжеловатым и староватым корнетом Закопыриным, подпирала тринадцатую, — это придавало ей тоже немалую бодрость.

Но следом за шестнадцатой ротой двинулись батальоны 403-го полка, — общий поток дивизии сделался совсем неустойчивым, она уже бросала свои окопы надолго, па- всегда, чтобы идти вперед далеко, как можно дальше, — на Броды, на Луцк, на Ковель — и куда бы ни приказал командарм!

Это был знаменательный день. Этому дню долго ждали. В этот день далеко не все и веряли, однако же он настал в посрамление маловагам. Если не день настоящей пищи, то настоящий день.

Уже гремели по мосткам сзади похоты упряжки лихой горной артиллерии. И если четвертый батальон 403-го полка видел, как упряжка за упряжкой по трудным проходам в проволочных заграждениях пробирались на вершину высоты 125, то в роте Ливенцева, добравшейся наконец до заднего ската своей высоты 100, видели, как батареи горных орудий догоняли своими снарядами поспешно отступающих мадьяр.

Да, они уже не сопротивлялись больше. Главные силы их видны были уже далеко и даже еле видны в облаке поднятой ими пыли. В то время, когда шла тринадцатая

рота и слышна была ружейная стрельба, это только вяло выполняли свое назначение арьергардные отряды, оставленные для прикрытия отхода главных сил, начатого под надежным занавесом обеих высот.

Штурм, проведенный накануне, как бы он ни казался неудачным самому Гильчевскому, поколебал решимость мадьярских полков защищаться до последней крайности, а выход им во фланг прорвавшейся 14-й дивизии создавал для них явную угрозу обхода.

Все это стало вполне ясно Гильчевскому после беглого опроса пленных, которых к трем часам дня набралось уже в колонии Новины до четырех тысяч — из них около сотни офицеров. Больше всего попало в плен из образцового венгерского 38-го, короля испанского полка, оставленного в арьергарде, как полк наиболее надежный из всей дивизии.

Донесения шли за донесениями, и все радостные.

Захвачено было свыше десяти орудий и бомбометов, несколько пулеметов и минометов, семь тысяч винтовок, большие боевые запасы, брошенные венгерцами, и двадцать пять верст копной железной дороги. А потери по общей сводке трех полков едва дошли в этот день до трехсот человек.

Мало того: отличился и 404-й полк, переданный командиром Федотовым в 105-ю дивизию. Находясь по соседству, он не захотел отстать от своих трех полков, кинулся в прорыв и сумел захватить полторы тысячи пленных.

— Теперь вопрос: в мою или в сто пятую дивизию будут приписаны эти пленные? — негодуя спрашивал приведенного свой полк Ольхина Гильчевский.

— Практика войны показала, что подобные пленные поступают на счет той дивизии, к какой полк временно был прикомандирован, — отвечал Ольхин, — но я лично считаю это неправильным.

— Ага! Вот в том-то и дело! Неправильным, да, и даже мало того, — преступным, вот что я должен сказать!.. Полк в данном случае действовал один? — Один! Помогла ему сто пятая дивизия? — Нет, — несколько! Так на каком же основании у сто первой дивизии отнимать этих пленных, а сто пятой дарить?

Ваше превосходительство, прошу не забывать, что мой полк так же точно прикомандирован к вашей дивизии, — пленительно улыбаясь, отозвался на это Ольхин. —

Так что если он в будущем возьмет сколько там нибудь пленных...

— То они пусть и считаются вашей финляндской второй стрелковой дивизии,— перебил Гильчевский,— а мне чужого не надо. И вообще-то зачем было нашему комкору брать полк у меня, а вместо него прикомандировывать ко мне ваш, хотя бы и в двадцать раз лучший? Зачем делать это вавилонское смешение языков? Ведь из этого может быть в конце-то концов только кавардак. Или, как поется в какой-то дурацкой песне:

Сидела честна братия в царевом кабаце,
И всяк из них говаривал на своем языке!

Так или иначе, а сейчас мне надобно ехать догнать полки. Вот пообедаем, и тут же я поеду. И вы ведите форсированным маршем свой полк, стараясь держаться на правом фланге. Пленных же забирайте, сколько вам посчастливится взять,— моя дивизия на них притязать не будет, а вам желаю успехов, каких вы, по всем видимостям, вполне заслуживаете!

Наскоро пообедав и сделав несколько главных распоряжений остающимся. Гильчевский, верхом, со своим штабом, тоже на лошадях, помчался догонять полки, увлекшись преследованием венгерцев.

Кавалькада взобралась на высоту 125, еще вчера казавшуюся неприступной. Оттуда должны были развернуться широкие горизонты,— так ожидал Гильчевский; они и развернулись, но ни сам начальник дивизии, и никто из его штаба не мог обнаружить ни одного из полков.

Правда, местность была пересеченная, лесистая, весьма неудобная для наблюдений даже с такой высоты. Только где-то очень далеко в направлении на юго-запад видно было широкое черное полотнище дыма.

— Эге, жгут свои склады, должнѣ быть, немцы, чтобы они не достались нам! — сказал Гильчевский и направил своего серого, секущегося на недавно перелинявшей шее, донского коня в сторону этого дыма.

Понадавившиеся навстречу отсталые и раненые солдаты тоже махали в ту сторону руками, когда к ним обращались или сам Гильчевский или кто-либо из штаба с вопросами, куда пошли полки.

Дорог в тылу австро-германцев оказалось много, однако небольшие клочки лесов неизменно на топких болотах

все-таки способны были сбить с толку людей в горячке преследования такого легконогого противника; этого и опасался Гильчевский.

Рысили уже больше часа, когда вдруг заметили в стороне на холме деревню, возле которой толпилось много русских солдат,— видимо, даже расположившихся на отдых.

Это встревожило Гильчевского.

— Черт знает что! Чьи же они такие, надо бы узнать... Не допускаю мысли, что мои, однако... Чем черт не шутит!.. По плану тут, кажется, должна быть деревня или хутор Пьяново.

Как раз шли по дороге два старика со строгими желтыми лицами, в широкополых соломенных брилях, белых рубахах, забранных в нанковые шаровары; к ним и обратились:

— Это что за деревня такая?

— Деревня?.. Яка деревня? — начали озираться старики.— Оця деревня?

— Ну да, вот эта самая!

— Ця деревня, паночки, кажуть люди, Пьяне,— расстановисто сказал один старик.

— Эге ж Пьяне, пане полковнику,— обращаясь к Протазанову, подтвердил другой.

— Ну, знаете, если Пьяне, то это наводит меня на размышление,— заметил Гильчевский, упорцо глядяваясь в солдат в свой бинокль.— Мне кажется что это люди одного из наших полков, а?

— Как же могли они так забрать в сторону? — раздумывал Протазанов, когда Гильчевский сказал вдруг решительно:

— Вижу! Это четыреста второго полка люди! Едем туда!

И он направил своего серого к деревне Пьяне, переменяя аэлюр.

Теперь вся кавалькада скакала галопом, и Гильчевский все больше укреплялся в своей догадке, что деревня эта не зря получила такое имя.

— Ведь они же не слепые там все, они должны нас видеть, как и мы их,— возмущался он,— почему же они так расселись кружками и что они могут там такое делать с преувеличенным вниманием?

— Не водку ли пьют? — догадался Протазанов.

— Вот то-то и есть, что не пьют ли!

Скоро ясно стало для всех: в деревне Пьяне шло пьянство и пьянствовал третий батальон.

Он делал это вполне разрешенно, так что даже перед подъехавшим к первому кружку начальником дивизии с его штабом далеко не все солдаты встали.

— Что за черт! Какая рота? — крикнул Гильчевский, глядя на унтер-офицера с тремя басонами, стоявшего впереди других.

Багровый и потный унтер-офицер, не успевший поставить наземь бутылку, которую держал в руке, приосанясь, ответил без запинки:

— Одиннадцатая рота Усть-Медведицкого полка, ваше превосходительство!

— А где же командир роты, а?

— Где-сь отдыхают, ваше превосходительство...

Унтер-офицер добросовестно, оглянувшись, пошарил даже глазами между хатами, не найдется ли где прапорщик Обидин, но Обидин в это время, сидя на крыльечке одной из хат, в благословенной тени за столом, вместе с супругами Капитановыми и остальными ротными командирами третьего батальона, пил из стакана коричневый токай, оказавшийся довольно коварным вином: оно не казалось крепким, только вкусным.

— Вот это вино, так вино, — говорил Капитанов, причмокивая и блаженно нюхая усы.

— А кто приказал батальону повернуть сюда? — Я! Разве тебе пришло бы это в твою лысую голову? — торжествующе возглашала мадам Капитанова.

Очень скоро настроение у всех за столом стало весьма повышенным, но подлинным героем дня чувствовала себя эта дама-казак. Она сидела рядом с Обидиным и относилась к нему с самой бесцеремонной нежностью, то и дело ероша его волосы и сама подливая ему вина в стакан и называя Пашенькой.

Обидин при таком с ним обращении совсем не чувствовал себя неловко: он уже вполне привык к нежностям своей командирши, как привык сам Капитанов к бесцеремонностям супруги. Другие же ротные командиры, — все прапорщики, — были так же, как и Обидин, молодой народ, только смотрели на вещи гораздо проще, чем их товарищ, пытались непринужденно острить и хохотали весело и громко.

Остроухий серый конь с кровавыми полосками на худой шее, а на нем — начальник дивизии, известный своим крутым нравом, потом полковник Протазанов на гнедой лошади и еще несколько человек штабных, — вся кавалькада эта появилась перед крыльцом до такой степени неожиданно и внезапно, что все встали, оцепенев; не растерялась одна только Капитанова.

— Это что за ка-бак та-кой? — загремел Гильчевский. — Весь батальон валяется пьяный! У всех бутылки в руках!.. И это в то время, когда ведется наступление!.. И попали черт знает куда-то в сторону!.. Командир батальона!

— Я, ваше превосходительство, — попытался сказать поотчетливей и стать так, чтобы быть повиднее, Капитанов.

— Ка-ак вы смели допустить такой разврат, а? — обрушился на него Гильчевский. — Если даже вас занесло почему-то к черту на кулички, где оказался склад вина, то вы должны были немедленно его уничтожить!

— Вот мы его и уничтожаем, — вступила в разговор с разгневанным начальством дама-казак, — а вы совершенно напрасно горячитесь по пустякам.

Капитанов хотел было остановить свою супругу умоляющим взглядом, но не успел в этом.

— А вы, вы кто такой? — остоленел было Гильчевский.

— Во-первых, я — не «такой», а «такая», а во-вторых... — начала было объясняться Капитанова, но Гильчевский уже узнал и вспомнил ее.

— В обо-з! — загремел он. — В обо-оз, сию минуту!.. И чтоб я вас больше никогда не видел в строю-ю!.. В обоз!.. А ба-тальону сейчас же строиться и идти фор-сиро-ван-ным маршем на деревню Надчицу, догонять свой полк!

И Гильчевский со штабом дождался, пока офицеры, так не вовремя занявшиеся кутежом, празднуя не ими добытую победу, разошлись колеблющейся походкой по своим ротам и роты тронулись в одну сторону, в ту, которую им указали, на деревню Надчицу, а дама в бешмете, которая, как и муж ее, ехала верхом, повернула в сопровождении данного ей Гильчевским ординарца в «обоз», то есть в тыл полка: несколько протрезвев, она поняла, что те-

перь, пока начальник дивизии слишком разгорячен, лучше не протестовать, а подчиниться.

Гильчевский же говорил, глядя ей вслед, Протазанову:

— Я терпел ее, когда дивизия сидела в окопах, и то, вы знаете, скрипя зубами, терпел, но теперь, когда мы наступаем и когда она мне тут портит и офицеров и весь батальон, — не-ет уж, — теперь атанде сказал Липранди, — теперь надо ее совсем удалить с фронта.

Дав направление заблудшему батальону, Гильчевский оставил его, когда начало вечереть, однако, хоть и не плохо скакали кони, догнать свои полки до наступления темноты не смог. Встретились только несколько рот из другой дивизии — 14-й, тоже каким-то образом отставших от своих частей.

Между тем небо в нескольких местах озарилось огнем пожаров: это австро-германцы жгли свои склады, весьма стремительно откатываясь на запад.

Деревня Надчица находилась от линии фронта в пятнадцать верстах, и было уже близко к полуночи, когда наткнулись в темноте на 403-й полк, подходивший как раз к этой деревне, а несколько впереди их оказались и два других полка, и Гильчевский дал отдых и усталым людям и себе до рассвета.

Укладываясь спать в одной из халуп, он ворчал по поводу венгерцев:

— Можно, конечно, приходится иногда, отступать, иа то и война с переменным счастьем, но, чтобы так можно было дранать во все лопатки, как эти мадьяриншки, это уж последний крик моды!

глава десятая

Отзвуки прорыва

1

В двадцатых числах мая в ставке собралась вся царская семья.

Потому ли, что весной и счастливых тянет вдаль; потому ли, что «счастливые» уже начинали тревожиться за свое счастье, — так ли оно прочно и долговечно; потому ли, что царице хотелось быть ближе к своему слабохарак-

терному супругу, чтобы в критический момент самой стать на страже интересов династии, но она уже водворилась в ставку, заняв в ней половину царского дома и тем нарушив весь «холостой» строй жизни многочисленной свиты царя и заставив ее уплотниться на второй половине.

Впрочем, древний годами граф Фредерикс, гордившийся тем, что шестьдесят лет уже состоял в офицерских чинах, тридцать пять лет — в генеральских и двадцать пять лет на посту министра Двора, собирался ехать в отпуск; генерал По, военный представитель Франции, тоже уезжал в Эссентуки лечиться от подагры; дворцовый комендант Воейков тоже уезжал к целебным водам своей «Куваки», причем испросил у царя разрешения отправить на работы к нему в имение и на станцию Воейково для ее расширения шестьсот пленных из только что взятых армиями Брусилова.

В связи с этим царь издал указ «обратить немедленно к работам внутри империи» многочисленных пленных, так как в результате мобилизаций общее количество работников на полях сократилось почти вдвое, а фронт уже и теперь жаловался на недостатки не только боевых, но и съестных припасов.

Со стороны царицы препятствий к этому указу не было, так как пленные на Юго-Западном фронте были главным образом чехи, мадьяры, босняки, хорваты, словаки, — вообще подданные Габсбургов, а не Гогенцоллернов. В покровительстве же своем немцам, как своим, так и чужим, она оставалась неизменной.

Так, когда были изобличены два молодых вольноопределяющихся с немецкими фамилиями в том, что у них и подданство германское, и они — не больше как шпионы, имеющие чины лейтенантов германской армии, — следствие по их делу, порученное сенатору Кауфману, было прекращено по требованию царицы. Сильную заступницу в ее лице нашел и бывший командующий первой армией — генерал Ренненкампф, оставивший без всякой помощи со своей стороны Самсонова с его второй армией, разгромленной Гинденбургом при Сольдау.

Мало того, что ближайшие родственники Ренненкампа оказались германскими подданными и жили в Германии, но ревизия по делу о нем, тянувшаяся довольно долго и только что в апреле напечатывавшая материалы следствия, собрала этих материалов пять толстых томов, в ко-

торых на каждой странице пестрели слова: «взяточничество, лихоимство, мздоимство». Казалось бы, что все должны были отвернуться от такого «деятели во славу русского оружия», однако перед своим отъездом в ставку царица дала аудиенцию этому мерзавцу и милостиво беседовала с ним около часа.

Четыре царских дочери, появляясь вместе около ли дома или в аллеях довольно скромного, впрочем, по своим размерам парка, — в белых ли платьях и белых шляпках с белыми перьями, или в красных, как две старшие, или в серых, как две младшие, — все-таки разнообразили унылый в общем пейзаж ставки.

Они весело улыбались, перекидывались шутками и смеялись, когда были одни. Но картина резко менялась, когда к ним выходила мать. Оледеневшая всех кругом себя, она леденила и своих дочерей.

Она говорила так мало, будто разучилась уже говорить, и ей стоило большого труда вспомнить то или иное общеупотребительное слово. На лице ее почти бессмешно во всех уголках и впадинах таилась брезгливость, и она не могла или не хотела согнать ее даже тогда, когда была только с дочерьми и сыном.

Наследник, правда, не стеснялся этим и в силу своего бойкого темперамента проказничал, как мог: щипал сестер, дудел в бутылку, бросал в своего дядьку Деревенко пригоршни песку.

День 25 мая был высокаторжественный — день рождения царицы; к этому дню наследник был произведен в ефрейторы, и дядька его, матрос Деревенко, сделанный кондуктором флота, сам пришел к его погонам по серебряному лычку, что очень понравилось мальчику, которому только больная нога мешала бурно проявлять свою радость.

В этот день другая хромоногая из членов царской семьи — бывшая фрейлина Анна Вырубова прислала царю поздравительную телеграмму не с победой на Юго-Западном фронте, а с днем рождения Александры Федоровны: «Горячо поздравляю всем сердцем, помоги всесильный господь. Серенький день, еду в собор, после в ванну. Очень одиноко. Аня». Телеграмма эта была из Евпатории, где она лечилась.

А накануне пришла на имя царя телеграмма из Петербурга: «Государю императору. Славно бо прославился

у нас в Тобольске новоявленный святитель Иоанн Максимович, бытие его возлюбил дом во славе и не уменьшить его Ваш и с Вами любить архиепископство, пушай там будет он. Григорий Новых».

В аппаратной, принимавшей эту телеграмму, ничего в ней не поняли и даже послали запрос в Петроград, так ли приехали; оказалось, что вполне точно. Но о чем именно телеграфировал друг царя — Гришка Распутин, в ставке так и не разгадали.

В ставке если кто и переживал по-настоящему радостно успехи армий Брусилова, то два представителя Италии — старый, еще не собиравшийся уезжать Марсенго, и новый, приехавший только в начале мая, граф Ромео. Они двое были по-настоящему празднично настроены в день 25 мая, когда ставка официально отбывала придворный праздник, когда после обедни все чины ставки, начиная с Алексеева и Пустовойтенко, проходили в зале шеренгой в затылок мимо царя с наследником, обмениваясь с ними рукопожатием, и мимо царицы с дочерьми, тоже построившимися в шеренгу, целуя их руки.

Постороннему наблюдателю не могло не показаться в этот день, что из всех стоявших в православной церкви наиболее истово молились эти два католика — граф Ромео и Марсенго; что из всех поздравлявших царскую фамилию России наиболее преданные ей были эти два итальянца — граф Ромео и Марсенго; даже и за обедом, хорошим, правда, но не роскошным и с русскими винами в кувшинах старого серебра, наиболее довольными и русской кухней и русскими винами были эти два поклонника своего вина — киапти — Марсенго и граф Ромео.

Они получили уже телеграммы, что благодаря победам армий Брусилова австрийцы на плоскогорье Азиаго приостановили свое наступление, что спешившие к ним в подкрепление корпуса отзываются обратно на русский фронт.

В ставке ходила по рукам и телеграмма от адмирала Весселкина, русского военного представителя в Румынии, такого содержания: «В совете министров в Бухаресте на вопрос короля о здоровье министр Филиппеско ответил: «Наконец я начал на хорошего доктора — Брусилова». Сообщаю вам этот курьез».

Телеграмма была адресована адмиралу Ниллову и не была секретной.

Между тем ставка, отпраздновав день рождения императрицы, тут же пачала готовиться к другому празднеству, гораздо более торжественно обставленному, а именно: нужно было принимать икону божьей матери, называемую Владимирской, отправленную из московского Успенского собора. Разрабатывался ритуал встречи этой иконы на вокзале, куда должны были идти войска и ехать в автомобилях царь с наследником и всем семейством, его свита и чины штаба.

С подобной торжественностью в ставку доставлялась в августе 1914 года другая икона — явление божьей матери Сергию Радонежскому. Она была написана на доске от гроба Сергия, и посылала ее Троице-Сергиева лавра.

Эти внеочередные события и заботы как-то не давали ставке ни возможности, ни даже времени сосредоточиться на телеграммах Брусилова, подводивших итоги наступательным действиям его войск за первые три-четыре дня.

Одни — к ним относился и сам Алексеев — их просто не ожидали, этих успехов, и теперь не знали, как их оценить: принимать ли их всерьез или отнестись к ним выжидательно и осторожно, или даже счесть эти успехи раздутыми ложными донесениями командиров отдельных частей, сумевших втереть очки командармам — Сахарову и Каледину.

Количество пленных было определено в сорок тысяч за три дня, не считая офицеров, которых будто бы насчитывалось до тысячи человек. Отрицать этого успеха, конечно, не приходилось, но в то же время в нем было кое-что и нежелательное для ставки, в этом успехе: с ним просто не знали, что делать дальше, он путал все карты, сводил на нет все заготовленные уже распоряжения об отправке таких-то и таких-то пехотных частей, таких-то и таких-то артиллерийских парков, таких-то и таких-то и столько-то боеприпасов в ударные армии Западного фронта, к Эверту, а также на Северо-Западный фронт — к Куропаткину. Становилось даже как-то досадно за путаницу, внесенную в долгие и строгие соображения и расчеты неожиданно крупными размерами брусиловского прорыва. В то же время это был не прорыв, а действительно прорывы в нескольких местах, как и готовил их Брусилов и о чем он говорил в ставке 1 апреля на совещании в присутствии царя, — это тоже было неприятно и всей ставке в целом.

Выходило так, что успехом увенчалось довольно дерзкое предприятие, начатое вопреки всей практике войны с немцами и даже вопреки желанию царя: чтобы прорыв подготовить и провести в каком-нибудь одном месте фронта, не разбрасываясь в силах. Успех Брусилова заставлял прибегнуть к старой поговорке: «Победителей не судят», но от этого не могло быть легче тем, которые осуждали заранее эту затею.

Наконец, в ставке в эти дни был и генерал Иванов, для которого последним гвоздем в крышку его гроба был этот успех Брусилова.

Он все сделал и в марте и в апреле, чтобы помешать Брусилову, объявить его праздным фантазером, поколебать доверие, которое вдруг, неожиданно для бывшего главнокомандующего Юго-Западным фронтом, возымел к нему царь, подчиняясь советам, идущим извне, от союзников. Он не имел удачи, несмотря на помощь ему в этом и Фредерикса и царицы; царь поддался другим влияниям и не захотел перерешать ни вопроса о назначении Брусилова, ни вопроса о наступлении армий Юго-Западного фронта.

Однако Иванов не хотел складывать оружия, которым он действовал. Он стал завятым шептуном. Он бродил по ставке и только и делал, что всем, с кем бы ни сталкивался, вещим, пророчески-таинственным, пониженным голосом предсказывал полный провал всего начатого так, по его мнению, безрассудно, так опрометчиво наступления. Он подымал указательный палец к бороде, выкатывал сильно запавшие глаза и шептал:

— Эта безумная затея окончится катастрофой, да, да,— прошу мне верить!.. Она окончится такой стратегической трагедией, размеров которой никто пока даже и представить не в состоянии. Прошу мне верить!

II

Но, кроме ставки, была Россия.

И если в ставке семейный праздник царя и приготовления к достойной встрече иконы Владимирской божьей матери отняли у всех, исключая итальянцев, слишком много внимания, чтобы его хватило еще и на дела Юго-Западного фронта, то Россия следила за ними.

Она подняла голову, опущенную под впечатлением слишком многочисленных неудач в течение почти двух лет войны; в ее опечаленных глазах засветилась надежда и с запекшихся уст сорвался возглас радости... Пусть не таким и громким еще был этот возглас! — всего несколько сот поздравительных телеграмм, — но он дошел до Брусилова и сделал его счастливейшим человеком.

Волей своего правительства Россия лишена была гражданских прав, зато русский народ был горд своей военной мощью. Но вот этой законной гордости был в течение почти двух лет войны нанесен ряд таких жестоких ударов.

Страна — та же мать. Страна выдвигала и выдвигала миллионы сыновей на свою защиту, и часть из них была истреблена, часть искалечена, часть уведена в гнусный плен, — а где же мститель за всю эту бездонную пропасть горя?

Где тот, на кого можно было бы возложить хотя бы тень уверенности, что еще не все потеряно, не все погибло, что еще возможен поворот к лучшему, а чашу позора можно еще отбросить в ненасытную подлую звериную пасть врага?

Неужели все эти генералы, украшенные цветными широкими лентами и бесчисленными орденами, с такими длинными титулами, что их невозможно было и сказать за один прием, осыпанные с ног до головы всякими благами жизни, — неужели они все до одного оказались до такой поразительной степени невежественны в военном деле и так вопиюще бездарны?

И когда возникло там, на юго-западе тысячеверстного фронта, уже знакомое стране, но осиянное светом смелых действий и большой победы имя генерала Брусилова, люди протянули к нему руки. Телеграммы шли с разных концов России.

Председатель Земского союза Львов прислал Брусилу такую телеграмму, несколько напыщенную и длинную: «Ваш меч, тяжелый, как громовая стрела, прекрасен! Молнией сверкнул он на Западе и осветил радостью и восторгом сердце России. Наши взоры, наши помыслы и упования прикованы к героической и несокрушимой армии, которая с великими жертвами, полная самоотверженности, сметает твердыни врага и идет от победы к победе. С восторгом преклоняясь перед подвигами армии, мы одушевлены стремлением по мере всех своих сил служить

ей и, чувствуя в эти дни вашу твердую руку, глубокую мысль и могучую русскую душу, всем сердцем хотим облегчить вам ваше почетное славное бремя».

В его лице, этого председателя союза всех русских земств, как бы на все сотни приветственных телеграмм сразу ответил Брусилов:

«Опираясь на могучий непоколебимый дух армии и при духовной поддержке всей России, глубоко и твердо надеемся довести победу до полного разгрома врага. От всего сердца горячо благодарю вас за истинно патриотическое приветствие и приношу вам и всему Земскому союзу мою искреннюю благодарность за приветствия и пожелания».

Имя Брусилова не сходило со страниц газет как русских, так и иностранных, и это шло вразрез с установившейся уже в России почти полной анонимностью войны даже и в отношении генералов, так как верховным главнокомандующим был вначале великий князь Николай Николаевич, сменивший потом самим царем. Какие же еще могли появиться герои? Ни малейшая тень чужого героизма не могла заслонять ореола, сияющего над головами «верховных».

И если от Николая Николаевича из Тифлиса Брусилов все-таки получил телеграмму, состоящую из четырех только слов: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю», и был этой телеграммой очень растроган, то царь хранил тяжелое молчание.

Он оставался так же неистово нем, как на совещании в ставке 1 апреля.

— Однако я-то не могу быть немым, — говорил Брусилов утром 25 мая Клембовскому. — Я должен выяснить свое положение. Вопрос, когда же именно выступит Эверт, для нас коренной вопрос, поскольку мы только застрельщики. Соедините-ка меня со ставкой.

Одно дело — штаб-квартира главнокомандующего фронтом, совсем другое — ставка, где были в этот день свои неотложные и важные заботы. Разговор с Алексеевым удалось наладить только поздно вечером, но он не принес Брусилову никакой отрады.

— Генерал Эверт на мой запрос прислал сообщение, что он может быть готов к наступлению не раньше пятого июня, — сказал Алексеев по прямому проводу.

— Как так к пятому июня? — испуганно прокричал

Брусиллов.— Может быть, я ослышался? Может быть, вы сказали — к первому, а мне послышалось — к пятому?

— Нет-нет, именно к пятому, а не к первому, Алексей Алексеевич. Так что вот обойдитесь как-нибудь, а мы выкроим вам подкрепления...

— Помилуйте, Михаил Васильевич,— пока ко мне придет один корпус, немцы успеют подкинуть к своим целых пять, если не все десять! В какое же положение вы меня ставите?

— Что же я могу поделать с Эвертом, если он не готов?

— Как что? Как что поделать? — возмущился и смыслом и самым тоном слов Алексеева Брусиллов.— Приказать быть готовым к первому числу,— вот что вы можете сделать! Приказать именем государя,— вот что сделать!

— Это не поможет, послушайте, Алексей Алексеевич! Что же и приказывать, если генерал Эверт и сам отлично понимает, что ему надо делать и что значит быть готовым.

— Понимает ли,— вот вопрос! И имеет ли желание понимать это,— вот другой вопрос!

— Ну, как так — понимает ли! Разве у него нет опыта в наступательных операциях?

— Мне, как и вам, Михаил Васильевич, отлично известен этот опыт генерала Эверта, но ведь суть дела в том, чтобы он забыл этот опыт и начал дело сначала и запозво! Печальные опыты необходимо забыть в интересах общегосударственного дела,— вот что я думаю! И я очень боюсь, что именно этот свой опыт мартовских боев генерал Эверт думает применить снова, почему и оттягивает начало. В марте он тоже оттягивал, пока не началась ростепель и распутица.

— Вы очень строги к генералу Эверту, Алексей Алексеевич!

— Я опасаясь, что он, как опереточный жапдарм, придет на помощь очень поздно!

Алексеев счел за лучшее не вступать в дальнейшие пререкания с главнокомандующим Юзфронта, сослаться на загруженность делами, пожелать ему дальнейших успехов и проститься, а Брусиллов долго после того ходил забешенно по своему кабинету и повторял:

— Какая подлость!.. Какая пакость!.. Вот и выбивайся из сил, а они пальцем о палец не желают ударить!

Он еще не знал того, что как раз 25 мая (7 июня), когда к нему несся вихрь приветственных и благодарственных телеграмм, другой вихрь телеграмм, с содержанием прямо противоположным, мчался от австрийского командования к германскому. Смысл всех этих телеграмм был один: «Спасите нас, погибающих!» А частности таковы: австрийские резервы на русском фронте пришли к концу; вот-вот, если не подоспеет помощь, вся армия окажется бывшей армией; четвертую армию эрцгерцога Иосифа-Фердинанда (едва успевшего отпраздновать свой день рождения!) приходится уже и теперь перестать считать за армию,— она разгромлена; из общего числа в четыреста восемьдесят шесть тысяч человек армия в целом потеряла не меньше двухсот тысяч...

Это был громовой удар с русского неба, которое так еще недавно,— всего несколько дней назад,— считалось совершенно безоблачным.

Телеграммы эти — вопль раненого сердца — ставили в труднейшее положение германскую главную штаб-квартиру. Затыкать австрийскую брешь было необходимо теми небольшими резервами, какие приготовил Фалькенгайн для своей армии на Сомме, где французы уже готовились перейти в наступление и только ждали, когда англичане перевезут все приготовленные ими для своей армии снаряды.

Но отдать эти резервы на австрийский фронт — значило сорвать свою обдуманную операцию на Сомме, где германцы хотели предупредить наступление англо-французов и напасть сами.

Снимать дивизии из-под Вердена, где машина перемалывания французских войск работала безостановочно и успешно, но требовала, чтобы в нее бросали все новые и свежие свои войска, тоже никак не представлялось возможным: резервы были в обрез.

Фалькенгайн проклинал и день и час, когда он позволил Конраду фон Гетцендорфу убедить себя, что русский фронт безопасен.

Только к концу лета должны были влиться в армию пополнения, а между тем он был, конечно, очень хорошо осведомлен о том, что против германских войск на востоке стоят у Куронаткина двойные силы, у Эверта — тройные и что эти силы вот-вот будут тоже приведены в движение, иначе зачем бы они и собирались.

Он уже думал над тем, как было бы лучше сделать здесь ввиду неизбежности наступления обоих русских генералов: не отодвинуть ли линию обороны, чтобы ее значительно сократить и этим сделать более выгодной для защиты?

Но для этого нужно было бросить укрепления, над которыми сотни тысяч людей работали три четверти года, и переменить их на скороспелые и, быть может, не везде удачные по своим природным данным.

Приходилось поэтому возложить надежду на медлительность англичан, без которых французы переходить в наступление не станут, потому что своими только силами действовать с уверенностью в успехе, конечно, не могут.

И вот, после долгих размышлений и колебаний, Фалькенгайн решил принести в жертву обстановке, создавшейся у австрийцев, свой план самому напасть на союзников на Сомме и взял из резервов пять дивизий для отправки на восток.

Знал или не знал он, что ни Эверт, ни Куропаткин не были для него опасны сами по себе? Может быть, даже и знал, но думал, что их могут заменить другими генералами, как бездеятельный Иванов был заменен энергичным Брусиловым.

Во всяком случае, едва ли он знал, что в то время, как он думал без боя очищать свой фронт против Эверта, сам Эверт говорил в интимном кругу:

— Брусилов думает, что я так вот и кипусь работать для его славы! Очень многого он от меня желает!..

глава одиннадцатая

Река Иква

I

Местность к западу и югу от деревни Надчицы была богата водой и лесами — это разглядел как следует Гильчевский утром 25 мая, — удобная для защиты, но гораздо менее удобная для наступления местность.

От Надчицы шла дорога на местечко Торговица, раскинувшееся как раз при впадении довольно широкой, в тридцать сажен, — реки Иквы в еще более широкую ре-

ку Стырь. О реке Икве со времен академии Гильчевский помнил, что она почти непроходима для войск, так как протекает по весьма болотистой и шириною в четыре версты долине, и вот теперь он был вблизи от этой реки, как и от другой — Стыри. Занять линии обеих этих рек он получил приказ от комкора Федотова.

Федотов продолжал по-прежнему сидеть в своей квартире, где частью по телеграфу, частью по телефону получал донесения от командиров обеих своих дивизий — 101-й и 105-й. За последние два дня он вырос в собственных глазах, так как получил во временное командование еще одну дивизию — финляндских стрелков, поэтому счел нужным прибавить себе важности даже и в тоне, каким было написано им добавление к приказу.

«В общем я должен сказать, — писал Федотов, — что немало удивлен тем обстоятельством, что вы держали дивизию в кулаке, вместо того чтобы развернуть ее возможно шире...»

— Тебя бы, тебя бы надо было держать в кулаке, чтобы ты мне дурацких замечаний не делал! — кричал на свободе Гильчевский, въехав на высотку верстах в четырех от Надчицы вместе с Протазановым и оглядывая местность, сколько ее было отсюда видно.

— Совсем как в басне Крылова, — поддержал Гильчевского Протазанов: — «Знай колет, — всю испортил шкуру!»

— В том-то и дело, что медведей эти господа комкоры предпочитают не видеть: на кой им черт, скажите, пожалуйста, соваться к медведю? Гораздо безопаснее шкуру его делить!.. Какой умница нашелся! «Развернуть возможно шире», — а сам же у меня отнял целый полк! Значит, находил же, что он мне не нужен, этот четыреста четвертый полк? А теперь, не угодно ли, «возможно шире». То один всего батальон «расширился» до деревни Пьяне, а то десять батальонов разошлись бы по деревням Пьяным! Вот это была бы дивизия, любезная Федотовскому сердцу!

По карте, бывшей у Протазанова, Стырь протекала верстах в пяти от Надчицы, Иква — вдвое дальше от той же деревни. С той высотки, на которой стояли Гильчевский с Протазановым, видны были купола церкви в местечке Торговица, находившемся на высоком берегу Иквы.

Впрочем, и другой берег Иквы оказался здесь тоже довольно высокий, и оба были покрыты лесом.

— Картина — загляденье! — заметил Протазанов со-

знательно мечтательным тоном, чтобы отвлечь своего начальника от грустных мыслей о комморе Федотове.

— Красота, что и говорить, — отозвался на это Гильчевский. — Важно только, чтобы не вскочила эта красота нам синяками да кровоподтеками.

План наступления на линию обеих рек был составлен им так, как будто в его распоряжении были снова все четыре полка: 6-й Финляндский заменил 404-й, и его, как совершенно свежий, он направил на Торговицу, предполагая там сопротивление австрийских арьергардов.

Два первых полка своих он пустил на реку Стырь, чтобы обезопасить свой правый фланг и иметь их под рукою для форсирования Иквы, за которой, как донесли разведчики, тянулись позиции противника.

— Мосты на Стыри и мосты на Икве, — вот первейшее и главнейшее, что надобно вам занять, — говорил Гильчевский, напутствуя Ольхина и своего командира первой бригады. — Если допустите мадьяр сжечь мосты, то...

Договаривать, конечно, было излишне.

С 403-м полком, идущим непосредственно за 6-м Финляндским, ехал сам Гильчевский. Он, правда, облюбовал для штаба так же, как и Новины, чешскую колонию Малеванку, но не заезжал туда; он и небольшого дела не умел доверять кому бы то ни было, а тем более не хотел быть вдали от того серьезного, что ожидало его дивизию в этой многоводной, болотистой и лесистой местности, хотя на взгляд туриста она и была красивой.

Зелень деревьев была молодая, нежная, пышная; зелень трав в лесу буйная. — и Гильчевский говорил дорогой, дыша полной грудью:

— Эх, хорошо бы тут «под сенью лип душистых» водочки тяпнуть да вяленой воблой закусить... или копченой кефалью!.. Есть любители или той или другой из этих рыбок, а я, признаться, и ту и другую люблю одинаково пылко.

— Да, маевочку бы тут не плохо сочинить, — места подходящие, — вторил ему Протазанов.

— Можно бы даже и полевую кашу сварить, — с раками! Тут, я думаю, раков бездна... Кстати, слышал я что-то такое в детстве: «Через Тырь в монастырь» и не понимал, что это за «Тырь», а теперь вполне уверен, что не Тырь, а именно Стырь, к которой мы с вами едем...

Уцелела, значит, в народе только рифма, а «С» отлетело и смысл тоже испарился...

Как раз в это время дружно заговорила артиллерия на подступах к Стыри, и Гильчевский умолк: он подмигнул Протазанову и послал своего серого в сторону все разгоравшейся с каждым моментом пальбы.

Хотя ехать напрямиком через лес было бы гораздо проще и ближе, но в стороне, правее от дороги, Гильчевский заметил широкую луговину, переходившую в лесную поляну, которая могла вывести если не к реке Стыри, то куда-нибудь на открытое место, откуда было бы видно, что впереди происходит.

Около версты было до этой поляны, а разговор пушек становился все внушительнее, хотя действовала только легкая артиллерия с той и с этой стороны. От нетерпенья Гильчевскому показалась уже нелепой его затея — объезд леса, но зато на поляне ждала его нечаянная радость: как раз в одно время с ним, только с другой стороны леса, на ту же поляну выходила первая рота 404-го полка, и впереди роты ехал верхом командир полка полковник Татаров.

Это был образцовый командир, так же как и полковник Николаев, — спокойный перед боем и неспособный теряться в бою. И внешность у него была внушающая доверие солдатам: солдаты не любили командиров жиденьких, — это давно заметил Гильчевский. «Какой из него командир — так вообще стрюцкий какой-то!..» Татарова даже и в шутку никто не называл бы «стриюцким», — он был основательный человек во всех смыслах. И то, что он никогда не горячился и в обращении со всеми был ровен, очень к нему шло.

Не успев еще удивиться и обрадоваться в полную меру, увидев его, Гильчевский, как он уже подъехал к нему с рапортом:

— Ваше превосходительство, по приказанию командира корпуса командуемый мною полк откомандирован из сто пятой дивизии.

— Откомандирован? Очень хорошо! Прекрасно! Здравствуйте, дорогой! Я очень рад! — и Гильчевский даже обнял Татарова, точно не видел его целый год. — Совсем как блудный сын: пропал и нашелся!

— Где прикажете расположить полк? — спросил Татаров.

— Был бы на месте полк, а уж расположить его есть где!.. Здорово, молодцы! — крикнул Гильчевский в сторону первой роты, но на приветствие своего начальника дивизии отозвалась и показавшаяся на поляне вторая рота.

— Ну, с такими молодцами нам уж австрийские укрепления не страшны! — ликовал Гильчевский, который готов был простить все грехи своего командира за то только, что вся дивизия теперь снова в сборе, — «в кулаке».

Тем временем канонада в стороне Торговицы начала утихать. Гильчевский указал Татарову место расположения полка, а сам с Протазановым поскакал по направлению к Торговице.

— Мост, мост, — вот что важнее всего! — повторял он на скаку. — Не успеют сжечь, — могут взорвать, отступая! Тогда пропало дело!

Артиллерийская пальба совсем почему-то затихла, ружейная тоже, хотя и доносилась, но была какая-то вялая. Наконец с опушки рощи, в которой австрийцы, как с первого взгляда решил Гильчевский, начали было рыть окопы, но бросили, не успев закончить, уж видно стало все местечко и белая церковь с синими разводами.

Местечко лепилось очень кучно на холме и без того высокого здесь берега Иквы, а церковь оказалась как-то не по местечку велика — тем более, что большинство жителей в нем были евреи. На узеньких улочках его везде виднелись русские солдаты.

К местечку пришлось подниматься в гору, зато от церкви широкий разостлался кругозор: долина Иквы, река, мост через нее, который был целехонек и уже охранялся стрелками, лес на другом берегу, более низком, чем этот, дорога в нем, а главное — по этой дороге тянулись отступающие австрийцы совершенно безнаказанно.

— Батарею, батарею сюда! — закричал Гильчевский. — Как же можно дать им уходить, точно с парада? Обстрелять сейчас же!

Полубатарея — четыре горных орудия — наплась поблизости и подскакала к церкви, где стоял Гильчевский. Орудия установили без всякого прикрытия, лишь бы успеть послать в ряды уходящих хоть несколько десятков гранат.

Но мадьяры оказались не так беззащитны, как думалось Гильчевскому. После первых же трех залпов поле-

тели снаряды противника в церковь и пробили в ней стены.

Щебнем, посыпавшимся вниз, засыпало орудия. Сам Гильчевский едва успел отскочить в сторону. Пришлось тут же оттащить и орудия и поставить их в укрытое место.

— Эге-ге, да у них там, на другом берегу, основательные укрепления,— говорил Гильчевский Ольхину, разглядывая в цейс противоположный берег Иквы.

— Я уж навел справки у местных жителей, когда они выбрались из погребов и обрели дар речи,— живо отозвался на это Ольхин,— линия укрепления там еще с прошлого года.

— Вот видите, как! А проволока? Сколько рядов?

— Насчет проволоки допытаться не мог,— не знают. Ведь укрепления были брошены и только теперь заняты вновь.

— Натянули, я думаю... Но почему-то не заметно: очень высокая трава там.

— Хлеба, а не трава!

— Ночью произвести разведку позиций противника,— тоном приказа сказал Гильчевский, и Ольхин ответил на это, подняв руку к козырьку фуражки:

— Слушаю, ваше превосходительство!

— Хлеба? Да, кажется, действительно хлеба,— смотря в бинокль, говорил Гильчевский.— Осимая пшеница... Жаль. Завтра от нее там мало что останется: завтра все эти позиции мы должны взять... вместе с мадьярами.

II

Окошная война, если она затягивается надолго, отучает солдат и офицеров и их начальство всех степеней от войны маневренной.

На сотни, даже на тысячи километров тянется сплошная стена подземных казарм и укреплений, соединенных между собой и с ближайшими тыловыми блиндажами и землянками ходами сообщений в земле, и вся эта длиннейшая цепь искусственных пещер сравнительно безопасна, и «слокоть товарища» в них чувствуется очень прочно.

Но вот покинуты свои окопы, опрокинуты чужие, и полки вышли на «дневную поверхность», как говорят шах-

теры; тогда происходят странные явления с людьми: пехотинцы ходят с большим трудом, им приходится восстанавливать в ослабевших ножных мышцах способность быстро передвигаться, а офицеры пехоты с трудом ориентируются на местности. Пространство само по себе, независимо от того, каково оно по своим качествам, кажется слишком огромным и таящим в себе всякие неожиданности и подвохи со стороны врага; пространство, которое необходимо захватить, представляется не просто союзником врага, а как-то само по себе враждебным.

Настроение это или быстро проходит, или держится довольно стойко, смотря по тому, отступает стремительно или очень упорно защищается враг.

Пока с быстротой совершенно неожиданной мадьяры, выбитые из своих весьма долговременных позиций, спасали свои жизни, свою артиллерию, свои обозы, — в полках дивизии Гильчевского был подъем; но вот оказалось, что впереди за двумя реками, — одна широкая, а другая еще шире, — снова ушел в землю проворный враг, и неизвестно, как к нему подойти, с чего начать и как провести новый прорыв этих таинственных позиций, которые, может быть, ничуть не слабее только что взятых.

Одно дело долго готовиться к прорыву, готовиться несколькими армиям, включающим несколько десятков дивизий и огромное число батарей, притом выполнять приказы, идущие от главнокомандующего фронтом, непосредственно связанного со ставкой, — и совсем другое дело, когда одна дивизия, хотя бы и подкрепленная еще полком из другой дивизии, должна решать эту задачу на местности, не освещенной даже разведкой, решать сразу и безошибочно, имея в голове только одно твердое знание, вынесенное еще из академии генерального штаба, что река между твоей дивизией и позициями противника труднопроходима для войск.

Было над чем задуматься Гильчевскому, несмотря на тот азарт погони, в который он только что вошел.

Держать дивизию в кулаке, перед своими глазами было нельзя: она рассыпалась по двум рекам: бригада на Стыри, бригада на Икве, и перед первой — пять верст неприятельских позиций, перед второй — десять.

Нужно было выбрать для себя со штабом наблюдательный пункт. Гильчевский выбрал одну высоту — 102 — из цепи холмов на своем правом берегу Иквы, верстах в че-

тырех от неприятеля; с нее был хороший обзор, однако она могла быть вполне доступна артиллерии врага. В то же время нужно было установить и свою артиллерию, так как батарейные командиры тут же перессорились из-за более выгодных позиций. Пришлось прибегнуть к строгому приказу, а Гильчевский по опыту знал, что артиллеристы строгих приказов начальников чужих для них дивизий не любят и что лучше всего с ними не ссориться перед боем, исход которого зависит на три четверти от их работы.

Гильчевский заметался, отлично уже начиная видеть, что поставленная перед ним задача превосходит его скромные силы.

Спасительным явился новый приказ комкора: отложить атаку позиций на Икве на один день. Впрочем, тут же, после минуты облегчения, началась новая тревога.

— Хорошо, — отложить атаку на Икве... А как же Стырь? Ведь у меня на Стыри стоит бригада? Значит, как же я должен понять это: завтра атаковать этой бригадой позиции за рекою Стырью? По-видимому, так, а? — спрашивал он офицера из штаба корпуса, привезшего приказ.

— Никак нет, — ответил тот, хотя и не вполне уверенно. — Мне пришлось слышать, что линию Стыри завтра займет другая дивизия.

— Отчего же этого нет в приказе? — недоумевал Гильчевский, вертя в руках бумажку, подписанную Федотовым.

— По-видимому, не совсем еще решено, однако уже намечено, ване превосходительство.

— Лучше мне нечего и желать, если освобождается моя бригада, — повеселел Гильчевский. — Однако хотелось бы, чтобы так именно и было!

Утро следующего дня внесло полную определенность.

Во-первых: разведчики — финляндские стрелки, подбравшиеся ночью к австрийским позициям, донесли, что позиции нужно признать сильными, а колючая проволока перед ними местами в четыре, а местами и в семь колец, хотя из-за высоких хлебов ее совершенно не видно с правого берега; во-вторых, бригада с реки Стыри действительно сменялась целой дивизией — 126-й, бывшей ополченской, как и 101-я; и, наконец, на помощь артиллерии, которой располагал Гильчевский для действий на своем участке, шел дивизион тяжелых орудий.

Так как Гильчевский и раньше знал, что слева его подпирает 105-я дивизия, то теперь, узнав о таком «локте товарища» справа, как 126-я, и такой опоре сзади, как две тяжелых батареи, которые покажут мадьярам, чего они стоят, — он снова почувствовал себя так, как привык за последние месяцы.

Но ночью случилось то, чего он не мог простить своему командиру первой бригады: австрийские разведчики подожгли мост через Стырь.

Правда, пожар удалось все-таки потушить, и сгорела только часть моста. Гильчевский приказал во что бы то ни стало восстановить мост. Это тем легче было сделать, что он был не настолько громаден, как мост через Икву у Торговицы, который тянулся на триста сажен, захватывая всю долину реки, очень топкую в этом месте, и шириной был в три сажени. Когда Гильчевский прискакал в Торговицу, он прежде всего кинулся к этому мосту и увидел, что австрийцы уже оплели его сваи жгутами из соломы, чтобы поджечь, но не успели этого сделать. Зато они взорвали часть моста, поближе к своему левому берегу, и саперы на глазах Гильчевского, под прикрытием орудийного и пулеметного огня, довольно быстро привели мост почти в прежний вид: во всяком случае, он мог бы уже пропустить на тот берег все легкие батареи. Важно было во время боя отстоять его от снарядов противника.

В полдень 26 мая явилась первая бригада, сменная 126-й дивизией; в то же время комкор Федотов дал знать Гильчевскому, что он вполне понимает важность выпавшей на него задачи и дает ему в подчинение остальные три полка 2-й финляндской стрелковой дивизии.

Это была уже честь совершенно неожиданная: ведь прошел всего день, как тот же Федотов счел нужным поставить ему на вид тактическую, по его мнению, погрешность, теперь же подчиняет ему, начальнику ополченской дивизии, кадровую дивизию, старую и боевую, начальник которой, может быть, не держал бы ее в «кулаке» ему в угоду, а распустил бы веером по всем окрестным деревням Пяне.

Кстати, шесть мелких деревень насчитал Гильчевский на своем участке атаки по долине Иквы. От них в трех местах тоже шли на этот берег мосты, слабые и тряские, но пригодные для переброски пехоты. План переброс-

сить через эти мостки части двух своих полков возник у Гильчевского, когда он был в одной из этих деревень, расположенной на правом берегу Иквы, и он вызвал к себе Татарова и Кюна, только что ставшего в этой деревне со своим полком.

— Вечером, когда стемнеет, — сказал он им, — по батальону от каждого полка должны будут переправиться на тот берег реки и там непременно закрепиться. Вашему полку, — обратился он к Кюну, — сделать это здесь, в деревне Остриево, а вашему, — обратился он к Татарову, — против той деревни, в которой вы стоите, то есть против Рудлева.

— Слушаю, — сказал на это Татаров.

— Позвольте мне осмотреться на новом для меня месте, ваше превосходительство, — сказал Кюн.

— Осмотритесь, — непременно осмотритесь, да... И в восемь вечера мне донесите о том, какой батальон у вас начал переправляться.

Весь свой участок атаки, растянувшийся на десять верст, он поделил на две равные части, и правый, в который входила на австрийской стороне сильно укрепленная деревня Красное, расположенная против Торговицы, он предоставил финляндским стрелкам, с 6-м полком в авангарде, а левый — своей дивизии.

От Татарова вечером пришло донесение в колонию Малеванку, в штаб дивизии, что он начал переправу через Икву. Не дождавшись такого же донесения от Кюна, Гильчевский запросил его по телефону сам и услышал неожиданный ответ:

— Операцию по переправе и закреплению на том берегу я считаю совершенно невыполнимой, ваше превосходительство.

Гильчевский был так удивлен этим, что только спросил:

— Вы осмотрелись?

— Точно так, ваше превосходительство, осмотрелся и нахожу...

Тут Гильчевский вспомнил, что из-за нераспорядительности Кюна был сорван первый штурм 23 мая, и прокричал в трубку:

— В таком случае, у вас глаза плохо видят! И двадцать третьего числа они тоже видели плохо!.. В таком случае, я вам приказываю немедленно сдать полк командиру первого батальона подполковнику Печерскому! По-

шлите его к телефону, чтобы я передал ему приказание лично!

Через четверть часа подполковник Печерский услышал от Гильчевского, что назначается командующим полком.

— Немедленно начать переправу одного, по вашему выбору, батальона на другой берег, где и закрепиться ему. Об исполнении мне донести, — добавил Гильчевский.

Печерский был ему известен с хорошей стороны, и в нем он был уверен. Однако озабочен он был тем, что по новости положения своего этот хороший батальонный командир может не справиться с серьезной задачей, свалившейся на него внезапно и в ночное время. Это же опасение высказал и Протазанов.

Было тревожно и за 404-й полк, удача которого в этом ночном деле казалась Гильчевскому гораздо более важной, чем удача 402-го полка, так как 404-й полк предназначался им для прорыва, а 402-й только для поддержки его успеха.

Но вот около полуночи пришло донесение от Татарова:

— Первый батальон вверенного мне полка, перейдя реку Икву, закрепляется на противоположном берегу. Потерь не было.

И не успел еще начальник дивизии расхвалить по заслугам Татарова, как получилось и донесение от Печерского:

— Доношу вашему превосходительству, что четвертый батальон четырехста второго полка переправился через реку, понеся при этом весьма незначительные потери, и оказывается, не тревожимый противником.

III

Выбравшись 24 мая из третьей линии австрийских укреплений, подполковник Шангин повел свой четвертый батальон 402-го полка за вторым, а не за третьим, уклонившись в сторону деревни Пьяне, и это был первый случай в боевой жизни прапорщика Ливенцева, когда он вел роту преследовать отступающего противника.

Усталости он не чувствовал, — был подъем. Этот подъем чувствовался им и во всей роте по лицам солдат. И, шагая рядом со взводным Мальчиковым и видя его широкое, крепкое бородатое лицо хотя и потным, но как будто вполне довольным, Ливенцев сказал ему:

— Ну, как, Мальчиков, веселое ведь занятие гнать мадьяр?

Мальчиков глянул на него по-своему, хитровато, и слегка ухмыльнулся в бороду.

— Веселого, ваше благородие, однако, мало,— отозвался он.

— Мало? Чего же тебе еще? Корабля с мачтой? — удивился Ливенцев.

— Не то чтобы корабля, ваше благородие, а, во-первых, жарко,— пить хочется, а нечего.

— Ну, это терпимо,— пить, правда, и мне хочется, да надо потерпеть... А «во-вторых», что?

— А во-вторых, как говорится,— «хорошо поешь, где-то сядешь». Австрияк, он, одним словом, знает, куда идет! Он туда, где у него наготовлено про нашу долю всего — и снарядов всяких и патронов, а мы у него, может, на приманке.

— Как на приманке? На какой приманке? — не понял Ливенцев.

— Приманка, она всякая с человеком бывает,— опять ухмыльнулся Мальчиков.— Например, про себя мне ежели вам сказать, ваше благородие, то я перед войной на мазуте в Астрахани работал. Я хотя десятником был, ну, по осеннему времени от холодной воды ревматизм такой себе схватил, что и ходить еле насилу мог. А тут пришлось мне раз в мазуте выше колен два часа простоять. Кончил я свое дело, вышел,— что такое? Ну ползут прямо черви какие-то по всему телу, и все! Не то чтоб я их глазами своими видел, а так просто невидимо, ползут, как все равно микроба какая! А тут подрядчик поблизости. «Что ты,— говорит,— обираешься так, как перед смертью?» — «А как же мне,— говорю,— не обираться, когда явственно слышу: черви по мне ползут!» Ну, он мне: «В мазуте,— говорит,— чтобы черви или там микроба какая была, этого быть никак не может. Мазут этот — такое вещество, одним словом, что от него всякая микроба, напротив того, бежит сломя голову. А это у тебя от ревматизма так показывается... Ты вот лучше возьми да искупайся в мазуте по шейку,— спасибо мне скажешь». — «Как это,— говорю,— в мазуте чтобы купаться? Шуточное это разве дело». — «А так,— говорит,— искупайся, и все. Только не менее надо как четыре раза так,— ищи тогда своего ревматизма, как ветра в поле...» Ну, раз человек уверенно

мне говорит, — думаю себе, — дай по его сделаю, — значит, он знает, что так говорит.

— Искупался? — с любопытством спросил Ливенцев.

— Так точно, ваше благородие. Искупался по его, как он сказал, четыре раза, и все одно, как никакого ревматизму во мне и не было! Вот он что такое мазут, — какую в себе силу имеет!

Красное лицо Мальчикова имело торжественный вид, но Ливенцев вспомнил о «приманке» и спросил:

— Хотя в нефти вообще много чудесного, но какое же отношение твой мазут имеет к твоей же «приманке»?

Мальчиков снова ухмыльнулся, теперь уже явно по причине недогадливости своего ротного, и ответил довольно странно на взгляд Ливенцева:

— Да ведь как же не приманка, ваше благородие: ведь это, почитай, перед самой войной было.

— Все-таки ничего не понимаю, — признался Ливенцев, и Мальчиков пояснил:

— Кто ж его знает, что лучше бы было: или мне в Астрахани в мазуте бы не купаться, или что я от ревматизму своего сдыхался... Это я к примеру так говорю. Вот так же теперь, может, и австрияк, ваше благородие.

— Что именно «так же»?

— Выманил нас, одним словом, а там кто его знает, что у него на уме... Ну, а нам итить теперь, конечно, все равно надо, — пап или пропал, — добавил Мальчиков, скользнув по лицу Ливенцева хитроватым взглядом и ухмыльнувшись.

На привале в деревне Надцице, напившись, умывшись и поужинав, Ливенцев спал крепко, уложив голову на чей-то вещевой мешок.

И новый день, который пришлось ему со всем полком простоять бездеятельно на берегу Стыри, был полон для него все тем же ощущением начатого огромного дела, которое было потому только и огромным, что не его личным.

Ощущение это росло в нем и крепло по одному тому только, что бригада — не его рота, не батальон, не полк, а целая бригада — занимала линию фронта в несколько верст. Он видел большую реку, которой никогда не приходилось ему видеть раньше, но которая была исконно русской волынской рекой; гряды холмов, покрытых лесом; зеленые хлеба в долине, деревни; большой кусок мирной и плодотворной земли, по которой скакал когда-то с дру-

жинами удельный князь, в железном шишаке и с «червленым», то есть красным, щитом, скакал к ее «шеломени», то есть границе, чтобы блюсти ее от натиска «поганных» — кочевников, половцев и других.

— Я как-то и где-то читал, что половцы, по крайней мере часть их поселилась на оседлую жизнь в Венгрии и что в семнадцатом веке в Будапеште умер последний потомок половецких ханов, который еще знал половецкий язык, — сказал Ливенцев прапорщику Тригуляеву. — Так что вот с кем мы с вами, пожалуй, имеем дело в двадцатом веке: нет ли среди мадьяр за Стырью отдаленных потомков половцев?

— Что же касается меня, — очень весело отозвался на это Тригуляев, — то я прямой потомок крушителя половцев Владимира Мономаха!.. Что? Не согласны?

— Все может быть, — сказал Ливенцев.

— Я вижу сомнение на вашем лице, — сложно подмигнул Тригуляев, — но-о... вполне ручаюсь за то, что я — мономахович!

— Вполне вам верю, — сказал Ливенцев, — только контрадмирал Веселкин, который теперь, говорят, очень чудит в Румынии, все-таки гораздо удачливее вас: он называет себя сводным братцем нашего царя, и в этом никто не сомневается, представьте!

Когда на смену их бригаде явилась целая дивизия — 126-я, — а им приказано было, держась берега Стыри, идти на Икву, Ливенцев услышал от командира пятнадцатой роты, тамбовца Кошкина:

— Ну вот, начинается дерганье: то туда иди, то сюда иди, не могли сразу поставить, куда надо!

Кошкин и вид имел очень недовольный, а Ливенцеву даже и в голову не пришло пошутить над ним, хотя склонности к шуткам он не потерял; напротив, он был совершенно серьезен, когда отозвался на это:

— Удивляюсь, чего вы ворчите! Я никогда не имел пикаких так называемых «ценных» бумаг, в частности акций, но слышал от умных людей, что если уж покупать большими капиталами, то только солидных предприятий, обеспеченных большими капиталами. Вот так и у нас с вами теперь: солидно, не какие-то там чики-брики, обдуманно!.. Не знаю, как вы, а я уж теперь, еще до боя, когда нас с вами убьют, вполне готов сказать: если война ведется умно, то быть убитым ничуть не досадно!

Из всего, что сказал Ливенцев, Коншин, видимо, отметил про себя только одну фразу, потому что спросил, поглядев на него тяжело-пристально:

— А вы почему же так сказали уверенно, что нас с вами в этом бою убьют?

— Э-э, какой вы серьезный, уж и пошутить с вами нельзя! — сказал Ливенцев, не усмехнувшись при этом.

О том, что ночью, когда они уже стояли на Икве, был сменен Печерским Кюн, Ливенцев не знал: Шангин считал за лучшее не говорить об этом своим ротным перед ночным делом. Но Ливенцев, как и другие, впрочем, заметил, что старик волнуется, передавая им приказ перейти мост и закрепиться на том берегу.

— Закрепиться, — вот в чем задача, — говорил своим ротным Шангин. — Что, собственно, это значит? Как именно закрепляться?

— Вырыть, конечно, окопы, — постарался помочь ему Ливенцев.

— Окопы вырыть? — и покачал многодумно вправо-влево седой головой Шангин. — Легко сказать: «окопы вырыть», а где именно? В каком расстоянии от моста?.. А вдруг попадем в болото?.. И как расположить роты? Три ли роты выставить в линию, одну оставить в резерве, или две вытянуть, а две в резерв?..

— Разве не дано точных указаний? — снова попытался уяснить дело Ливенцев.

— В этом-то и дело, что нет! В этом и вопрос, господа!.. Мне сказано только: «Действуйте по своему усмотрению». А что я могу усмотреть в темноте? Я — не кошка, а подполковник... А к утру у меня уж все должно быть закончено: к утру я должен донести в штаб полка, что закрепился.

— А если австрийцы нас пулеметами встретят? — мрачно спросил корнет Закопырин.

— В том-то и дело, что могут пулеметами встретить, — тут же согласился с ним Шангин.

— Когда же нам приказано выступать? — спросил Коншин.

— Сейчас надобно уж начать выступление, — ответил Шангин, и Ливенцев удивленно сказал, пожав плечами:

О чем же мы говорим еще, если сейчас? Сейчас, — значит, сейчас. И будем двигаться на мост.

«Чем на мост нам идти, поищем лучше броду!»

неожиданно для всех продекламировал Тригуляев, и на этом закончилось обсуждение задачи.

Через четверть часа рота Ливенцева первой подошла к мосту. Ливенцев только предупредил своих людей, чтобы шли не в ногу и как можно тише, на носочках, точно собрались «в чужое поле за горохом»; чтобы не звякали ни котелками, ни саперными лопатками; чтобы шли совершенно молча; чтобы не вздумал никто, пользуясь темнотой, закурить самокрутку...

И рота пошла.

Зная, что мост был жиденький, Ливенцев вел ее во взводных колоннах с интервалами, и когда вместе с первым взводом перешел на тот берег и услышал, как впервой били перепела в пшенице, то сам удивился удаче.

На всякий случай, первому взводу он приказал рассыпаться в цепь. Мост охранялся, конечно, и за ним таился пост от первого батальона, правда, не больше отделения, так что когда подошел второй взвод, Ливенцев уже почувствовал себя гораздо прочнее, а когда собралась наконец вся рота, как-то само пришло в голову, что всю ее нужно рассыпать, отойдя полукругом настолько, чтобы дать место другим трем ротам.

Он оказался в прикрытии батальона, он — в первой линии перед врагом, нападет ли тот утром или теперь же ночью, — Ливенцев даже не предполагал в себе того, что одно это сознание даст ему такую четкость мысли и уверенность не только в своих силах, но и в силах и выдержке всех без исключения своих людей.

IV

Едва наступило утро, Гильчевский отправился из Малеванки на свой наблюдательный пункт.

Капонада уже гремела на всем десятиверстном участке по реке Икве.

Обе дивизии располагали дивизионом тяжелых орудий каждая, но Гильчевский оставил в своей дивизии еще и восемь гаубиц, на что неодобрительно кивали командиры финляндских стрелков, говоря: «Конечно, своя рубашка к телу ближе!..» Несколько обижены они были в легкой артиллерии: им Гильчевский дал всего тридцать восемь орудий, а в своей дивизии оставил пятьдесят шесть. Но он

просто хотел уравновесить как-нибудь силы своих ополченцев с кадровиками...

Кроме того, в утро этого решительного в жизни своей дивизии дня он чувствовал себя как-то совсем неуверенно, несмотря даже и на то, что Федотов его как бы предпочел начальнику чужой дивизии, а может быть, благодаря именно этому.

С одной стороны, он мог торжествовать над командиром корпуса, который, только что попрекнув его тем, что он держит дивизию в кулаке, вполне потом с ним согласился, усилив его целой дивизией, а с другой — велика была сила внушения, испытанного в молодые годы: «Болотистая долина Иквы — почти непроходимая преграда», — так говорилось в академии, — значит, это знал и Федотов.

— Непроходимая, непреодолимая, неприступная, — как там ни выразишься, все равно скверно, — говорил он Протазанову. — А «почти» — что же такое это «почти»? «Почти» может быть какого угодно веса, — смотря по обстоятельствам.

Обыкновенно бывало так, что начальник штаба 101-й дивизии держался осторожнее, чем сам начальник дивизии. Но теперь, чувствуя сомнение в успехе, которое закралось в душу Гильчевского, Протазанов, этот подтянутый, всегда серьезный человек, с сухим, красивым лицом, счел своим долгом уверенно сказать в ответ:

— Как бы кому ни икалось от этой Иквы, а мы сегодня австрийцев гнать от нее будем в три шеи!

Такая решительность, прорвавшаяся вдруг сквозь обычную осторожность, несколько успокоила Гильчевского, но когда они с конной группой человек в двенадцать выбрались на опушку леса, чтобы отсюда, спешившись, дойти до наблюдательного пункта на высоте 102, то невольно остановились. Вся высота была окутана розовым дымом: казалось, не было на ней места, где бы не рвались австрийские снаряды, и в то же время там, в окне, сидели связанные с телефонами.

— Вот так штука! — изумился Гильчевский. — Значит, кто-то им уже передал, что там у нас — наблюдательный пункт! — И добавил укоризненно: — А вы мне только что говорили!..

— За шивонами, конечно, дело не станет, да ведь и без того у них тут пристреляно, нужно полагать, все...

спокойно ответил Протазанов. — А наблюдательный пункт надо оттуда снять и перенести сюда.

— «Надо» — хорошее дело «надо», а как это сделать? Нужно, чтобы пошел туда кто-нибудь и снял связных, а кто же пойдет в такой ад? — прокричал Гильчевский.

— Кто пойдет?

— Да, кто пойдет? Кого послать?

И Гильчевский оглядел бегло всех около себя и так ощутительно почувствовал, что послать придется на явную смерть и, может быть, без всякой пользы для дела, что всех ему стало вдруг жаль. Он понимал, что приступ жалости — слабость, совершенно непростительная в руководителе боем, и в то же время отделаться от этой слабости не мог.

Вдруг Протазанов подкинул голову, поглубже надвинул фуражку на лоб и сказал решительно:

— Я пойду!

— Что вы, что вы! Как я могу остаться без начальника штаба!

Гильчевский испуганно схватил его за руку в локте, но Протазанов мягко отвел его руку.

— Ничего, — я в свою звезду верю.

И, не улыбувшись, пошел четкой строевой походкой, как на параде, к розовой высоте, а Гильчевский напряженно-испуганно следил за каждым его шагом.

Остановить и заставить его вернуться было нельзя, — он понимал это, и в то же время вышло все неожиданно ислено: начальник штаба дивизии жертвовал собой успеху дивизии, значит, он тоже не верил в успех без этой жертвы?

Беспокойство и неуверенность только усилились, а между тем показывать их перед чинами своего штаба было бы совершенно непростительно, — это понимал Гильчевский и сдерживал себя, как мог, следя за подходившим уже к высоте Протазановым.

Как раз в это время несколько человек конных показались в лесу близко к опушке, на той самой дороге, по которой только что добрался сюда сам Гильчевский. Он послал узнать одного из офицеров штаба, кто это и зачем, а сам все следил, идет ли еще или уже ушел Протазанов: в дыму на горе этого уже нельзя было отчетливо видеть.

Приехавшие снесились и шли вместе с посланным офицером к нему, и Гильчевский подумал: не из штаба

ли корпуса? Не прислал ли нового приказа Федотов?

Но подходил какой-то совершенно незнакомый полковник генштаба с двумя обер-офицерами. Мелькнула даже торопливая нелепо-странная мысль, не прислан ли к нему новый начальник штаба на место Протазанова, и он, Протазанов, это заранее узнал каким-то образом, но от него скрыл и, оскорбленный, решил на самоубийство.

Мысль была вздорная, однако Гильчевский яростно воззрился на подошедшего полковника и еще яростнее крикнул:

— Что, а? Вам что?

— Честь имею представиться, полковник Игнатов! — несколько обескураженный таким приемом, проговорил подошедший, но Гильчевский, не протянув ему руки, крикнул снова:

— Зачем?

— Из штаба армии, ваше превосходительство, — в замешательстве уже, хотя отчетливо, ответил Игнатов. — Разрешите поучиться у вас управлению боем.

— Управлению боем?..

Гильчевский скользнул глазами по обескураженному простоватому лицу полковника Игнатова, тут же отвел глаза к высоте 102, разглядел на ней сквозь расслоившийся дым Протазанова рядом с наблюдательным пунктом, облегченно сказал: «А-а! Пока bravo!» — и только теперь протянул руку полковнику из штаба армии.

Но в следующий момент снова завлокло дымом Протазанова, — снаряды на холме продолжали рваться, — и, неуверенный уже в том, удалось ли начальнику штаба войти в окоп, Гильчевский резко бросил Игнатову:

— Сопроводительный документ из штаба армии извольте предъявить, поскольку я вас не знаю.

Появив свою оплошность, Игнатов поспешно вытащил из кармана бумажку, о которой он совсем было забыл, а Гильчевский, взяв ее, продолжал неотрывно следить за высотой 102.

Канонада густо гремела сплошь, однако делались ли проходы в проволоке противника? К тем опасениям и сомнениям, которые овладели Гильчевским в это утро, прибавилось теперь еще и это: не видно было отсюда, как действует артиллерия, и высота, выбранная для наблюдательного пункта, оказалась под преднамеренно сильным огнем.

Так прошло около получаса, и когда Гильчевский уже хотел сказать вслух то, что все время вертелось в мозгу и жалило его: «Ну, значит, погиб, аминь!» — вдруг показался Протазанов, а за ним несколько связных, нагруженные аппаратами и мотками проводов, которые они собирали проворно.

— Слава богу, жив! — крикнул Гильчевский, обращаясь непосредственно к полковнику Игнатову, который понял и восклицание это и сияние глаз начальника 101-й дивизии только тогда, когда сам увидел подходившего Протазанова.

— Слава богу, вы — молодец, конечно, вы — молодец! Но-о... но приказываю вам этого больше впредь не делать! — радостно кричал Гильчевский.

Однако с приходом Протазанова и связных около него оказалась уже порядочная кучка людей, и ее разглядели со своих холмов за рекой австрийские наблюдатели: вблизи начали рваться спаряды.

В то же время и наблюдательный пункт нужно было занять другой, запасной, хотя и не столь выгодный, как высота 102, с меньшим кругозором.

Удача Протазанова подняла настроение Гильчевского: стала уже мерещиться удача всей атаки.

Вот один полк начал цепями сходить с холмов в долину Иквы.

Гранаты и шрапнели рвались в цепях, но цепи шли быстро. Это было захватывающее зрелище торжества человеческого упорства в достижении цели. Видно было сквозь розовый дым, как валились десятки людей то здесь, то там, но остальные двигались вперед с каждой минутой быстрее. Вот уже подошли к мосту и бегут через мост на тот берег...

— Это какой полк? Какой? — волнуясь, спросил Протазанова Игнатов.

— Это четыреста первый Карачевский... Там командир полка — Николаев, — ответил Протазанов спокойно.

Они с Игнатовым оказались однокурсниками по академии, но так плохо знали друг друга, даже просто не помнили один другого.

Гильчевский не переставал подозрительно относиться к Игнатову, как соглядатаю, подосланному штабными, которых вообще не жаловал боевой генерал, говоря о них неизменно: «Ни черта не понимают в деле, а только ни-

триги разводят, друг друга подсаживают да представляют себя взаимно к наградам!»

Но простоватое лицо Игнатова было непритворно удивленно.

— Этот полк, что же он, — первым пошел в атаку? — спрашивал он.

— Что вы, что вы, это — резерв! — недовольно кричал в ответ Гильчевский. — Ударные полки теперь уже на той стороне!.. На той стороне, а не на этой!

Не хотелось объяснять, что решить дело должны были два полка: 6-й — от финляндских стрелков и 404-й от его дивизии, и некогда было объяснять это, и не шли слова на язык.

В мозгу все вертелось: «Проходы, проходы... Пробиты ли проходы для штурма?..» Ничего на том берегу не было видно из-за высокого хлеба, над которым навис иссиня-белый дым от своих снарядов. Но если не посчастливилось пробить проходы, значит, пропало все: растают полки от ближнего огня австрийцев.

Время шло. Канонада не слабела. Противник отстреливался ожесточенно.

Подходило уже к одиннадцати часам, когда вдруг заметно стало, что там, за зеленой равниной хлеба, к роще, потянулась небольшая кучка австрийцев, — человек сорок...

Это заметили в одно время и Протазанов и Гильчевский, но только переглянулись, отводя глаза от своих биноклей и тут же снова прильнув к стеклам...

Еще кучка левее... Правее тоже, и гораздо больше, чем первая...

Гильчевский опасался раньше времени поверить в успех, он только сказал с виду безразличным тоном:

— Кажется, кое-где идут наши мадьяры рачьим ходом.

— Не отступить ли начали? — тем же тоном отозвался Протазанов, а Игнатов подхватил возбужденно:

— Что? Что? Победа, а? Победа?

Это раздосадовало Гильчевского. Он крикнул яростно:

Какая там победа! Какой вы скорый!

В это время начальник связи, поручик Данильченко, отранспортировал, подойдя:

Телефограмма от полковника Ольхина, наше превосходительство!

— А? Что?— встревожился Гильчевский.

— «Первый батальон мой обошел через мост позиции противника, ворвался в Красное и гонит австрийцев»,— с подъемом отчеканил поручик.

— Ну вот, очень хорошо, очень хорошо...— обрадованно сказал Гильчевский, но тут же добавил, строго глядя на Игнатова:— Хорошо что, собственно? Хорошо, что саперы успели поправить мост там сгоревший,— вот что! Вот мост и пригодился для дела...

И, вспомнив тут же слова донесения «гонит австрийцев», обратился к Протазанову:

— Гонит австрийцев в каком же направлении, а? Ведь вот они отступают прямо на запад, а должны бы отступать на юг!

— Это не от Красного отступают,— сказал Протазанов.— Это гораздо левее.

— Разумеется, разумеется, это уж наши их так!.. Передать на батареи, чтобы открыли по ним заградительный огонь!

Не больше как через десять минут доносил и полковник Татаров, что его передовые роты выбивают мадьяр из окопов и берут пленных.

И только после этого донесения посветлело лицо Гильчевского, и он сказал Игнатову:

— Ну вот, это еще не называется успехом, но, пожалуйста, пожалуйста, что мы уже толчемся где-то около него, стучим ему в двери,— дескать: «Отвори, черт тебя дерн, на всякий случай!»

Однако сила внушения была все еще так велика, что не поддавалась в нем воздействию первых признаков успеха, тем более, что он видел вереницы раненых, которые шли по долине реки к своим перевязочным пунктам. Вместе с ранеными уходили, конечно, и трусы, но легко было представить и множество тяжело раненных и убитых перед окопами противника и в самых окопах.

Наконец, дрогнувший вначале враг мог оправиться потом и защищаться так усердно, что даже отдачные им окопы могут быть отбиты снова. Хорошим признаком считал он про себя то, что артиллерийский огонь противника как будто слабел, но поделиться с кем-нибудь около себя этим восприятием он пока еще не решался. Он старался только

сохранить спокойный вид, побороть волнение и для этого тоном напускного равнодушия говорит:

— Пока еще бабушка надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет.

V

По сравнению с другими прапорщиками в четвертом батальоне Ливенцев считался более опытным, однако и ему не приходилось никогда ночью, с трудом, шаг за шагом, пробираясь по кочковатой долине, где местами хлюпала под ногами грязь, вести роту.

Сзади, у воды, урчали лягушки, спереди, в хлебах, били перепела, но противник молчал; однако молчание это могло в любой момент разорваться сверху донизу очередями пулеметов и частым огнем винтовок, а то и легких орудий.

Впереди, конечно, шли патрули, но Ливенцев опасался, что они или преждевременно поднимут тревогу, или сознательно будут пропущены цепью противника вперед.

Однако чем дальше от моста продвигалась рота, тем меньше становилось опасений у Ливенцева, и когда прошли наконец долину реки и начали подниматься к хлебам, то совершенно твердо, как будто не свою только роту, а целый батальон он вел, Ливенцев решил продвигнуться настолько, чтобы сзади довольно осталось места для остальных рот.

О хлебах ничего не говорил Шангин, но Ливенцев, наблюдая эти хлеба днем, еще тогда про себя подумал, что они, такие высокие и густые, могли бы, как кустарники, надежно укрыть целые полки. И хотя благодаря неожиданной смене командира полка никому не удалось разобрататься как следует в поставленной начальником дивизии задаче, но Ливенцеву казалось неопровержимым, что другого решения быть не может.

И вот хлеба. Пшеница. Местами по пояс, местами по грудь ему, человеку выше среднего роста. Она очень густая, от росы мокрая и душно пахнет. Если идти по ней осторожно и не колонной, а цепью, то она будет не слишком и примята, а утром, когда высохнет, даже может и выпрямиться.

Ливенцев сделал все, чтобы рота его продвинулась в хлебах и залегла, пустив в дело лопатки. Земля была рых-

лая и поддавалась легко. Для связи с ротой Коншина он отрядил одного ефрейтора с рядовым, но примет ли четырнадцатая вправо или движется влево от его роты, не знал. Когда же определилось, что она будет у него справа, то почему-то (он не отдал себе отчета, почему именно) это было ему приятно. Пятнадцатая с легкомысленным Тригуляевым выдвинулась левее,— таков был приказ Шангина, который остался при шестнадцатой, в резерве.

В старинном, многовековом черноземе камней не было: камни лежали грядами на спусках в долину реки; лопатки не звякали; люди работали старательно и споро,— это наблюдал Ливенцев. Он не сидел на месте,— он беспокоился и беспокоил, обходя роты в цепи, и не напрасно делал это: троих пришлось ему растолкать,— они заснули, улегшись на росистый хлеб, и забыли о том, что надобно окопаться.

Подозрительным казалось Ливенцеву и то, что мадьяры не стреляли. Это можно было объяснить и тем, что окопы их были еще довольно далеко,— не меньше полуверсты,— и тем, что они теперь спали, готовясь к бою утром, и тем, наконец, что не придавали большого значения переходу русских через Икву, надеясь на силу своего огня.

«Разумеется,— думал Ливенцев,— если они готовят нам разгром, то для них удобнее прижать нас потом к реке, чем самим переходить ее под нашим огнем, хотя бы и ради преследования...» Это соображение, впрочем, не только не пугало его, но, напротив, придавало ему больше устойчивости, так как он верил в удачу.

Главное, его мозг математика постигал, хотя и отчасти только, какой-то отчетливый ход мысли этого светлоглазого чернобрового старика, начальника дивизии, который поправился ему еще с первого смотра в начале апреля.

Он в него поверил тогда и сейчас ему верил. Он понимал, что мост необходим для переброски на этот берег нескольких тысяч людей и что его рота вместе с другими тремя пока что должна охранять этот мост от возможного натиска мадьяр. Оставалось только ждать этого натиска до рассвета, когда, как обычно, загремят пушки.

Когда против левого фланга роты Тригуляева поднялась была ружейная пальба, Ливенцев подумал восторженно: «Неужели атака?», но в то же время бы-

стро передал своим, чтобы не стреляли до его команды.

Было не то, чтобы совершенно темно, хотя луна не появлялась и облака проходили низко: от звезд, пробиваясь сквозь облака, шел все-таки небольшой свет,— в двух-трех шагах можно было узнать хорошо знакомого человека.

Стрельба у Тригуляева быстро прекратилась и потом, вплоть до рассвета, не подымалась вновь нигде в цепях. А до рассвета время не тянулось для Ливенцева, потому что рота выполняла приказ закрепиться, и рассвет подошел,— так ему показалось,— гораздо быстрее, чем можно было бы его ждать.

И тут же вслед за рассветом началась канонада.

Это вышло торжественно и строго: начали свои орудия сразу и уверенно, как сознающие свою силу, как передатчики этого сознания силы своим ротам, залегшим в хлебах на страже двух мостов через Икву.

И потом час и два и три чертили в небе над головой расчисленные дуги снаряды, свои и чужие. Иногда слышен был их полет сквозь залпы и разрывы, как бывает слышен свист голубиных крыльев сквозь городской шум.

Подобравшись сзади, укрытый в полусогнутом положении стеною пшеницы, Некипелов сказал Ливенцеву:

— Как приказано, Николай Иваныч: нам ли первым в атаку итти, или мы пропускать другие роты должны?

Вопрос был по существу, и небольшие лесные глаза сибиряка смотрели серьезно.

— Никаких на этот счет приказаний не было,— ответил Ливенцев.— Может быть, и нам, может быть, и другим, а в общем, конечно, придется всем.

— Я потому это спрашиваю, что идут уж наши,— кивнул головой назад Некипелов.

Оглянувшись Ливенцев,— действительно, роты подходили уже цепями к мосту.

— Вот когда будут бить по мосту австрийцы!— сказал он с большой тревогой.

— Однако ничего,— отозвался на это Некипелов.— Бегут сюда по мосту наши!

Пальба русских батарей усилилась, австрийские отвечали им реже, слабее,— так воспринимало ухо, но Ливенцев боялся поверить этому: может быть, ему просто хочется, чтобы так именно было, а на самом деле нет этого?

Чья артиллерия сильнее бьет?— спросил он Некипелова.

— Выходит, однако, наша сильнее, — уверенно ответил сибиряк.

— Ну, значит, будем готовиться к перебежке частями! Не может быть, чтобы новые роты шли дальше, а мы чтоб лежали... Они на наше место, а мы вперед... Тогда я подам команду... Идите пока ко второй полуроте.

Ливенцев говорил это спокойно. Он и был спокоен. Наступали очень большие, решительные, может быть, последние минуты жизни, но не было ни сосущей под ложечкой тоски, о которой он слышал от других, когда лежал в госпитале, ни нервической дрожи, которая тоже будто бы охватывает все тело и которую надо побороть, чтобы овладеть собою и быть в состоянии действовать.

Он владел собою. Он вспоминал первый штурм, когда много было затрачено каких-то не поддающихся определению усилий нервов и мысли, чтобы подготовиться к настоящему бою, но тогда занесенная для боя рука опустилась скромно и немного даже стыдливо: бой был решен другими. Теперь повторялась во всем теле та же самая собранность, которая появилась тогда, и острота зрения такая, что Ливенцев вспомнил прапорщика Коншина и подумал: «Как же он будет вести своих в атаку, если он — в пенсне?»

Ливенцев даже поймал себя на том, что теперь, с этой минуты, ему досадно, что именно так вышло, — что командует ротой по соседству с ним хотя и толковый человек, но в пенсне. А вдруг потеряет он пенсне или высокая иппеница сдернет его с носа, что он будет делать тогда? Не различит своих солдат от австрийских!

Фельдфебель Верстаков, с того времени как увидел его в первый раз в марте Ливенцев оплывшим наподобие свечного огарка, давно уже подобрался, — «вошел в свою норму», как говорил о себе не без важности он сам.

Он оказался исполнительным, быстро соображающим человеком, способным понимать своего ротного с полуслова, как это умест делать большинство фельдфебелей.

Ливенцев шутил иногда, что фельдфебелями люди рождаются так же, как и поэтами.

Теперь Верстаков, тоже весь полный ожиданием решительной минуты, занял место ушедшего ко второй полуроте Некищелова и, как до него подпрапорщик, моментально оглядывался назад и считал своим долгом докладывать, хотя Ливенцев видел это и сам:

— Еще батальон поспешает!.. Это, похоже, второй... Значит, они в обратном порядке... А потом пойдет первый...

Когда доложил он:

— Ваше благородие, третий батальон добегает к нам!— Ливенцев почувствовал, что наступила решительная минута, что надо идти вперед.

Команды «вперед!» не было дано, но она уже как бы повисла в воздухе, оставалось ей только зазвучать, как звучит телеграфный провод, натянутый между столбами. И она прозвучала.

— Перебежка частями! Первый взвод начинает!— прокричал Ливенцев, вынимая свисток.

Ему казалось, что он командовал едва ли не громче, чем надо было, однако команду эту расслышали только ближайšie к нему солдаты первого взвода, и Верстаков метнулся от него в сторону тех, до которых она не дошла из-за грохота орудийных выстрелов и разрывов снарядов, так как обстрел не только не прекращался, а даже усилился. Гильчевский держался и теперь того, что дал ему опыт недавнего штурма, тем более, что он знал, как далеко от окопов противника закрепились ночью батальоны.

Кругозор Ливенцева был гораздо уже, хотя сам он находился ближе к врагу.

Ливенцев видел высокие черные фонтаны взрывов русских тяжелых снарядов над австрийскими окопами, однако он не знал, пробиты ли легкими снарядами и где именно, если пробиты, проходы в колючей проволоке.

При штурме позиций на высоте 100 действие артиллерии было видно издали, так как там укрепления противника шли по скату высоты в два яруса, здесь же высокая пшеница и складки местности скрывали и окопы и заграждения перед ними.

После бомбардировки, длившейся с раннего утра, то есть несколько часов подряд, можно было ожидать, что раздавлены все пулеметные гнезда мадьяр, но, чуть только началась перебежка взводами, застрекотали пулеметы.

К батальону под утро пришли два артиллериста, наблюдатели, оба прапорщики, со связными, но один из них остался при роте Кошвина, другой при роте Тригудиева, где местность была повыше. Они передавали по телефону батареям, тяжелым и легким, как ложились снаряды, по

уничтожены ли пулеметные гнезда, этого не могли, конечно, определить и они.

Ливенцеву не пришлось учить свою роту перебежкам на лагерном плацу, и он не был даже уверен, будут ли бежать вперед его люди под огнем пулеметов, но теперь видел, что они бежали, разбирая на бегу руками густую пшеницу и пригнувшись, бежали деловито, не останавливаясь, пока не раздавался свисток взводного, как это и требовалось по уставу, и потом вытягивались и прижимались головами к земле.

После он объяснил себе это тем, что батареи посылали снаряд за снарядом и иные из этих снарядов удачно накрывали пулеметы; тем также, что бежать солдатам пришлось под прикрытием пшеницы, а не по открытому месту, что было бы неизмеримо труднее; наконец, и тем, что бежали и справа и слева от них, по всему берегу реки, что бежали и сзади, им в затылок, что в атаку шли тысячи людей,— и как же можно было выпасть куда-нибудь из такого стремительного людского потока?

С другой стороны, и огонь пулеметов был как-то вял и слаб по сравнению с тем, что пришлось испытать несколько больше полугода назад Ливенцеву в Галиции.

Он старался отбросить мысль, что раз атака началась издалека, то австрийские пулеметчики поджидали, когда цепи придвинутся ближе.

Некогда было ему думать о чем-нибудь другом, кроме как только об этом: как, в каком порядке бегут люди? Сколько еще осталось перебежек до штурма? Есть ли там, в заграждениях, проходы или их придется пробивать еще ручными гранатами?..

Теперь он держался сзади,— не вел роту, а направлял ее. На него же, обгоняя мешкотную, как ее толстый командир, шестнадцатую роту, напирали люди третьего батальона.

«Ну, пропала пшеница, — потопчут!» — думал он бодро, видя такую стремительность. После нескольких перебежек начали попадаться воронки от первых недолетевших снарядов. Наконец видны стали колья и местами повисшая, местами туго натянутая, ржавая проволока на них. Это были не те проходы, которые он видел три дня назад, но все-таки он сказал самому себе уверенно: «Ничего!», тем более, что в них все-таки еще рвались снаряды, значит, минута штурма еще не наступила.

Окопы передовые, как и укрепления второй линии, сооруженные австрийцами еще прошлым летом, теперь заросли травой, по высоте своей не уступающей пшенице, но от действия снарядов все было перебуравлено там: странно-белесыми, опаленными клочьями торчала эта трава из-под засыпавшей ее то черной, то глинистой земли; торчали в разные стороны разбросанные и перебитые колья; не были издали заметны, но чувствовались по буграм земли объемистые воронки, через которые надо будет бежать, где перескакивая через них, где их минуя.

Но вот заметно стало, что перестали рваться снаряды вблизи, что они молотят только вторую линию... Все в Ливенцеве напряглось в ожидании сигнала к штурму, — и сигнал этот он услышал.

VI

В неглубокой воронке торчали ноги в сапогах со сбитыми набок каблуками, а все тело вывернулось совершенно неестественно в сторону, лицом вверх. По лицу, искаженному, но с открытыми неподвижными глазами, пробежавший мимо Ливенцев узнал взводного унтер-офицера Гаркавого. Мельком подумал: «Убит?» — и тут же перепрыгнул через нижний ряд проволоки с расчетом, чтобы не угодить в следующую воронку.

Рядом с ним оказался с одной стороны обычно вальковатый, однако преобразившийся теперь в сообразительного и ловкого бойца тот самый Кузьма Дьяконов, который говорил о «настоящей нище», а с другой — Мальчиков, из рода столетних жителей вятских сосновых лесов, справедливо сомневавшийся в досягаемости этих лесов для немцев.

Не приказано было кричать «ура», чтобы не притянуть криком раньше времени больших сил по ходам сообщения к передовым окопам, однако солдаты как будто совершенно забыли об этом.

Орал и Дьяконов.

— Не ори! — бросил ему на бегу Ливенцев.

— Неспособно молчком! — буркнул Дьяконов и шагов через пять заорал снова: — Ра-а-а-а!

Большинство пулеметных гнезд было разрушено, но мадьяры не хотели уступать окопов без боя. От их ружейного огня беспорядочно залегли те, кто остался в жи-

вых от первого взвода, не добежав всего шагов двадцати до последнего ряда кольев.

— Па-ачки! — прокричал команду второму взводу, с которым бежал на штурм, Ливенцев. Тут же перехватил его команду и третий взвод, бежавший уступом ко второму и несколько левее. Ливенцев оглянулся туда, увидел там Некипелова и как будто стал вдруг выше ростом.

А на бруствере уже не было многолюдства: мадьяры очищали его; там спереди только убитые или тяжело раненные валялись ничком.

— Урра! — теперь уже сам хрипло орал Ливенцев, до боли сжимая рукой свой браунинг. Потом потерялась отчетливость восприятия: штыки, длинные и синие, согнутые спины солдат, лица, искаженные яростью рукопашного боя, пронзительный чей-то вопль рядом: это тот, обтиравший ежедневно картины от пыли, — фамилию его Ливенцев не припомнил; массивный мадьяр всадил свой штык ему в живот; Ливенцев выстрелил мадьяру в красный вздутый висок, и мадьяр свалился...

Потом рвались в окопах и в ходах сообщения чьи-то гранаты, — вражеские или свои, нельзя было понять. Ливенцев кричал своим солдатам:

— Не входить в окопы!.. Не лезь в окопы, э-эй!

Новые жертвы казались ему уже излишними, но остановить разгоряченных боем не было возможности. Между тем мадьяры уходили в тыл: не уходили, — бежали. Они старались бежать по ходам сообщения, но это не везде им удавалось: местами ходы были засыпаны, приходилось выскакивать наверх... За ними гнались или кричали: «Сдавайся!» Они останавливались и клали наземь винтовки.

И вдруг Некипелов рядом:

— Николай Ивапыч! Смотрите!

Он показывает рукой вправо.

Тут же был и Мальчиков. Ливенцев только что спросил его, увидя кровь на рукаве его гимнастерки: «Что? Ранен?», и услышал бодрый ответ: «Это ни черта не составляет!» Мальчиков тоже пристально взгляделся в то, что раньше его заметил сибиряк, и сказал изумленно:

— А вот это действительно сволочь!

Шагах в двухстах, — может быть, несколько больше, за участком окопов, занятым уже четырнадцатой ротой, окопы мадьяр несколько загнулись внутрь, и то, что разглядел там Ливенцев, его поразило.

По фигуре, по фуражке он узнал прапорщика Обидина, державшего руки вверх, стоявшего впереди нескольких своих солдат, тоже поднявших руки. Еще момент, и окружившие эту группу мадьяры потащили бы их в плен.

— По изменникам — пальба взводом! — крикнул вне себя Ливенцев, забыв о том, что рядом с ним всего несколько человек, из которых у Некипелова, как и у него самого, не было винтовки.

Однако залп, и еще залп, и еще один успели сделать Мальчиков, Дьяконов и другие пятеро-шестеро, и залпы эти произвели действие. Там разбежались, а потом туда нахлынули солдаты двенадцатой роты...

Некогда было следить за тем, что делалось за двести шагов по фронту, когда нужно было спешить во вторую линию укреплений, куда уже стремились кучки солдат четырнадцатой роты и где уже перестали рваться снаряды своих батарей.

Ливенцев скользнул глазами по этим кучкам, надеясь увидеть Коншина, но не увидел и крикнул туда:

— Эй! Четырнадцатая рота! А ротный командир ваш где?

Там остановился какой-то ефрейтор, взглядел на Ливенцева и вывел тонко и жалобно:

— Ротный командир наш? У-би-тай! — махнул рукой, покрутил головой и побежал дальше догонять других.

Ливенцев непроизвольно сделал рукой тот же жест, что и этот ефрейтор, добавив:

— Вот жалость какая!

Как раз в это время поравнялся с ним спешивший тоже вперед прапорщик-артиллерист, наблюдатель.

— Послушайте, прапорщик! — обратился к нему Ливенцев. — Вот рядом в четырнадцатой роте убит ротный командир, — не возьмете ли ее под свое покровительство?

Прапорщик этот, светловолосый, потнолицый, с расстегнутым воротом рубахи, но бравого вида, был поинтересен. Он ничего не расспрашивал у Ливенцева, он спешил. У него оказался звонкий голос. На быстром ходу прокричал он:

— Четырнадцатая рота, слушать мою команду! — и, только оглянувшись на двух связанных, спешивших за ним и тянувших провод, тут же побежал впереди десятка солдат четырнадцатой роты, потерявшей своего командира.

А не больше как через пять минут Ливенцев услышал

новые залпы своей артиллерии: это был заградительный огонь, который приказал открыть Гильчевский, чтобы задержать бегство мадьяр на участках, атакованных Ольхиным и Татаровым.

VII

Теперь уж штабу 101-й дивизии можно было перейти не только на облюбованную раньше Гильчевским для наблюдательного пункта высоту 102, но и гораздо ближе к Икве, на высоту 200, находившуюся против деревни Баболоки, однако в этом больше не было нужды: руководство боем закончилось, так как закончился бой.

Это было в начале двенадцатого часа. Заградительный огонь подействовал на значительные толпы отступавших, которые сначала остановились, потом повернули назад, чтобы сдаться. Однако основные силы мадьяр все-таки уходили на юго-запад, и уходили быстро.

— Эх, конницу бы нам теперь, кон-ни-цу! — почти стонал от бессилия Гильчевский. — И вот же всегда так бывает с нами: когда полжизни готов отдать за один полк кавалерии, видишь только хвосты своей ополченской сотни.

При дивизии была и оставалась без переименования ополченская конная сотня с поручиком Присекой во главе. Ее пускали в дело для конных разведок, из нее брали ординарцев, при ней содержались верховые лошади штаб-офицеров, но больше из нее ничего нельзя было выжать.

— Поздравляю, ваше превосходительство! — с искренним восхищением, преобразившим его простоватое лицо, говорил Гильчевскому Игнатюв. — Я видел прекрасное руководство боем!

— Ну, что вы там видели, — ничего вы не видели, оставьте пожалуйста! — отмахивался Гильчевский. — Сначала вам нужно увидеть настоящих героев этого боя, а их мы с вами увидим, если сейчас приедем в Торговицу, оттуда в Красное, а потом вдоль фронта. И непременно, непременно передайте в штабе армии, что... Я не знаю, конечно, может быть, кавалерийские дивизии выполняют сейчас гораздо более важные задачи, — этого я не знаю, но то, что одной из них нет сейчас здесь, это большое упущение, это непростительная ошибка чья-то, чья-то! — вам лучше, чем мне, знать, чья именно!

С высокого берега, в Торговице, около церкви, где чуть было не был убит он дня два назад, Гильчевский наблюдал движение уже последних арьергардных частей противника, скрывавшихся за дальними рощами. Считая беспорядочное преследование отступающих пехотными частями, потерявшими притом многих своих офицеров, совершенно излишним для дела и даже небезопасным, Гильчевский запретил его. В то же время в Торговице приказано было им собирать пленных, взятых в деревне Красной 6-м Финляндским полком и на фронте всей 101-й дивизии.

Пленных еще вели и вели с той и с другой стороны, но и теперь уже они заполнили всю базарную площадь мосточка и ближайšie к ней улицы, и теперь уже, до полного подсчета, видно было, что их гораздо больше, чем оказалось после штурма 24 мая. При этом получалось так, что один 6-й полк набрал пленных не меньше, чем вся 101-я дивизия, что несколько даже смутило Гильчевского.

По тому самому мосту, который чуть было не сгорел, но потом очень успешно был восстановлен саперами, Гильчевский и все, кто был с ним в кавалькаде, двинулись в Красное. Однако чем ближе подъезжали, тем меньше радовались.

— Эге-ге, — сказал Протазанов, — тут жаркое было дело!

Деревня дымилась в нескольких местах, хотя пожары, видимо, тушились. Много домов было разрушено артиллерией австрийцев. Разбитая черепица, слетевшая с крыш, краснела всюду на улицах. Тела убитых русских солдат попадались часто. Их сложили санитары возле домов: тут же над тяжело ранеными они хлопотливо натягивали полотно палаток, чтобы защитить их от полуденного зноя, пока явится возможность перевезти их, куда прикажет начальство.

На выезде на этой, до сражения очень благоустроенной большой деревни с каменными домами стали попадаться рядом с телами солдат Финляндского полка тела австрийских солдат, и чем дальше, тем было их больше и больше... и тяжело раненные стонали таяко для слуха.

Тут была рукопашная! — сказал Гильчевский. —
Мадьяры тут отчаянно защищались!

Дорога от Красного на запад была очень оживлена: двигались группы солдат туда и оттуда, идущие оттуда

сопровождали пленных мадьяр и своих раненых. Издалека заметил Гильчевского полковник Ольхин, бывший верхом, и подскочил к нему.

— Вот видите, кто настоящий герой этого дня! Вот кто! — обратился несколько торжественно Гильчевский к Игнатову, когда Ольхин был уже близко.

— Ольхин? Я его хорошо знаю: вместе состояли в штабе армии, — улыбаясь, сказал Игнатов.

Большая вороная, сильная на вид лошадь Ольхина бежала, однако, с трудом: она была ранена пулей в мякоть правой задней ноги. Но не только у лошади, — у самого Ольхина был тоже перетруженный, усталый вид: он, такой обычно бодрый и деятельный, едва шевелил теперь пересохшими губами. Он даже не улыбнулся, здороваясь с Игнатовым, хотя силился улыбнуться.

Свой рапорт Гильчевскому он начал с того, что его более всего удручало:

— Доношу вашему превосходительству: вверенный мне полк понес большие потери... Они еще не вполне подсчитаны, не приведены в полную известность, но не меньше... не меньше, как тысяча человек!

— Тысяча человек? На полк, — да, много, — сказал Гильчевский.

— Треть полка, ваше превосходительство, но... трудно было и ожидать таких контратак, какие пришлось отбивать полку, — продолжал, с трудом подбирая слова, Ольхин. — Было пять контратак!.. Деревня Красное была занята полком с палету еще в шесть часов, но потом пошли настойчивые контратаки, одна за другой... Это оказалась очень укрепленная позиция; противник придавал ей очень большое значение... Правда, потом было взято много пленных...

— Сколько именно пленных? — спросил Гильчевский.

— Не вполне подсчитаны и пленные, ваше превосходительство, они еще продолжают прибывать... Последняя круглая цифра — две тысячи шестьсот человек.

— Ну, вот видите, как! — обратился Гильчевский к Протазанову. — Где наибольший успех, там не могут быть ничтожными и потери, — что делать, это — закон. Во всяком случае, тут был левый фланг австро-германских позиций, и он был опрокинут и обойден шестым Финляндским стрелковым полком, выдержавшим (Гильчевский говорил это так, как будто диктовал своему начальнику

штаба донесение в штаб корпуса) несколько ожесточенных контратак противника за время с шести до одиннадцати часов, когда противник был окончательно сломлен и потерял, кроме убитых и раненых, пленными до трех тысяч... Ну, честь вам и слава! — обратился он к Ольхину и протянул ему руки для объятия.

Когда потом кавалькада двинулась дальше вдоль взятых позиций, в сторону участка 101-й дивизии, Игнатов говорил возбужденно:

— Прошу извинения, ваше превосходительство, но я напросился к вам по своей доброй воле, исключительно, чтобы поучиться, как действовать в бою... Я совсем не намерен оставаться на работе в штабе!

— А-а! — протянул Гильчевский и посмотрел на него гораздо более приветливо, чем за все время, которое провел с ним рядом.

— Теперь же тем более, когда полковник Ольхин оказался таким героем...

— Подождите, я вам покажу скоро другого полковника-героя, — бесцеремонно перебил его Гильчевский, не любивший высокопарности.

Другой полковник-герой был Татаров, перебросивший один из своих батальонов на другой берег Иквы, к деревне Рудлево, и прорвавший своим 404-м полком австрийские позиции. Однако до места прорыва от Красного было верст пять, — весь участок 6-й дивизии, — и эти пять верст нельзя было проскакать галопом. Это были версты подвигов и потерь, торжества и учета, а главным образом, общих сожалений, что разбитый враг ушел и преследовать его так же, как преследовали 24 мая, с большим рвением, но без всякой надежды догнать его раньше, чем он дойдет до заранее подготовленных, еще год назад, позиций, нет никакого смысла.

Эх, если бы у нас была кавалерия! Вот бы пустить ее в погоню! — говорили Гильчевскому офицеры финляндских стрелков.

— А вот у нас тут есть полковник из штаба армии, — оживленно отозвался на это Гильчевский. — Достаточно ли у нас в восьмой армии кавалерии?

Игнатов ответил на этот вопрос без колебаний:

Мы в штабе считаем, что вполне достаточно. Прежде всего, у нас две кавалерийских дивизии седьмой и двенадцатой.

— Кто начальники дивизии той и другой?

— Седьмой дивизией командует генерал Гилленшмидт, двенадцатой — генерал Маннергейм.

— Та-ак-с! — многозначительно протянул Гильчевский. — Но все-таки где же они сейчас и чем заняты?

— Обе на Луцком направлении... Да ведь генерал Каледин сам кавалерист. Можно думать, что он даст им возможность проявить себя в лучшем виде, — политично ответил Игнатов.

— Да, да, да, да, все, конечно! — с явным раздражением отозвался на это Гильчевский. — Будем думать, будем думать, — больше нам ничего и не остается!

Татаров передавал по телефону на наблюдательный пункт, что прорыв удалось осуществить в районе пасеки, и, подвигаясь к участку своей дивизии, Гильчевский искал глазами эту пасеку. Однако определить теперь, где именно до бомбардировки находилась пасека, было трудно; гораздо легче оказалось увидеть Татарова, так как он сам шел навстречу своему командиру.

Он шел привычным для себя строевым шагом, слегка придерживая левую руку как бы на эфесе пашки, хотя пашки у него и не было.

Так как о прорыве он доносил уже, то теперь он сказал только:

— Ваше превосходительство, действиями вверенного мне полка противнику нанесен большой урон. Трофеи пока приводятся в известность.

— Благодарю за отличную службу отечеству! — торжественно, держа руку у козырька, повышенным тоном сказал Гильчевский.

— Рад стараться, ваше превосходительство! — по-солдатски четко ответил на это Татаров.

Гильчевский легко спрыгнул со своего серого с секущейшей шейей, а вслед за ним то же самое сделали и Протазанов, и Игнатов, и другие, кроме ординарцев, которые ожидали на это особого приказа.

В 404-м полку Гильчевский пробыл довольно долго, расспрашивая Татарова, как велась им атака на позиции у пасеки, как удалось достичь успеха, какие роты особенно отличились, много ли понесли они потерь...

Объясняя свои действия, Татаров сказал:

Так как и заранее был извещен, чтобы преследованием разбитого противника не увлекаться, то приказал

тут же после прорыва двум ротам идти вдоль окопов противника влево, в сторону четырехста второго полка...

— Ага! Вот,— подхватил Гильчевский,— что и облегчило задачу полку, командир которого оказался трус, и я его, конечно, отчислю, какие бы сильные протекции он ни имел!.. Подробнейший список офицеров и нижних чинов, достойных награды, прошу мне представить сегодня вечером,— добавил он,— а представление к награде вас я сделаю сам.

И, посмотрев на героя-полковника проникновенным долгим взглядом, начальник дивизии не смог удержаться, чтобы не поцеловать его в сухие губы.

VIII

Когда Ливенцеву передан был приказ, что преследование противника оставлено, и когда все пленные мадьяры, захваченные его ротой, а также и свои и австрийские раненые были уже им отправлены в направлении к Торговице, он начал приводить в известность состояние роты, но не забыл при этом и прапорщика Обидина, о котором не знал еще, успели мадьяры увести его в плен или он, Ливенцев, помешал все-таки в этом и им Обидину.

Подозвав к себе Кузьму Дьяконова, он сказал ему:

— Вот что, узнай мне сейчас: ротный командир одиннадцатой роты где сейчас находится?

— Одиннадцатой, ваше благородие? — Дьяконов посмотрел в сторону того самого входящего угла австрийских окопов, понимающе качнул головой и добавил, несколько понизив голос: — Стало быть, этот самый, ваше благородие?

— Ну, да, этот самый, только ты об этом ни слова никому, а только спроси, будто я тебя и не посылал... Может, у тебя земляк какой в одиннадцатой, тогда о нем сначала спроси, а после того уж, вроде как между прочим: «А ротный ваш жив?»

— Понимаю, ваше бродь... Слушаю! — очень оживился Дьяконов. — Я туда живой рукой добегу и отразу обратно.

Действительно, он не мешкал. Ливенцев не успел еще разобраться во заводах и отделениях, которые строились

впереди окопов и где унтер-офицеры устанавливали вместе с фельдфебелем и Некипеловым, сколько осталось в строю, кто убит, кто ранен, как явился Дьяконов, имевший заговорщичий вид и ставший в сторонке.

— Ну, что? — спросил, подойдя к нему, Ливенцев.

— Не успели уойтить! — вполголоса доложил Кузьма.

— Налицо, значит? Вот как!.. И не ранен? — удивился Ливенцев.

— Спытывал, ваше благородие, я там двух, ну, говорят, под фланговый огонь попали, так что рану какую-сь имеют они, ротный ихний...— еще таинственнее сообщил Дьяконов.

— У кого узнавал? Не у тех ли, кто с ротным был?

— Так точно, у раненых тоже.

— Они что же, не видели, значит, кто в них стрелял?

— Поэтому, выходит, так: не заметили.

— Ну, черт с ними со всеми,— пусть их отправляют лечиться!.. Иди, становись в строй.

Когда Гильчевский, заканчивая объезд взятых его дивизией позиций, остановился перед тринадцатой ротой, Ливенцев встретил его впереди развернутого строя зычной командой:

— Рота, смирно! Равнение на-лево,— и сам стал на правый фланг.

Поздоровавшись с ротой, Гильчевский поздравил ее с победой, как и все другие части раньше. Рота отвечала бодро, а начальник дивизии, присмотревшись пристальней к Ливенцеву и припомнив его, вдруг обратился к нему, улыбаясь:

— А-а, боевой, боевой прапорщик,— помню! Ну-ка, подойдите с рапортом!

Это обращение не смутило Ливенцева; он только отметил про себя, что уже слышал от него французское ударение в слове «рапорт». Он подошел шага на три и проговорил без запики, точно прочитал заранее заготовленное:

— Ваше превосходительство! Вверенная мне тринадцатая рота, закрепившись с ночи за рекой в виду противника, первой в полку начала атаку на приходившиеся против нее окопы противника, которые и заняла, взяв при этом сто сорок шесть человек нераненых в плен и понеся следующие потери: два унтер-офицера убиты, два ранены;

ефрейторов и рядовых убито десять человек, ранено тяжело девять и легко семнадцать. Вполне исправного оружия взято у противника триста двенадцать винтовок и три пулемета.

Он не знал, в том ли порядке, какой требуется, все перечислил, а также не успел узнать, так ли велики и потери и трофеи в других ротах, и думал услышать надлежащую оценку их от самого начальника дивизии, но тот спросил вдруг как будто даже недовольным тоном:

— А пропавших без вести сколько?

— Ни одного, ваше превосходительство! Все живые и убитые точно приведены в известность! — ответил Ливенцев, несколько даже вздернутый вопросом генерала, который ему так понравился с первого дня своей деловитостью.

— А список отличившихся нижних чинов можете составить? — снова строгим тоном спросил Гильчевский.

— Так точно, ваше превосходительство!

— Каков, а? — довольно и как будто даже несколько удивленно обратился к Протазанову Гильчевский, подкивнув подбородком, и тут же — к Ливенцеву: — Ваша фамилия, прапорщик?

— Ли-вен-цев, ваше превосходительство.

— Запишите прапорщика Ливенцева, командира тринадцатой, — сказал Гильчевский своему старшему адъютанту, чина которого не разобрал на погонах Ливенцев, но у которого в руках заметил и записную тетрадь и карандаш лилового цвета.

Тут же после того, как уехал дальше Гильчевский, Ливенцев начал составлять список отличившихся, и когда дошел до Кузьмы Дьяконова, то снова вспомнил Обидина.

— Тяжелая или легкая рана у этого... ротного одиннадцатой? — спросил он Кузьму, опять отозвав его к сторонке.

Кузьма виновато мотнул головой:

— Не могу этого знать, — не спытывал.

— Чудак! Что же ты такой простой вещи не догадаешься спросить?

— Могу сейчас добежать, — тут разве даль какая?

— Нет уж, не надо, так и быть... Нечего бегать, — после узнается. Иди.

Действительно, стало как-то совсем не нужно Ливен-

цеву подлинно знать, тяжело или легко ранен Обидин. Если даже ни то, ни другое, а третье,— то есть серьезно, то, значит, его счастье: скорее, чем окончилась бы война и его вернули бы из плена, увидится он со своей невестой или даже женится на ней, на Вере Покотиловой из города Касимова на Оке.

Вспомнив про оставленную им бумажку с адресом, Ливенцев вынул ее из кармана и изорвал в клочки. Тут же после этого на другой бумажке, заготовленной им для Натальи Сергеевны, он добавил несколько слов: «Был в бою на р. Икве; пока невредим».

Он вполне добросовестно думал несколько минут, что бы такое еще можно было сюда добавить, но ничего придумать не мог. Впрочем, если бы ему и удалось написать длинное письмо, то он не знал бы, каким образом его отсюда отправить, когда, по всем видимостям, и стоять здесь не предполагалось совсем: нельзя было давать разбитому врагу возможности восстановить свои силы.

Приказ дивизии идти в порядке, полк за полком, к деревне Бокуйме, расположенной на шоссе, ведущем в историческое местечко Берестечко, был отдан Гильчевским тут же, как он объехал все взятые позиции.

В разведку вперед была послана конная сотня, но в соприкосновении с противником она в тот день не вошла: остатки мадыарских полков бежали быстро к реке Пляшевке, впадающей в ту же Стырь. Там были старые австрийские позиции, и туда от Стыри подходили к ним подкрепления.

Собрались к вечеру за Иквой и все полки дивизии финляндских стрелков, но собрались также над всем расположением обеих дивизий и густые черные тучи.

Войска были утомлены,— им не пришлось отдыхать предыдущую ночь, — а вполне заслуженный ими отдых в эту ночь отняли у них гроза и ливень.

Деревня Бокуйма была не так велика, чтобы в ней можно было разместиться большому отряду, в ней почевали только штабы обеих дивизий.

Ливенцеву, как и другим офицерам, пришлось довольствоваться плохо натянутой походной палаткой и утешаться тем, что ливень оказался не затяжной и промочил его не до костей.

А утром, едва щедрое на тепло солнце конца русского мая обсушило многотерпеливых солдат, пришло в штаб-

квартиру Гильчевского распоряжение комкора Федотова — 101-й дивизии оказать содействие 3-й дивизии, расположенной по соседству.

Эта дивизия входила в 17-й корпус, а 17-й корпус в свою очередь числился уже не в восьмой армии у Каледина, а в одиннадцатой — у Сахарова.

— Позвольте, что же это такое? — недоумевал Гильчевский. — Перед третьей дивизией, как и перед нашей, одна и та же река Пляшевка, — говорил он Протазанову, — почему же содействие должны оказывать мы ей, а не она нам, — не понимаю! Что же мне — в награду за победу на Икве становиться в подчиненное положение к начальнику третьей дивизии, который никаких, кажется, подвигов не совершил?

— Разумеется, Константин Лукич, надобно уточнить, в чем, собственно, дело, — согласился с ним Протазанов и вызвал к телефону начальника штаба корпуса.

Вопрос выяснился далеко не сразу, так как и в штабе корпуса он был еще не совсем ясен. А когда выяснился вполне, Протазанов, человек вообще сдержанный и к пафосу не склонный, обратился к своему начальнику с торжественным видом:

— Честь имею поздравить, ваше превосходительство! Командуемая вами дивизия признана в штабе Юзфронта ударной, а благодаря ей ударным становится весь тридцать второй корпус и прикомандирован к одиннадцатой армии для большей успешности ее действий.

— А-а, на гастроли, на гастроли, значит, нас, ополченскую дивизию, приглашают, вот оно что! — потер руки Гильчевский, прошелся взад и вперед по комнате и добавил: — «Дождались мы светлого мая!» — так пелось когда-то в детской песенке, но май-то уж вот-вот кончится, не сегодня-завтра, наступает июнь, лето... Эх, горячее лето ожидает нас с вами, дорогой мой герой, — горячее лето!

г. Куйбышев

Апрель — май 1942 года.

Воспоминания

МОЯ ПЕРЕПИСКА И ЗНАКОМСТВО С А. М. ГОРЬКИМ

Я начал печататься в толстых журналах с января 1902 года и печатался в «Русской мысли», «Мире божием», «Современном мире», «Образовании», «Новом пути», «Вопросах жизни», «Журнале для всех» и пр. Жил я в это время в провинции, где служил учителем в разных городах. Во время русско-японской войны, мобилизованный как прапорщик запаса, пробыл в нескольких полках почти полтора года.

Свои повести и рассказы я посылал обыкновенно туда, откуда получал предложение о присылке материала, причем до конца 1906 года ни разу не видел ни одной редакции, ни одного писателя.

Первый живой и говорящий писатель, которого я увидел, был А. Куприн, приехавший осенью 1906 года в Алушту, где я только построил свою писательскую мастерскую — небольшой дом на горе, в котором живу и работаю и по сей день.

Куприн убедил меня (уже бросившего в то время учительскую службу) приехать в Петербург, чтобы там, в издательстве, организованном при его журнале «Современный мир», выпустить свои произведения, которых набралось уже на три тома.

В Петербурге я познакомился с некоторыми редакциями, печатавшими меня несколько лет, и с некоторыми писателями, правда, весьма немногими, как Л. Андреев, М. Арцыбашев, Ф. Сологуб, — Горького же в то время не было не только в Петербурге, даже в России: после Московского восстания в 1905 году он, как известно, уехал за границу.

Между тем из всех подвизавшихся тогда в русской литературе художников слова он был единственным искренне и глубоко мною любимым еще с 1895 года, когда я прочитал в «Русском богатстве» его «Челкаша».

Не сходясь близко ни с кем из писателей, не вступая ни в одну из литературных группировок, появляясь и тогда в столицах, но на весьма короткие сроки, я продолжал жить совершенно одиноко и обособленно, если не у себя в мастерской, то путешествуя по России, забираясь в самые отдаленные и глухие углы.

Как относится ко мне, писателю, Ал. Макс., я не знал. Но однажды (это было уже в 1912 году) я получил от знакомого мне литератора Недолина (С. А. Поперека, когда-то издававшего в Москве журнал «Лебедь») такое письмо:

«28.9.12

Дорогой Сергей Николаевич!

Я только что получил письмо от Горького, которому недавно писал об одном дельце и, кстати, о свиданиях и беседах с Вами.

Вот строки его письма, относящиеся к Вам:

«О Ценском судите правильно: это очень большой писатель; самое крупное, интересное и надежное лицо во всей современной литературе. Эскизы, которые он ныне пишет, — к большой картине, и дай бог, чтобы он взялся за нее! Я читаю его с огромным наслаждением, следя за всем, что он пишет. Передайте ему, пожалуйста, мой сердечный, глубокий поклон».

Вполне естественно было бы мне, получив этот привет любимого и высоко ценимого мною, как и всею тогдашней Россией, великого писателя, на него отозваться. Простая общепринятая житейская вежливость и та требовала такого с моей стороны шага. И все-таки я этого шага не сделал. Почему? Мне очень трудно объяснить это так, чтобы меня поняли читатели, но я попытаюсь это сделать в нескольких словах.

Одиноко, издали, но вполне самостоятельно и без чьего-либо рукоположения и помазания вступивший в художественную литературу, я к концу 1912 года, после появления «Движений», «Медвежонок» и прочих своих вещей, был слишком превознесен критикой, посвящавшей мне длинные статьи в журналах, и в этом превознесении было

много для меня неприятного. Я просто не создан для известности, как Евгений Онегин «для блаженства». Вместе с Ильей Ильичом Обломовым я готов повторять: «Трогает жизнь,— везде достает!» — когда наталкиваюсь печально на статью о себе: без этих статей я чувствую себя гораздо спокойнее и лучше. А отзыв Горького, включающий такое определение, как «самое крупное, интересное и надежное лицо во всей современной литературе», способен был обеспокоить не только меня, но и кого угодно: шуточное ли дело оплатить такой вексель?

Первые письма от Ал. Макс. я получил уже в 1916 году, когда я, мобилизованный в самом начале мировой войны, был, наконец, выпущен в отставку.

Я вновь поселился в своей мастерской в Алуште, но никак не мог заставить себя взяться за перо. Эта ужаснейшая и преступнейшая из войн не только опрокинула во мне с детства возвращенную любовь к культуре и уважение к ней, она меня совершенно опустошила! По-прежнему одиноко живший, иногда месяцами не говоривший ни с кем, я надолго замолчал и как писатель. Участие в каких-то журналах и альманахах, которые не способны ни в какой степени остановить, прекратить неслыханную и омерзительную бойню, мне казалось тогда полнейшей чепухой, игрой двухлетних младенцев.

Но столицы, которых я по-прежнему чуждался, продолжали жить привычной жизнью. Журналы и альманахи издавались. Ко мне обращались с предложениями участвовать в них. Я отказывался.

На письма Ал. Макс. я ответил также отказом; помню только, что я тщательно собирал все доводы, чтобы мотивировать свой отказ.

В первом из своих писем я упомянул и о вышеприведенном приветии его, переданном мне Недолиным, и о некоторых других подобных же знаках его внимания ко мне, передававшихся устно и письменно через писателей, навещавших его на Капри (например, И. Сургучевым и др.).

Не помню, что это был за сборник, участвовать в котором приглашал меня Горький в своем первом письме. Это письмо не сохранилось в моем архиве. Кажется, оно было циркулярного типа, отпечатано на машинке и только подписано Горьким.

Мои мотивы отказа сводились в общем к тому, что

война совершенно убила во мне художника. Вот ответ А. М. на это первое мое письмо:

«Грустно, что Вы, уважаемый Сергей Николаевич, не можете сотрудничать в сборнике, но — я очень обрадован тоном Вашего письма, и мне приятно узнать, что Вы осведомлены о глубоком интересе, который возбуждал и возбуждает в моей душе Ваш талант.

Я начал читать Ваши вещи еще тогда, когда они печатались в «Вопросах жизни» или «Новом пути», — забыл, как назывался этот журнал.

И меня всегда восхищало то упрямство, то бесстрашие, с которым Вы так хорошо — и, вероятно, очень одиноко — идете избранной дорогой. Я очень уважаю Вас.

Будьте здоровы. Сердечно желаю Вам всего хорошего.

15.II.16

А. Пешков

Кронверкский, 23.

Письмо написано наскоро и потому — нелепо, но Вы извините мне это¹.

Вскоре, однако, я получил приглашение его участвовать в «Летописи» и литературных сборниках издательства «Парус»:

«Уважаемый Сергей Николаевич!

Не пожелаете ли Вы сотрудничать в журнале «Летопись»? Если это приемлемо для Вас, — может быть, Вы найдете возможным прислать рассказ для январской книги? Редакция и я, Ваш почитатель, были бы очень благодарны Вам.

Извещаю Вас также, что книгоиздательство «Парус» предполагает издание литературных сборников и что, если б Вы согласились участвовать в них, это было б очень хорошо.

«Парус» ставит целью поднять интерес читателей к серьезной литературе.

От себя лично скажу, что был бы очень счастлив работать рядом с Вами.

Будьте здоровы и желаю всего доброго!

А. Пешков

Кронверкский проспект, 23».

¹ Письмо написано из Петрограда в январе 1917 г. (Прим. С. И. Сергеева-Цескского).

Продолжая в те годы держаться мнения, что «когда говорят пушки, должны молчать музы», — тем более что из-за свирепости тогдашней цензуры писать правдиво на мотивы войны или взять резко антивоенный тон было совершенно невозможно, — а больше ни о чем думать я не мог, — я ответил, что едва ли что-нибудь пришло.

На это А. М. отозвался так:

«Огорчен Вашим письмом, Сергей Николаевич, очень огорчен!

Так горячо хотелось привлечь Вас к работе в «Летописи», но — что же делать? Может быть, я понимаю Ваше настроение и, конечно, не решусь спорить с ним. Скажу только, что никогда еще живое слово талантливого человека не было так пужно, как теперь, в эти тяжелые дни всеобщего одичания.

Будьте здоровы, желаю всего доброго!

Журнал выслан Вам.

«Парус» — дело не очень коммерческое, это попытка моя и двух моих товарищей учредить широкое демократическое книгоиздательство.

Позвольте высылать Вам наши издания?

Сердечный привет!

А. Пешков».

Когда ликвидирована была авантюра Врагеля и Крым окончательно был занят Красной Армией, явилась возможность письменных сношений с Москвой и Петроградом. В начале 21-го года я обратился к Ал. Макс. уже сам с обстоятельным письмом. В этом письме я просил его информировать меня по поводу вопросов, связанных с тогдашним положением литературы, с возможностями печатания беллетристики в журналах и выпуска книг в издательствах. В Крыму в то время было катастрофически голодно. Всего только за четыре пуда муки я продавал тогда свою дачу, но и эта цена всем казалась неслыханно «рваческой». Состоятельные татары, к которым я обращался, говорили мне на это: «Це-це — ка-кой человек хитрый!.. Слыхали мы, был такой один — Лев Толстой, — о-очень хитрый! А ты, — так думаем, — еще хитрей Лев Толстой будешь!» — и кивали укоризненно головами.

Так никто и не купил моей дачи даже за четыре пуда муки!.. Между тем какой-то присяжный петроградец указал мне как выход из безнадежного положения — ехать в

Петроград. Об этом я написал Горькому. Недели через три я получил бумажку такого содержания:

«Уважаемые товарищи!

Очень прошу Вас помочь известнейшему литератору Сергею Николаевичу Сергееву-Ценскому выехать в Петроград, где он необходим для литературной работы в Компресе.

Буду крайне благодарен, если переезд Ценского Вы по возможности ускорите и облегчите.

Привет.

М. Горький

Москва
6/II-21».

Бумажкой этой воспользоваться мне не пришлось.

Я ответил, что переезд очень труден, так что я от этого предприятия отказываюсь и остаюсь на месте в Алуште. А через некоторое время Горький выехал за границу, ввиду расстроенного здоровья.

Следующее письмо я получил уже из Германии, из Фрейбурга:

«Думаю, Сергей Николаевич, что [...] Вам бы приехать сюда хоть на краткое время, для того чтоб издать здесь свои книги и тем самым закрепить за собою право собственности на них для Европы. Ибо: изданные в России книги русских авторов здесь становятся достоянием переводчиков, ведь литературной конвенции между Россией — Германией нет; немцы только что подняли вопрос о ней, и ныне издатели стараются напереводить русских книг возможно больше, дабы не платить авторам гонораров.

Платят немцы действительно дешево, но доллар стоит ныне около 100 тысяч марок, а книги издаются здесь в расчете на продажу в Англию, в Америку.

Прочитал Ваше «Чудо», очень хорошая вещь! Буду уговаривать американцев перевести ее, тогда Вы получите кое-что.

Марсианское сочинение написано Толстым не «по нужде», а по силе увлечения «фабульным» романом, сенсационностью; сейчас в Европах очень увлекаются этим делом. Быт, психология — надоели. К русскому быту — другое отношение, он — захватывает. Чудно живет большой народ этот, русские!

А у меня туберкулез разыгрался, и я теперь живу в

Шварцвальде, около Фрейбурга, в горной щели. Под окном немцы сено косят, и английский мопс мечется в отчаянии — хочет полевых мышей ловить, а — не может, морда тупа. Чтобы мышь поймать, нужно собаке острый шипец. Проживу здесь месяца полтора, потом снова в Берлин. Очень хочется увидеть Вас. Кстати: Вы бы прислали рассказ листа в два-три для «Беседы»? Вышел 1-й № этого журнала, хвалят. Посылайте по адресу: Берлин. Kurfürstenstrasse, 79, «Книга» [...] для меня.

Вашу книгу еще не получил; спасибо Вам за то, что послали. Да, — «Беседа» политикой не промышляет, никаких политических статей не печатает. Только положительные науки, история литературы, поэзия и беллетристика. 25 листов в два месяца, с осени сделаем журнал ежемесячником. Работать здесь хорошо.

Бросьте-ка Вы коров Ваших, приезжайте и печатайтесь. Никогда еще русская литература не была столь нужной, как ныне, поверьте!

Всего доброго!

А. Пешков.

До августа мой адрес: Freiburg, Pansion «Kuburg».

Тем временем я послал Горькому только что выпущенный Крымиздатом мой роман «Валя», 1-ю часть эпопеи «Преображение», и получил от него в ответ следующее письмо:

«Прочитал «Преображение», обрадован, взволнован, — очень хорошую книгу написали Вы, С. Н., очень! Властно берет за душу и возмущает разум, как все хорошее, настоящее русское. На меня оно всегда так действует: сердце до слез радо, ликует: ой, как это хорошо и до чего наше, русское, мое! А разум сердится, свирепо кричит: да ведь это же бесформенная путаница слепых чувств, пеленейшее убожество, с этим жить — нельзя, не создашь никакого «прогресса»! И — начинается бесплодное борешие двух непримиримых отношений к России: не то она несчастная жертва истории, данная миру для жестоких опытов, как собака мудрейшему ученому Ивану Павлову, не то Русь сама себя научает тому, как надо жить, чтоб каждая минута бытия казалась великим событием, чтоб каждое мгновение было насыщено каким-то русским смыслом, неудовимым для слова, таинственным.

У Вас в книге каждая страница и даже фраза именно

таковы: насыщены как будто даже и чрезмерно, через край, и содержимое их переплескивается в душу читателя влагой едкой, жестоко волнующей. Читаешь, как будто музыку слушая, восхищаешься лирической, многокрасочной живописью Вашей, и поднимается в душе, в памяти ее, нечто очень большое высокой горячей волной.

В прошлом я очень внимательно читал Ваши книги, кажется, хорошо чувствовал честную и смелую напряженность Ваших исканий формы, но — не могу сказать, чтобы В. слово целиком доходило до меня, многого не понимал и кое-что сердило, казалось нарочитым эпатажем. А в этой книге, неоконченной, требующей пяти книг продолжения, но как будто на дудочке сыгранной, Вы встали передо мною, читателем, большущим русским художником, властелином словесных тайн, пронзительным духовидцем и живописцем пейзажа, — живописцем, каких ныне нет у нас. Пейзаж Ваш — великолепнейшая новость в русской литературе. Я могу сказать это, ибо места, Вами рисуемые, хорошо видел. Вероятно, умники и «краснощечки» скажут Вам: «Это — пансихизм». Не верьте, это просто настоящее, подлиннейшее искусство.

Сцена объяснения Алексея с Ильей — исключительная сцена, ничего подобного не знаю в литературе русской по глубине и простоте правды. «Краснощечкий» Илья написан физически ощутимо. И Павлик незабвенно хорош, настоящий русский мальчик подвига, и Наташа — прекрасна, и от церкви до балагана — характернейшая траектория полета русской души. Все хорошо. А павлин, которого Ал[ексей] видит по дороге в Симферополь, это, знаете, такая удивительная птица, что я даже смеялся от радости, когда читал о ней, — один сидел и смеялся. Чудесно. И вообще — много чудесного в славной этой и глубоко русской книге.

Хвалить Вас я могу долго, но боюсь надоест. В искренность же моих похвал — верьте, ведь мне от вас ничего не надо, надо мне одно: поделиться с Вами радостью, Вами же и данной мне. «Твоим же добром да тебе же челом», или «твоя от твоих тебе приносяще».

Вы, пожалуй, не можете представить себе, до чего это хорошо, что вдруг из российской сумятицы высунулась Ваша голова и внимательно, с любовной тревогой смотрит на нашу жизнь хорошо зрячими глазами [...]

Еще: отсюда, издали, Русь лучше видишь и больше

понимаешь. Вот почему я, наверное, оценю Вашу книгу правильнее, чем другие. Отсюда видишь, что Русь, при всей душевной спутанности своей, чувствует жизнь острее, шире, а к издевкам ее относится более человечески обидчиво, чем, например, немец. Может быть, и бестолковые, но мы более бесстрашно пытаемся развязать тугие узлы и петли загадок бытия.

Будете Вы писать книгу дальше? Это совершенно необходимо. Начало обязывает Вас продолжать эпопею эту до размеров «Войны и мира». Желаю Вам бодрости, крепко жму руку. Вы очень большой писатель, очень, не знаю, надо ли говорить Вам это, но хочется, чтоб Вы о том твердо знали.

А. Пешков.

Freiburg. Günterstal. Hotel «Kyburg» — до августа.

Благодаря заботам А. М. 1-я часть «Преображения» была переведена на английский язык и устроена для издания в одном из нью-йоркских издательств, причем А. М. сам написал предисловие к этому переводу в конце 1924 года. В связи с этим я получил от А. М. такое письмо:

«Уважаемый Сергей Николаевич, английский перевод Вашей книги еще не вышел, выйдет в начале июня, получив — пришлю Вам экземпляр немедля. Если Вы хотите, можно поставить вопрос об издании в Америке, — на английском языке, конечно, — второй, третьей и четвертой части «Преображения» с условием, что половину гонорара издатель платит авансом, — половиною или две трети.

Переводчики здесь — 13-я казнь египетская. Их — легионы. К вам, вероятно, обратится Кассирер — немецкий издатель; это — жох, торгуйтесь упрямо!

Как жаль, что Вы не можете приехать сюда отдохнуть. Всего доброго.

А. Пешков.

15/V-25 г.

Книгу получил, спасибо! Крымиздат тоже прислал два экземпляра. Это — для критиков. Один из них — А. Кауи — проф. Калифорнии — написал... толстую книгу о Л. Андрееве. Собирается писать о Вас. То же хочет сделать Лютер, немец.

Будьте здоровы. А. П.»

Вот предисловие к переводам на французский и английский языки, написанное в конце 1924 года (привожу это предисловие не полностью, а в тех отрывках, которые были помещены в свое время в «Красной газете» К. Чуковским в его переводе с английского):

«Сергеев-Ценский начал писать около 20 лет назад. Его ранние рассказы привлекли внимание критиков и читателей оригинальностью стиля и выбором сюжетов. Внимание было острое, но недоверчивое и даже, пожалуй, враждебное... Люди, которые читают книги лишь затем, чтобы развлечься и хоть на время забыть свою скучную жизнь, инстинктивно почуяли, что этот писатель не для них: он был слишком серьезен [...] Для тех, кто считает искусство орудием исследования жизни, стиль нового писателя был слишком затейлив, перегружен образами и откровениями, не всегда достаточно понятными. Критики ворчали. Они не знали, в какую рубрику поместить Сергеева-Ценского — в рубрику романтиков или реалистов...»

«Ценский писал медленно, скупо. Каждый его новый рассказ был написан в другой манере, не похожей на манеру предыдущего рассказа. Было видно, что он отчаянно ищет формы, которая могла бы удовлетворить его».

«Пораженные необычайностью формы, критики и читатели не заметили глубокого содержания произведений Сергеева-Ценского. Лишь когда появилась его «Печаль полей», они поняли, как велико его дарование и как значительны темы, о которых он пишет».

«По моему мнению, — говорит М. Горький, — «Преображение» Ценского есть величайшая книга из всех вышедших в России за последние 24 года. Написана она прекрасным, самобытным, живым языком. Она гармонична, как симфония, проникнутая мудрой любовью и жалостью к людям. Написав эту книгу, Ценский встал рядом с великими художниками старой русской литературы».

В ответ на мое письмо, посвященное этому предисловию, я получил от А. М. следующее письмо:

«Нет, Сергей Николаевич, предисловие к Вашей книге я писал, разумеется, не «из любезности», и по чувству искреннейшего восхищения пред Вами, художником; и по убеждению моему: сейчас на Руси трое «первоклассных» литераторов: Вы, Михаил Пришвин и Алексей Чаягин».

чей роман изумляет и радует меня не потому, конечно, что герой его — Разин. Кроме этих троих, есть еще Горький, но этот будет послабее, и — значительно. Так думать о себе понуждает меня отнюдь не «ложная» скромность, а — самосознание и сознание, что быть четвертым в конце этого ряда вполне достойное место.

«Жестокость», «Коняева» и еще отрывок из «Преображения» «Бабы» — я уже читал. «Жестокость» не очень понравилась мне, «Коняев» — очень хорошо, а «Бабы» — сверкающая вещь. Удивительно солнечно можете Вы писать! И, несмотря на мягкость, на лиричность тонов, удивительно пластично [...]

Вы не предлагали «Преображения» «Кругу»? В нем редактором Александр Николаевич Тихонов, человек грамотный литературно и со вкусом. Это старый мой приятель, мы вместе работали в «Летописи», во «Всемирной литературе» и т. д.

Вот что: не пожелаете ли Вы прислать рукописи «Преображения» для перевода на европейские языки? Это да-ло бы Вам кое-какой заработок, думаю — немалый. Если согласитесь, пошлите рукописи по адресу: Москва, Екатеринине Павловне Пешковой, Чистые Пруды, Машков переулок, 1, 16.

Она перешлет мне их без риска утраты на почте. Кроме заработка, Вы получили бы и моральное удовлетворение, не так ли? Слышал, что «Преображение» переводится на французский неким Владимиром Познером, поэтом; не уверен еще, что это так. И будет грустно, если так: де Граммон перевел бы лучше.

В Америке книга идет неплохо, рецензии скоро получите. Денег американец еще не прислал на том основании, что, дескать, пока не окупилась еще плата переводчику. Получив деньги, вышлю Вам через Пешкову.

Будьте здоровы, дорогой С. Н. Крепко жму руку и всего доброго [...]

А. Пешков

3-ХП-26

Сорренто».

Забывая о том, чтобы я мог что-нибудь «заработать» с иностранцев за право перевода, А. М. сообщил мне свои соображения на этот счет:

«Дорогой Сергей Николаевич!

Информированы Вы неверно: Вы посылаете рукопись за границу для перевода на иностранные языки, а не для издания на русском, и делайте это ради того, чтобы закрепить за собой в Европе авторские права.

Американцы, вероятно, пришлют деньги в январе или в начале февраля, рецензии еще не прислали [...]

Пришлите пьесу — буду очень благодарен. Как это странно и приятно: Вы написали о Лермонтове. Вас. Каменский тоже что-то пишет о нем, недавно читал чей-то эскиз о Полежаеве. О. Форш хорошо изобразила Гоголя и Иванова. Тынянов — Кюхельбекера и К-о. Интереснейшее явление. И все пишут с такой любовью, так хорошо.

Простите, письмо бессвязно, чувствую. Я — болен. 8 дней лежал, капиллярный бронхит, опасались воспаления легких, а это, вероятно, был бы уже конец бытия моего. К переселению в потусторонние местности я отношусь спокойно, ибо очень устал, а все же умирать не хочется раньше, чем допишу роман. Крепко жму руку.

8. I-27.

А. Пешков

Следующее письмо на ту же тему о переводах, о рецензиях на перевод 1-й части «Преображения» и о желании поскорее прочитать 2-ю часть:

«Вот, Сергей Николаевич, одна из двух рецензий, полученных мною; вторую я принужден вернуть в Берлин по силе какой-то путаницы в бюро вырезок. На днях бюро возвратит мне ее, и я вышлю Вам вместе с другими, которые тоже, вероятно, будут присланы вместе с ней. Как видите — рецензенты ждут продолжения романа.

Французский перевод выйдет весной — кажется, в марте.

Очень хочется прочитать второй том «Преображения», — как обстоит дело с изданием его?

А прежние книги Ваши не думаете переиздать? Сейчас сильно развивает деятельность «Прибой», во главе коего стоит знакомый и Ваш однофамилец Сергеев, человек культурный. Не хотите ли, я предложу ему издать собрание сочинений Ваших? М. М. Пришвин выпускает такое, пора и Вам. Давно пора.

Будьте здоровы. Крепко жму руку.

А. Пешков

18. I. 27

Сорренто.

По адресу, данному мне А. М., я послал в Москву Е. П. Пешковой вторую часть «Преображения» и пьесу о Лермонтове «Поэт и чернь», о чем написал в Сорренто. А. М. ответил:

«Дорогой Сергей Николаевич — Ек. Пав. не писала мне неделю пять, но в конце сего месяца она приедет сюда и, конечно, привезет рукописи.

О необходимости издать полное собрание сочинений Ваших я Ленгизу писал; сожалею, что они опоздали предложить Вам это. Там, в Ленгизе, работают хорошие книголюбы и вообще славные ребята. Пришвин издается там в шести томах. «Мысль» знаю лишь по изданным ею книжкам Анри де Ренье и не знал, что ею издается русская литература.

Из Америки еще ничего не получалось. Они, американцы, вообще не торопятся в сношениях с нами, «сумасшедшим народом», дух коего «заражает» их «высоколобых», как утверждают ихние «низколобые» — авторы «обезьяньего процесса» и прочих идиотизмов.

«Как в Сорренто?» — спрашиваете Вы. Здесь март — «razzo», безумный. Дует ветер, хлещет дождь, затем из туч выскакивает солнце, от земли вздымается пахучий пар, а через час — снова дождь, вой, свист, по заливу гудят сумасбродные волны, бухают в берег, и вспоминается Гончаров на фрегате «Паллада». А уж миндаль отцвел, зацветают абрикосы, персики, дрок цветет, везде по горе фиалки, маргаритки, цикламены. «Воздух напоен ароматом», — черт бы его взял, потому что у меня астма, и я от ароматов задыхаюсь.

Живу в Sorrento, а в минутах пятнадцати — пешком — от него, в совершенно изолированном доме герцога — знай наших! — Серра Каприола. Один из предков его был послом у нас при Александре I, женился на княгине Виземской, и в крови моего домохозяина есть какая-то капелька безалаберной русской крови. Забавный старикан. И он и две дочери его, девицы, которым пора бы замуж, живут с нами в тесной дружбе и как хозяйева — идеальны: все у них разваливается, все непрерывно чинится и тотчас же снова разваливается. Герцог мечтает завести бизонов, а здесь — корону пегде пасти, силонь виноградники, апельсины, лимоны и прочие плоды. Красиво здесь: не так олеографично, как в Крыму, не так сурово, как на Кав-

казе, т. е. в Черноморье; а как-то иначе и — неопишимо. Торквато Тассо — соррентинец, его здесь очень понимаешь.

Не попадет ли в руки Вам книга «Республика Шкид» — прочитайте! «Шкид» — «Школа имени Достоевского для трудновоспитуемых» — в Петербурге. Авторы книги — воспитанники этой школы, бывшие воришки, одному — 18, другому — 19 лет. Но это — не вундеркинды, а удивительные ребята, сумевшие написать преоригинальную книгу, живую, веселую, жуткую. Фигуру заведующего школой они изобразили монументально. Не преувеличиваю.

Всего доброго, будьте здоровы.

А. Пешков.

Писал я и Тихонову в «Круг» — почему не издают Вас?»

Вторая часть «Преображения» — роман «Обреченные на гибель» — и пьеса о Лермонтове, посланные мною из Алушты в Москву Ек. Пав. Пешковой, были привезены ею в Сорренто в конце марта 27 г., как и ожидал А. М.

Вот его письмо по прочтении этих рукописей:

«Вчера Ек. Павловна привезла Ваши рукописи, — я тотчас же послал Вам телеграмму об этом. Был день рождения моего, гости, цветы и все, что полагается, а я затворился у себя в комнате, с утра до вечера читал «Преображение» и чуть не ревел от радости, что Вы такой большой, насквозь русский, и от жалости к людям, коих Вы так чудесно изобразили. Монументален у Вас старик Сыромолотов. Вы Мясоедова¹ знали? Есть как будто нечто похожее (а известно ли Вам, что сын Мясоедова уличен был в подделке английских фунтов, осужден и сидит в тюрьме у немцев?). Не разрешите ли сказать, что Иртышев освещен Вами, пожалуй, несколько излишне субъективно? Вы придали ему нечто смердяковское, чем всегда грешили и грешат писатели, настроенные антисоциалистически, но что Вам, художнику духовно свободному, как-то не идет. Вы мне извините это замечание?

«Преображение» немедленно начнут переводить и, вместе с тем, искать нового издателя, ибо издатель первого тома, кажется, разорился или притворяется, что разорил-

¹ Имеется в виду художник Мясоедов, передвижник. Его я не знал. — С. П.

ся, и так и эдак — дело обычное для американских издателей, даже когда они «высоколобые». Ох, если бы Вы знали, какой это жуткий народ, американцы сего дня! Люди, которые не токмо не стыдятся невежества своего, но еще умеют и гордиться им. Мы, дескать, «здоровые» люди.

Предлагали Вы пьесу Вашу Худож. театру? Или какому-либо другому? Сообщите. Здесь такая пьеса не пойдет. Здесь ставят «Анфису», «Дни нашей жизни» Андреева, «Ревность» Арцыбашева и какую-то незнакомую мне пьесу Винниченко. Театра здесь, в нашем русском виде, — нет, а есть хорошие актеры и актрисы, при них — труппы, более или менее бездарные. Драматургии — тоже нет. Роберто Бракко не ставят, ибо он — не фашист. Сем Бенелли — отыгран, старика Пиранделло хватило на два года, оказался слишком серьезен для мелкого мещанства, которое правит странюю, деятельно понижая ее культуру и все более укрепляясь [...]

Пьеса показала мне слишком «бытовой». Лермонтов засорен, запылен в пей, и явление «Демона» недостаточно освещает его. А впрочем, я плохо понимаю пьесы, хотя и писал их.

В начале 90-х годов я встречал у патрона моего, Ланина, жалкенького человечка, который, протягивая незнакомым эдакую бескостную, мокренькую ручонку, именовал себя: «Мартынов, сын убийцы Лермонтова». Он не казался мне человеком, страдающим за грехи отца, а наоборот, как бы подчеркивающим некую свою значительность.

Пьеса все-таки очень хорошая. Очень печальная. Как это значительно: Тынянов написал роман о Кюхельбекере, пишет о Грибоедове, О. Форш написала о Гоголе, Иванове, Огнев пишет роман о Полежаеве и т. д. Теперь Вы дали Лермонтова.

Пьесу необходимо поставить. Что сделано Вами для этого? Не могу ли я тут чем-нибудь помочь?

Крепко жму руку Вашу, Сергей Николаевич, желаю всего доброго.

А. Пешков

28.III.27
Sor[rento].

Конечно, «Республику Шкид» я достал и прочитал и в письме к А. М., насколько помню (копий своих писем я,

разумеется, не делал), я сомневался в том, что в лице авторов этой книги — Белых и Пантелеева — литература наша обогатилась двумя крупными талантами. Между прочим, я указывал на мелькнувшего и угасшего в начале своей литературной карьеры автора «Новой бурсы» — Л. Добронравова, почему о нем и упоминает А. М. в своем ответном письме:

«Дорогой Сергей Николаевич —

автор «Новой бурсы» Леонид Добронравов человек бесталанный и неумный, умер осенью в Париже. Мне кажется, что один из «шкидцев», Леонид Пантелеев, — парень талантливый. Ему сейчас 20 лет, он очень скромн, серьезен, довольно хорошо знает русскую литературу, упорно учится. «Пинкертоновщина» ему чужда. Мне думается, что среди молодежи есть немало таких, которые не поддаются «американизации». напр., Малашкин [...] — можно насчитать десятков и больше.

Разве из того, что я сказал о Вашем Лермонтове, можно понять, что я его считаю «серым»? Читая пьесу, я этого не чувствовал, он достаточно ярок на фоне очень резко очерченных Вами фигур, его окружающих. Но мне кажется, что человек, который написал «Мцыри» и «Ночевала тучка золотая», был острее, непримиримей. Впрочем, я мало читал о Лермонтове, сужу о нем по стихам, по «Герою». А к правде у меня отношение того визиря, который «рассказал о рае, преувеличивая его действительную красоту».

Второй том В. книги издаст, вероятно, лицо, которому переходит все дело издателя первого тома. В конце месяца будем знать об этом точно.

Сегодня — первый день Пасхи и — какой день, дорогой С. Н.! Цветет ромашка, — здесь она кустарник, — герань, розы, японский клен, мимоза, зацвел дрок, цветет глициния, незабудки и еще какие-то неведомые мне деревья, кустарнички. Перец тоже зацвел. Вчера был хороший дождь, и это очень разбудило все, после нескольких сухих жарких дней. По саду ходит моя отчаянная внука Марфа Прокавица и кокетничает с сыном Ивана Вольного — есть такой литератор — мальчиком 12-ти лет. Он родился на Капри, живет в Неаполе, по-русски почти не говорит, учится в школе, признан «королем латыни», переводится из класса в класс без экзаменов «в пример дру-

гим». А отец его орловский, Малоархангельского уезда, мужик. Вообще здесь, в Европах, русские дети в чести и вызывают общее изумление педагогов своей талантливостью.

Взрослые изумляют своей безалаберностью иностранцев, и совершенно болезненной злостью меня. Злостью и тем еще, что невероятно быстро забывают русскую грамоту, язык и вообще теряют память. Такие «опечатки», как «Гулливер» Дефо — весьма обычная вещь. А в передовицах «Руля» Вы встречаете слова «дерьмо», «сволочь», «мерзавцы» и т. д. В передовых! Скучно это и стыдно за людей. Сейчас в Праге скандал: эсеры окончательно захватили в свои руки «Земгор», вероятно — чехи ответят на это новым сокращением субсидий и количество голодных среди иммигрантов — возрастет.

Всего доброго.

А. Пешков

17. IV. 27».

Того же периода забот А. М. о судьбе перевода «Преображения» в Америке еще одно письмо, примечательное, между прочим, тем, что в нем вторично жалуется он на состояние своего здоровья:

«Прилагаю еще две рецензии, Сергей Николаевич, слышал, что их — много, и не могу понять, почему бюро посылает через час по две капли. Книга, очевидно, хорошо идет; мне говорили, что это констатируется одной рецензией, которая заключена словами: «Нам приятно отметить, что в Америке начинают читать настоящую литературу». О втором томе еще не имею сведений, ибо Гест неожиданно проехал в Москву и — будет здесь лишь в конце м-ца, в начале июня.

Простите, что пишу кратко, — не работает голова и руки трясутся, — ночью был адский припадок астмы. А кроме того, — тороплюсь: хочу съездить в Помпею, там, в амфитеатре, будут играть Аристофана, кажется. Устал я, как мужицкая лошадь. И — жарко. Вот уже двадцать третий день нет дождя.

Крепко жму руку.

А. Пешков

15. V. 27».

«Любопытную вещь рассказала американка-журналистка: ее соотечественники в страсти своей к анкетам не-

давно опубликовали в одном из дамских журналов статью по поводу ответов женщины на анкету, которая ставила ряд вопросов об интимных подробностях половой жизни женщины. Вопросы, вследствие их неудобосказуемости, не были опубликованы. Но надо думать, что В. В. Розанов был бы сладостно обрадован ими. Из ответов же явствует, что американки — в большинстве подавляющем — относятся к половой жизни отрицательно и даже — враждебно, рассматривая необходимость ее как грех — как «блуд», по взглядам нашей церкви — как дьявольское дело. Насколько здесь пуританского лицемерия и как много подлинной, искренней усталости европейских и американских женщин — трудно судить, а все-таки мне кажется, что это один из признаков возникающего среди женщин гинекократического настроения, ибо — обанкротился мужчина и уже не в силах устроить подруге своей спокойную, уютную жизнь, в чем она нуждается более, чем он. Вот какие дела.

Всего доброго!

А. П.».

Любопытно письмо, явившееся ответом на мое, в котором я сравнивал А. М. с Львом Толстым, отмечая, что, в противоположность Толстому, он не стареет:

«Дорогой Сергей Николаевич — точно ли известно Вам, что книги Ваши «не появятся»? Я слышал, что Госиздат хочет «перекупить» их у «Мысли», дабы издать самому, как он издает Пришвина и еще кого-то. Может быть, Вы мне разрешите узнать, что там делается с Вашими книгами?

Мой роман, пожалуй, будет «хроникой» и будет интересен фактически, но если скажут, что его писал не художник, — сие приму как заслуженное. Вы отметили, что я «не старею». Это — плохо. Я думаю, что принадлежу к типу людей, которым необходимо стареть.

Мне кажутся неверными Ваши слова, что Л. Н. Толстой «внезапно постарел», я думаю, что он родился с разумом старика, с туповатым и тяжелым разумом, который был до смешного и до ужасного ничтожен сравнительно с его чудовищным талантом. Толстой рано почувствовал трагическое несоответствие этих двух своих качеств, и вот почему он не любил разум, всю жизнь поносил его и боролся с ним. Проповедником он стал именно от разума, отсюда — холод и бездарность его проповеди.

Художник был «схвачен за глотку» именно разумом, как об этом свидетельствуют письма и дневники Л. Н. 40—50-х годов. В 55 г. он уже решил «посвятить всю свою жизнь основанию новой религии», только что написав «Казаков» и ряд прекрасных вещей. Его «новая религия» суть не что иное, как отчаянная и совершенно неудачная попытка рационалиста, склонного к мизантропии, освободиться от рационализма, который был узок, стеснял его талант. Все, что до сего дня писалось о Толстом, писалось глупо и неверно, потому что писалось слишком *вблизи*, а ведь огромное здание *вблизи* не видно целиком, детали видно только. Пушкина начали видеть спустя 70 лет после его смерти, 20 лет изумленно рассматривают, а он все еще не весь. Толстой, конечно, меньше Пушкина, но тоже — огромен, и не скоро удастся разглядеть его. Он изумительно закончил фигурой и работой своей целую эпоху нашей истории.

Жалуетесь, что «проповедники хватают за горло художников»?¹ Дорогой С. Н., это ведь всегда было. Мир этот — не для художников, им всегда было тесно и неловко в нем — тем почтеннее и героичней их роль.

Очень хорошо сказал один казанский татарин-поэт, умирая от голода и чахотки: «Из железной клетки мира улетает, улетает юная душа моя».

В повторении — «улетает» — я слышу радость. Но лично я, разумеется, предпочитаю радость жить, — *страшно* интересно это — жить.

Ну, а жара здесь — не хуже Вашей, дождей — ни одного с мая! Великолепный будет виноград. Будьте здоровы, дорогой С. Н.!

А. Пешков

15.VII.27».

По-видимому, я писал А. М. в ответном на это письме, что в ленинградском частном издательстве «Мысль» выходит несколько моих старых книг, потому что об этом упоминается в начале следующего письма А. М.:

¹ Это место требует, как мне кажется, пояснения. У меня в письме говорилось о Льве Толстом и Гоголе, которые раскололись на художников и проповедников (религиозных), причем «проповедники в них хватали за горло художников» (подлинные слова моего письма), и это рассматривали «как печальнейший факт в истории русской литературы после насильственных смертей Пушкина и Державина». — С. Н.

«Очень обрадован тем, что книги Ваши, наконец, выходят, дорогой Сергей Николаевич. Предвкушаю наслаждение перечитать еще раз «Печаль полей», вещь, любимую мною. Да и все Ваши книги очень дороги мне; меньше других «Наклонная Елена», хотя я так давно читал ее, что плохо помню. И, кажется, небрежно читал. Посылаю Вам берлинское издание «Сорока лет». Хотя Вы и похвалили отрывки этой хроники, но в целом она, я думаю, не понравится Вам. В сущности, это книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле, и еще по какому-то мотиву, неясному мне, пожалуй. Вероятно, «неясность» эта плохо отразится на книге. Ну, ладно!

Хорошо написали Вы о Толстом и о «нас — художниках». Верно. Хотя кнут Христов — в некотором противоречии с *сердцем* Вашей грустной мысли.

Заметили Вы «Разгром» Фадеева? Неплохо. Интересны Андрей Платонов, Сергей Заяицкий и Олеша, автор повести «Зависть», начало которой напечатано в последней книге «Кр[асной] нови». Очень люблю я наблюдать, как растет молодежь, и очень тревожно за нее, конечно.

Тучи, которые поплыли от Вас «в сторону Сорренто», я видел на горизонте, но толку от них — никакого! Одинадцать часов вечера, а я сижу при открытых дверях на восток, запад, север и — весь в поту. Цикады дребезжат, луница торчит в небе над горой, осел ревет в тоске по воде, должно быть. Вода в цистернах иссякает. Нехорошо. Старожилы, конечно, говорят, что такого лета они не помнят. Удивительно красив был Везувий в безлунные ночи, такой, знаете, огромный жертвенник какому-то дьяволу, и так трогательны белые домики у подножья его — кусочки сахара. А вчера, в канун Успения, по горам, под Сорренто, в садах жгли костры — древний обычай, прощальная жертва Церере, богине плодородия, — красивая картина. Жгли корни пижий и олив, огонь — пурпурный. Праздновать здесь любят и умеют, работать — тоже. Работают круглый год [...] Труд на земле, конечно, ручной: не пахнут, а перебивают землю мотыгами на метр в глубину.

Завтра у меня — праздник: внуке два года.
Будьте здоровы, дорогой С. Н. Всего доброго!

А. Пешков

15/VIII-27 г.
Sorrento*.

Книгу «Сорок лет» («Жизнь Клима Самгина») я получил с надписью:

«Любимому художнику С. Н. Сергееву-Ценскому

М. Горький.

15.VIII.27
Сорренто».

Эта глубоко и широко задуманная книга показалась мне лучшим из всего, что написал Горький. Свое впечатление о книге я передал ему и в ответ получил следующее письмо:

«Очень взволнован, радостно взволнован Вашей оценкой «Самгина». Оценка, пожалуй, слишком лестная. Хотелось бы знать — какие недостатки видите Вы в книге этой? Напишите, буду очень благодарен. Вам, строгому художнику, я верю.

Боюсь за второй том, — давит меня обилие материала «идейного», т. е. словесного и жанрового. Боюсь перегрузить книгу анекдотом, который суть кирпич русской истории, и афоризмом, в коем сосредоточена наша мудрость.

Дьяконову балладу «Дьякон» и сочинил, сиречь — я. «Сказительный» стих я хорошо знал с малых лет, от бабушки, час и более мог говорить стихом «бунтарские» речи, так что даже один мужичок в Муроме спросил меня: «Ну, а — по-человечьи можешь ты говорить, ероха-воха?» А затем он меня побил, прочитав мне изумительную чепуху о романе Ильи Муромца с «князь-барыней» Енголычевой, изумительно прочитал. Любовь мою к этому стиху весьма подогрела Орина Федосова.

Вы, конечно, верно поняли: Самгин — не герой, а «невольник жизни». Перед шестым годом у него будут моменты активного вмешательства в действительность, но — моменты. Московское восстание освободит его ненадолго, а потом он снова окажется в плену.

Мне кажется — Вы несправедливо оценили Олешу. У него есть серьезнейшие признаки несомненного дарования. Крачковский¹ — жив, печатается в эсеровской «Воле России», стал не так манерен, каким был, но все еще — с претензиями на мудрость. Мистик от разума.

¹ По своей манере письма Олеша напомнил мне дореволюционного литератора Дм. Крачковского. — С. Н.

Лет 15 тому назад я его видел, он тогда был чудовищно невежественным и напыщенным человеком.

Фадеев — определенно серьезный и грамотный писатель, увидите.

«Цемент» и я похвалил, потому что в нем взята дорогая мне тема — труд. Наша литература эту тему не любит, не трогала, м. б., потому, что она требует пафоса, а где ж он у нас, пафос? Но — нужен. Необходим. Сергей Николаевич, дорогой, — очень мы, русские, хороший народ: чем больше живу, тем крепче убеждаюсь в этом. И если б удалось почувствовать трагическую прелесть жизни, изумительнейшую красоту деяния, — далеко ушли бы мы!

Прочитал «Полоз»¹, это очень хорошо сделано, и, разумеется, рад, что «Преображение», наконец, будет печататься.

Скоро ли выйдут Ваши книги? Пришлете? Пожалуйста.

Еще раз — сердечно благодарю.

Жму руку.

А. Пешков

Был у меня Леонов [...] Был Катаев [...] Скоро увижу Всеволода Иванова, Никулина, Ольгу Форш, Полонского. Вон сколько!

Как вы живете? Когда будет кончено «Преображение»? 7.IX.27».

Еще не успело это письмо дойти до меня из Сорренто, как нас, в Крыму, сильно потрянуло известное землетрясение 12 сентября 1927 г., и вслед за этим письмом А. М. посылает мне следующее:

«Так как телеграмма моя с вопросом о Вашем здоровье до Вас, волею стихии, очевидно, не достигла, — прошу Вас, ответьте: как Вы и что с Вами?»

Газеты очень напугали. Черт бы побрал все эти «сдвиги»! От ближних тернишь вполне достаточно, а тут еще и стихии хулиганят.

Пожалуйста, Сергей Николаевич, напишите. Маленькое сотрясение на Кавказе — в 92 г. я испытал и знаю, что это даже в малом виде неприятно.

А. Пешков

¹ Мой рассказ «Старый полоз», впервые напечатанный в журнале «Красная новь». — С. Ц.

Домашние испугались?
Дом цел? А дети у Вас есть?»

Получив от меня ответы на все вопросы этого письма, он пишет:

«Рад узнать, что стихийные силы не очень обидели Вас, дорогой Сергей Николаевич. Да, трясется планетишка наша. Со страха это она — в предчувствии конца — или же со зла на то, что люди стали слишком дерзко разоблачать секреты ее? Некая американка проповедует, что земля возмущена грехами людей, а один еврей в Лондоне утверждает, будто бы вскорости утопнут Шотландские острова, Крым и еще что-то. Примите к сведению. Не перебраться ли Вам куда-нибудь на место более непоколебимое?»

Меня стихийное хулиганство не столь возмущает, как человечье. А вот в 18-ом № газеты «Голос верноподданного» напечатана программа «партии» легитимистов, а в программе говорится, что «евангелие» оправдывает: неравенство, право господства сильного над слабым и лозунг — «цель оправдывает средства». Так и напечатали. Некий проф. Ильин написал книгу, доказывая то же самое и утверждая, что евангелие дает основания для «религии мести». И. А. Бунин напечатал в монархическом «Возрождении» статью о «самородках», называет Есенина «хамом», «жуликом», «мерзавцем». Очень жуткими людьми становятся господа эмигранты. Тон прессы их падает вместе с грамотностью. Взаимная ненависть раскалывает их на группочки все более мелкие. Кроме Н. Н. Романова и Кирилла Первого, выдумали еще царя: Всеволода Иоанновича. Скука. Хотя скучают не только наши эмигранты, а и европейцы. На днях в Париже человек пустил в лоб себе пулю только потому, что разучился галстук завязывать. Факт. А некая англичанка застрелилась по причине плохой погоды. Третьего дня в Неаполе отравилась графиня Маркварт, потому что какой-то тенор не дал ей свою фотографию. И вообще заметно, что самоубийства совершаются по причинам как будто все более ничтожным. Равно как и преступность принимает какие-то «спортивные» формы. В общем же — невесело здесь, в Европах. В Берлине, например, эпидемия истязания детей. Но это вообще город «странностей», мягко говоря. К ресторанам, клубам и журналам гомосексуалистов мужеска пола в этом

году прибавился ресторан и легальный, да еще иллюстрированный, журнал лесбиянок. Полиция разрешает мужчинам известных склонностей носить женскую одежду. Как это Вам нравится? Не охотник я думать в эту сторону, но за последнее время столько тут разыгралось грязных ужасов, что, знаете, невольно думается: это что же значит? Простите, что удручаю такими «фактами», черт бы их побрал!

Нет, в самом деле, не убраться ли Вам из Крыма? Всего доброго. Пишите.

А. Пешков

20.X.27
Сорренто.

Землетрясением гордитесь? Ну, тут «ваша взяла», и мне — «нечем крыть», как говорят на Руси. Могу, однако, похвастаться: неаполитанский почтальон открыл новую звезду в созвездии Лебедя. Переменная. Вот Вам.

Американцы, черт их побери, все еще не отвечают по поводу второго тома. У них происходит нечто новое: несмотря на существование «бюро цензуры», которое весьма ревностно следит за тем, чтоб писатели не порочили благочестивую жизнь Америки, выходят ужаснейшие книги, вроде недавно переведенного на русский язык романа Синклера Льюиса «Эльмер Гантри». Льюис изобразил американские церкви и церковников в виде отвратительном.

Читали Вы «Разгром» Фадеева? Талантливо.

Ну, всего хорошего Вам.

А. П.»

Тогда у нас в Союзе все готовились чествовать Ал. М. в связи с его шестидесятилетием, о чем, как и о радости будущей своей встречи с ним, я писал ему.

В ответ получил следующее письмо:

«Дорогой Сергей Николаевич —

[...] «Жестокость» и получил и своевременно благодарил Вас за подарок. С этим письмом посылаю Вам мою книжку.

Да, писем из России я получаю не мало; конечно, много пустяков пишут, а в общем это меня не отягощает, потому что большинство корреспондентов «простой» народ: рабкоры, селькоры, «начинающие писатели» на этой сре-

ды, и мне кажется, что пишут они «от души», трогательно даже и тогда, когда поругивают меня за «оптимизм». Недавно получил даже такое письмишко: «Я — профессиональный вор, ношу, и давно уже, весьма известное имя среди сыщиков трех стран». Далее он спрашивает, почему я не пишу о ворах, и весьма пренебрежительно критикует повесть Леонова. Вообще — корреспонденция интересная, и будущий мой биограф должен будет сказать мне спасибо за нее.

«Ураган чествований» крайне смущает меня. Написал «юбилейному комитету», чтобы он этот шум прекратил, если хочет, чтобы я в мае приехал.

Еду я с намерением побывать в знакомых местах и хочу, чтобы мне не мешали видеть то, что я должен видеть. Если же признано необходимым «чествовать», то пускай отложат эту забаву на сентябрь, — к тому времени я, наверное, слягу от усталости и «клеймата». У Вас, разумеется, буду. Наверное, поспорим, хотя я до сего — не «охоч».

Да, помер Сологуб, прекрасный поэт, его «Пламенный круг» — книга удивительная и — надолго. Как человек он был антипатичен мне, — несносный, заносчивый самолюбец и обидчив, как старая дева. Особенно возмущало меня в нем то, что он — на словах, в книгах — прикидывался сладострастником, даже садистом, демонической натурой, а жил, как благоразумнейший учитель рисования, обожал мармелад и когда кушал его, сидя на диване, так, знаете, этак подирывивал от наслаждения.

Вот и у нас было землетрясение, — Рим потрясся, но — не очень; маленькие города в окрестностях его пострадали сильнее. Это не удивило италийцев, а вот в начале двадцатых чисел на горах, круг неаполитанского залива, на Везувии, трое суток лежал, не тая, снег, — это была сенсация! В Неаполе восемь ниже нуля, замерзали старики и старухи.

«Самгиня» начну печатать с января в «Нов[ом] мире». Кажется, растянул я его верст на шестнадцать. Нет, я не для больших книг. Плохой архитектор.

Расхожусь я с Вами в отношении к человеку. Для меня он не «жалоко», нет. Знаю, что непрочен человек на земле, и многое, должно быть, навсегда скрыто от него, многое такое, что он должен бы знать о себе, о мире, и «дана ему в плоть мучительная язва, особенно мучитель-

пая в старости», как признался Л. Толстой, да — разве он один? Все это — так, все верно, и, если хотите, глубоко оскорбительно все. Но, м. б., именно поэтому у меня — тоже человечка — к нему — Человеку — непоколебимое чувство дружелюбия. Нравится он мне и «во гресех его смрадных и егда, любве ради, душе своея служба, отметае, яко сор и пыль, близкия своя и соблазны мира сего». Такое он милое, неуклюжее, озорное и — Вы это хорошо чувствуете — печальное дитя, даже в радостях своих. Особенно вослищает меня дерзость его, не та, которая научила его птицей летать и прочее в этом духе делать, а дерзость поисков его неутомимых. «И бесплодных». А — пусть бесплодных. «Не для рая живем, а — мечтою о рае», — сказал мне, юноше, старик-сектант, суровый человечище, холодно и даже преступно ненавидевший меня. Это он хорошо сказал. Мечтателей, чудаков, «беспризорных» одинок — особенно люблю.

Горестные Ваши слова о «жалком» человеке я могу принять лишь как слова. Это не значит, что я склонен отрицать искренность их. Увы, моралисты! В каждый данный момент человек искренен и равен сам себе. Притворяется? Ну, как же, конечно! Но ведь это для того, чтоб уравнять себя с чем-то выше его. И часто наблюдал, что, притворяясь, он приотворяется в мир. Это — не игра слов, нет. Это иной раз игра с самим собой и — нередко — роковая игра.

Большая тема — «человек», С. Н., превосходный художник, отлично знающий важность, сложность и глубокую прелесть этой темы.

Будьте здоровы и — до свидания!

А. Пешков

30.XII.27
Sorrento».

Вот каков был ответ на мое письмо, посвященное XIX тому его сочинений берлинского издания 1927 года.

«Дорогой Сергей Николаевич — спасибо за письмо. Высоко ценю Ваши отзывы о моих рассказах, ибо, несмотря на «юбилей», все еще не ясно мне, что у меня хорошо, что плохо. Рад, что Вам понравился «Проводник». Д-р Полканов, хватаясь за голову и вытаращив детски умные глаза свои, с эдакой янтарной искоркой и зрачком кричал тогда: «Да, ведь это же символическая кики»

мора, и-послушай!» В минуты сильных волнений доктор несколько заикался. Жена его, развеселая Таня, которую я называл Егором, рассказывала мне, что когда он, доктор, объяснялся ей в чувствах, так глаза у него были страшные, он дрожал и фыркал свирепо: «Я в-вас... в-вас-с, в-вас...» Так она спросила его: «Может, вы меня — избить хотите?» Тут он размахнул руками и — сознался: «Ч-что вы! Л-люблю, ч-честное слово!»

Там, в книжке у меня, есть рассказишко «Енблема», — купец — тульский фабрикант самоваров Баташов. Сергей Николаевич, ей-богу, это блестящая идея: отправить богиню справедливости в сумасшедший дом! Оцените! А в другом рассказе, «Голубая жизнь», у меня глобус — сиречь земной шар — «Чижика» играет. Считаю, что это тоже не плохо.

А иногда я мечтаю смокинг сшить, купить золотые часы, а на ноги надеть валяные сапоги и в таком приятном глазу виде пройтись в Риме по Via Nazionale вверх ногами. Но это не от «радости бытия», а — от «юбилея». [...] А также мне кажется, что юбилей имеет сходство с коклюшем, хотя я этой болезнью не страдал еще. И думаю, уж не буду. Поздно. Недавно писал кому-то, что против юбилея есть одно средство: кругосветное путешествие без виз, т. е. без права высаживаться на «сухие берега».

Сейчас у меня живут три поэта: Уткип, Жаров, Безыменский. Талантливы. Особенно — первый. Этот далеко пойдет. Жаров — тоже. Интересно с ними.

Вот — курьез: Жан Жироду, писатель, коего я, кстати сказать, недолюбливаю, нашел, что в «Деле Артамоновых» первое и самое значительное лицо — Тихон Вялов.

Не отвяжусь от начальства, пока не заставлю оное издать собрание сочинений Ваших. Так хочу читать. И, знаете, это — общее желание: читать. Мамина с жадностью читают. Странно идет книга. Ну, всего доброго. Странно буду рад побывать у Вас!

А. Пешков

5. II. 28».

Следующее письмо было последним из писем А. М. перед его приездом к нам:

«Дорогой Сергей Николаевич, а Вы, чувствуется, редко-хороший, очень настоящий человек! Это я -- по поводу Вашего последнего письма, так человечески прекрасно об-

ласкали Вы меня. И — тем более прекрасно, что ведь между нами, наверное, существует некое непримиримое разноречие в наших отношениях к миру, к людям. А при разноречии единодушие в чем-то особенно чудесно! Спасибо Вам!

А юбилей — штука действительно тяжкая. Невыносимо «знаменит» я, грешный. И мне все кажется, что в этой «знаменитости» есть какое-то недоразумение. Разумеется, многое очень волнует меня, даже как-то потрясает. Например: поздравление от глухонемых. Это — вроде удара молотком по сердцу. Когда я представил себе несколько десятков людей, беседующих пальцами, — честное слово! — сам как будто ослеп и онемел. А представить я мог: в 20 г. в Петербурге я был на *митинге* глухонемых. Это нечто потрясающее и дьявольское. Вы вообразите только: сидят безгласные люди, и безгласный человек с эстрады делает им доклад, показывает необыкновенно быстрые, даже яростные пальцы, а они вдруг — рукоплещут. Когда же кончился митинг и они все безмолвно заговорили, показывая друг другу разнообразные кукиши, ну, тут уж я сбежал. Неизреченно, неизобразимо, недоступно ни Свифту, ни Брейгелю, ни Босху и никаким иным фантастам. Был момент, когда мне показалось, что пальцы *звучат*. Потом дважды пробовал написать это, — выходило идиотски плоско и бессильно [...]

Американцы все еще не платят денег за В. книгу, это у них — «в порядке вещей». Пишут, что еще «не покрыли расходов по изданию и переводу». Конечно — врут. Об американцах я вспомнил так неуместно, тоже в связи с «юбилеем».

Прилагаю маленькое предисловие к переводу В. книг на мадьярский язык. Простите, что так маловразумительно и кратко. Мадьяр прорвало вдруг, и они меня заторопили. Эти — заплзтят.

Устал, как сон. А тут еще «сирокко» свистит и воет, двери трясутся и уже 3-й час ночи. Еще раз спасибо Вам, дорогой друг С. Н. Спасибо.

А. Пешков

31. III. 28

Не надо ли Вам каких-либо «видов Италии»? Скажите, пришлю».

Вот предисловие А. М. к переводу 1-й части «Преображения» на мадьярский язык:

«Сергей Сергеев-Ценский работает в русской литературе уже более двадцати лет, и теперь, вместе с Михаилом Пришвиным, он по силе своего таланта стоит, на мой взгляд, во главе ее.

Человек оригинального дарования, он первыми своими рассказами возбудил недоумение читателей и критики. Было слишком ясно, что он непохож на реалистов Бунина, Горького, Куприна, которые в то время пользовались популярностью, но ясно было, что он не сроден и «символистам» — песколько запоздалым приемникам французских «декадентов». Подлинное и глубокое своеобразие его формы, его языка поставило критиков — кстати сказать, не очень искусных — пред вопросом: кто этот новый и как будто капризный художник? Куда его поставить? И так как он не вмещался в привычные определения, то критики молчали о нем более охотно, чем говорили. Однако это всюду обычное непонимание крупного таланта не смутило молодого автора. Его следующие рассказы еще более усилили недоумение мудрецов. Не помню, кто из них понял — и было ли понято, что человек ищет наилучшей совершеннейшей формы выражения своих эмоций, образов, мыслей.

Не критик, я не могу позволить себе подробной оценки приемов творчества этого автора, опасаясь, что мой субъективизм может помешать читателям-мадьярам самостоятельно насладиться прекрасным рисунком его работы. Кратко говоря — литературная карьера Сергеева-Ценского была одной из труднейших карьер. В сущности таковой она остается и до сего дня.

Все еще немногим ясно — хотя становится все яснее, — что в лице Сергеева-Ценского русская литература имеет одного из блестящих продолжателей колоссальной работы ее классиков — Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова. Типично русское в книгах Сергеева-Ценского, так же как у названных мною авторов, не скрывает «общечеловеческого» — трагических противоречий нашей жизни.

Предлагаемый мадьярам роман «Преображение» является началом многолетней, колоссальной эпопеи, изображающей жизнь русской интеллигенции накануне отвратительной бойни 14—18 гг. — этого крупнейшего преступле-

ния «культурной» Европы, позорнейшего из всех преступлений, совершенных ею за всю ее историю.

Но этот первый том вполне законченное целое, так же, как и второй, опубликованный в истекшем году. На русском языке «Преображение» звучит изумительно музыкально. Если мадьяры и не услышат эту музыку слова — им, я уверен, все-таки будет ясна лирическая прелесть картин природы Крыма, удивительная мягкость образов и в то же время четкость их.

Хочется думать, что мадьяры поймут, почувствуют и ту прекрасную печаль о человеке, о людях, которой так богат автор и которой он щедро насытил свою красивую, человечески грустную книгу.

М. Горький».

Приехав в мае 28 г. из Италии, Горький, как известно, не осел в Москве, а без усталости разъезжал по Союзу, знакомясь с достижениями советской жизни. Корреспонденции о его поездках своевременно печатались в газетах.

Но только что прочитал я однажды летом, чтобы быть точным — 14 июля, о том, как посетил Ал. М. какие-то отдаленные места, я получил извещение, — не помню, письменное или устное, — от союза крымских научных работников, в котором я числился, приехать в Симферополь для встречи Горького.

Так как была какая-то неясность, когда именно приехать в Симферополь, то я ожидал разъяснения этого вопроса, а пока сидел дома, когда вдруг кто-то, запыхавшийся, прибежал ко мне и выпалил:

— А там же, в Алуште, вас ищет сам Максим Горький!

Необходимо сказать, что небольшая одноэтажная дача моя находится в трех километрах от города по Ялтинскому шоссе; она окружена рослыми, тридцать лет назад посаженными мною кипарисами и миндальными деревьями и не видна ни от города, ни с берега моря, ни с шоссе, и редко кто даже из старых жителей Алушты знает, где она расположена и как к ней подъехать; тем менее могли знать о том кто-нибудь отдыхающие, к которым только и обращались спутники А. М. с вопросом: «Где дача писателя С.-Ценского?»

Так как никто не мог указать, где находится моя дача (по-видимому, даже и местная милиция этого не знала).

между тем гостиницы в Алуште не было, то А. М., усталый от езды по стремительному крымскому шоссе в жару, отправился дальше — в Ялту.

Сильно я жалел тогда, что не поехал встречать его в Симферополь, чтобы оттуда привезти его потом к себе; но впоследствии разъяснилось, что отлично сделал, не поехав. Горький совсем даже не заезжал в Симферополь. Со станции Сарабуз (в 12 километрах к северу от Симферополя, где поезд оставляет пассажиров, которым надо в Евпаторию и Саки) Алексей Максимович со своими спутниками и багажом вышел из поезда, сел в автомобиль и, обогнув приготовившийся торжественно встречать его Симферополь, направился прямо и непосредственно в Алушту. Объяснялось это, по-видимому, тем, что торжественные встречи ему достаточно надоели.

От Алушты до Ялты всего сорок восемь километров прекрасного, хотя и чересчур закрученного, шоссе. Пока я стремился выяснить, как это вышло, что, приехав ко мне, Ал. М. не мог меня найти и уехал, в то время как различные делегации довольно уверенно подходили к ограде моей дачи приветствовать Горького и не хотели верить, что у меня его нет, мне принесли телеграмму такого содержания:

«Заезжал к вам в Алушту, не мог найти. Пробуду в Ялте до семнадцатого июля. Набережная Ленина, гостиница «Марино».

Горький».

Конечно, на другой же день утром я поехал в Ялту, где в первый раз увидел, наконец, Ал. М-ча.

Об этой встрече моей с ним и о последовавшем за нею более коротком знакомстве с ним я расскажу особо, теперь же, чтобы завершить отдел писем ко мне Ал. Макс., приведу еще два письма его; одно по-прежнему из Сорренто от 18 марта 31 г.:

«Дорогой Сергей Николаевич — очень советую Вам послать одну — хотя бы — из Ваших готовых работ в «Красную новь». Редактора этого журнала теперь: Всеволод Иванов, Леонид Леонов и Фадеев, люди — грамотные.

А бумаги у нас действительно — не хватает, и боюсь, что это надолго! Все фабрики работают с предельной нагрузкой, но — это не уменьшает кризиса. От этого весьма многое страдает.

Слстова и я считаю человеком талантливым, так же как и Ширяева. Тут еще интересует меня Павлепко и некий Всеволод Лебедев, автор отличной книжки «Полярное солнце».

В мае буду в Москве, дело — решенное. Очень хочется! Здесь жить — все более душно и даже как-то неловко за себя и за людей. Дурит папа, и до того нехорошо, что — можно думать — его провоцируют на глупости какие-то хитрые люди. В высшей степени противна обнаженная борьба двух групп капиталистов — той, которая хочет торговать с нами, против той, которая хотела бы воевать. Если бы вы знали, до чего все в Европе оголилось и какое бесстрашие бесстыдства овладело людьми. Я — не моралист, голых женщин не боюсь, но когда на сцену кабака выскакивают сразу 22 и — без фигового листочка, так, знаете, овладевает чувство какой-то неприятнейшей скуки. Изжили себя люди, и уже ничем их не раскачаешь, смотрят на все полумертвыми глазами.

Конечно, и здесь безработица. Под видом пеших туристов ходят безработные немцы, работают у местных крестьян за лиру, за две, за обед.

Написал Леонову, чтоб он просил у Вас рукопись.

Внуки мои еще не читают.

Христине Михайловне¹ — сердечнейший привет! Будьте здоровы. Летом увидимся? Надо бы!

Жму руку.

А. Пешков.

18.III.31*.

Другое и последнее — от 5 мая 1936 года было раньше опубликовано в «Известиях» 20 июня того же года (между тем как все предыдущие письма публикуются впервые).

«Дорогой Сергей Николаевич,
на днях выезжаю в Москву, где и займусь исполнением поручения Вашего².

А противеньская и капризная штука этот Ваш Крым: туман, ветер, жар и холод — все в один день. И, для того чтоб прилично дышать, надобно иметь в доме кислород, подушки, а они прорезинены, от них запах собачьего хвоста. Кажется, летом уеду на Шницберген, буду питаться

¹ Имя отчество моей жены. С. Ц.

² Речь идет о предисловии к набр. произв. — С. Ц.

там жареным моржом и лизать айсберги. Вероятно, даже на самоедке женьюсь, черт с ней, пусть пользуется!

Будьте здоровы и не сердитесь на жизнь.

Привет сунруге.

А. Пешков.

5.V.36».

Шуточный Шпицберген оказался символом: в Москве А. М. ждал грипп и сделал свое подлое дело [...]

Живя совершенно безвыездно с конца 1915 года и по 1928-й в Алуште, я знал об исключительной роли Горького в «Комиссии по улучшению быта ученых» в тяжелые годы разрухи. Но что касается писателей, то из писем ко мне вырисовалась фигура совершенно необычного для меня объема. Не писатель, а гоголевский Днепр, который все звезды писательского неба, большие и малые, «держит в лоне своем: ни одна не убежит от него, разве погаснет на небе!».

Такой любви к литературе, к писательскому труду, а в то же время и такого уважения к читателю мне, очень давнему работнику литературы, никогда не приходилось встречать. Но это сказано слабо,— я просто отказался бы верить в возможность этого, если бы не горьковские письма.

Дело в том, что писатели моего поколения жили и работали более или менее обособленно, а если объединялись иногда под кровом того или иного журнала или издательства, то объединение это было вполне случайным: легко сходились, но еще легче расходились.

Общения с читателями не было, однако материальный успех писателей кем же и создавался, как не читателями? Поэтому иные из «властителей дум» прибегали к очень замысловатым способам рекламы.

Мало того что они подкармливали каждый целый штат своих критиков, но у Андреева, например, чтение каждого нового его произведения на дому обставлялось чрезвычайно торжественно, при большом стечении влиятельных критиков, писателей и издателей. После соответственно горячих речей первых и вторых третьи торопливо хватались за бумажники на предмет вручения аванса. Даже и дачу свою в Филиадди, в Райволо, Андреев называл «Аванс».

Когда он показывал ее мне, то спросил:

— Как полагаете, во сколько она мне обошлась?

Дача была огромная — пятнадцать комнат — и меблирована очень богато. Я затруднился в ее оценке, и он сказал сам:

— Восемьдесят тысяч!

— Гм... И какой же смысл вам был убухать в нее столько денег? — спросил я в искреннем недоумении.

— Как так «какой смысл»? — удивился он. — Недогадливый вы мужчина! Когда к вам, в Алушту, приедет какой-нибудь издатель, то сколько же он вам предложит аванса, если у вас домик всего в три комнаты с кухней, как вы говорите?

— Я никогда не прошу ни у кого аванса, — сказал я.

— Ого! Какой богач! Ну, вы там как хотите, а уж какой бы издатель ко мне сюда ни заехал, меньше десяти тысяч ему и предложить будет стыдно. Вы только посмотрите как следует, какая у меня приемная! А кабинет? А раз издатель едет на дачу «Аванс», то о чем же иначе он и должен будет думать, как не о поря-доч-ном авансе хозяину этой дачи?

Однажды я сидел у другого «властителя дум» молодого поколения начала двадцатого века — Арцыбашева. Вошел рассыльный из «Бюро газетных вырезок» и подал ему голстый пакет.

— Вот сколько строчат! — весело подмигнул мне Арцыбашев.

— О чем именно?

— А вот возьмите да посмотрите сами... Я уж вчера получал такую порцию, — думаю, что и эти — на ту же тему.

Взял я одну вырезку. В заглавии газетной статьи совершенно неожиданно для меня стояло: «Писатель — хулиган», взял другую — там: «Хулиганство автора «Саняна», взял третью: «Скандал Арцыбашева в Балаклаве»...

В чем же было дело? Оказалось, что Арцыбашев — человек, по определению Горького, «глухой, слепой и с насморком», — просил кассиршу очень маленького детского театра в Балаклаве, где он жил в 1909 году с женой, оставить для него два билета в первом ряду, а кассирша забыла об этом. Продавала билеты она, сидя за столиком на берегу бухты, у входа в театр. Подошел перед самым началом спектакля Арцыбашев и узнал от кассирши, что все билеты первого ряда уже проданы.

«А-а! Вот как! Проданы?» — и Арцыбашев схватил столик и бросил его в бухту со всею выручкой... Потом торжественно удалился под крики и свистки публики.

Об этом именно и писали в газетах, не скупясь на весьма резкие выражения по адресу Арцыбашева, а он между тем очень весело на меня поглядывал сквозь очки и спросил, наконец:

— Ну, что, как вы находите?

— На вашем месте я бы не улыбался,— сказал я,— а вам как будто вся эта ругня очень нравится.

— Очень, именно очень! Ведь вы представьте, сколько человек прочтет во всех концах России о хулигане Арцыбашеве,— десятки тысяч!..

— Что же тут для вас лестного?

— Как же так «что лестного»? Завязнет у всех в мозгах фамилия моя — Арцыбашев,— у ста тысяч, может быть, человек.

— С эпитетом «хулиган», конечно, завязнет.

— Забудут об этом, поверьте мне, все забудут! Хулиган или писатель — разве это важно? Важно, чтобы фамилию запомнили... А там через год-два начнут говорить где-нибудь в Чухломе: «Арцыбашев... А-а, это тот самый — «Санина» написал!» А насчет хулиганского выпада, уверяю вас, никто ничего не вспомнит!.. Да разве читатель что-нибудь вообще в состоянии помнить? Совершенно ничего! Ему фамилию автора колом в голову надобно вбивать, а уж название произведения я даже и не знаю чем — мортирой разве!.. И хотя бы мортирой,— читатель все равно все перепутает и перевернет по-своему.

Я мог бы привести много подобных примеров и в отношении других обитателей литературного Олимпа того времени, но не вижу в этом нужды. И то, что мною сказано, достаточно оттеняет положение Горького, который в это прожженное время стоял на страже у знамени славной своими традициями великой русской литературы.

Весьма тяжелое это бремя — звание лучшего писателя страны, и хотя Ал. Макс. в одном из вышеприведенных писем говорит: «Невыносимо «знаменит» я, грешный», — но он был рожден для этого почетного звания.

А между тем он был хронический больной — легочник. Но много ли найдется среди больших писателей-художников не только в нашей, и в мировой литературе также вполне здоровых людей? И не сравнивал ли Гейне поэта

с жемчужницей, моллюском, рождавшим жемчуг только тогда, когда в его тело попадала песчинка, причинявшая рану и боль? (Была в старину такая теория происхождения жемчуга.) Пусть Гейне говорил о «ране и боли» в переносном смысле, мне здесь хочется понимать это буквально.

Письма Горького очаровывали меня прежде всего тем, что в каждой строчке их сияла непобедимая любовь к жизни, жажда видеть и знать, изумительное умение видеть и не менее изумительная способность ничего не забывать. Помнится, мне говорил Леонид Андреев:

— Вы — золотоискатель, вы рыщете по России в поисках золота и находите такие самородки, как ваш Антон Антонович из «Движений», как ваш пристав Дерябин и прочие; а я — ювелир, я из золота, вами и другими найденного, делаю ювелирные вещи.

— А не хотите ли вы стать золотоискателем? — предложил я ему. — Давайте поедем вместе в Сибирь или в Туркестан, в Архангельск или в Армению, — мне совершенно безразлично, — и весь наиболее интересный и крупный улов, все самородки, как вы выражаетесь, поступят в ваше полное распоряжение, а мне уж так, какая-нибудь мелочь.

— Да, хорошо вам так ездить, — ответил Андреев, — когда вы не захотели сниматься в фотографии Здобнова и сто тысяч ваших портретов не разлетелись по всей России! А мне стоит только показаться на улицах Петербурга, и все в меня пальцами тычут: «Андреев! Андреев!»... Так же и в Сибири и в Архангельске будет.

Это была отговорка, конечно, — он был просто нелюбопытен, так же, как и Арцыбашев, регулярно каждую ночь до четырех часов утра проводивший за биллардом.

Как-то, перечитывая Тургенева, я был удивлен, найдя в одном из его рассказов «желтые цветки цикория», между тем как цветки цикория голубые. И в письмах Ал. Макс. очень радовали меня места, посвященные детальному описанию того, что его окружало в окрестности Сорренто, где он жил, например: «А уже миндаль отцвел, зацветают абрикосы, персики, дрок цветет, везде по горе фиалки, маргаритки, цикламены...» Или в другом письме: «Удивительно красив был Везувий в безлунные ночи, таковой, живете, огромный жертвенник какому-то дьяволу, и так трогательны белые домики у подножья его — кусочки

сахара. А вчера, в канун Успения, по горам, над Сорренто, в садах жгли костры — древний обычай, прощальная жертва Церере, богине плодородия, — красивая картина. Жгли корни пиний и олив, огонь — пурпурный».

Мне, художнику по преимуществу, такие места в письмах рисовали не только природу вокруг виллы герцога Серра Каприола, где жил Ал. Макс., но главным образом его самого, его исключительно восприимчивую ко всему в жизни душу. И когда ехал я на автобусе из Алушты в Ялту по чрезвычайно стремительному, очень изгибистому шоссе и наблюдал каждый момент новые по рисунку и краскам горы и море, я уже находил то общее, что необходимо для личного знакомства между столь разными по натуре людьми, как Горький и я, как будто и ехал я совсем не в Ялту, а в Сорренто.

И вот, наконец, гостиница «Марино», и я поднимаюсь на второй этаж, где на площадке лестницы стоят несколько человек, все в белых рубашках, и между ними — Алексей Максимович.

Он улыбается, но я чувствую, как он внимательно смотрит, и небольшая, всего в полтора десятка ступеней, лестница кажется мне очень длинной. И чем ближе подхожу я к площадке, тем все более не по себе мне и неловко, но вот я ступил на площадку, и меня обняли длинные руки, и на щеке своей я почувствовал его слезы... Это растрогало меня чрезвычайно.

Человек, писавший мне такие взволнованные и волнующие письма, человек совершенно исключительный не только по своей сказочной судьбе, не только по своему яркому гению, но и по огромнейшему влиянию на окружающих, с юных лет моих притягивал меня к себе и притянул, наконец, вплотную.

Древнейший греческий мудрец Фалес Милетский утверждал, что даже магнит мыслит, хотя у него одна-единственная мысль — притягивать железо. «Но если источник магнит в порошок, — говорил Фалес, — он потеряет способность притягивать, значит, потеряет и свое существование, как мыслящее существо, то есть умрет» (отсюда знаменитое «*Cogito, ergo sum*»¹ Декарта).

¹ Мыслю, следовательно, существую (лат.).

Но вот целый вулкан мыслей и образов — высокий, сутуловатый, худощавый, легкий на вид человек, желтоусый, морщинистый, стриженный под машинку, с сияющими изнутри светлыми глазами, способными плакать от радости... Меня поразили и большие, широкие и длинные кисти его рук, — то, что осталось от бывшего Алексея Пешкова, которого называли Грохалом за физическую силу. Теперь эти огромные кисти рук были в полном несоответствии с узкими плечами и легким станом. Среди окружающих Горького был и его сын Максим.

— Вот угадайте, Сергей Николаевич, который тут мой Максим? — обратился ко мне Горький.

Мне никогда не приходилось видеть портретов Максима, и угадать его среди примерно шести молодых человек, стоявших на площадке лестницы, было трудно, конечно; но Максим вывел меня из затруднения сам, дружески обняв меня, будто старый знакомый.

— Я итальяцам вас переводил, — сказал он просто и весело.

Неловкость моя исчезла, — я попал в дружескую атмосферу, где стало сразу свободно дышать.

Трудно передавать подобные встречи...

Я помню, как однажды зашел ко мне в Петербурге Леонид Андреев приглашать меня к сотрудничеству в газете «Русское слово», издатель которой, Сытин, предлагал ему редактировать литературный отдел.

По этому делу Андреев ездил в Москву для переговоров и, не знаю уж, в Москве ли, или в Ясной Поляне, виделся в эту поездку с Толстым. Это было в последний год жизни великого писателя, но нужно сказать, что и Андреев в это время был на вершине своей славы, а вершина славы — это такое положение, которое весьма часто приводит к потере под ногами почвы, к маниакальности, к «чертыпенебратству», если допустить такое сложное слово.

И вдруг Андреев после первых необходимых фраз говорит мне с сумасшедшинкой в расширенных карих глазах:

— Вы знаете, кого я видел?

— Очевидно, кого-то очень страшного, — ответил я.

— Льва Толстого!

— А-а!.. Рассказывайте, — я слушаю!

Но Андреев только глядел прямо мне в глаза, держа в

поднятой руке папиросу, и я не мог не заметить, что смотрит он сквозь меня, что перед ним теперь не номер гостиницы «Пале-Рояль», где он был у меня, а комната хамовнического или яснополянского дома.

Я даже слышу, как шелестящим шепотом говорит Андреев:

— Ка-кой изу-мительный старик!

На красивом лице его разлит буквально испуг, — не могу подобрать к этому выражению лица другого слова, — испуг, зачарованность, ошеломленность, а ведь прошло уже не меньше, кажется, недели, как он вернулся из своей поездки в Москву.

Он глядит сквозь меня на возникшего в его памяти Льва Толстого, я гляжу на него, и это тянется минуту, две... Его пальцы, держащие папиросу, ослабевают, рождаются — папироса падает на стол, — он этого не замечает.

Напрасно я задаю ему вопрос, о чем говорил он с Толстым, он как будто совсем не слышит моего вопроса, не только не в состоянии на него ответить. Он весь во власти обаяния великого старика, сказавшего как-то о нем всем известные слова: «Он меня пугает, а мне не страшно».

И прошло еще несколько минут, пока, наконец, Андреев «вернулся» в мой номер и нашел в себе способность говорить о том деле, с каким ко мне пришел. Но о подробностях его свидания с Толстым я так и не слышал больше от него ни слова, и я мог понять это и так и этак: например, так, что Толстой — глубокий старец ведь он тогда был, — не захотел уменьшить расстояния между собой и модным тогда писателем.

Совсем напротив, все расстояние, отделявшее меня от «невыносимо знаменитого» творца «На дне», «Матери», было как бы мгновенно отброшено этими широкими и длинными кистями дружеских рук. Остальные спутники Горького вместе с Максимом ушли на набережную заказывать ужин в так называемом «Поплавке», а мы сидели за чаем и говорили о том, что обоим нам было близко и дорого, — о литературе.

Хотя, помнится, я писал довольно подробно Ал. Макс. о том, как хочу построить свою эпопею «Преображение», он все-таки желал знать еще большие подробности, и мне вновь пришлось объяснять, что первый том этой эпопеи, роман «Валя», так ему понравившийся, был закончен

мною еще в 1914 году, но я не хотел выпускать его книгой потому, что гремела война и он был совсем не ко времени; что во втором томе той же эпопеи, романе «Обреченные на гибель», выведен мною в лице Иртышева совсем не революционер, а провокатор, служивший в охране, что настоящих революционеров я выведу в следующих томах, что в эпопее будут романы, посвященные и мировой и гражданской войне и, наконец, строительству социализма.

По-видимому, Алексей Максимович проявлял такой большой интерес к моей работе потому, что сам как раз в это время писал эпопею «Сорок лет», или «Жизнь Клима Самгина». Но его приемы письма были совсем другие: он не хотел делить своего повествования ни на части, ни тем более на главы. Помню, мы обсуждали в разговоре и это повествование и то, почему и зачем печатались в то время в толстых журналах и в газетах отдельные куски этого огромного романа.

Я сказал, между прочим, что мне очень понравилось в «Климе Самгине» описание пасхальной ночи в Москве, но Алексей Максимович возразил живо:

— И все-таки я там дал маху! Непростительный сделал промах: совсем вылетело из памяти, что в эту ночь в Москве, ровно в двенадцать часов, из пушек стреляли!

Казалось бы, что тысячи страниц горьковского текста и без того до краев насыщены деталями, но нечаянный пропуск такой детали, как пальба из пушек в пасхальную ночь, печалил Горького,— вот что такое «взыскательный художник».

Когда стемнело, мы ужинали в «Поплавке», и, раз речь зашла о художественных деталях, мне вспоминается такая деталь.

Конечно, по Ялте разнеслось, что приехал Горький, и много народу толпилось около «Поплавки». Пришла и делегация пионеротряда — две-три девочки, — и старшая из них, аля галстуком и щеками, произнесла скороговоркой:

— Дорогой Алексей Максимович! Наш пионеротряд приглашает вас на наш пионерский костер.

Горький не расслышал сказанного: он протянул девочке руку, но в ответ на это правая рука девочки заметнулась кверху, и вся она так и застыла в торжественной позе.

Алексей Максимович посмотрел на всех нас вопросительно, и кто-то объяснил ему: «Пионеры руки не подают: они салютуют».

— А что же они, собственно, — зачем пришли? — вполголоса спросил Горький.

Ему объяснили.

— Нет, я не могу сейчас никуда идти, — обратился к девочке Горький. — До свидания, и идите спать.

И забывчиво он снова протянул руку, и снова рука девочки взвилась кверху.

— Да, вот видите, как, — все надобно знать в нашей стране, — сказал мне Алексей Максимович, когда пионеры ушли, — а то и перед детьми в смешное положение попадешь, — вот как!

Мы сидели в «Поплавке» долго, а так как «Поплавок» был освещен гораздо ярче, чем набережная, и так как вся Ялта знала уже, что здесь Горький, то около собралась большая толпа.

По-видимому, все ждали, что вот окончится наш ужин и Алексей Максимович выйдет на улицу, где ему готовились овадии. Но время шло, было уже поздно, и наиболее нетерпеливые начали кричать: «Горький, Горький!..»

— Должно быть, придется вам, Алексей Максимович, подойти к парапету, — сказал я, — показаться публике, — тогда, может, она разойдется.

Горький недовольно дернул себя за ус, нахмурился, однако встал и подошел к парапету. Раздались аплодисменты и крики, а когда они стихли, Алексей Максимович обратился к толпе негромко:

— Ну вот, видели Горького, теперь идите спать.

И подошел к столу. Толпа разошлась. Наша беседа за столом продолжалась уже без перебоев до глубокой ночи.

О чем мы говорили? О Тургеневе, о Лескове, о романах Достоевского, о Рабиндранате Тагоре, о Прусте... Когда я сказал, между прочим, что мне очень нравится тургеневский рассказ «Собака», Алексей Максимович посмотрел на меня удивленно.

— «Собака»?.. Совершенно не помню такого. Расскажите-ка, в чем там дело?

Я передал этот рассказ довольно подробно, так как за свою жизнь перечитывал его раза три, и он правился мне неизменно.

Горький слушал очень внимательно и, когда я кончил, сказал:

— Вот какая штука, — совсем не читал я этого, значит, пропустил!.. Ну, а почему же все-таки вам нравится это?

— Почему нравится? На это трудно ответить... Главным образом потому, конечно, что мастерство рассказчика доходит тут до предела... Читателю преподносится явная небылица, но с таким искусством, так реально выписаны все частности, такие всюду яркие, непосредственно из жизни выхваченные штрихи, что трудно не поверить автору, — разве уж только пылать к нему какую-нибудь яростной враждой... По этой же причине очень люблю я, начиная с детских лет, и гоголевского «Вия». Да и что такое делаем всю жизнь мы, художники слова, как не то же самое? Если у нас не скребутся, не фыркают под кроватями несуществующие собаки и не летают по церкви ведьмы в гробах, то ведь очень многое из того, что мы пишем, заведомо сочинено нами, а наша работа над деталями сводится только к тому, чтобы убедить читателя, что мы отнюдь ничего не сочиняем, что все так именно и было, как мы пишем. Однако автор сказочного «Вия» написал и «Ревизора» и поэму «Мертвые души», а Тургенев — изумительнейший по легкости и четкости линий роман «Отцы и дети», полный большого социального значения.

Говорил это я, конечно, без всякого намерения вызвать Алексея Максимовича на спор. Он и не спорил со мной; он только курил, кашлял и улыбался.

У меня уже было в это время определенное представление о Горьком, как не только о великом художнике, но и столь же великом педагоге, русском Песталоцци. Однако должен признаться, что именно это прочное соединение двух весьма разных начал в одном человеке было мне менее всего понятно. Я не хотел бы повторить слова Достоевского: «Широк человек, очень широк — я бы сузил!..» Напротив — великолечно, что широк, только широта эта нуждается в объяснении.

Я уже сказал, что когда-то в молодости несколько лет служил учителем, и вот мне вспоминается такой случай. Мой коллега, преподаватель словесности, задает мне вдруг невинный вопрос:

— Почему Тургенев закончил свой рассказ «Певцы» известной вам, конечно, картиной: — «Антоника в а! Иди, тебя тятка высечь хочи-ить!..»

— Прекрасная концовка рассказа, — отвечаю я.

— А как же объяснить ученикам, зачем автор так именно, а не иначе закончил свой рассказ?.. Нет-с, это не какая-то там «прекраснейшая концовка», а протест автора против крепостного права.

— При чем же тут протест против крепостного права, если не помещик ведь, а тятка высечь хочет своего Антропку?..

Кажется, я вправе был недоумевать по этому поводу, но преподаватель словесности победоносно вытащил из кучи книг, лежавших у него на столе, сборник тем для классных работ, принятых тогда в гимназиях, и составленный неким Балталоном, и в этом сборнике я вычитал как раз то самое, что говорил мне мой коллега.

Фатально это противоречие между художником и старого времени бездарным педагогом. Один любовно и заботливо выписывает, вырисовывает красочные детали, вроде пальбы из пушек в Москве в пасхальную ночь или «Антропка-а-а! Иди, тебя тятка высечь хочи-ить!» — другой же «пользы в сем не зрит» и от себя готов придумывать за художника непременно «полезные» мотивы его действий.

Педагогом, как всем известно, был в молодости и Гоголь, добившийся даже профессуры, и не где-нибудь в провинциальном университете, а в столичном. Но очень быстро разочаровался и ретировался он, — «расплевался с университетом», — по его же словам, — и остался только писателем.

Педагогом вздумалось стать в своей Яспой Поляне и Льву Толстому.

Педагогом был и поэт Федор Сологуб, причем, будучи уже автором прославленного «Мелкого беса», продолжал все-таки оставаться инспектором одного из городских училищ в Петербурге. Кажется, даже и пенсию выслужил, но это — исключительный случай.

Педагогами были и Ершов, автор «Конька-Горбунка», Евгений Марков, автор «Черноземных полей», и некоторые другие известные писатели.

Но в общем-то — как все же редко уживались в одном лице эти две профессии! И в каких карикатурных видах выводили учителей и Гоголь и Сологуб, не говоря уже о Чехове, враче по образованию.

Писатель-художник всю свою жизнь ищет нового, — он

динамичен по самой натуре своей; педагог же имеет дело с найденным, прочно установленным.

Он может быть каким угодно виртуозом в уменьи передать учащимся тот или иной закон физики, например, но ведь изменять-то что-нибудь в этом законе он не должен и не может при всей своей даровитости, напротив, должен повторять его неукоснительно из года в год перед новыми и новыми своими учениками.

Говоря о Горьком как о великом педагоге, я имею в виду не его учительство в школе на Капри, где он проявил себя как выдающийся деятель школы, а его совершенно исключительную по масштабам и значению работу с начинающими писателями, о чем упоминал, между прочим, в отношении к себе лично и Л. Андреев в автобиографии, опубликованной им когда-то в начале этого века.

Но даже и такой исключительно гениальный педагог в Горьком отступил во время нашей первой длинной беседы на второй план, на первом же был художник, притом художник, феноменально влюбленный в жизнь, необыкновенно жадный до всего нового, что попадалось ему в жизни, и прежде всего и главнее всего — до каждого нового человека.

А я именно и был для Алексея Максимовича такой новый человек.

— По-видимому, ваша дача — миф, — говорил он мне. — Кого мы ни спрашивали в Алуште, где ваша дача, — никто не знал.

— В этом и заключается моя жизненная задача, — отвечал я шутливо. — Кажется, Дидро принадлежат слова: «Только тот хорошо прожил, кто хорошо спрятался». Не затем, конечно, чтобы оправдать это изречение, спрятался я, но несомненно, что эта игра в прятки сослужила мне большую службу.

Тут вспомнился мне писатель Чириков, который отсюда, из Ялты, в 18-м году уехал за границу, и я спросил, что с ним и где он.

— Чириков в Праге, — стал совсем чешским писателем, — ответил Алексей Максимович. — Но по России тоскует страшно... У него есть шкаф, а в шкафу за стеклом модели волжских пароходов известных нам, конечно, обществу «Самолет», «Кавказ и Меркурий». Часами он сидит перед этим шкафом, смотрит на модели волжских пароходов и плачет.

На другой день я вышел из своего номера рано, — я, кажется, и не спал совсем, что вполне понятно, — бродил по набережной, вдруг слышу — меня окликают: это Алексей Максимович, заметив меня издали, послал за мною, — он уже сидел в «Поплавке» за утренним кофе.

Меня удивило, что у него было вполне свежее лицо, хотя спал он, должно быть, не больше трех-четырех часов. Некоторые его спутники, также и Максим, были теперь в желтых рубахах, одинаковых, здесь же, в Ялте, видимо, и купленных, и, кивая на них, весело сказал Алексей Максимович:

— Посмотрите-ка, — вот она — желтая пресса!

Из представителей прессы, впрочем, тут был только один, студент не помню какого учебного заведения. Был и еще студент, медик, бывший питомец Харьковской коммуны ОГПУ, по имени Коля. На выбритой голове Коля белел большой шрам.

— Откуда это у вас? — спросил я его.

— Били самосудно: раз ночью на воровстве попался, — ответил Коля.

Он был когда-то беспризорником, а потом в коммуне готовился к поступлению на рабфак под руководством А. С. Макаренко.

Эта коммуна имела Горького как бы своим шефом — она была его имени, туда заезжал Алексей Максимович по пути в Крым и оттуда взял Колю с собой в путешествие, имевшее для юноши, конечно, большое образовательное значение.

— Куда вы поедете из Крыма, Алексей Максимович? — спросил я.

— Пароходом на Кавказ и потом по железной дороге в Баку, — так намечен маршрут.

— И Колю с собой возьмете?

— Непременно.

После кофе и Максим, и Коля, и все прочие разошлись осматривать Ялту, а мы с Алексеем Максимовичем вдвоем остались продолжать разговор, начатый накануне.

Между тем оказалось, что, несмотря на каникулы, школьные работники Ялты собрались сами и собрали ребят в одной из школ, где оркестр и хор должны были, по их замыслу, исполнять «Песню о Буревестнике». Музыка к тексту этой песни сочинил какой-то местный компози-

тор, который и пришел сам пригласить Алексея Максимовича на этот концерт.

— Нет, знаете, не могу, — никак не могу... Я ведь сюда приехал вот к Сергею Николаевичу, — проговорил недовольно Горький.

Композитор оглянулся на меня, как на нечто такое, что очень вдруг помешало его жизненному успеху, и снова принялся упрашивать, ссылаясь на то, что все собрались и ждут.

— А зачем же собрали их? — еще недовольнее сказал Алексей Максимович. — Передайте им, что я занят и не могу, и чтобы расходились все по домам [...]

Вопрос об огромном романе «Жизнь Климса Самгина», работа над которым была тогда далеко еще не закончена, по-видимому, всецело занимал в это время Алексея Максимовича, так как он обратился ко мне вдруг совершенно для меня неожиданно:

— Скажите, как по-вашему, — эпическое или лирическое произведение способно жить дольше?

— Эпическое произведение, поскольку его трудно удержать в памяти все целиком, живет обычно в библиотеках, — отвечал я, — лирическое же, благодаря своему малому объему, отлично уживается и в памяти. Из этого следует, что образ жизни их весьма не одинаков, и сравнительную долговечность тех и других установить — задача сложная.

Ответ мой, конечно, был явно уклончив, но Алексей Максимович столь же явно хотел добыть в тот момент прямой ответ, и вот начали мы перебирать эпос древних индусов и персов и лирику тех же древних персов, затем эпос и лирику греков и римлян; перешли потом к средним векам и новым, и оказалось, в конечном итоге, что оба мы больше помним эпических произведений, чем лирических.

— Вот видите как, — довольным тоном сказал Алексей Максимович, — выходит, что эпика долговечнее!

— Но, может быть, так получилось у нас только потому, что мы оба прозаики, — заметил я, — а у лирических поэтов на нашем месте вышло бы совсем обратное?

Алексей Максимович улыбнулся и спросил вместо ответа:

— А с кем, между прочим, вы в своей Адушите отводите душу — говорите о литературе?

— Никогда не приходилось мне там ни с кем говорить

на литературные темы. А в последнее время я уж там и не бываю, так как подыматься оттуда обратно к себе на гору мне стало трудновато в мои почтенные годы.

— Вот поэтому-то вас там никто и не знает, в чем я убедился на опыте!

— Это очень хорошо, послушайте, что меня не знают,— сказал я.— Правда, возникают иногда кое-какие курьезы на этой почве незнания, но все-таки разрешаются довольно благополучно. Например, в тяжелое голодное время отыскивали в Алуште и ее окрестностях четырех научных работников, которым решено было выдавать паек, в числе их значился и я. Но когда пришлось получать этот паек, то заведующий завопил: «Жульничество! Не позволю! К четырем примазался уж кто-то пятый! Четвертому, Сергееву, я выдам паек, а этот пятый, какой-то Ценский, получит от меня шиш!..» Согласитесь, Алексей Максимович, что теперь, когда уже нет никакой нужды в пайках, об этом весело вспомнить.

Он согласился. Он начал вспоминать о своей чрезвычайно хлопотливой работе в ЦЕКУБУ и, между прочим, о том, как к нему обращались женщины со слезными просьбами о молоке для их маленьких детей, а это тогда было самым трудным делом, чтобы выдали молоко.

— И вот одной,— не помню уж, кто она,— поэтесса или драмы она писала,— приходит вдруг мысль: «А если бы вы для своего ребенка молока просили,— ведь вам бы не отказали?» — «Пожалуй,— говорю,— если бы я написал: «Для моего ребенка», то едва бы отказали». — «Вот вы и напишите», — говорит. «Гм... Как же я могу написать такое?» — «Ну, что же,— говорит,— делать, если необходимость? Ведь без молока мой ребенок умрет... умрет, да!..» И плачет,— понимаете,— слезы в три ручья, как говорится... Взял я перо — пишу: «Для моего ребенка от такой-то...» Подействовало! Выдавать стали ей ежедневно... Узнала об этом другая, и та ко мне с тем же. Ну, что же, крайность, разумеется, крайняя необходимость... Я и этой написал записку: «Для моего ребенка от такой-то...» Потом третья, четвертая... И, знаете, десятка два собралось у меня, оказывается, таких ребенков, вот как!

И Алексей Максимович молодцевато подбросил голову и пригладил лохматившиеся усы, глядя этак как-то затанцованно-лукаво, но-мальчишески.

В полдень на двух автомобилях отправились на Ай-

Петри. Шоссе, ведущее на вершину этой горы, весьма прихотливо вьется в густом сосновом лесу, и Горький говорил, оглядываясь по сторонам:

— Эх, за границей на подобной горе сплошь бы санатории стояли! Будут, конечно, и у нас тут тоже со временем!

Какой хозяйственник государственного масштаба сидел в Горьком, это мне стало ясно только впоследствии, но почувствовалось мною в первый раз здесь, на Ай-Петри. Он именно по-хозяйски оглядывал все кругом, когда мы вышли на так называемую яйлу горы.

Трава здесь была уже дочи́ста съедена отарами овец, да известковая почва — карст и не могла быть очень плодородной. Вблизи расположенной здесь метеорологической станции чахли молодые сосенки, посаженные в целях облесения яйлы, а в стороне торчал сплошь голый «зубец» Ай-Петри с отвесными боками.

Но побережье Крыма широко развернулось перед нами отсюда, и вид его был изумительно красив и диковат в то же время.

— В Италии сколько бы на таком куске земли народу жило! — сказал Горький.

Я не бывал раньше на Ай-Петри, и меня, естественно, занимали каменные породы, какие здесь встречались. Заметив это, Алексей Максимович обратился ко мне с улыбкой:

— Давно уже догадывался я, что вы — горный инженер, — ведь так?

— Совсем не так! И почему именно вы пришли к выводу, что я — горняк? — удивился я.

— А как же вы, не будучи горным инженером, могли написать свою «Наклонную Елену»? — в свою очередь удивленно спросил Горький.

Пришлось мне рассказывать, как я писал «Наклонную Елену», проведя для этого всего только два дня в Макеевке в 1913 году, — трудно было в те времена не только спуститься в шахту, но и прожить дольше в шахтерском поселке, так как шахты здесь принадлежали бельгийцам и усиленно охранялись от всех посторонних русской полицией.

Картины, открывавшиеся во все стороны с Ай-Петри, естественно, привели к разговору о живописи, и оказалось, что Алексей Максимович большой знаток итальянской

живописи эпохи Возрождения и более поздней. Он, видимо, часто бывал в картинохранилищах Неаполя и Рима, так как говорил о них особенно подробно, но в то же время упоминал и о всех наиболее выдающихся произведениях кисти, хранившихся в Венеции, Флоренции, Милане.

С того времени плоское, выжженное летним солнцем и белеющее известковыми камнями плато Ай-Петри связывается в моем представлении с картинными галереями Италии, и связующим звеном между ними является высокий желтоусый человек в белой фуражке, сером пиджаке, с широкими плавными движениями длинных рук.

Когда машины наши помчались вниз, они уже не задерживались в Ялте, а проскочили по направлению к Гурзуфу: Алексей Максимович был приглашен обедать в дом отдыха членов ЦИК в Суук-Су, бывшее имение миллионерши Соловьевой.

Обед, впрочем, уже давно окончился, когда машины подкатили к столовой, и Алексея Максимовича встретили только администрация дома отдыха и врач, но зато здесь было приготовлено для угощения Горького две бутылки стодесятилетнего вина — портвейна и муската.

Такого вина не приходилось пить даже и ему: оно было густое, как масло.

— Вот это вино так вино! — часто повторял он и покачивал восхищенно головою. — Какая это поговорка есть насчет подобного вина, вы должны помпнуть, — обратился он ко мне.

Однако я не помнил что-то подходящей поговорки, и он начал припоминать сам.

— Как же так не помните? Говорится: «Где блины, там и мы...»

— «Где кисель, тут и сел, — дополнил я, — где пирог, тут и лег». А насчет вина что-то ничего не придумано.

— Вот какая строгость! — удивился Алексей Максимович и, повторив все три изречения, добавил: — А где такое вино дают, отсюда уж мы никуда не уйдем, тут и ляжем, но уж все до дна выпьем!

Я первый раз видел тогда дом отдыха внутри и, помню, обратил внимание на то, что подавальницы — несколько человек — сели за тот же стол, за каким сидели и мы, и во все глаза глядели на Горького.

Но это любопытство подавальниц подаздорило Алек-

сея Максимовича, и, кивая мне на ближайшую из них, он сказал азартно:

— А ну-ка, Сергей Николаевич, кто из нас лучше знает Россию! Вот, как вы полагаете,— какой губернии она уроженка?

— Рязанской,— ответил я, ни секунды не думая.

— Нет, Саратовской,— так же уверенно отозвался он.

Конечно, подавальщица могла бы слухавить и сказать из вежливости, что она действительно саратовская, но она захотела быть правдивой и сказала певуче:

— А я и вовсе здешняя, ялтинская!

Мы с Алексеем Максимовичем посмотрели друг на друга и расхохотались.

Послеобеденный мертвый час в доме отдыха тем временем пришел к концу и, кажется, даже раньше, чем обычно, так как всем хотелось видеть Горького. Алексея Максимовича пригласили в сад сниматься с отдыхающими; нашлись тут у него и знакомые по Москве.

Однако пробыл он тут недолго, и, когда ехали мы обратно в Ялту, он говорил с подъемом:

— Какова, Сергей Николаевич, идея-то — такие дворцы отдать под дома отдыха для рабочих? Где еще в мире есть что-нибудь подобное? А перед вашим приездом я в Ливадии был... Там, понимаете ли, в царском дворце крестьяне отдыхают,— вот это зрелище!.. За границей сочиняют еще, по старой привычке, новых царей для России, а прежней России уже и в помине нет, и в царском бывшем дворце посиживают себе у окошек бывшие мужики посконные, поглядывают кругом: «Наше»... Хорошо!.. Очень хорошо!.. А что цикады,— начали уже трещать у вас тут?

Я ответил и тут же сказал:

— Вот видите, Алексей Максимович, для встречи вас дом отдыха проготовил лучшее, что мог у себя найти — старинное вино... Быть может, и Ялта хотела вас угостить лучшим, что могла она дать,— музыкой к «Песне о Буревестнике», и вы отказались [...]

Как раз в то время, когда мы вернулись из Суук-Су в гостиницу «Марино», туда приехала из Алушты моя жена, и Горький, узнав об этом, не только переоделся в лучший, по-видимому, костюм, какой был в его багаже, но и от своих спутников потребовал принарядиться, надеть галстуки.

— Сегодня будет ужинать с нами жена Сергея Николаевича, поэтому, товарищи...

И этот новый ужин в «Поплавке» прошел так, как будто ужинали мы уже не в Ялте, а на моей даче, а так как жена моя, кроме высших женских курсов Герье, окончила в свое время и консерваторию, то разговор, естественно, касался главным образом музыки у нас в Союзе и за границей.

И в этой области был очень осведомлен Горький, когда спросила жена, не сдал ли в голосе Шаляпин, он совершенно расцвел:

— Куда там!.. Поет, понимаете ли, еще лучше, чем прежде пел! Удивляет и Европу и Америку! Вот как!

Это была гордость своей страной, радость за то, что она дала такого певца миру, которого не превзошел никто.

Но гордость за свою страну и радость за то, что семимильными шагами идет теперь она, свободная, по пути прогресса, пронизывала все существо Горького.

Уже одно то, что страна так быстро успела оправиться от разрухи и голода девятнадцатого — двадцать первого годов, радовало его страшно. Но у него, конечно, вполне достаточно было воображения, чтобы представить, что в самом скором времени разовьется из семян нового, густо посеянных в новую, хорошо вспаханную почву.

Он весь лучился, когда говорил на эти темы, так как вполне реально, во всех подробностях видел то, что непременно будет в нашей стране через какой-нибудь десяток лет.

— А что такое, товарищи, какие-то там десять лет для такой огромнейшей страны, как наша? Ведь это же полнейшие пустяки — десять лет!

Среди спутников Горького был и транспортник Крыма, сложного названия должности которого я в точности не запомнил, и, обращаясь ко мне, говорил Алексей Максимович:

— И у вас, в Крыму, тут тоже цоного всякого очень много, а ведь вы же хотите все это видеть своими глазами. Напишите вот ему в Симферополь или по телефону скажите, и он вам командирует машину, — сядете, поедете куда хотите, посмотрите, что там вас интересовать будет... Следует, имейте в виду, Сергей Николаевич, весьма следует почаще смотреть, что делается нового!

И в этот вечер мы всех пересидели в «Поплавке», и

набережная была уже совершенно пуста, когда мы вышли, только рабочие гудронировали в это время шоссе, отчего плотно стоял густой запах асфальта.

Я удивлялся выносливости Алексея Максимовича, несмотря на его болезнь: и теперь, в конце всего этого длинного, на моих глазах проведенного им дня, он казался столь же бодрым, энергичным, полным мыслей, как и утром, хотя не отдыхал за день и десяти минут.

На другой день утром он уезжал из Ялты.

Перед тем мы в последний раз пили кофе в гостеприимном «Поплавке», и теперь Алексей Максимович говорил уже о себе, о своем замысле написать большую повесть после того, как будет закончен «Самгин».

По его словам выходило, что ему непременно нужен будет берег Каспийского моря около Баку, потом нужны будут Армения, Грузия, и он едет главным образом посмотреть на то, что думает изобразить в новой повести.

Не знаю, как для кого, а для меня лично писатели-художники — скажем на минуту, беллетристы — бывают наиболее близки и дороги тогда, когда они горят желанием влить хотя бы в первые попавшиеся слова перед первым попавшимся слушателем новые образы и мысли, из которых со временем сложатся новые их творения.

Тогда они на глазах как-то очень молодеют душой, тогда бурным бывает разбег их фантазии, и очень многое из того, что будет ими впоследствии отброшено, как совершенно излишнее, кажется им самым важным, наиболее необходимым, именно тем, ради чего только и стоит писать новую вещь.

Но с Горьким было не совсем так. Чувствовалось, что он уже не раз делился своим замыслом с другими и говорит готовыми уже, очень сжатыми словами, избегая деталей. Помню, у меня составилось впечатление, что задумана была повесть приключенческого типа.

При том колоссальном обилии наблюдений, которым обладал Горький, подобная повесть могла бы выйти очень яркой, но, как известно, замысел этот так замыслом и остался.

И вот поданы уже машины на двор гостиницы «Марино», и Алексею Максимовичу говорят, что пора ехать.

Все ли слова сказаны друг другу? Нет, конечно, — мы только начали говорить их в эти два дня, а машины уже

неумолимо блестят своими кузовами, готовясь увезти того, кто стал мне очень близок, куда-то по пути к весьма далекому Каспийскому морю.

Мы обнялись на прощанье, и снова слезы его на моих щеках...

— Прислать вам книги мои, Сергей Николаевич?

— Пришлите, пожалуйста, пришлите, — у меня их почти нет! И карточку свою тоже!

Наконец, в последний раз ловлю я своими глазами светлые, как бы изнутри освещенные глаза Горького, и... машина его исчезает за поворотом стены.

В повесть, какую собирался написать он, должна была войти такая картина: весь ослепительный лучами заходящего солнца, появляется вдруг перед какой-то девочкой на берегу Каспийского моря необыкновенный всадник на красивейшем коне, но через несколько мгновений поворачивает коня, стрелой мчится от берега вдаль и скрывается за курганами, а она остается, пораженная этим видением.

Некоторое время после отъезда Алексея Максимовича я чувствую себя так, как эта девочка из его незавершенной повести.

Пьесу о Лермонтове «Поэт и чернь», изображавшую последний приезд поэта на Кавказ и дуэль с Мартыновым, я писал года за три до личного знакомства с Горьким. Теперь же мне хотелось написать еще две пьесы о Лермонтове «Поэт и поэтесса» — кратковременный роман с французской поэтессой Аделью Оммер де Гелль, и «Поэт и поэт» — Лермонтов в период смерти Пушкина. А так как место действия первой из задуманных пьес был главным образом Кисловодск, то я и решил нарушить свое слишком долговременное сидение в Алуште и поехать посмотреть Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, где я еще никогда не был.

Полагаю, что раскочерился я так, глядя на Горького: для того чтобы написать пьесу «Поэт и поэтесса», можно было и в Кисловодск и не ездить. Мне хотелось главным образом посмотреть место дуэли Лермонтова с Мартыновым, дом в Пятигорске, где произошла ссора между ними, и прочее, относящееся к тому, о чем у меня уже было написано в пьесе «Поэт и чернь».

Так я поехал на Кавказ дней через десять после того, как приехал из Ялты, и эта поездка, между прочим, дала мне материал для рассказа «Как прячутся от време-

ни». Она же доставила мне и радость новой, совершенно нечаянной встречи с Горьким во Владикавказе, куда приехал я с группы Минеральных вод, чтобы отсюда прокатиться по знаменитой Военно-Грузинской шоссеиной дороге, посмотреть лермонтовские места: Терек, прыгающий, «как львица с косматой гривой на хребте», замок царицы Тамары, Дарьяльское ущелье...

Под обаянием Лермонтова (так же, как и Пушкина и Гоголя) прошли мои детские годы. Еще дошкольником, когда я сам начал писать стихи, я знал наизусть многое из Лермонтова, и, должен признаться, мне стало как-то весьма не по себе, что вот я даже и пьесу о Лермонтове написал и еще собираюсь написать две, но замка Тамары не видел, Дарьяльского ущелья тоже, — не видел даже Казбека вблизи, а ведь все это вдохновляло моего любимого поэта. Как же я так? Значит, действительно «мы ленивы и нелюбопытны», как определил Пушкин? Нехорошо, очень нехорошо.

На вокзале во Владикавказе я расспрашивал, в какой гостинице можно остановиться переночевать (был уже вечер), и вдруг заметил у книжного киоска Максима и Колю.

Минуты через две я уже сидел рядом с Алексеем Максимовичем в его салон-вагоне, прицепленном к поезду, который должен был вскоре отправиться на север.

Тут же был и кто-то, сопровождавший Горького по Кавказу, кто именно, не знаю, но, кажется, бакинец, потому что к нему обратился Алексей Максимович, представив меня:

— Вот и Сергею Николаевичу надо бы, очень надо посмотреть Баку, — устройте-ка, пожалуйста, ему это!

Тот обещал устроить и записал для этой цели название гостиницы, в которой я думал остановиться во Владикавказе, но тем дело и кончилось.

— Ну, а вам-то, Алексей Максимович, как показалось Баку? — спросил я.

— Вы раньше когда-нибудь в нем бывали? — в свою очередь спросил он.

— Был как-то ровно двадцать лет назад, но проездом. Я тогда с Волги, из Самары, поехал в Ташкент, потом в Коканд, Самарканд, Бухару, наконец, добрался до Красноводска, а уж из Красноводска по Каспию доплыл до Баку, — припоминал я. — И должен признаться, что не

мог тогда высидеть в Баку больше суток: страшно там разило везде нефтью, не было спасения от этого запаха!

— Теперь там, представьте, чистейший воздух! — живо возразил Горький (он вообще был очень оживлен, что называется, был «в ударе»). — Ни малейшего запаха нефти, я ведь тоже его не люблю, — да и кому нравится? Красивый город стал теперь Баку! Я даже думаю, не красивее ли он будет, чем Неаполь, факт! Парки какие там разбиты повсюду — чудеса! А что касается нефти, то мне показали там такой завод, где нефть очищается до степени деликатесного масла, факт! — вот того самого масла, которое идет на консервы!.. Все на этом заводе машины делают, а при машинах этих только восемь человек всего, — вот как! А домов понастроили сколько новых и каких огромных успели! А люди какие! Сергей Николаевич, непременно вам побывать там надо!.. Понимаете, выходят на трибуну люди, все в мазуте, черные, потные, а говорят как! И когда они научились так говорить, — чудеса прямо!

— Вы, кажется, и в Армении побывать хотели, Алексей Максимович? Были?

— Оттуда и еду! Там меня на озере Гокча угощали форелью в полпуда весом, — факт.

— Сомневаюсь все-таки, чтобы такая могла быть форель, — в полпуда. Это уж какое-то чудовище, а не форель. Не приходилось о такой ни читать, ни слышать.

Но Алексей Максимович схватил меня за руку.

— Форель же, говорю вам! Вот видите, как у нас: нигде подобной не бывает, а у нас есть!.. А разве где-нибудь еще есть такая дорога, как Военно-Грузинская! Только у нас она и возможна! Я только что по ней ехал.

— Завтра как раз и я думаю проехаться по ней, хотя бы до станции «Казбек», если не до Тифлиса.

— В Тифлисе вы раньше бывали?

— А вот тогда, как не усидел в Баку, поехал я в Тифлис и несколько дней там пробыл, а оттуда — в Батум.

— А по Военно-Грузинской дороге тогда на чем ехали?

— Ни на чем. Совсем этой дороги не видел.

Ка-ак же так не видали? — так удивился Алексей Максимович, как будто я преступление сделал, а я отозвался улыбаясь:

— Не пришлось видеть, и все.

Но Горький откинулся вдруг на месте, выпрямил стан, лицо его стало строгим, левую руку с вытянутым указа-

тельным пальцем поднял он над головой и проговорил неожиданно для меня с большим пафосом:

— Вы представьте только, что вдруг умерли бы вы и предстали бы перед богом, и вот сказал бы вам бог: «Для тебя, Сергеев-Ценский, создал я всю красоту эту, и ты... ее... не видел!»

Можно было, конечно, улыбнуться на эту шутку,— я так и сделал в первый момент,— но можно было и задуматься над нею,— что делал я потом, когда простился с этим удивительным человеком, стремившимся всем размахом своей жизни доказать правоту заложенной в этой шутке мысли.

Как можно, чтобы я, художник, чего-то красивого не видел? Как можно, чтобы я, ученый, чего-то не знал? Как можно, чтобы я, рабочий, чего-то не мог сделать? И как можно, чтобы все мы вместе, общими силами нашими, не переделали мир, который только затем и существует, чтобы нам его переделать по-своему, чтобы непременно полупудовыми были все форели, чтобы деликатесное масло консервов делалось из нефти, чтобы потные и черные от мазута люди, выходя на трибуну, становились бы Демосфенами, Эсхинами, Периклами, чтобы заведомо нефтяной, рабочий город Баку заткнул бы за пояс и красотой своих улиц, площадей, парков и удобствами жизни щегольской нарядный Неаполь.

Но для того, чтобы все переделать, конечно же надо все видеть, все знать, все хотеть сделать и все мочь сделать, а прежде всего забыть о том, что когда-то были «мы ленивы и нелюбопытны».

Побывав в 28-м году на родине, Горький, как известно, снова вернулся в Сорренто, но вернулся, как пчела, отягощенная цветочной пылью: он вывез не только множество новых впечатлений, но и великое множество забот и разных взятых на себя обязательств. Круг корреспондентов его не мог не расшириться, и расширился он чрезвычайно.

Я продолжал по-прежнему оставаться писателем-художником, и только. Горький становился общественным деятелем всесоюзного масштаба. При таких обстоятельствах переписка между нами не могла не заглохнуть, и это является одной из причин того, что в следующие годы было уже так мало писем его ко мне. Другою причиной этого

было то, что мы с ним обыкновенно видались и много говорили в каждый его приезд в Советский Союз и позже, когда он окончательно выехал из Италии.

Это был уже Горький «Наших достижений», «Истории гражданской войны», «Истории фабрик и заводов», и говорили мы с ним уже не на литературные темы, а на другие, которые его занимали всецело сами по себе, но которые я мог воспринимать только как материал для художественных произведений.

Однако я должен сказать, что материал этот был очень труден для беллетриста и одного таланта, для того чтобы овладеть им так, как должен овладеть художник, было мало.

Возьму для примера Болшевскую коммуны ОГПУ. Горький возил меня туда в 29-м году и предоставлял мне возможность самостоятельно туда ездить и наблюдать, но, не говоря уже о том, что тема перерождения человека труднейшая из всех тем, здесь она значительно осложнялась и огромным многообразием перерождаемых и вообще новизною этого эксперимента, требующего серьезной проверки временем.

Можно было, конечно, написать газетную статью, и это было бы очень легко и просто, но от работы над большой повестью на эту тему я отказался и был совершенно прав.

Только человек, который способен был свыше десяти лет своей жизни отдать не только обучению, но и перевоспитанию нескольких сот колонистов Харьковской коммуны, оказался способным и написать такую повесть, — я говорю, конечно, о А. С. Макаренко, авторе «Педагогической поэмы».

Но если тему перерождения человека я назвал труднейшей, то очень трудны ведь были и все другие темы, выдвигавшиеся Горьким, хотя чрезвычайное обилие материалов на эти темы и создавало иллюзию, что справиться с ними можно, была бы охота, было бы упорство в труде. Алексей Максимович по-прежнему был обложен рукописями, которые он правил; но это были рукописи, в большей части своей не относящиеся к изящной словесности.

— Сколько изданий вы редактируете, Алексей Максимович? — спросил я его в апреле 34-го года.

— Всего было двенадцать, да вот теперь еще мне подкинули какую-то «Женщину» из Ленинграда — значит

тринадцать, — ответил он, и не то чтобы весело это у него вышло.

Писатель-художник нуждается прежде всего в досуге; что этого необходимого для творчества досуга у Горького не было, мне бросилось в глаза особенно заметно: он был перегружен работой.

Еще в 29-м году, когда он был гораздо здоровее, чем в 34-м, он как-то сказал мне:

— Пастух один рукопись мне прислал... Пишет, представьте: «Моя любимое корово».

— Охота же вам была читать такую рукопись!

— Интересно, послушайте, Сергей Николаевич, — «Моя любимое корово»... Если бы лошадь любимая, это было бы понятно, а то корова.

Алексей Максимович говорил это, конечно, в шутку, но все-таки тогда он еще мог шутить; впоследствии же, когда поток рукописей из двенадцати изданий захлестнул его с ног до головы, когда эти рукописи горами лежали на его письменном столе, было уж не до шуток.

— А что же ваши личные, ваши горьковские рукописи? — спрашивал я его еще в 29-м году.

— Да я уж не могу ничего писать больше, — отзывался он и махал безнадежно рукой.

Однако после этого появились пьесы: «Егор Булычов» и «Достигаев», продолжалась работа над «Самгиным», переделывалась «Васса Железнова». Даже рассказ о современной жизни был им написан и помещен в журнале «Колхозник», не говоря уже о многочисленных статьях в газетах на литературные и прочие темы.

Колоссальная была трудоспособность Горького, но и задача оставаться писателем, так сказать, «без отрыва от производства», оказалась тоже колоссально трудна.

К великой чуткости Алексея Максимовича отношу я то, что он никогда не предлагал мне никакой редакторской работы в тех многочисленных изданиях, которые создавались по его мысли, и в то же время в отношениях его ко мне я не замечал перемены к худшему: он как бы раз и навсегда выдал мне то, что называется у писателей «творческий отпуск», и с неизменным интересом спрашивал меня при встречах о том, что я пишу.

Так как к нему сходились все сведения о наших достижениях, то в этой области я не мог сообщить ему в разговоре ничего нового. Говорил ли я, например:

— Познакомился с одним рисоводом; представьте, надеется разводить рис под самой Москвой. — Алексей Максимович тут же отзывался на это:

— А? Это на реке Яхроме? Знаю, как же!

Говорил ли я:

— Пришлось мне быть в Керчи, на металлургическом заводе. Рядом руды сколько угодно, только она пылевидная и тридцатипроцентная, поэтому привозят туда руду из Кривого Рога. А между тем один местный старожил говорил мне, что ему известно там, недалеко от Керчи, месторождение руды шестидесятипроцентной и совсем не пылевидной. — Алексей Максимович поднимался легко и быстро, подходил к шкафу, доставал оттуда увесистый кусок железной руды и клал передо мной:

— Вот она! Уже добывают!

Зато сам он был всегда полон через край подобного рода новостями, а однажды сообщил мне с большим оживлением и особым сиянием в лице:

— Вы знаете, какие люди оказались у нас в Уссурийской области? Тигро-ловы! Ловят тигров, все равно как котят, и продают их потом в зоопарк! От них и за границу идут наши уссурийские тигры — вот как!

«Какие люди оказались у нас...» — вот что питало пафос Горького последних лет его жизни, и разве этот великий пафос не находился в самом близком родстве с его великим талантом художника?

Но я пишу не о значении Горького как писателя, общественного деятеля, революционера. — моя задача гораздо уже; я вспоминаю о моем личном с ним знакомстве, в скромной надежде, что будущий биограф Горького найдет, может быть, штрих-другой для характеристики великого пролетарского писателя если не в этих моих воспоминаниях о нем, то, во всяком случае, в его письмах ко мне.

Оригиналы этих писем переданы мною в Институт мировой литературы им. Горького.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящий сборник Сергея Николаевича Сергеева-Цеского вошли рассказы, повести, роман «Бурная весна» и воспоминания «Моя переписка и знакомство с А. М. Горьким», написанные в разные годы, начиная с первых шагов литературной деятельности до последнего десятилетия его жизни. Большая часть произведений, вошедших в настоящую книгу, многие годы не переиздавалась.

Нам хочется, чтобы читатели оценили стиль великого мастера художественной прозы, автора эпосов «Севастопольская страда» и «Преображение России», которого А. М. Горький назвал «властелином словесных тайн», а М. А. Шолохов — «могучим нестареющим талантом».

САД. Повесть. Впервые напечатана в журнале «Вопросы жизни» № 10—11, 1905 г., с изъятием ценаурой абзацев, которые автором не были восстановлены в последующих изданиях. Из гл. III:

«Скажи, почему так легко пошел он в петлю новой кабалы и смиренно терпит опыты над прочностью своей кожи? Забитый народ, и тупой, и жалкий, но доколе он будет таким?.. Скажи мне, что если бы не было здесь майората, то были бы люди, потому что бывают такие минуты, когда я и в это совсем не верю; редкие, правда, минуты, но бывают».

Шевардин говорит отцу Мефодию:

«Ты можешь сказать, что все не мое дело, что я здесь пришлый и всему этому чужой, но, должно быть, сильна во мне жила общечеловечности, и если я, пришлый, не сделаю того, что могу сделать, то не сделать этого здесь никому из своих».

В гл. XV к рассуждениям Шевардина автор добавляет:

«То, что сказал он самому себе, было ясно: «Этот человек, кусок испорченного мяса, бремя для нескольких десятков тысяч людей, поэтому он не должен жить...»

И вот он (Шевардин. — В. К.) вспомнил всех, кто был ему близок, вспомнил и деда Никиту, который называл его «Мериканцем», и опять почувствовал, что около него пусто, что он сам за себя один. И сознания этого одиночества его поднимало и ширило». (Смея, № 210, 7 сентября 1965 г., Ленинград).

() трудностях публикации повести Цеский писал из Одессы 2 февраля 1905 г. К. С. Мирякову: «В настоящее время в редакции «Мира божьего» лежит мой довольно большой — в три с половиной печатных листа — рассказ «Сад», признаться, я не особенно надеюсь увидеть его в печати, и только потому, что там герой

протестует. Дай бог, чтобы мы когда-нибудь перестали заикаться и посмеялись над собственным косноязычием.

Повесть «Сад» вошла во второй том Собр. соч. (Л., Мысль, 1928) с датой: «Октябрь 1904 г.». Печаталась в сборниках и Собр. соч. автора. Дается по первому тому последнего прижизненного издания Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956).

УЛЫБКИ. *Стихотворение в прозе*. Впервые опубликовано в журнале «Современный мир» (1909, № 11) с подзаголовком: «Этюд»; вошло в Собр. соч. (Книгоиздательство писателей в Москве, 1913) и второе издание 1919, т. 5; в Собр. соч. (Л., Мысль, 1928, т. 5). В Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956) автор дал «Улыбкам» подзаголовок «Стихотворение в прозе». Дается по первому тому этого издания.

НЕТОРОПЛИВОЕ СОЛНЦЕ. *Поэма*. Впервые напечатана в журнале «Современный мир», 1911, № 12; вошла в Собр. соч. (Книгоиздательство писателей в Москве, 1913); второе издание 1918, т. 6; в Собр. соч. (Л., Мысль, 1928) с датой: «Ноябрь 1911 г.».

В Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956) Сергеев-Ценский дал подзаголовок «Неторопливому солнцу»: «Поэма». Дается по второму тому этого издания.

НЕДРА. *Поэма*. Впервые опубликована в журнале «Северные записки», 1913, № 1, с подзаголовком: «Рассказ»; вошла в шестой том Собр. соч., Книгоиздательства писателей в Москве, и второе издание (Л., Мысль) с датой: «Ноябрь 1912 г.».

В книге «Избранное» (М., Советский писатель, 1941) автор дал другой подзаголовок «Недрам»: «Поэма». Печатается по второму тому Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956).

АРАКУШ. *Рассказ*. Впервые напечатан в журнале «Красная нива», 1926, № 39. Вошел в восьмой том Собр. соч. (Л., Мысль, 1928) с датой: «Июль 1926 г.».

Дается по второму тому Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956).

СТАРЫЙ ВРАЧ. *Рассказ*. Впервые опубликован в журнале «Красная новь», 1942, № 8. Поводом для написания рассказа послужил трагический случай с семьей алуштинского врача Анатолия Павловича Розена, немца по национальности, расстрелянного фашистами за отказ подчиниться и служить оккупантам. Дается по третьему тому Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956).

БУРНАЯ ВЕСНА. *Роман*. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1942, № 8—10, как первая часть романа «Брусилловский прорыв». Вошел первой частью в роман «Брусилловский прорыв» в двух томах с подзаголовком: «Исторический роман», Советский писатель (часть первая — «Бурная весна», 1943, часть вторая — «Горячее лето») и в однотомник с тем же подзаголовком и делением, М., Художественная литература, 1944.

В собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956) роман «Бурная весна» не вошел.

Дается по третьему циклу романов и повестей эпопеи «Преображение России», Крымиздат, 1958.

Александр Алексеевич Брусиллов (1. IX. 1853—17. III. 1926) — выдающийся русский полководец. С его именем связаны крупнейшие успехи русской армии во время первой мировой войны. Брусиллов впервые разработал и осуществил в июне—июле 1916 г. прорыв

сильно укрепленной полосы противника в пескольких местах на протяжении фронтовой полосы в 70 км, чтобы дезориентировать противника о месте главного удара и заставить его рассредоточить внимание, силы и средства.

После Февральской революции реакционная буржуазия России пыталась использовать популярность Брусилова в армии и превратить его в военного диктатора, чтобы потопить революцию в крови. В мае он был назначен верховным главнокомандующим. Но Брусиллов не оправдал надежды реакции и в июле был заменен Корниловым. После удаления из армии Брусиллов переехал в Москву и в 1919 г. перешел на службу в Красную Армию и, занимая ряд ответственных постов, многое сделал для ее укрепления.

До конца своей жизни А. А. Брусиллов честно служил Советской власти, отдавая силы и знания строительству и укреплению Красной Армии.

МОЯ ПЕРЕПИСКА И ЗНАКОМСТВО С А. М. ГОРЬКИМ. *Воспоминания.* Впервые напечатаны в журнале «Октябрь», 1940, № 6—7 с сокращениями. Вошли в книгу «Избранное» (М., Советский писатель, 1941) и другие издания.

Смерть А. М. Горького потрясла Сергеева-Ценского. 18 июня 1936 г. он по телеграфу передал в газету «Известия»: «Огромнейшее место в душе моей занимал Алексей Максимович... И вот рухнул колосс, и я осиротел, как все писатели. Не найду слов, чтобы передать свою скорбь». И тут же приступил к работе над воспоминаниями о своей переписке и встречах с Горьким, которые вскоре были завершены.

В настоящем издании тексты даются по Собр. соч. (М., Художественная литература, 1955—1956, т. 29, 30), а также по рукописи, хранящейся в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва).

С. 398. *...преувеличивая его действительную красоту...* — Цитата из сборника грузинских сказок «Книга мудрости и лжи», СПб., 1878.

С. 401. *...Из железной клетки мира улетает...* — Цитата из стихотворения татарского поэта Тукая (1886—1913) «Разбитая надежда».

Содержание

В. Козлов, С. Н. Сергеев-Ценский 3

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Сад. <i>Повесть</i>	16
Улыбки. <i>Стихотворение в прозе</i>	68
Неторопливое солнце. <i>Поэма</i>	78
Недра. <i>Поэма</i>	96
Аракуш. <i>Рассказ</i>	118
Старый врач. <i>Рассказ</i>	132

БУРНАЯ ВЕСНА. Роман 147

Глава первая. В пути на фронт	147
Глава вторая. Генерал Брусилов	167
Глава третья. Новый полк	186
Глава четвертая. Совещание в ставке	206
Глава пятая. Начальник дивизии	226
Глава шестая. Предвестники	257
Глава седьмая. Началось!	279
Глава восьмая. Перед новым штурмом	300
Глава девятая. Штурм	311
Глава десятая. Отзвуки прорыва	332
Глава одиннадцатая. Река Иква	342

ВОСПОМИНАНИЯ 383

Моя переписка и знакомство с А. М. Горьким 383

Примечания 442

ИБ № 1902

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

БУРНАЯ ВЕСНА

Повести и рассказы
Роман
Воспоминания

Заведующая редакцией *Л. Сурова*
Редактор *Н. Рыльникова*
Художник *И. Гирель*
Художественный редактор *Э. Розен*
Технический редактор *Л. Бесседина*
Корректоры *М. Калязина, Т. Даукаева,*
Е. Тавер

Сдано в набор 22.01.82. Подписано к печати 14.06.82. Формат 84×108^{1/2}. Бумага газетная. Гарнитура «Обыкновенная нован». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отг. 23,52. Уч.-изд. л. 24,57. Тираж 200 000 экз. Заказ 734. Цена 2 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии, 220041, Минск, Ленинский проспект, 79

Сергеев-Ценский С. Н.

С32 Бурная весна: Повести и рассказы. Роман. Воспоминания / Сост., статья, примеч. В. Козлова. — М.: Моск. рабочий, 1982. — 445 с.

В книгу входят повести и рассказы «Сад», «Недра», «Ари-нуш» и др., а также роман «Бурная весна» и воспоминания С. Н. Сергеева-Ценского о Максиме Горьком

С $\frac{4702010200 - 211}{M 172(03) 82}$ 207—82

P2

